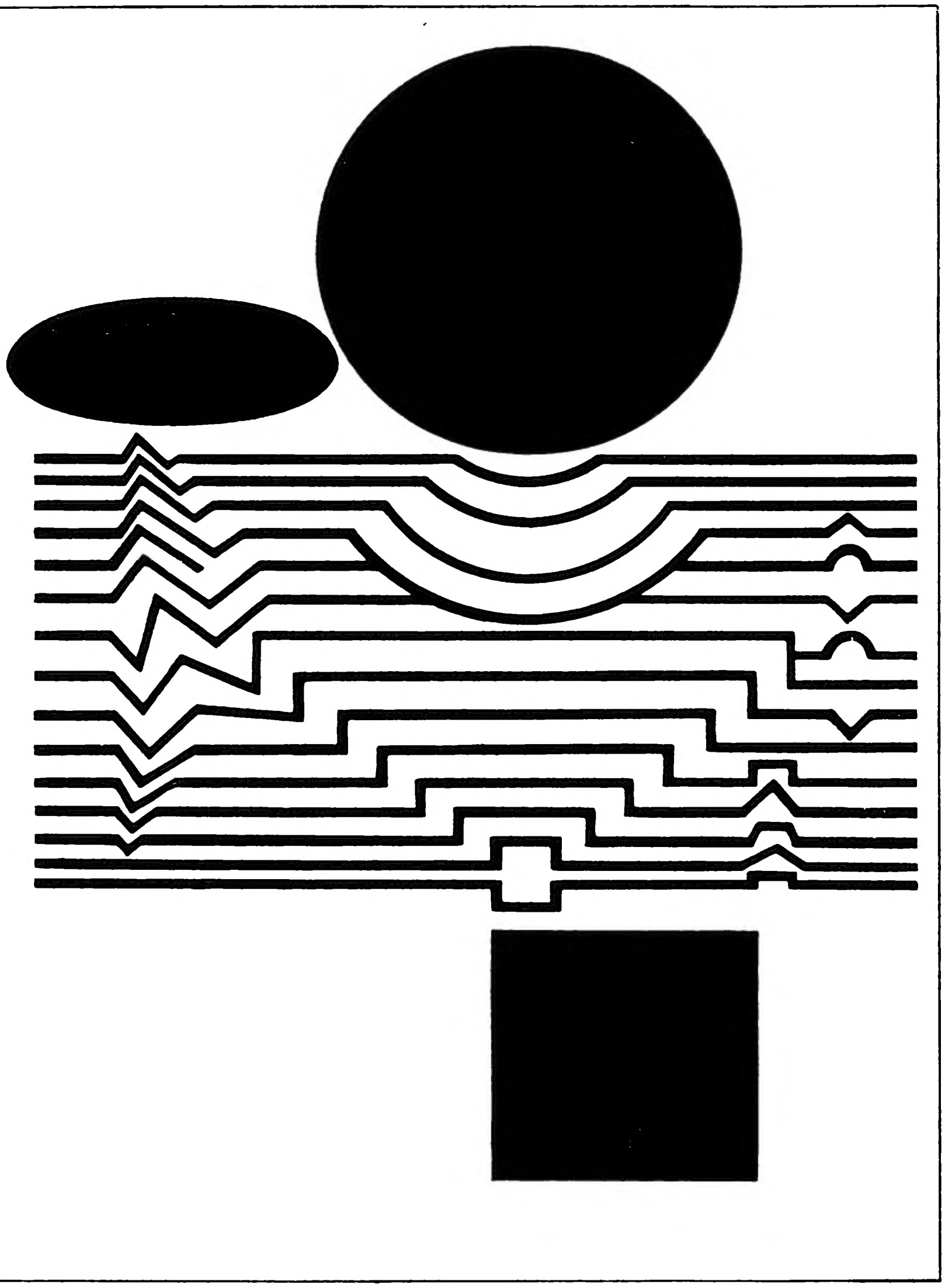
ISSN 0130–6545

2.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



В номере:

ДЖЕЙ МАКИНЕРНИ
Яркие огни, большой город

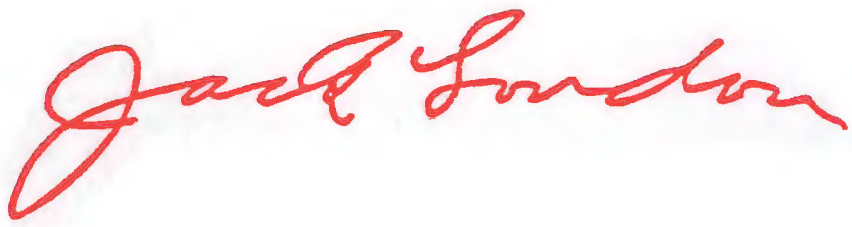
ФРАНСУАЗА САГАН
Рыбья кровь

КНУТ ГАМСУН
Новеллы

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ
Роза и корона

ЭЗРА ПАУНД
Из стихов 1908—1912 годов

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС
Интервенция



The Letters of Jack London

VOLUME I: 1896-1905

VOLUME II: 1906-1912

VOLUME III: 1913-1916

Edited by Earle Labor, Robert C. Leitz, III, and I. Milo Shepard. The full story of Jack London's fascinating life and literary career is told through 1,557 annotated letters to family, publishers, literary associates, and a host of friends and enemies. A major event in American literary history and the most complete edition of London's correspondence ever published. 3 volumes, illustrated. 1,784 pp. Standard set, $139.50; deluxe boxed set, $185.00

The Collected Poetry of Robinson Jeffers

VOLUME I, 1920-1928

VOLUME II, 1928-1938

Edited by Tim Hunt. The first two of four lavishly designed volumes that constitute the definitive edition of all completed poems, verse dramas, and narratives by one of the century's most celebrated poetic voices. Volume I, 549 pp., $60.00. Volume II, 625 pp., $60.00

The Criers and Hawkers of London

ENGRAVINGS AND DRAWINGS BY MARCELLUS LAROON

Edited, with Commentary, by Sean Shesgreen. Handsomely records street vendors' costumes and wares through engravings from Laroon's *Cryes of the City of London* (1687), illustrations from early English and Continental prints, and many of Laroon's original drawings reproduced here for the first time. 265 pp., $45.00

Professions of Taste

HENRY JAMES, BRITISH AESTHETICISM, AND COMMODITY CULTURE

Jonathan Freedman. "A groundbreaking work. . . . Stands with the best recent attempts to situate the modern writers in the 'real world' that they imitated and reshaped."—A. Walton Litz, Princeton University. 352 pp., $29.50

The Stanford Companion to Victorian Fiction

John Sutherland. The most readable and encyclopedic guide of its kind ever compiled: over 1,600 entries, including synopses of 550 novels, biographies of 800 authors, and detailed information on all aspects of Victorian literary culture. 711 pp., cloth, $69.50; paper, $17.95

Robert Frost

THE WORK OF KNOWING

Richard Poirier. With a New Afterword. New Foreword by John Hollander. An eloquent example of critical method, first published in 1977. "Not only the best book yet written on Frost, it is the best individual study of any 20th-century poet."—R.W.B. Lewis, Yale University. 330 pp., cloth, $42.50; paper, $12.95

Commonplace Book: E. M. Forster

Edited by Philip Gardner. A personal account of Forster's life, reading, culture, and society, begun in 1925 and continued at intervals until 1968. "As much a diary, journal, letter, workbook, notebook, as it is an anthology. . . . A pleasure to read."—*English Literature in Transition.* 398 pp., cloth, $39.50; paper, $12.95

Sur Plusieurs Beaux Sujects: Wallace Stevens' Commonplace Book

A FACSIMILE AND TRANSCRIPTION

Edited by Milton J. Bates. Excerpts from Stevens' reading, personal reflections, and aphorisms compiled between 1932 and 1954. "A remarkable work. . . . Rare entry into the thinking of this most elusive of poets—thinking on many subjects, whether art, politics, poetry, friendship, or love."—Marjorie Perloff, Stanford University. Illustrated, 127 pp., $19.95

Stanford University Press

STANFORD, CALIFORNIA 94305-2235

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора)
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ГРЭМ ГРИН (Великобритания),
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия), МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
МАКС ФРИШ (Швейцария), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

2 февраль 1991

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖЕЙ МАКИНЕРНИ — Яркие огни, большой город *(Роман. Перевод с английского О. Васильева)* 5

ФРАНСУАЗА САГАН — Рыбья кровь *(Роман. Перевод с французского Ирины Волевич)* 91

КНУТ ГАМСУН — Новеллы *(Перевод с норвежского Е. Алексеевой, К. Мурадян, Элеоноры Панкратовой)*. На заросших тропинках *(Фрагменты книги. Перевод Норы Киямовой)* 167

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ — Роза и корона *(Пьеса в одном действии. Перевод с английского Евгении Гаско)* 196

Из классики XX века

ЭЗРА ПАУНД — Из стихов 1908—1912 годов *(Перевод с английского Алексея Парина и Анатолия Наймана)* 208

Критика

А. ЗВЕРЕВ — «Деревенский умник» *(К портрету Эзры Паунда)* 221

ВОЛЬФГАНГ КРАУС — В роли предтечи *(Австрийская культура в силовом поле европейских культурных течений. Перевод с немецкого Г. Дашевского. Вступление А. Карельского)* 230

Публицистика

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС — Интервенция *(Глава из книги «60-е. Мир советского человека»)* 236

Л. АННИНСКИЙ — Пальмы на айсберге *(Миражи шестидесятников и реалии шестидесятых)* 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1991

На 1-й странице обложки:
«Минданао». Работа художника ВИКТОРА ВАЗАРЕЛИ.

Главный художник **С. И. Мухин**

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.12.90. Подписано в печать 13.02.91. Формат $70\times108^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. л. 26,1.

Тираж 200 000 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1445.

Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 62

ДЖЕЙ МАКИНЕРНИ

Яркие огни, большой город

РОМАН

Перевод с английского О. ВАСИЛЬЕВА

— А как вы обанкротились? — спросил Билл.

— Двумя способами,— сказал Майкл.— Сначала постепенно, а потом сразу.

«И восходит солнце»[1]

Шесть часов утра. Знаешь ли ты, где находишься?

Тебе, парень, не стоило бы торчать спозаранку в таком месте. И тем не менее ты здесь, и нельзя сказать, что эта территория совсем тебе незнакома, хотя отдельные детали ландшафта различаются с трудом. Без сомнения, ты в ночном клубе, болтаешь с какой-то бритой наголо девахой. Клуб называется не то «Разбитое сердце», не то «Ящерица». Все в голове прояснится, стоит лишь заскочить в сортир и принять дозу Боливийского Походного Порошка. Опять же, может, прояснится, а может, и нет. Какой-то внутренний голос подсказывает тебе — болезненная муть в глазах означает, что свою дозу ты уже перебрал. Ночь незаметно повернулась на своей невидимой оси: только что было два часа утра и вдруг сразу стало шесть, и ты это понял, но все-таки не хочешь признать, что добровольно перешел ту грань, за которой начинается полный распад психики и паралич периферической нервной системы. Опомнись ты чуть-чуть раньше, и можно было бы сократить свои потери, но ты уже погнал на полной скорости, как ракета, оставляя за собой дымный шлейф из белого порошка, и теперь тебе не остановиться. Сейчас твои нервные клетки напоминают отряды маленьких боливийских солдат. Вот они стоят в строю, усталые и грязные после длинного ночного перехода. Их сапоги прохудились, и они голодны. Их нужно накормить. Им нужен Боливийский Походный Порошок.

Похоже, ты попал на праздник дикарей — длинные серьги, накрашенные лица, какие-то немыслимые прически и шляпы. Ты ощущаешь, что в этой пестрой жизни есть что-то латиноамериканское, и дело тут совсем не в том, что сейчас в крови у тебя носятся пираньи, а в голове с глухим гулом бьются ритмы маримбы.

Ты прислонился спиной к столбу — то ли он потолок подпирает, то ли просто так стоит,— но тебя он подпирает, это уж точно. Лысая деваха говорит, что раньше здесь было неплохо, но потом это место облюбовали гомики. Тебе не хочется с ней болтать, даже слушать ее не хочется — единственное, на что ты способен (дожил!), это стоять истуканом и молчать.

© 1984 by Jay McInerney

[1] Роман Э. Хемингуэя, известный у нас под названием «Фиеста». *(Здесь и далее прим. перев.)*

Как тебя сюда занесло? Приволок тебя сюда, в этот кабак, Тэд Аллагэш, твой друг, а сам потом смылся. Вот Тэд как раз из тех, кому в самый раз встречать рассвет в подобном месте. Быть может, он лучшая половина твоего «я», а может — худшая. Непонятно, одним словом, какая именно. Вот, например, вчера вечером тебе было совершенно ясно, что он твоя лучшая половина. Вы начали на Верхнем Ист-сайде (шампанское плюс неограниченные перспективы) и двинулись дальше, строго соблюдая главное правило Тэда Аллагэша: каждая остановка — выпивка. Основная цель Тэда — выжать из жизни как можно больше удовольствий. В идеале — больше всех в Нью-Йорке. А для этого надо много двигаться, поскольку всегда есть вероятность, что самое большее удовольствие скрывается как раз там, где тебя в данный момент нет. Ты восхищаешься его решительным нежеланием стремиться к какой-либо более высокой цели, и тебе хочется стать таким же. В то же время ты признаешь, что он существо мелкое и при этом довольно опасное. Друзья у него все какие-то порочные субъекты с большими деньгами — совсем как его двоюродный брат из Мемфиса, которого вы встретили тем же вечером, но чуть раньше. Он не захотел идти с вами далее Четырнадцатой улицы, потому что, как он выразился, у него нет визы на дно жизни. С этим братом еще была подружка — такая скуластенькая... Вполне способная разбить твое сердце. Ты сразу понял, что она кое-чего стоит,— понял хотя бы по тому, как решительно она отказывалась признавать твое присутствие. У нее были свои тайны, свой мир: острова в лазурном море, скаковые лошади и безукоризненное парижское произношение... И тебе в этот мир дорога была заказана.

Итак, за эту ночь ты прошел путь от самых изысканных сфер жизни до ее отвратительного дна. У бритой девахи на черепушке вытатуирован шрам. Он похож на длинную, зашитую рваную рану. Ты сообщаешь ей, что шрам выглядит очень реалистично. Деваха принимает это за комплимент и рассыпается в благодарностях, но ты-то подразумевал отнюдь не что-то романтическое, а вовсе наоборот.

— Я бы изобразил такой прямо на сердце,— говоришь ты.

— Хочешь, скажу, кто их рисует? Ты удивишься, как дешево.

Не признаваться же ей, что теперь тебя уже ничего не удивит. Например, ее голос, похожий на звуки гимна штата Нью-Джерси, если его сыграть на электробритве.

Лысая деваха напоминает тебе о твоей проблеме. А проблема в следующем: ты почему-то надеешься встретить тут девушку, причем не из тех, которые околачиваются в таких заведениях в шесть часов утра, а совсем другую девушку, которой можно, например, открыть, что твое единственное желание — иметь загородный домик с садиком. Нью-Йорк, ночные клубы, лысые женщины — от всего этого ты устал. Собственно, ты оказался тут лишь потому, что решил поставить небольшой эксперимент, дабы напомнить себе, что на самом-то деле ты здесь совсем чужой. Кому как не тебе знать: ты из тех ребят, которые, проснувшись ранним воскресным утром, выбегают на улицу купить пару булочек и «Таймс». И вот, заглянув в раздел «Музеи и выставки», ты отправляешься, скажем, в «Мет» [1] смотреть костюмы габсбургского двора. Или в музей Общества ориенталистов, где сейчас выставка японских лаковых изделий эпохи Муромати. Нелишне позвонить женщине, с которой ты познакомился в пятницу на издательской вечеринке, на той самой вечеринке, где тебе удалось не нализаться, и спросить, не хочет ли она сходить на выставку и, возможно, пообедать. И ты не будешь звонить ей раньше одиннадцати, потому что она, возможно, встает не так рано, как ты. Она могла задержаться допоздна, например, в ночном клубе. До музея можно сыграть с ней пару сетов в теннис. Интересно, играет ли она в теннис: ну конечно же — должна играть.

---

[1] Музей «Метрополитен».

И вот, когда ты встретишь эту девушку, которая... и т. д. и расскажешь ей, что шляешься по утрам в потемках своей души, а в голове у тебя колотятся развеселые (а может, и не такие уж развеселые) ритмы маримбы, она тебя поймет.

Впрочем, почти каждая девушка, особенно если она не бреется наголо, в принципе способна избавить тебя от жуткого всепроникающего ощущения, что ты человек конченый. Ты вспоминаешь о Боливийском Походном Порошке, и до тебя доходит, что еще не все потеряно. Никуда не денешься, Хосе. Но сначала нужно избавиться от лысой девахи.

Кабинки в сортире без дверей, так что уединиться сложно. Но ты явно не единственный, кто явился сюда «на заправку». Из кабинок раздается сопение. Окна закрашены, и за это большое спасибо.

Раз, два, три! Солдатики снова на ногах. Они выбегают и строятся. Иные из них приплясывают, и ты должен последовать их примеру.

Выйдя, ты сразу же замечаешь ее: высокий, темный, одинокий силуэт, наполовину скрытый колонной в дальнем конце танцевального зала. Приближаешься к ней нахально, бочком, под рваный электронный ритм конги. Когда ты касаешься ее плеча, она вздрагивает.

— Станцуем?

Она смотрит на тебя так, словно ты собрался ее изнасиловать.

— Я не говорю по-английски,— произносит она, когда ты повторяешь вопрос.

— Français? [1]

Она мотает головой. Чего это она смотрит на тебя так, будто ты — черт с рогами?

— Ты случаем не из Боливии? Или Перу?

Теперь она оглядывается, будто ищет, кого бы позвать на помощь. Вспоминая недавнюю встречу с телохранителем молодой богатой наследницы в «Дансетерии» — или это было в «Красном попугае»? — отваливаешь, сраженно подняв руки над головой.

Боливийские солдаты все еще на ногах, но они уже допели свою походную песнь. Ты осознаешь, что стоишь на распутье: тут же дать задний ход или пуститься во все тяжкие. Тебе нужна хорошая накачка от Тэда Аллагэша, но его не найти. Тогда ты пытаешься вообразить, что бы он сейчас сказал. Вероятно, что-нибудь вроде: *По коням, ребята! Теперь повеселимся на славу.* Внезапно до тебя доходит, что он уже отвалил с какой-нибудь Королевой Колготок. Он сидит у нее дома на Пятой авеню, и они угощаются свеженьким кайфом. Они вынимают его из высоких китайских ваз времен династии Минь и слизывают друг у друга с обнаженных тел. Ты ненавидишь Тэда Аллагэша.

Двигай домой. Пока не поздно.

Оставайся. И вперед!

Сегодня в голове у тебя настоящий парламент. К сожалению, это — итальянский парламент, где все так и норовят перекричать друг друга. А из Ватикана ex cathedra [2] раздается зычный голос: *Раскайся. Твое тело — храм божий, и ты осквернил его.* А ведь и правда — сейчас же воскресное утро, и (пока голова у тебя еще варит) звучный бас священнослужителя, доносящийся из детства, когда ты еще посещал мраморные церковные чертоги, напоминает тебе, что это день Господень. Чтобы заглушить настойчивый бас, нужна хоть стопочка по какой угодно цене. Но, пошарив в карманах, обнаруживаешь лишь долларовую бумажку и мелочь. Ведь ты отдал двадцать бабок, чтобы войти сюда. Тебя охватывает паника.

На краю танцевальной площадки замечаешь девицу, которая кажется тебе последним шансом на земное спасение. Ты точно знаешь,

---

[1] По-французски? *(франц.)*

[2] С амвона *(лат.)*.

что, если выйдешь утром один, да еще без темных очков — которые забыл захватить, ибо кто в конце концов задумывается о таких пустяках? — резкий, бьющий в глаза свет нового дня расплющит тебя в лепешку. Смерть поразит через сетчатку. Но вот оно — посланное тебе чудо в обтягивающих брючках, со спадающей на сторону косичкой в стиле пятидесятых, самая достойная подружка, какую только можно найти в такое время. Своего рода кафе-«минутка». Минутка секса.

Она пожимает плечами и кивает, когда ты приглашаешь ее танцевать. Тебе нравится, как она двигается, нравятся округлые линии ее бедер и плеч. После второго танца она говорит, что устала. Она уже готова слинять, но тут ты интересуешься, не хочется ли ей немного взбодриться.

— У тебя есть кайф? — спрашивает она.

— Рехнулась? — говоришь ты.

Она берет тебя за руку и ведет в дамский туалет. Пара ложечек — и ты ей вроде бы нравишься, да и сам себе тоже. Еще пара ложечек. Еся — обоняние, она сладострастно нюхает порошок.

— Люблю наркоту,— говорит она на пути к бару.

— Это нас сближает,— говоришь ты.

— Ты когда-нибудь замечал, что все хорошие слова начинаются на Н? На Н или на С.

Пытаешься оценить эту мысль. Ты не совсем уверен, к чему она клонит. Боливийцы поют свою походную песнь, но слов уже не разобрать.

— Ты ведь знаешь. Наркотики. Наслаждение. Наваждение.

— Невоздержанность,— говоришь ты, перехватывая мелодию.

— Нейролептики.

— Навеселе. Неуравновешенный. Ненасытный.

— Наказуемый.

— Необузданный.

— А еще на С,— говорит она.— Сочный и сладкий.

— Слабосильный.

— Секс.

— Сенситивный.

— А что это значит?

— Злоебучий.

— О,— говорит она, метнув из-за плеча лукавый, оценивающий взгляд.

Ее глаза затухают, явно напоминая закрывшуюся дверь ванной с матовым стеклом. Ты видишь: игра окончена, хотя и не догадываешься, какое именно правило ты нарушил. Возможно, ей не понравился твой лексикон. Чистюля. Она оглядывает танцевальный зал, видимо, в поисках мужчины с подходящей лексикой. А у тебя есть в запасе еще целая куча слов: *нормализация,* например. *Несчастный* и *неблагополучный; сгинувший* и *скисший.* И ты не станешь всерьез жалеть об этой девице, полагающей, что *наваждение* и *невролог* — лучшие слова в том языке, на котором изъяснялись еще король Лир и король Яков Первый. Но так хочется, чтобы рядом кто-то был, слышать звук человеческого голоса... Ты предвидишь, что беспощадный рассвет сулит тебе немало мучений. Например, отвратительную полудрему, когда в черепушке словно чадит сальная коптилка.

Девица машет рукой, исчезая в толпе. Другой девушки, по ошибке забредшей в это паршивое местечко, тут не найти. Нет и Тэда Аллагэша. Боливийцы бунтуют. Ты не можешь заглушить их коварные голоса.

Вышел на утреннюю улицу, самочувствие — хуже некуда. Ослепительный свет — словно материнский упрек. Тротуар безжалостно сверкает. Обзор великолепный. Большие магазины в центре города стоят безмятежные и притихшие в косых лучах утреннего солнца. Едет такси

из северной части города, ты машешь ему рукой, но вдруг вспоминаешь, что у тебя нет денег. Такси останавливается.

Ты подваливаешь и наклоняешься к окошку:

— Пожалуй, я лучше пройдусь.

— Козел.— Таксист окидывает тебя презрительным взглядом.

Прикрывая глаза ладонью, плетешься пешком. Город еще спит, но на Гудзон-стрит гремят грузовики — они везут продукты. Ты поворачиваешь на восток. На Седьмой авеню пожилая женщина в бигуди выгуливает немецкую овчарку. Собака обнюхивает трещины в тротуаре, но когда ты приближаешься, застывает в настороженно-угрожающей стойке. Женщина смотрит на тебя, словно ты какое-то чудище, которое вылезло из морской пучины и ползет, оставляя за собой след из ила и тины. Овчарка нетерпеливо рычит на всякий случай.

— Молодчина,— говорит женщина. Пес делает рывок, но она одергивает его. Ты обходишь их стороной.

На Бликер-стрит тебя настигает запах итальянской пекарни. Ты останавливаешься перед домом на углу Бликер и Корнелиа и смотришь на окна четвертого этажа — на окна той самой квартиры, где ты поселился с Амандой, когда в первый раз приехал в Нью-Йорк. Квартира была маленькой и темной, но тебе нравились потолок с неровно закрепленными на нем декоративными плитками из белой жести, ванна на ножках в виде звериных лап, окна, которые никак не удавалось наглухо закрыть. Вы только начинали жить вместе. За квартиру ты платил исправно, на Макдугал у вас был любимый ресторанчик, где официантки знали вас по имени и куда можно было приходить со своей бутылочкой вина. Каждое утро ты просыпался от запаха хлеба из пекарни внизу. Ты выходил купить газету, а иногда и пару булочек, пока Аманда готовила кофе. Это было два года назад, еще до вашей свадьбы.

По Уэстсайдской автостраде ковыляет на каблуках одинокая проститутка, помахивая юбкой. Наверное, некому было просветить ее в том смысле, что, мол, пассажиры из Джерси (они обычно идут через туннель [1]) сегодня не предвидятся. Подойдя ближе, видишь, что это переодетый мужчина.

Ты проходишь под проржавевшими опорами старой подвесной автострады и приближаешься к пирсу. Свет поднимающегося солнца скользит по широким просторам Гудзона. Чем ближе к концу пирса, тем осторожнее ты ступаешь. Ты и так не слишком уверенно держишься на ногах, к тому же в помосте дыры, сквозь которые виднеется черная, вонючая вода.

Ты садишься на край пирса и смотришь на реку. Дальше по течению в утренней дымке виднеется статуя Свободы. На другом берегу огромный плакат фирм «Колгейт» предлагает посетить штат-сад Нью-Джерси.

Ты наблюдаешь, как в открытый океан торжественно направляется баржа с мусором; над ней с громкими криками тучей носятся чайки.

Ты снова наедине с собой. Все перепуталось, дальше идти некуда.

Отдел проверки

Понедельник наступает по расписанию. Первые десять часов ты спишь. Одному Богу известно, куда делось воскресенье.

На платформе подземки пятнадцать минут ожидаешь поезда. Наконец он вваливается на станцию, ты заходишь в вагон, усаживаешься и раскрываешь «Нью-Йорк пост». Чтение «Пост» — самая позорная

---

[1] Туннель имени Линкольна, соединяющий Манхэттен со штатом Нью-Джерси.

из твоих дурных привычек. Тебе противно выкладывать на подобный хлам тридцать центов, но втайне ты обожаешь «пчел-убийц», «полицейских-героев», «сексуальных маньяков», «победителей лотереи», «подростков-террористов», Лиз Тэйлор, «жестоких малышей», «психопатов-извращенцев», «кошмары наяву», «жизнь на других планетах», «внезапный взрыв численности населения», «чудодейственные диеты» и «детей, рожденных в коме». На второй странице — как раз статья о женщине, которая рожает в коме, под броским заголовком: СЕСТРА НЕСЧАСТНОГО РЕБЕНКА УМОЛЯЕТ: СПАСИТЕ МОЕГО БРАТИШКУ. Тут же снимок напуганной девочки лет четырех-пяти. Это дочка беременной женщины, той самой, что уже неделю находится в коматозном состоянии после автокатастрофы. Последние несколько дней перед читателями «Пост», что называется, ребром стоит вопрос — увидит ли когда-нибудь новорожденное дитя свет операционной.

Поезд покачивается и скрипит, двигаясь по направлению к Четырнадцатой улице. Дважды он останавливается в туннеле, словно для того, чтобы перевести дух. Ты тем временем читаешь о новом ухажере Лиз Тэйлор, но тут чья-то грязная рука касается твоего плеча. Не поднимая глаз, ты уже знаешь, что перед тобой инвалид, один из многих пропавших без вести в каменных джунглях. Ты лезешь в карман, чтобы дать бедолаге несколько монет, но пассажиры глядят на тебя как-то странно, и это заставляет тебя занервничать.

Он снова касается твоего плеча, ты поднимаешь глаза. Одет он довольно прилично, более или менее причесан, словно только что с какого-нибудь собрания, но глаза чокнутые, а рот перекошен.

— Мой день рождения,— говорит он,— тринадцатого января. Мне исполнится двадцать девять лет.

Звучит это у него почему-то угрожающе.

— Прекрасно,— говоришь ты и опять утыкаешься в газету.

Когда ты вновь поднимаешь глаза, видишь, что человек этот уже добрался до середины вагона и уставился на рекламу бизнес-школы. Ты наблюдаешь, как он, будто так и надо, усаживается на колени к какой-то старушке. Она пытается стряхнуть его, но он уселся основательно, и это не так-то просто.

— Извините, сэр, но вы на меня сели,— говорит она.— Извините, сэр.— Почти все в вагоне следят за этой сценой, но притворяются, будто ничего не замечают. Человек разваливается, скрестив руки на груди.

— Сэр, прошу вас, сойдите с меня.

Ты глазам своим не веришь. Полдюжины здоровых мужиков сидят как ни в чем не бывало на расстоянии плевка от этого безобразия. Ты бы сам вскочил, но соображаешь, что вступится кто-нибудь из разместившихся поближе. Женщина тихо плачет. С каждой минутой предпринять что-либо становится труднее, ибо все тут же подумают: а где ты раньше-то был? Все же ты надеешься, что тип этот наконец встанет и оставит старушку в покое. Ты представляешь себе заголовок в «Пост»: ПСИХ РАЗДАВИЛ НАСМЕРТЬ БАБУСЮ НА ГЛАЗАХ У ШЕСТЕРЫХ СЛЮНТЯЕВ.

— Прошу вас, сэр.

И тут, наконец, ты встаешь. В тот же миг поднимается и этот тип. Разглаживая рукой пальто, он отправляется в дальний конец вагона. Ты стоишь и чувствуешь себя идиотом. Старушка промокает глаза бумажной салфеткой. Тебе хотелось бы спросить, как она себя чувствует, но сейчас это ни к чему. Ты садишься.

Когда ты добираешься до Таймс-сквер, уже десять пятьдесят. Моргая глазами, ты идешь по Седьмой авеню. Солнечный свет чересчур ярок. Ты судорожно ищешь в карманах темные очки. Дальше путь твой лежит по Сорок второй улице, через блядский район. Каждый день один и тот же клич раздается из уст все того же старика:

— Девочки, девочки, свеженькие девочки. Джентльмены, за пос-

мотр денег не берем.— Слова и тон ни разу не изменились. Искусница Шарлотта, Шалунья Лола, секс-ревю — девочки, девочки, девочки.

Ожидая сигнала светофора у Сорок второй улицы, рассматриваешь афиши, повествующие о грядущих событиях, которые уже в прошлом; афиши, подобно лиане, душат фонарный столб. Тут же свежеклеенный плакат, заголовок: ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ. На фотографии — улыбающаяся, белозубая девушка, по возрасту примерно первокурсница. Ты читаешь: Мэри О'Брайен Макканн, студентка Нью-Йоркского университета; глаза голубые, шатенка, последний раз ее видели в районе Вашингтон-сквер-парка, одета в белую кофточку и голубой джемпер. У тебя аж сердце опускается. Ты думаешь о ее родных — отчаявшихся, насмерть перепуганных людях, которые от руки написали это объявление, приклеили его здесь и, вероятно, никогда не узнают, что же случилось с их девочкой. Зажегся зеленый свет.

Ты останавливаешься на углу, чтобы перехватить пончик и кофе. Сейчас 10.58. Версию о том, что поезд в метро сломался, ты уже измочалил до дыр. Может, сказать Кларе, что остановился глянуть бесплатно на искусницу Шарлотту и она тебя укусила.

Ты входишь в вестибюль, грудь твою сжимает от предчувствий, горло пересыхает. Ты чувствовал то же самое, когда утром по понедельникам шел в школу. Ты опять не сделал домашнего задания и теперь думаешь — куда тебя посадят в знак наказания за обедом. Каждый год ты объявлял, что начинаешь новую жизнь, но это не помогало. Застоявшийся запах дезинфекции в коридоре и суровые лица учителей. Твоя начальница Клара Тиллингаст несколько напоминает учительницу — ту, что тиранила тебя в четвертом классе, одну из тех неувядающих блюстительниц дисциплины, которые считают всех мальчишек испорченными, девчонок легкомысленными, праздный мозг — раздольем для дьявола и учат, вколачивая факты в головы школяров, словно гвозди в дубовый пол. Мадам Клара Тиллингаст, она же Липучка, руководит отделом проверки. Она прочно усвоила стиль учительницы начальных классов. В последнее время ты звезд с неба не хватал. Ты едва там держишься. Если бы Липучка захотела, тебя бы давно выгнали, но у журнала существует традиция не признавать свои ошибки. Редакционное предание гласит, что отсюда никогда никого не увольняли: ни театрального критика-наркомана, перепутавшего две разные премьеры и смешавшего в рецензии пьесу о жизни семьи на американском юге с фарсом о вьетнамской войне; ни плагиаторшу, которая передрала статью в пять тысяч слов прямо из номера «Панч» двадцатилетней давности и подписала своей фамилией (причем получила за это премию). Редакция во многом подобна «Айви лиг» [1], откуда и набирается большинство ее служащих. А еще она похожа на чопорную, замкнутую семью из Новой Англии, которая не выпускает из своего удушающего лона даже заблудших сыновей. Впрочем, ты для нее — в лучшем случае дальний родственник; если бы существовал филиал этого семейного бизнеса в отдаленной малярийной колонии, тебя наверняка давным-давно отослали бы туда, не снабдив на дорогу даже хинином. Твои прегрешения неисчислимы. Ты не можешь вспомнить их все, но у Липучки в одном из шкафов картотеки имеется их полный список. Время от времени она достает его и зачитывает тебе отдельные строчки. Мозг ее подобен стальной мышеловке, а сердце — яйцу, сваренному вкрутую.

Лифтер Лючио желает тебе доброго утра. Он родился на Сицилии и работает в этом здании уже семнадцать лет. Поучившись неделю, он, вероятно, мог бы занять твое место, а ты целый день сумел бы гонять лифт вверх-вниз. За одно мгновение ты на двадцать девятом этаже. Ты говоришь Лючио «пока», а секретарше Салли — «привет». Судя по выговору, она единственная сотрудница редакции, которая родилась в

---

[1] Престижные университеты Новой Англии, называемые «Плющевой лигой»; также — братство выпускников этих университетов.

бедном квартале. Она живет в одном из отдаленных районов, а на работу добирается по мосту либо через туннель[1]. Вообще же у здешней публики такой прононс, словно она вспоена «Английским утренним чаем» фирмы «Туайнингз»[2]. Мадам Тиллингаст, например, усвоила свое изысканное произношение — растянутые гласные и отрывистые согласные — в Вассаре[3]. Ее очень смущает, что родом она из Невады. Журналисты, включая иностранцев и чудаков-отшельников,— конечно же, публика более пестрая, да и выбираются они из нор на тридцатом этаже в такое время, когда никого уже нет. Поздними вечерами они подсовывают рукописи под дверь и ныряют в пустые кабинеты, едва завидят тебя в коридоре. Один таинственный тип по прозвищу Призрак трудится над статьей уже семь лет.

Собственно редакция занимает два этажа. Кроме того, несколькими этажами ниже находятся отделы распространения и рекламы. Тем самым лишний раз подчеркивается, что в этом заведении искусство полностью независимо от коммерции. Обитатели двадцать пятого ходят в строгих костюмах, говорят другим языком, полы там покрыты дорожками, на стенах — литографии. Предполагается, что с ними вам беседовать ни к чему. А здесь, на двадцать девятом, не желают загрязнять атмосферу ковровой пылью, здесь господствует стиль элегантной небрежности. Начищенные ботинки или подчеркнуто выглаженные брюки вызывают подозрение: в этом есть что-то итальянское; расположение помещений напоминает подземные ходы сусликов, с той лишь разницей, что прорыты они высоко над землей: кабинеты похожи на норки, а коридоры такие узкие, что двоим там просто не разойтись.

Ты двигаешь по линолеуму в отдел проверки. За приемной — кабинет Клары, дверь в него всегда приоткрыта, так что все приходящие сюда и уходящие из царства фактов не минуют ее внимательного взора. Она разрывается между стремлением уединиться (что является одной из почетных привилегий, положенных ей по должности) и желанием держать свои владения под тщательным контролем.

Сегодня утром Кларина дверь широко открыта, и тебе ничего не остается, как перекреститься и пройти мимо. Прежде чем нырнуть в свою комнату, украдкой бросаешь взгляд через плечо и видишь, что кабинет начальницы пуст. Коллеги твои между тем все на месте, за исключением Феб Хаббард, которая уехала в Вудс-хоул поработать над материалом о разведении лобстеров.

— Привет братьям-трудягам,— говоришь ты, усаживаясь на свой стул. Отдел проверки занимает самую большую комнату в редакции. Если у шахматных команд есть свои раздевалки, то они, наверное, выглядят так же. Здесь стоят шесть столов, один из которых предназначен для внештатных авторов, а на полках вдоль стен — тысячи справочников. Столы покрыты серым линолеумом, пол — коричневым. Расположение столов отражает незыблемую иерархию; стол у окна (он дальше всего от кабинета Клары) — старшего проверяющего, затем следуют столы остальных сотрудников и, наконец, твой — у книжных полок рядом с дверью. В целом же отдел — своего рода товарищеский клуб, в котором царит атмосфера демократизма. Фанатичная преданность журналу, свойственная вообще сотрудникам редакции, уступает здесь место преданности отделу: прежде всего мы, а потом уж они. Если в статье обнаружится ошибка, то будет распят не автор, а один из нас, его не уволят, но он получит нагоняй и, возможно, даже будет сослан в отдел доставки или машбюро.

Риттенхауз, который уже четырнадцать с лишним лет вылавливает ошибки и подтверждает факты, кивает и здоровается. Он выглядит встревоженным. Похоже, тебя разыскивала Липучка и, вероятно, она

---

[1] Имеется в виду туннель под Ист-ривер, соединяющий Манхэттен с районами Куинс.

[2] Старая респектабельная английская фирма.

[3] Вассар — престижный женский колледж.

уже высказалась относительно той самой последней капли, которая переполнила чашу ее терпения.

— Липучка уже здесь? — спрашиваешь ты. Он кивает и весь краснеет до галстука бабочкой. Риттенхаузу нравится твоя непочтительность, но при этом он почему-то чувствует себя виноватым.

— Похоже, она чем-то взволнована,— говорит он.— По крайней мере, мне так показалось,— добавляет Риттенхауз, проявляя скрупулезность, свойственную его профессии.

Полжизни этот человек читает лучшие произведения современной литературы и журналистики с единственной целью отделить факты от авторского мнения, каковое он игнорирует, а отсеянное проверяет, роясь в пыльных томах, в рулонах микрофильмов, звонит кому-то по телефону за рубеж, и все это продолжается до тех пор, пока не восторжествует истина. Он детектив мирового класса, но приверженность духу корпоративности заставляет его выбирать выражения, словно за спиной у него стоит огнедышащая Клара Тиллингаст, готовая наказать его за любое необдуманное слово.

Твой ближайший сосед, Ясу Уэйд, занят статьей о научных исследованиях. Это признак благосклонности начальства, обычно Липучка оставляет все материалы на научные темы, которые ей нравятся и требуют срочной проверки, себе. Уэйд разговаривает по телефону.

— Ну, хорошо,— говорит он,— а при чем здесь нейтрино?

Детство Уэйда прошло на базах ВВС, потом он слинял в Беннингтон и, наконец, оказался в Нью-Йорке. Говорит он с южным акцентом — шепелявит и гнусавит, время от времени у него мешаются «л» и «р». Особенно когда ему удается ввернуть словечко вроде «президент-элект»[1]. Его мать — японка, отец — капитан военно-воздушных сил из Хьюстона. Они поженились в Токио во время оккупации, и Ясу Уэйд — малоприятный итог этого брака. Он называет себя *Желтая Нонпарель*. Уэйд недостоин уважения во всех отношениях, но каким-то образом ухитряется превратить даже обидные для него слова в шутку. После Риттенхауза, который так естественно вписался в здешнее общество, что стал просто незаметен, он первый любимчик Клары.

— Поздно, очень поздно,— говорит Уэйд в твою сторону, положив телефонную трубку,— так не пойдет. Факты не могут ждать. Опоздание — тоже своего рода ошибка. По Гринвичу сейчас пятнадцать часов пятнадцать минут, а это значит, что на Восточном побережье по нашему летнему времени, которого большинство присутствующих придерживаются, сейчас четверть двенадцатого. Рабочий день начинается в десять утра — значит, ты ошибся на час пятнадцать.

Вообще-то распорядок в журнале не так строг, как хотел бы представить Уэйд. Липучка любит подчеркнуть свое привилегированное положение, приходя между десятью пятнадцатью и половиной одиннадцатого. Если к десяти тридцати сотрудник на месте, то, значит, он в относительной безопасности. Тем не менее хотя бы раз в неделю ты ухитряешься нарушить и этот предельный срок. Ты спрашиваешь:

— И что она, дует крутым кипятком?

— Я бы не стал так говорить,— отвечает Уэйд,— по правде, мне больше по душе та манера выражаться, которая принята в Англии. Так вот, там этот глагол означает всего-навсего, что человек напился: например, у Малколма Лоури[2] консул надулся мескаля в Куаунахуаке, если я правильно помню название города.

— А ты знаешь, как это пишется? — спрашиваешь ты.

— Конечно. Но вернемся к твоему первому вопросу — да, Клара немного сердится. Она тобой недовольна. Или, может быть, она рада убедиться, что ты подтверждаешь ее худшие опасения. По крайней мере запахло жареным. На твоем месте я бы...— Уэйд смотрит на дверь и поднимает брови.— На твоем месте я бы обернулся.

---

[1] Избранный, но еще не вступивший на пост президент.

[2] Малколм Лоури (1909—1957) — английский писатель.

В дверях — Липучка, она выглядит как хороший типаж для фотографии Уокера Эванса [1] времен депрессии, на каменном лице застыло выражение подозрительности. Она блюстительница протокола, жрица второго издания «Полного словаря» Уэбстера, у нее орлиный взор и нюх ищейки. Клара бросает на тебя взгляд, который может расколоть стекло, а затем уходит. Она хочет, чтобы ты какое-то время помучился.

Ты начинаешь копаться у себя в столе и наконец извлекаешь оттуда ингалятор «Викс». Мозги твои замело снежными сугробами, и сейчас ты пытаешься прочистить дорожку сквозь завалы.

— Ну что, горло замучило? — Уэйд бросает на тебя понимающий взгляд. Он гордится своим всеведением, но достаточно хитер, чтобы не делать людям гадостей. Ты подозреваешь, что его сексуальная подготовка носит в основном теоретический характер. Он обожает пикантные слухи и всегда рассказывает тебе, кто с кем спит. Впрочем, ты ничего не имеешь против. На прошлой неделе, например, досталось Дэвиду Боуи и князю Ренье [2].

Пытаешься сосредоточиться на статье о выборах во Франции. Твоя задача — проследить, чтобы там не оказалось фактических или орфографических ошибок. В данном случае фактическая сторона дела настолько запутана, что разобраться в ней совсем не просто. Автор, бывший обозреватель по вопорсам гастрономии, щедро уснастил свое творение прилагательными и совершенно пренебрег существительными. Престарелого министра он именует «комковатым», а идущего в гору социалиста «подрумяненным». Липучка, наверно, дала тебе этот материл для того, чтобы ты повесился. Она знала, что здесь — полная несуразица. Знала она, вероятно, и то, что запись в анкете (где ты сообщал, что свободно владеешь французским) — сплошная липа, а ты чересчур горд, чтобы это признать. Проверка фактов требует многочисленных телефонных звонков во Францию, и на прошлой неделе ты выглядел глупо, талдыча свое je ne comprends pas [3] различным министерским чинам и их помощникам. К тому же у тебя есть свои причины, по которым ты не хочешь звонить в Париж, разговаривать по-французски и вообще слышать не желаешь об этом проклятом городе. Причины эти связаны с женой.

Проверить все факты в данной тебе статье совершенно невозможно, и в то же время отказаться от задания, сохранив при этом достоинство, тоже нельзя. Остается надеяться на то, что автор вопреки обыкновению не наделал ляпов. А также на то, что Липучка не пройдется, как обычно, по тексту частым гребнем.

Ну за что она тебя ненавидит? Она же, в конце концов, взяла тебя на работу. Когда же ваши отношения стали портиться? Ты ведь не виноват, что она никогда не была замужем. После собственного семейного Пирл-Харбора ты понял, что жизнь в одиночку во многом объясняет раздражительность и неровность характера. Иногда тебе хотелось ей сказать: *Слушай, я ведь тоже знаю, каково быть одному.* Ты как-то видел ее в маленьком баре неподалеку от Колумбуса [4]. Там еще, помнится, стоял рояль. Она сидела, зажав в руке бокал, и ждала: может, кто-нибудь подойдет и поздоровается. Когда она устраивала тебе выволочку, хотелось спросить: *Неужели вы не понимаете, что мучаете меня?* Но к тому времени, когда ты уразумел, в чем тут дело, было уже поздно. И вот теперь она жаждет твоей крови.

Возможно, все началось после той истории с Джоном Донлеви. Ты и месяца не проработал в журнале, а Клара ушла на неделю в отпуск. Донлеви, получив вторую Пулицеровскую премию, решил поразмять извилины и накатал для журнала рецензию. В вашем отделе ре-

---

[1] Уокер Эванс — американский фотограф, известный своими портретами простых американцев во время экономического кризиса 1929—1930 годов.

[2] Дэвид Боуи — английский рок-певец, князь Ренье — глава княжества Монако.

[3] Я не понимаю *(франц.)*.

[4] Колумбус — площадь в Нью-Йорке.

цензии на книги считались материалом не слишком важным, и Клара оставила статью тебе. По своей наивности ты не только выправил кое-какие ошибки в цитатах, но и стал редактировать сам текст, да к тому же усомнился, верно ли автор понял книгу. Ты отдал гранки и, довольный, отправился домой. В секретариате получилась какая-то неувязка и вместо экземпляра, просмотренного редактором, Донлеви получил твой. Редактор, моложавая женщина, только что пришедшая из университетского журнала в Йеле, просто балдела от того, что работает с такой знаменитостью. Узнав о случившемся и увидев твой экземпляр, она пришла в ужас. Тебя вызвали к ней в кабинет и отчитали за небывалую наглость. Править Джона Донлеви! Ужасно. *Немыслимо.* Да у тебя молоко на губах не обсохло! Если бы ты учился в Йеле, то, может быть, и умел бы себя вести. И вот, пока она ломала голову над тем, как получше объяснить Донлеви этот возмутительный случай, он позвонил сам и сказал, что благодарен за правку и кое-какие замечания принимает. Ты узнал о таком повороте событий от телефонистки, которая подслушала их разговор. Больше редакторша с тобой не общалась. По возвращении Клары последовала еще нотация уже от нее, при этом было добавлено, что ты поставил ее и весь отдел в неудобное положение. Когда вышел номер журнала, ты с некоторым удовлетворением заметил: наиболее ценные твои замечания приняты к сведению. С тех пор Клара отреклась от тебя.

Надо отдать Кларе должное: в последнее время ты не очень тщательно исполнял свои обязанности. Наверное, все дело в характере. Ты вроде бы стараешься, стараешься, но совсем не считаешь этот труд интеллектуальным или хотя бы просто достойным человека. Разве не должны компьютеры освободить нас от этой нудоты?

По сути дела, ты не хочешь работать в отделе проверки. Ты бы предпочел трудиться в Прозе. Ты не раз осторожно намекал на желание перейти туда, но в литературном отделе в последние годы не появлялось вакансий. Работники твоего отдела презирают беллетристику; весь этот словесный маскарад, в основе которого не лежат факты, представляется им мясом, лишенным костей. Существует мнение, что если литература и не умерла, то она по крайней мере далека от действительности. Но ты скорее без всяких колебаний выберешь новый рассказ Беллоу, чем статью о съезде республиканской партии в шести частях. Вся проза, публикуемая в журнале, идет через ваш отдел, и поскольку никто не жаждет ею заниматься, ты принимаешься за проверку: если в рассказе с местом действия в Сан-Франциско фигурирует экстрасенс Фил Доукс, необходимо убедиться, что в телефонном справочнике этого города нет никакого Фила Доукса, который мог бы объявиться и подать на журнал в суд. При работе с литературным произведением дело обстоит совсем не так, как с проверкой документального материала, а как раз наоборот. Нужно удостовериться, что в рассказе ни в коем случае не фигурируют реальные люди и события. И хотя читаешь ты, что называется, «по диагонали», это все же дает тебе возможность познакомиться кое с чем, достойным внимания. Поначалу Липучка, казалось, была довольна, что ты берешься за дело, которым никто не хочет заниматься, но теперь она пеняет тебе за то, что ты тратишь слишком много времени на беллетристику. Ты отступник в царстве фактов! Между тем работники отдела прозы вовсе не в восторге от сообщения, что в сцене рыбной ловли на мушку допущена явная «клюква», ибо там упомянуты бабочки-желтушки, которые якобы плодятся на какой-то речке в Орегоне, а на самом деле бабочек-желтушек там никогда и не было. И тебе поневоле приходится выступать в роли эдакого посланца из страны педантизма. «Так что же, черт возьми, плодится в этом проклятом Орегоне?» — спрашивает редактор. «Лососиные мухи, например»,— отвечаешь ты. При этом хочется извиниться: такова моя работа — мне она тоже не нравится.

К твоему столу подходит Меган Эвери. Она берет в руки вставлен-

ную в рамку вышивку гарусом, над которой Уэйд корпел к твоему дню рождения, на ней слова:

Факты не зависят от точки зрения,
Факты не меняются от моего хотения.
«Токинг хедс» [1]

Когда Уэйд подарил тебе эту штуку, ты не знал, то ли поблагодарить его за потраченное время и проявленную заботу, то ли обидеться, усмотрев тут намек на твою профессиональную некомпетентность. Меган спрашивает:

— Как дела?

Ты отвечаешь, что все в порядке.

— Правда? — Меган хочет, чтобы в жизни все было по-честному. У таких, как она, надо брать уроки здравого смысла. Почему ты никогда не пытался поговорить с ней откровенно. Она старше тебя и разумнее. Ты даже не знаешь толком, сколько ей лет: у нее, кажется, вообще нет возраста. Это броская или скорее привлекательная женщина, но по натуре она настолько серьезна и практична, что трудно увидеть в ней существо противоположного пола. Она хотя и была однажды замужем, но чем-то напоминает эмансипированных, уверенных в себе женщин из Уэст Виллидж, способных без сильного пола и за себя постоять, и помочь друзьям в их многочисленных несчастьях. Ты уважаешь ее. На свете не так уж много разумных людей. Может, стоило бы когда-нибудь пригласить ее пообедать.

— Да, действительно, все в порядке,— говоришь ты.

— Помочь тебе с этими французами? Сейчас я не очень занята.

— Спасибо. Наверное, я и сам справлюсь.

В двери появляется Липучка. Она кивает тебе.

— Мы решили, что французская статья пойдет в ближайшем номере. Это значит, что она должна быть на моем столе сегодня до вашего ухода. Завтра после обеда мы сдадим ее в печать,— она помолчала.— Управитесь?

Выше себя не прыгнешь, и ты подозреваешь, что она это знает.

— Я мог бы сегодня вечером отдать ее прямо в секретариат, не утруждая вас.

— Нет, статья должна быть у меня,— говорит она.— Может быть, вам помочь?

Ты мотаешь головой. Если она сейчас увидит, в каком состоянии текст, тебе конец. Ты не соблюдал правила. Ты ставил пометки ручкой там, где нужно было работать карандашом. Вместо синего карандаша у тебя — красный. На полях — телефонные номера, страницы — в пятнах от кофе. Ты преступил все запреты! И теперь тебе надо найти чистый экземпляр гранок. Липучка очень любит придираться к формальностям.

Перспектива предстоящей работы усиливает невыносимую головную боль, с которой ты проснулся. Ты измотан. Ужасно устал. Поспать бы дней восемь — пришел бы в норму. Чтобы проверить французскую галиматью, понадобится целая баржа Походного Порошка. Даже подумать страшно. Тебе нужно было возражать против сроков сдачи статьи. Какого черта никто не спросил тебя, готов ли материал? Даже если бы ты говорил по-французски как настоящий француз, для проверки потребовалось бы еще несколько дней. Если бы ты не боялся, что Клара или Друид увидят, в каком состоянии текст, ты бы, конечно, стал протестовать.

Будь ты японцем, тебе бы в самый раз сделать *харакири.* Напиши прощальный стих о мимолетности цветения сакуры, о быстротечной молодости, оберни меч в белый шелк, вонзи его в живот и рвани вверх. И не стони, пожалуйста, и не делай угрюмую мину. Ты узнал подроб-

---

[1] Рок-группа «Кумушки».

ности этого ритуала, проверяя статью о Японии. Но у тебя не хватает самурайского духа. Ты парень из тех, кто в последний момент надеется на чудо. Землетрясение Манхэттену не угрожает, но всегда есть возможность ядерной войны. Если она не начнется в ближайшее время, то уже ничто, как ты понимаешь, не изменит график выпуска.

Вскоре после полудня Друид идет на цыпочках мимо вашей комнаты на обед. Поскольку ты в это время сидишь, бесцельно уставившись в открытую дверь, невольно встречаешься взглядом с его поразительно близорукими глазами. Он чопорно кланяется. Друид — своего рода человек-невидимка: нужно долго высматривать его, чтобы обнаружить. Хотя тебе не приходилось видеть клерка викторианской эпохи, ты полагаешь, что он, должно быть, выглядел как Друид. Его природная сдержанность отозвалась в работе всей редакции. Будучи четвертым представителем династии хозяев журнала, он руководит им уже двадцать лет. Все сотрудники тщетно пытаются разгадать его. Ни одна статья не попадает в набор без восторженного одобрения и окончательной правки Друида. Никаких споров и никаких объяснений. Ему претит, что приходится просить помощи у сотрудников, но при этом он неизменно вежлив. Официально нет никого, кто считался бы его заместителем, нет, потому что это предполагало бы когда-нибудь смену власти, а Друид и помыслить не может о существовании журнала без него. В московском Кремле, должно быть, дело обстоит примерно так же. Возможно, он подозревает, что смертен, и потому избегает печатать литературные произведения о смерти; все упоминания о близорукости также вычеркиваются. От его внимания не ускользает никакая мелочь.

С Друидом ты общался лишь однажды, когда он призвал тебя и высказал беспокойство, правильно ли с точки зрения норм английского языка выразился президент Соединенных Штатов. Ты проверял материал, в котором президент предостерегал кого-то от необдуманных действий. По мнению Друида, президент хотел сказать: неосмотрительных. Он попросил тебя позвонить в Белый дом и получить санкцию на правку. Ты послушно позвонил и попытался объяснить разницу между двумя словами. Ты потратил несколько часов, ожидая ответа. Одни восприняли твое замечание всерьез, но не хотели ввязываться в это дело. Другие посылали тебя куда подальше. Журнал между тем уже подписывался в печать. Друид звонил тебе трижды и велел не ослаблять усилий. Наконец, когда из секретариата с криком требовали последних страниц, было найдено идеальное решение, неведомое ни президенту, ни его аппарату. Если второе издание Уэбстера дает разное толкование обсуждаемых слов, то более упрощенное третье считает их синонимами. Друид позвонил тебе последний раз, чтобы объяснить это и оставить — не без боязни — цитату в первоначальном виде. Журнал отправили в набор. Правительство, не ведая ни о чем, продолжало свою работу.

В час дня ты отправляешься перекусить. Меган просит принести ей лимонад. Ты бочком проскальзываешь в дверь и думаешь, как было бы здорово вообще никогда сюда не возвращаться. Ты думаешь так же, как было бы хорошо сейчас заглянуть в ближайший бар. Резкий отблеск тротуара слепит тебя, ты лезешь в карман пиджака в поисках темных очков. Мысленно объясняешь прохожим: у меня болят глаза.

Вваливаешься в закусочную и заказываешь копченую говядину на ржаном хлебе и яичный крем. Лысый человек за стойкой, нарезая мясо, весело насвистывает.

— Мясо сегодня хорошее, постное,— говорит он.— А теперь немножко горчицы — точь-в-точь как готовила твоя мама.

— А откуда вы знаете, как она готовила? — спрашиваешь ты.

— Да это я так, приятель, говорю что в голову придет,— отвечает он, завертывая пакет. Вся обстановка тут — и особенно сырое мясо на льду за стеклом стойки — не способствует аппетиту.

На улице, пока ты ждешь светофора, к тебе пристает прислонившийся к столбу человек.

— Эй, друг, посмотри-ка сюда. Настоящие часы «Картье»[1]. Сорок долларов. С такими часами все на тебя смотреть будут. Самые настоящие. Всего сорок бабок.

Человек стоит рядом с манекеном, вытянутые руки которого увешаны часами. Он протягивает тебе одни.

— Проверь.

Если возьмешь часы в руки, уже обяжешься. Но невежливым быть не хочется. Берешь часы и рассматриваешь.

— Откуда видно, что они настоящие?

— А как ты вообще отличаешь настоящее от подделки? Написано «Картье» прямо тут, на циферблате, верно? На вид настоящие. На ощупь настоящие. Чего тебе еще надо? Сорок бабок. Тут не прогадаешь.

Часы вроде бы фирменные. Изящные, прямоугольный циферблат, римские цифры, заводная головка с сапфиром. Ремешок, если потрогать,— из хорошей кожи. Но если они и настоящие, то, пожалуй, ворованные, а если не ворованные, то, значит, подделка.

— Отдаю за тридцать пять монет. Последняя цена.

— Чего так дешево?

— Зато накладных расходов почти нет.

У тебя много лет не было часов. Знать, который час — уже первый и немаловажный шаг по упорядочению собственной жизни, которая сейчас катится по наклонной. Ты никогда не считал себя пунктуальным человеком, но миниатюрные «Картье» тебе бы, несомненно, пригодились. Выглядят они как настоящие — даже если и подделка — да и время показывают. Черт с ними.

— Тридцать долларов,— говорит человек.

— Покупаю.

— Грабишь ты среди бела дня, а не покупаешь!

Ты заводишь новые часы, надеваешь их на руку и любуешься своим приобретением.

Сейчас 1.25.

Едва приходишь в редакцию, как вспоминаешь, что забыл лимонад для Меган. Извиняешься и говоришь, что сейчас за ним сходишь. Она просит не беспокоиться. Пока тебя не было, она приняла две телефонограммы, одну от месье такого-то из министерства не-пойми-чего и одну от твоего брата Майкла. По правде говоря, тебе неохота разговаривать ни с тем, ни с другим.

К двум часам дня в Париже уже восемь, и все разошлись по домам. Остается только копаться в справочниках или звонить во французское консульство в Нью-Йорке. Резь в глазах непереносимая — в них будто впиваются иголки. Работаешь вслепую.

Новые часы останавливаются в три пятнадцать. Ты встряхиваешь их, затем заводишь. Заводная головка вываливается в ладонь.

Редактор статьи звонит узнать, как идут дела. Ты отвечаешь, что дела идут. Он извиняется за изменение графика; он намеревался отложить материал по крайней мере до следующего месяца. По непонятной причине Друид передвинул его вперед.

— Я лишь хотел предупредить вас,— говорит редактор.— Ничего не принимайте на веру.

— Это моя работа — ничему не верить,— говоришь ты.

---

[1] Известная французская ювелирная фирма.

— Я имею в виду именно эту статью. Автор не выезжал из Парижа последние двенадцать лет и проводит большую часть времени в ресторанах. Он никогда ничего не проверяет.

Иисус плакал.

Во второй половине дня ты дважды звонишь автору и спрашиваешь, где он обнаружил те или иные факты. Во время первого разговора ты перечисляешь все допущенные им ошибки, и он охотно соглашается с каждым замечанием.

— Откуда вы взяли, что французское правительство имеет контрольный пакет «Парамаунт пикчерс» [1]? — спрашиваешь ты.

— А разве нет? Вот черт. Вычеркните.

— На этом держатся следующие три абзаца.

— Черт возьми. От кого же я это слышал?

К концу второго разговора он разозлился, словно его ошибки — это твоя выдумка. С авторами всегда так: обижаются, хотя сами же от тебя зависят.

К вечеру поступает служебная записка, адресованная «сотрудникам». Она подписана помощником Друида, что превращает ее в Слово Божие.

Нам стало известно, что некий м-р Ричард Фокс пишет статью о журнале. М-р Фокс мог уже связаться с некоторыми из вас. У нас есть основания полагать, что намерения этого репортера не совпадают с интересами журнала. Мы хотели бы напомнить всем сотрудникам о политике журнала в отношении прессы. Все вопросы и просьбы об интервью должны направляться руководству. Ни при каких обстоятельствах никто из сотрудников не может говорить от имени журнала без предварительного разрешения. Мы напоминаем вам, что вся деятельность журнала является служебной тайной.

В отделе проверки записка вызывает изумление. Журнал вмешивался во многие судебные процессы, связанные со свободой печати, однако в этом приказе-затычке нет ни капли иронии.

Уэйд говорит:

— Хотел бы я, чтобы Ричард Фокс позвонил мне.

Меган говорит:

— Брось ты, Ясу. Я точно знаю, что Ричард Фокс — вполне нормальный мужчина.

— Точно? Интересно было бы услышать, как ты это выяснила.

— А вот так. Тебе всегда интересно, когда речь заходит про такое,— говорит Меган.

— Во всяком случае,— говорит Уэйд,— меня просто разбирает от любопытства — сколько сребреников стоит грязное бельишко нашей конторы. Но пойми меня правильно — это вовсе не значит, что я считаю Фокса непривлекательным.

Риттенхауз нервно теребит очки, демонстрируя тем самым желание высказаться:

— Я, скажем, не считаю, что Ричард Фокс объективный репортер. У него склонность к сенсациям.

— Конечно,— говорит Уэйд.— За это мы его и любим.

Став обладателями опасной информации, все на миг ощутили свое могущество. Вот бы Ричард Фокс или кто там еще втравил Клару Тиллингаст в хороший скандал.

---

[1] Одна из ведущих голливудских кинокомпаний.

К семи часам сотрудники разошлись по домам. Все предлагали помочь тебе, но ты отказался. Какое-то жалкое благородство есть в том, что ты терпишь крах в одиночку.

Уходя, Клара просовывает голову в дверь.

— Материал — ко мне на стол,— говорит она.

А мне начхать, думаешь ты.

Ты киваешь и, демонстрируя свое усердие, зарываешься в листы гранок. Теперь важно замести следы, то есть хотя бы подчеркнуть карандашом места, которые ты не сумел проверить; вся надежда на то, что ничего серьезного ты не упустил.

В семь тридцать звонит Аллагэш.

— Что это ты до сих пор торчишь на работе? — говорит он.— У нас же есть планы на вечер. Как говорится, нас ждут великие свершения.

В Аллагэше тебе нравятся два свойства: он никогда не спрашивает, как твои дела, и никогда не ждет от тебя ответа на свои вопросы. Раньше это коробило, но теперь, когда дела твои идут из рук вон плохо, тебе хочется, чтобы никто ничего о тебе не знал. Сейчас нужно держать ухо востро. А Тэд — как раз из тех, кто, отправляясь в лес, никогда не думает про волков. Как хорошо иметь друзей, которые действительно заботятся о тебе и понимают, что с тобой творится. В последнее время ты избегал их. В твоей душе (равно как и в квартире) — полнейший бардак, и пока ты не наведешь там порядок, никого туда не пустишь.

Аллагэш сообщает, что с тобой жаждут пообщаться Натали и Инга. Папа Натали руководит нефтяной компанией, а Инга скоро выступит в солидной телевизионной рекламе. К тому же, в «Ритце» играют Деконструктивисты, один из домов моды выступает спонсором благотворительного вечера в помощь страдающим дистрофией, и Натали отхватила кусок Валового Национального Продукта Боливии.

— Я буду работать всю ночь,— говоришь ты. На самом деле ты уже готов сдаться, хотя понимаешь, что вечер с Аллагэшем — отнюдь не лучшее лекарство от невзгод. Ты думаешь, что хорошо бы сейчас завалиться в постель. Ты так устал, что можешь растянуться прямо здесь на линолеуме и провалиться в глубокую кому.

— Подожди меня. Я за тобой заеду,— говорит Тэд.

Из набранной гранки перед тобой выступает фраза «упорная оборона». Она заставляет тебя устыдиться. Ты вспоминаешь греков у Фермопил, техасцев под Аламо, Джона Поля Джонса с его дырявой посудиной [1]. Сейчас ты соберешься с силами и разделаешься со всеми ошибками, с ложью.

Ты говоришь Тэду, что позвонишь через полчаса. Потом раздается трель телефона, но ты не берешь трубку.

В одиннадцатом часу ночи ты наконец кладешь гранки на стол Клары. Тебе бы полегчало, если бы ты по крайней мере мог сказать себе, что ты на высоте. Чувствуешь себя студентом, который сдает недоделанную курсовую — понаписал всякой чепухи да еще половину содрал. Ты отцедил и выловил несколько колоссальных ошибок, что лишний раз подчеркивает — в этой статье вообще многое, оставшееся непроверенным, подозрительно. Писавший рассчитывал, что отдел проверки санкционирует его случайные наблюдения и каверзные обобщения. С его стороны это свинство, но твоя задача — вытянуть текст, и именно твоя работа сейчас на виду. В истории журнала известен лишь один случай печатного извинения за ошибку. Сотрудник, проморгавший ее, был немедленно сослан в отдел рекламы. Твоя единственная надежда на то, что Липучка не прочтет материал. Например, в редакции может по неизвестным причинам начаться пожар. Или Клара сегодня напьется до чертиков, свалится с табурета у стойки бара и расколет черепуш-

---

[1] Джон Поль Джонс (1747—1792) — американский морской офицер, поступил на службу на русский флот в 1788 г.

ку, или ее пришьет какой-нибудь сексуальный маньяк. Любой читатель «Пост» скажет, что такое возможно. Такое случается каждый день.

В свое время была мультяшка, которую ты очень любил,— там участвовали великодушный волшебник и черепаха, которая умела путешествовать во времени. Черепаха отправлялась в прошлое, скажем во времена Французской революции, и неизбежно вляпывалась в какую-нибудь историю. В последнюю минуту, когда ее укладывали под гильотину, она кричала: «Спаси меня, волшебник!» — и волшебник на другом конце временной спирали взмахивал своей палочкой и спасал несчастную черепаху.

Проходишь по узкому коридору мимо закрытых дверей, и тебя охватывает ностальгия. Ты вспоминаешь, как шел этим же коридором на первое собеседование, и тогда уютный, потрепанный вестибюль лишь усиливал твое ожидание чего-то грандиозного. Ты перебираешь в уме знаменитостей, которые обрели здесь имя. Ты думаешь о себе в третьем лице: *Он пришел на свое первое собеседование в темно-синем блейзере. Ему предложили место в отделе проверки. При его бурном темпераменте эта работа уже тогда казалась ему совершенно неподходящей. Но ему не так уж долго пришлось страдать в царстве фактов.*

Первые месяцы — по крайней мере теперь тебе так кажется — жизнь сулила радужные перспективы. Ты был убежден, что делаешь важное дело и тебя ждет вполне приличная карьера. Здесь ты встретился с людьми, которых любил многие годы. Когда ты женился, сам Друид прислал поздравительную записку. Потребовалось время, чтобы стало ясно: в отделе проверки твои таланты расходуются впустую.

Что-то изменилось. На каком-то этапе ты перестал набирать скорость.

Старший корректор, миссис Бендер, засиделась на работе допоздна. Ты входишь и желаешь ей спокойной ночи. Она спрашивает, как там у тебя дела с французской статьей, и ты отвечаешь ей, что кончил работу.

— Черт знает что он там понаписал,— говорит она.— Читается по крайней мере как плохой перевод с китайского. Эти чертовы авторы хотят, чтобы мы делали за них всю работу.

Ты киваешь и улыбаешься. Ее ворчание действует на тебя словно дождь в конце удушливого дня. Она покачала головой и прищелкнула языком. Ты задерживаешься в дверях.

— Скоро домой? — спрашиваешь ты.

— Нет еще.

— Принести вам чего-нибудь снизу?

Она мотает головой:

— Не навеки же я здесь поселилась.

— Ну, тогда до завтра.

Она кивает и возвращается к своим гранкам.

Ты идешь к лифту и нажимаешь кнопку «Вниз».

Польза вымысла

Ты — из тех ребят, которые могут по достоинству оценить тихий вечер дома за хорошей книгой. Из динамиков стереосистемы приглушенно доносится Моцарт, на подлокотнике кресла — чашечка какао, на ногах — шлепанцы. Вечер, понедельник. А кажется, что уже четверг. По дороге от подземки убеждаешь себя, что нужно подавить нарастающий страх, который охватывает тебя всякий раз, когда возвращаешься вечером домой. В конце концов, твой дом — твоя крепость. Подходя к своему жилищу на Двенадцатой западной улице, вновь убеждаешься, что архитектор и в самом деле построил его наподобие замка: башня с бой-

ницами над крышей здания скрывает водонапорный бак, над парадной дверью — прямо как над крепостными воротами — решетка. Правда, бутафорская. Ты заходишь в подъезд и осторожно открываешь почтовый ящик. Что там — неизвестно. Со дня на день может прийти письмо от Аманды, в котором она объяснит свое бегство, будет умолять простить ее или просто попросит выслать свое барахло по новому адресу.

Сегодня там — извещение компании «ВИЗА» о просроченном платеже, послание из какой-то «Звукозаписи для слепых», которая очень надеется на твою помощь, письмо от соседа по студенческому общежитию и шафера на твоей свадьбе Джима Уинтропа из Чикаго и что-то официальное для Аманды Уайт. Сперва ты вскрываешь письмо Джима. Оно начинается словами «Приветствую тебя, о инопланетянин» и кончается «привет Аманде». Письмо Аманде — на стандартном бланке страховой компании, ее фамилия впечатана на машинке в специально оставленном пустом месте.

> Будем откровенны, при Вашей профессии внешность — Ваш главный капитал. Быть манекенщицей — увлекательное и неплохо оплачиваемое занятие. По всей вероятности, Вас ожидают долгие годы материального благополучия. Но что ждет Вас, если Вы попадете в аварию и получите увечье? Даже небольшая травма будет означать конец Вашей карьеры и одновременно потерю заработка.

Ты комкаешь письмо, и оно, описав дугу, летит в мусорный ящик рядом с лифтом. Ты нажимаешь на кнопку. *Что ждет Вас в том случае, если отвергнутый муж плеснет кислоту Вам в лицо?* Нет. Остановись. Это говорит не лучшее твое «я». Выкинь из головы эти мысли.

Звук ключей в дверных замках напоминает о твоем затворничестве. В квартире обитают привидения. Лишь сегодня утром ты обнаружил кисточку для пудры рядом с уборной. Воспоминания таятся в ящиках шкафов, подобно комкам свалявшейся пыли. И даже стереосистема тут — особой марки. Она способна играть лишь музыку, полную мучительных воспоминаний.

Это вторая квартира, в которой ты жил с Амандой, сюда вы перебрались, чтобы было где расставить свадебные подарки. Аманда хотела жить на Верхнем Ист-сайде, рядом с другими манекенщицами. Она принесла домой проспекты кооперативов, и когда ты спросил, где вы возьмете деньги, она предложила занять их у твоего отца. Ты спросил, почему она решила, что он раскошелится, даже если у него есть такие деньги,— она пожала плечами. «Во всяком случае, я и сама сейчас довольно хорошо зарабатываю»,— сказала она. Впервые ты подумал, что она считает твою семью богатой, а по стандартам ее детства она и была таковой. Она сказала: «Посмотри, какая симпатичная кухня».

Квартира эта была вашим компромиссом. Дом помещался в деловом центре города, но был, казалось, перенесен сюда из богатых северных кварталов: высокие потолки, швейцар, настоящие камины. Вам обоим нравились деревянные панели и дубовые брусья на потолке. Аманда сказала, что здесь вы не будете выглядеть нелепо, обедая на приличной посуде и со столовыми приборами из чистого серебра. По мере приближения свадьбы ее вниманием все больше овладевали вилки-ложки, посуда и хрусталь. Она настаивала, чтобы ты купил для начала серебряный столовый прибор у «Тиффани»: цена на серебро подскочила, и Аманда была уверена, что к вашей свадьбе она удвоится или утроится. Ей сказал об этом известный модельер. Она купила комплект на шесть персон — он стоил ей трех недель работы в демонстрационных залах. Через несколько дней цена на серебро полетела вниз, и шесть приборов стоили уже столько, сколько она заплатила за один.

Когда она услышала, что у твоей семьи есть фамильный герб, она захотела выгравировать его на серебре, но ты не разрешил использовать семейную монограмму. Ее страсть к стяжательству стремительно

набирала обороты, и это тебя пугало. Она, казалось, жаждала обеспечить вас всем сразу и на всю жизнь. Но не прошло и года после этой меркантильной предсвадебной суеты, как она сбежала. Теперь ты ешь с картонных тарелок, и дубовые брусья тебя не радуют. Более того, ты не в состоянии платить за квартиру. Ты всерьез собираешься искать себе новое жилище, где сам будешь мыть посуду и стирать белье.

Ты закрываешь дверь и стоишь в прихожей, прислушиваясь. Первое время после отъезда Аманды ты останавливался здесь в надежде, что она вернулась, казалось, ты войдешь в гостиную, и она встретит тебя, полная нежности и раскаяния. Надежда эта почти испарилась, но все равно ты на мгновение задерживаешься в прихожей, вслушиваясь в тишину — то ли это безобидная пустота, то ли тревожная, наполненная жалобами и воплями. Пока это тебе неясно. Ты входишь в гостиную и бросаешь пиджак на двуместный диванчик. Затем выуживаешь шлепанцы и просматриваешь корешки книг на полках. Ты полон решимости наконец провести тихий вечер дома. Наугад выбранные названия кружат голову:«Пока я умираю», «Под вулканом», «Анна Каренина», «Жизнь и время», «Братья Карамазовы». Должно быть, в молодости ты был честолюбив. Естественно, многие из этих книг ты никогда не раскрывал. Ты собирал их впрок.

Кажется, единственное, чем бы ты хотел заняться,— это сочинительство. Считается, что страдание — тот материал, из которого слагаются произведения искусства. Ты мог бы написать книгу. Ты чувствуешь: стоит лишь заставить себя сесть за машинку, и, то, что казалось лишь цепью непредсказуемых катастроф, обретет художественную форму. По крайней мере ты бы отыгрался, изложив свою версию событий, изобразив себя в роли эдакого оскорбленного героя. Принц Гамлет на стене замка. А может, не надо о себе, может быть, лучше заняться построением неких чисто формальных словесных конструкций... или создать сказочный мир, населенный крохотными пушистыми существами и гигантскими чешуйчатыми монстрами.

Ты всегда хотел быть писателем. Работа в журнале — лишь первый шаг к литературной славе. Ты сочинял рассказы, которые казались тебе изысканными и, по твоему мнению, были даже чуть лучше тех, что постоянно печатались в вашем журнале. Ты посылал их в отдел литературы, а их возвращали с вежливыми отказами. «Для нас сейчас они не совсем подходят, однако благодарим Вас за то, что Вы дали нам возможность с ними ознакомиться». Ты пытался разобраться в этих отписках: как насчетс слова *«сейчас»* — не имеется ли в виду, что рассказ напечатают когда-нибудь потом? Но обескураживали не столько резолюции-отказы, сколько необходимость заставлять себя писать. Ты все время считал себя писателем, который впустую теряет время в отделе проверки. Между работой и жизнью оставалось совсем немного времени на то, чтобы излить на бумагу свои душевные переживания. Несколько недель ты вставал в шесть и, уединившись на кухне, сочинял рассказы, пока Аманда спала в другой комнате. Постепенно твое ночное времяпрепровождение стало более насыщенным и сложным и выбираться из постели было все труднее и труднее. Зато ты копил жизненный опыт для романа. Ты ходил на вечеринки к писателям и упорно взращивал в себе творческую личность. Ты хотел стать Диланом Томасом, но без его брюшка, или Ф. Скоттом Фицджеральдом (но при этом не свихнуться). После утомительной работы над чужими рукописями — в глубине души ты знал, что мог бы написать лучше,— тебе меньше всего хотелось идти домой и браться за перо. Тебе хотелось погулять. Аманда была манекенщицей, а ты работал в известном журнале. Люди с удовольствием встречались с тобой и приглашали на вечеринки. Вокруг происходило столько интересного. Конечно, мысленно ты все время делал заметки. Заготовки на будущее. Ты ожидал дня, когда наконец сядешь за стол и создашь свой шедевр.

Ты достаешь из шкафчика пишущую машинку и пристраиваешь ее

на столе в гостиной. У тебя есть хорошая белая бумага из запасов редакции. Ты вставляешь лист с копиркой. Белизна бумаги пугает, в правом верхнем углу печатаешь дату. И тут же начинаешь рассказ, который давно уже у тебя в голове. Нельзя тратить времени на раскачку, и ты печатаешь:

Он ожидал, что она приедет дневным рейсом из Парижа. Она позвонила и сказала, что больше не вернется.

— Ты летишь другим рейсом? — спросил он.

— Нет,— сказала она.— Я начинаю новую жизнь.

Перечитал. Затем выдернул лист из машинки и заправил новый.

Может, начать издалека. Попытаться найти источник всего случившегося. Придумать героине имя, а также и место действия.

Карен любила рассматривать модные журналы своей матери. Женщины на картинках были элегантны и красивы, они садились в такси и лимузины или выходили из них возле роскошных универмагов и ресторанов. Карен догадывалась, что в Оклахоме вообще не было таких магазинов и ресторанов. Она хотела выглядеть так, как эти леди на картинках. Тогда, быть может, ее отец вернулся бы.

Ужасно. Ты рвешь лист на мелкие кусочки и бросаешь в корзину, затем вставляешь новый и опять простукиваешь дату. Слева на полях печатаешь: «Милая Аманда», но затем, взглянув на бумагу, видишь там слова: «Мертвая Аманда».

Бросаешь это занятие. Сегодня вечером тебе явно не удастся написать ничего великого. Заглядываешь в холодильник, пива там нет. Водки в бутылке, что стоит на мойке,— на палец. Может, выйти и купить пива — оно продается в упаковках по шесть банок. Или прошвырнуться к «Львиной голове», раз уж все равно идти на улицу, и посмотреть, нет ли кого из знакомых. Там вполне можно встретить женщину с волосами и без татуировки.

Когда переодеваешь рубашку, начинает трезвонить внутренний домофон. Нажимаешь кнопку «говорите»:

— Кто это?

— Наркотический отряд. Мы собираем пожертвования для детей мира, страдающих без наркотиков.

Нажимаешь кнопку, чтобы отпереть наружную дверь. Ты не знаешь, как отнестись к появлению Тэда Аллагэша. С одной стороны, компания тебе сейчас не повредит, с другой — Тэд может оказаться очень навязчивым. Его манера отдыхать и развлекаться по меньшей мере безвкусна, а порой просто утомительна. Тем не менее, когда он подходит к твоей двери, ты уже рад его видеть. Он выглядит très sportif [1] в куртке от «Дж. Пресс» и агрессивно-красных портках из «СоХо». Он протягивает руку, и ты пожимаешь ее.

— Ну что, двинем?

— А куда?

— Во чрево ночи. Туда, где будут танцевать, сосать наркоту, а женщины будут аллагэшены. Это грязная работа, но кто-то должен ее делать. Кстати, о наркоте: у тебя есть?

Ты мотаешь головой.

— Значит, ни понюшки не оставил для юного Тэда?

— Извини.

— Ну хоть зеркальце лизнуть?

— Попробуй.

Тэд направляется к зеркалу в рамке из красного дерева с позолотой (ты получил его в наследство от бабушки), к тому самому зер-

---

[1] Очень спортивно *(франц.)*.

калу, которое, как боялась Аманда, того гляди оттяпает твоя двоюродная сестра. Он проводит языком по стеклу.

— Тут что-то есть.

— Пыль.

Тэд причмокивает.

— В этой квартире в пыли больше кайфа, чем в той дряни, которую мы покупаем по грамму. Хорошая добавка ко всему, что мы, кайфоловы, нюхаем.

Тэд проводит пальцем вдоль кофейного столика.

— Пожалуй, ты мог бы читать курс по пылеведению. А ведомо ли тебе, что девяносто процентов домашней пыли состоит из шелухи человеческой эпидермы? То есть кожи, чтобы ты знал.

Вероятно, именно этим и объясняется ощущение, будто Аманда тут. Она оставила свою кожу.

Он подходит к столу и склоняется над машинкой.

— Пописываем, да? *Мертвая Аманда.* Это идея. Я же говорил, что если ты объявишь о смерти жены, то баб у тебя будет навалом — больше, чем сможешь обслужить. Это вроде как на выборах, когда голосуют за кандидата в знак симпатии. Сообщение о ее смерти гораздо эффективнее, чем признание, что она наставила тебе рога и отвалила в Париж. Избегай клейма отверженного.

Узнав об отъезде Аманды, Тэд поначалу вполне искренне сочувствовал тебе. Потом сказал, что ты мог бы преуспеть в амурных делах, повторяя эту историю, но добавив пафоса и жестокой иронии. А в последнее время он рекомендовал говорить, будто Аманда погибла в авиационной катастрофе по дороге домой из Парижа в день первой годовщины свадьбы.

— Правда, что у тебя совсем нет наркоты?

— Немного робитуссина в ванной.

— Я в тебе разочарован, шеф. Всегда считал тебя человеком запасливым и воздержанным.

— Друзья подвели.

— Придется сесть за телефон,— говорит Тэд.— Нам нужно найти горючее. Cherchez les grammes [1].

Никого из тех, у кого водились эти самые граммы, дома не оказалось. У тех же, кого удалось застать, не было ни крошки горючего. Тут явно существует какая-то закономерность.

— Черт бы побрал этого Уорнера,— говорит Тэд.— Никогда не берет трубку. Уверен, что он сидит у себя на чердаке в обнимку с кайфом и просто не обращает внимания на телефон.— Тэд кладет трубку и смотрит на часы, которые показывают время в важнейших точках мира, включая Нью-Йорк, Дубай (это где-то в Персидском заливе) и Оман.— Одиннадцать сорок. Немножко рановато для «Одеона», но если уж мы выберемся в центр, тут такая жизнь пойдет, нюхай — не хочу. Готов?

— Скажи, а у тебя никогда не возникало желания — очень сильного — провести тихий вечер дома?

На мгновение Тэд задумывается:

— Нет.

Обстановка в «Одеоне» действует на тебя успокаивающе: сверкающие, гладкие панели на стенах, мягкое освещение, чистенькое кафе, оформленное в духе «Картье-деко»,— тут всегда и несмотря ни на что чувствуешь себя сносно. В искусственном свете у стойки бара ты видишь знакомые лица, лица людей, для которых дневное существование — лишь вывеска: модельер, писатель, художник. У бара сидит манекенщица из агентства, где работала Аманда. Ты не хочешь ее видеть. Тэд

---

[1] Ищите граммы (по аналогии с «ищите женщину») *(франц.).*

вьется вокруг нее юлой и осыпает поцелуями. Ты идешь в другой конец бара и заказываешь стопку водки. Ты приканчиваешь ее и едва успеваешь заказать другую, как тебя подзывает Тэд. С манекенщицей — еще одна девушка. Тэд представляет их: Элейн и Тереза. Элейн, манекенщица, работает под панка: короткие, подбритые темные волосы, высокие скулы, совершенно выщипанные брови. Если поискать для нее подходящие эпитеты, то, пожалуй, лучше всего подойдут два: металлическая и мужеподобная. Оба слова на М. Тереза — блондинка, чересчур коротковата и полновата для манекенщицы. Элейн оглядывает тебя так, словно ты куплен ею в супермаркете по оплошности и теперь она собирается вернуть тебя обратно.

— А ты не приятель Аманды Уайт?

— Я ее муж. То есть, бывший муж.

— Она работала в Париже, показывала осенние модели,— говорит Тэд,— и попала в перестрелку между палестинскими террористами и французской полицией. Полнейшая нелепость. Случайно проходила мимо. Бессмысленная смерть. Он не любит говорить об этом.

Тэд выкладывает все очень убедительно. Ты сам ему почти веришь. Он производит впечатление человека, причастного к мрачным тайнам закулисной политической игры, и это внушает доверие к его немысли-мым россказням.

— Это ужасно,— говорит Тереза.

— Это трагедия — настоящая трагедия,— говорит Тэд.— Извините, я вас покину на минуточку, у меня есть кое-какие дела.— Он отклоняется и направляется к двери.

— Это правда?

— Не совсем.

— А что Аманда делает сейчас? — спрашивает Элейн.

— Не знаю. Думаю, она в Париже.

— Стойте-ка,— говорит Тереза.— Она жива?

— Мы, можно сказать, разошлись.

— Жаль,— говорит Элейн.— Она была ничего.— Элейн поворачивается к Терезе.— Без претензий, свеженькая, как парное молоко. И большая искусница по части этих дел.

— Я этого не понимаю,— говорит Тереза.

— Я тоже,— отвечаешь ты.

Ты хотел бы как можно быстрее сменить тему. Тебе не нравится изображать птицу с перебитым крылом, особенно когда ты именно так себя и чувствуешь. Подбитый селезень... Тебе бы хотелось быть орлом или ястребом, безжалостным и хищным, парящим среди одиноких скал.

— А ты вроде бы что-то писал? — спрашивает Элейн.

— Да, пописываю немного. Точнее говоря, я редактор.

— О боже,— произносит Тереза, когда ты упоминаешь название своего журнала.— Я читаю его всю жизнь. То есть, его выписывают родители. Я всегда листаю его, когда жду приема у гинеколога. А какая у тебя фамилия? Может, я слышала о тебе? — Она спрашивает о журналистах и художниках, работающих в журнале. Ты вываливаешь ей на голову обычную порцию сплетен, которые никогда не прошли бы проверки в твоем отделе, особенно под бдительным оком Липучки.

Не вдаваясь в подробности, намекаешь на то, что занят чрезвычайно важным и ответственным делом. Раньше ты мог запросто убедить в этом не только себя, но и других, теперь же душа не лежит. Тебе претит такое позерство, однако продолжаешь хвалиться, словно для тебя и в самом деле важно, чтобы эти две совершенно чужие особы незаслуженно восхищались твоей персоной. Лакейская должность в уважаемом заведении не многого стоит, но это все, что у тебя есть.

В свое время ты считал себя очень привлекательным. При этом подразумевалось, что у тебя, конечно же, очаровательная жена и интересная работа. Ты был парень что надо. Ты вполне заслуживал известной части благ мира сего. Когда ты встретил Аманду и переехал

в Нью-Йорк, ты уже не ощущал себя там сторонним наблюдателем. В детстве тебе представлялось, будто все посвящены в некую великую тайну, которую от тебя скрывают. У остальных, казалось, есть в жизни какая-то особая цель. Эта убежденность возрастала каждый раз, когда ты переходил из одной школы в другую. Отец вечно менял работу, вы все время переезжали с места на место, и ты снова оказывался в положении новичка. Каждый год ты должен был постигать очередной свод условностей. То велосипед у тебя оказывался не такой, как у других, то носки — не того цвета. Если ты когда-нибудь займешься психоанализом, то, несомненно, придешь к убеждению, что решающим в твоей судьбе был отнюдь не акт твоего появления на свет, а следующая омерзительная сцена: ты стоишь на школьном дворе, а возле тебя, как индейцы, окружившие обоз колонистов, толпятся мальчишки. Они гогочут и тычут в тебя пальцами, тем самым демонстрируя, что ты — чужак. Сцена эта неизменно повторялась на десятках самых разных школьных дворов. И, лишь поступив в колледж, где все — новички, ты начал познавать секреты того, как завоевывать друзей и оказывать влияние на других. Но, даже став докой в этом деле, ты все же понимал: у тебя это умение — приобретенное, а у других оно — врожденное. Тебе удавалось обмануть окружающих, но ты никогда не переставал бояться, что когда-нибудь будешь разоблачен как обманщик и самозванец. Именно так ты и чувствуешь себя сейчас. Даже теперь, когда ты бахвалишься журналистскими похождениями, замечаешь, что взгляд Элейн блуждает по комнате, не останавливаясь на тебе. Она пьет шампанское. Ты видишь, как она опускает язык в вино и водит им по кромке бокала, напоминающего по форме тюльпан.

Женщина, похожая на какую-то знаменитость, поднимает глаза от столика и машет рукой. Элейн машет в ответ. Ее улыбка становится кислой, когда женщина отворачивается.

— Обрати внимание,— говорит Элейн.— Силиконовая имплантация.

— Не уверен. Мне она кажется довольно плоской.

— Да не сиськи — щеки. Она сделала эту дурацкую силиконовую подсадку, чтобы казалось, будто у нее есть скулы.

Возвращается Тэд, очень довольный собой.

— В бинго сыграл,— говорит он.

Уже за полночь. Если вы сейчас что-нибудь затеете, то вряд ли скоро развяжетесь. Раздумываешь, не пора ли смываться. Говорят, спать полезнее всего ночью. С другой стороны, немножко кайфа — тоже не повредит. Совсем немножко, для поднятия духа.

Через минуту вы уже топаете вниз, в уборную. Тэд насыпает несколько широких бороздок порошка на сиденье унитаза. Первыми нюхают Элейн и Тереза. Наконец, Тэд дает попробовать тебе. Сладкий ожог в носу — словно глоток холодного пива в жаркий августовский день. Тэд насыпает, чтобы нюхнуть еще разок, и когда вы отваливаете из клозета, вам уже, что называется, море по колено. Вас охватывает охота к перемене мест. Определенно должно произойти что-то прекрасное.

— Двигаем отсюда,— говорит Тэд.

— Куда? — говорит Тереза.— Туда, где мальчики?

— Туда, где девочки,— говорит Элейн. То ли она пытается сострить, имея в виду название какой-то кинокартины, то ли на что-то намекает.

Наконец, ваша веселая команда решает, что теперь ее цель — «Разбитое сердце». Вы ловите такси и совершаете марш-бросок в северную часть города.

У дверей — толпа желающих разбить сердца, все это, похоже, обитатели пригородных районов. Тэд проталкивается через гущу людей, осаждающих вход в заведение. Чтобы не платить за вход, Элейн и Те-

реза делают вид, что страшно увлечены беседой, и вам с Тэдом приходится раскошелиться. Зал довольно пустой.

— Рано,— говорит Тэд. Он разочарован. Он терпеть не может приходить, когда не все в сборе. Он гордится своей пунктуальностью; для него быть вовремя — значит являться последним.

Элейн и Тереза исчезают минут на пятнадцать. Тэд обнаруживает за одним из столиков своих друзей. Судя по всему, они из какого-то рекламного агентства. Все обсуждают новый журнал под названием «Ярмарка тщеславия». Некоторым он нравится, некоторым — нет.

— Полная каша,— говорит Стив, литературный правщик,— какой-то абстрактно-экспрессионистский подход. Размазывают чернила по листу бумаги и надеются, что на нем появится рисунок.

Ты отправляешься за выпивкой, обшаривая глазами толпу в поисках одиноких женщин. Сейчас вроде бы таковых не имеется. Тут все свои, все друг друга знают. Ты шел сюда в приподнятом состоянии духа, а сейчас настроение у тебя явно падает. К тому же, ты испытываешь разочарование — то совершенно неизбежное разочарование, которое охватывает тебя всякий раз, когда приходишь в новый клуб. Ты стремишься туда полный надежд, которым, как показывает опыт, не суждено оправдаться. Ты всегда как-то забываешь, что не любишь танцевать. Но раз уж ты тут, от тебя самого зависит, насколько приятно ты проведешь время. Музыка возбуждает и зовет к действию. Совсем не обязательно танцевать. Просто под кайфом лучше чувствуешь музыку, а от музыки опять хочется кайфа.

У стойки бара кто-то толкает тебя в плечо. Оборачиваешься. Проходит некоторое время, прежде чем ты узнаешь этого человека, и пока пожимаешь ему руку, в памяти всплывает его имя. Рич Вэниер. Он учился с тобой в колледже, вы посещали один клуб. Ты интересуешься, чем он занимается. Оказывается, он работает в банке и только что, сегодня вечером, вернулся из Южной Америки, избавив какую-то банановую республику от банкротства.

— Я устроил хорошую взбучку, но обеспечил генералам еще несколько месяцев спокойной жизни. Ну, а что ты делаешь для души и тела? По-прежнему пописываешь стишки?

— Обстряпываю одно дельце. Между прочим, оно тоже связано с Южной Америкой.

— Я слышал, ты женился на актрисе.

— Я женился на *революционерке*. Она — незаконная дочь Че Гевары. Несколько месяцев назад она поехала домой повидать мамашу, а тамошние генералы ее арестовали и пытали. Она умерла в тюрьме.

— Ты что, шутишь?

— Разве я похож на шутника?

Рич Вэниер никак не может от тебя отцепиться. Он говорит тебе, что вы должны как-нибудь вместе пообедать.

Возвращаясь к столику, ты видишь, как Тереза и Элейн уходят вместе с Тэдом. Ты догоняешь их, когда они уже рядом с мужским туалетом. Вы вчетвером занимаете кабинку. Элейн садится на бачок, Тереза — на сиденье.

— Иногда мне кажется, что я полжизни провела в сортирах,— говорит Тереза, зажимая ноздрю.

Потом ты натыкаешься на женщину, которую встречал на какой-то вечеринке. Ты не можешь вспомнить, как ее зовут. Когда здороваешься с ней, она смущается, словно раньше между вами было что-то постыдное, хотя единственное, что ты можешь вспомнить,— это какой-то спор. Кажется, речь тогда шла о политических подтекстах песен группы «Клэш». Ты спрашиваешь, не хочет ли она потанцевать, и она соглашается.

Изобретаешь свой собственный танец и называешь его «нью-йоркская карусель». Оркестр играет «Листопад», потом «Ах, девочки, девоч-

ки». Ты норовишь перегнать заданный темп. Твоя партнерша ритмично покачивается в такт музыке. Пожалуй, она разглядывает тебя с симпатией. Ты уже взмок, рубашка прилипла к телу. Спрашиваешь, не хочет ли она сделать перерыв. Она энергично кивает головой.

— Вас что-то тревожит? — Тебе приходится кричать ей в ухо, чтобы она услышала.

— Ничего особенного.

— Вы, кажется, нервничаете.

— Я слышала о вашей жене,— говорит она.— Очень жаль.

— Что вы слышали?

— О том, что случилось. Об этой, ну, лейкемии.

На местном боливийском поезде, минуя горные деревушки, поднимаешься вверх, в разряженный воздух Анд.

— Тереза и Элейн уже совсем ручные,— говорит Тэд.— Думаю, пора нам всем смываться в какое-нибудь более комфортабельное местечко.

Вы снова отправляетесь в уборную. Элейн и Тереза — в женскую — по законным делам.

— Мне не нравится эта байка про лейкемию,— говоришь ты.— Не смешно.

— Просто пытаюсь поднять на тебя спрос. Считай меня своим рекламным агентом.

— Не забавно. Дурной вкус.

— Вкус,— говорит Тэд,— дело вкуса.

Танцуешь с Элейн. Тэд танцует с Терезой. Движения Элейн угловаты и напоминают тебе фигуры на египетских гробницах. Возможно, это какой-то новый стиль... Как бы то ни было, она заставляет тебя смущаться. Танцевать с ней трудновато. Тебя сюда словно перебросили с бала для первогодок в колледже. Элейн тебе не очень нравится, она, по-твоему, довольно неуклюжа. Да и по-человечески она тебе не слишком импонирует. И все же внутри тебя живет это желание доказать, что и ты веселишься вместе с остальными, что и ты — один из них. Откровенно говоря, ты знаешь, что Элейн соблазнительна и ты как бы должен хотеть ее. Да и двигаться вроде бы надо. Тебя не оставляет мысль, что со временем, понаторев в этих делах, ты научишься получать наслаждение от таких легкомысленных встреч, перестанешь искать универсальное успокаивающее средство, перестанешь печалиться. Научишься превращать крупицы пустого удовольствия в счастье.

— Мне и вправду нравилась Аманда,— говорит Элейн между танцами.— Я еще надеюсь ее повидать.— В ее манере есть что-то доверительное, словно вы оба посвящены в некий секрет, который касается Аманды. Тебе было бы приятнее, если бы она сказала, что Аманда ей не нравится. Ты все еще тешишь себя иллюзиями, и тебе хочется, чтобы их разрушали другие люди.

Тэд и Тереза исчезли. Элейн просит извинения и говорит, что сейчас вернется. Такое ощущение, что тебя бросили. А может, это заговор. Они договорились встретиться у дверей и смыться. Ты портишь им настроение. Или, что хуже, упускаешь кайф. Ты заказываешь выпивку, ждешь пять минут и затем решаешь произвести рекогносцировку. Сперва заходишь в мужской туалет, затем в женский. Женщина в облегающем кожаном костюме расчесывает волосы перед зеркалом.

— Располагайтесь,— говорит она. Из одной кабинки доносится смех. Посмотрев вниз, ты видишь под дверью кроссовки Элейн и сандалии Терезы.

— Оставьте и мне немножко,— говоришь ты, толкая дверь кабинки, которая приоткрывается: просовываешь голову внутрь и обнаружи-

ваешь Элейн и Терезу за противоестественным занятием. Смотришь на них с удивлением и смущением.

— Хочешь к нам? — спрашивает Элейн.

— Bon appétit [1],— выпаливаешь ты и выскакиваешь из уборной. Затем возвращаешься в толкотню зала, где грохочет музыка. Уже очень поздно.

Взгляд из чрева

Тебе снится коматозный ребенок. Миновав медсестер и репортеров, проникаешь в больницу. Тебя никто не видит. Дверь с табличкой L'Enfant Coma [2] открывается, и за ней обнаруживается отдел проверки. Элейн и Аманда возятся у стола Ясу Уэйда и ругаются по-французски. Мамаша в белом халате распластана на твоем столе. На книжных полках висят капельницы, трубки подсоединены к ее рукам. Халат расстегнут на ее животе. Подходишь и обнаруживаешь, что живот этот — прозрачный. Внутри видишь коматозного младенца. Он открывает глаза и смотрит на тебя.

— Чего тебе надо? — говорит он.

— Ты вылезать не собираешься? — спрашиваешь ты.

— Нет, Хосе. Мне здесь нравится. Все, что нужно для жизни, тут есть.

— Но мама того гляди помрет.

— Если старушка окочурится, значит, и мне туда дорога.— Коматозный ребенок засовывает свой пунцовый большой пальчик в рот. Ты пытаешься убедить его, что он не прав, но он делает вид, что не слышит.

— Вылезай,— зовешь ты его.

Тут раздается стук в дверь, и ты слышишь голос Клары Тиллингаст:

— Откройте. Врач.

— Живым я им не дамся,— говорит младенец.

Звонит телефон. Трубка, словно форель, выскальзывает из руки. Ты-то думал, что тут все как в жизни, а оказывается — нет. Поднимаешь трубку с пола и тянешь ее к лицу. Один конец оказывается у уха, другой — у рта.

— *Алло?* — Ожидаешь ответа по-французски. Это Меган Эвери. Она хочет убедиться, что ты проснулся. О, да, ты как раз готовишь себе завтрак. Яичницу с колбасой.

— Надеюсь, ты не сердишься? — спрашивает она.— Я не хотела, чтобы ты снова попал в переплет с Кларой. Вот и решила проверить, проснулся ты или нет.

В переплет? Мысленно отмечаешь, что на работе надо бы посмотреть это выражение в словаре сленга Партриджа. На часах — девять пятнадцать. Ты проспал звонок будильника в восемь тридцать. Благодаришь Мег и коротко бросаешь ей: до встречи на работе.

— Ты на самом деле проснулся? — говорит она.

Тут ты ощущаешь, что действительно проснулся: башку ломит, в животе какая-то гадость — все признаки жизни налицо.

Когда окончательно приходишь в себя, становится ясно, почему тебе так мерзко — из-за Клары Тиллингаст. Ты готов примириться с мыслью, что останешься без работы, но с Кларой ты не примиришься никогда. Даже в кошмарном четырехчасовом сне. Тебе претит и вид гранок — вещественного доказательства твоей никчемности. Во сне ты звонил в Париж в надежде получить хоть какую-то информацию и тем

---

[1] Приятного аппетита *(франц.)*.

[2] Коматозный ребенок *(франц.)*.

самым спасти себя. Ты забаррикадировался в отделе проверки. Кто-то ломился в дверь. Ты ждал ответа. Телефонистка периодически напоминала о себе, говоря на непонятном языке. Кожа у тебя на ладонях содрана ногтями. Всю ночь ты пролежал, плотно прижав к себе руки, стиснутые в кулаки.

Ты думаешь, не сказаться ли больным. Днем она позвонила бы, чтобы сообщить о твоем увольнении, а ты мог бы бросить трубку до того, как она наговорит грубостей. Но журнал завтра отправляется в печать, и на коллег в твое отсутствие легла бы дополнительная нагрузка. Да и вообще прятаться — неблагородно. Ты думаешь о Сократе. Вот человек! Он бестрепетно принял свою чашу и испил ее до дна. Ну, а самое главное, тебя не оставляет надежда, что каким-то чудом все утрясется.

Ты оделся и спускаешься на улицу, еще нет десяти. Едва выходишь на платформу, как показывается поезд. Размышляешь, не пропустить ли его. Ты не совсем готов. Тебе нужно еще утвердиться в своем решении, продумать стратегию. Двери с пневматическим шипением закрываются. Но кто-то в хвостовом вагоне придерживает створку для человека, бегущего к поезду. Двери открываются опять. Ты входишь в вагон. Он полон хасидов[1] из Бруклина. Настоящие гномы — все в черном, все с портфелями, которые наверняка битком набиты бриллиантами. Садишься рядом с одним из этих гномов. Он читает талмуд, двигая пальцем по странице. Странный шрифт похож на те каракули, которыми исписаны стены вагона подземки, но хасид не поднимает на них взгляда и даже не пытается взглянуть украдкой на заголовки твоей «Пост». У этого человека есть Бог и История, есть Община. Он обладает совершенной системой взглядов, при которой боль и утрата выражаются в цифрах некоей небесной бухгалтерии, где в конце концов все сходится, а смерть вовсе не смерть. Носить черное сукно летом — видимо, лишь небольшая плата за веру. Он — один из богоизбранных, а ты чувствуешь себя как некая единица в случайном наборе цифр. И все же что у них за идиотская стрижка.

На Четырнадцатой улице вошли трое растафариев[2], и вскоре вагон завонял потом и марихуаной. Иногда тебе кажется, что ты один не принадлежишь ни к какой общине. Сидящая против тебя пожилая дама с пакетом «Мэйсиз»[3] оглядывается вокруг, словно вопрошает, куда же катится мир, в котором остались дракулообразные евреи да обалдевшие от наркотиков черномазые, но когда ты улыбаешься ей, она быстро отводит взгляд. Ты можешь основать свою собственную общину — Братство молодых неудачников.

«Пост» укрепляет в тебе ощущение надвигающейся катастрофы. На третьей странице — статья под названием «Огненный кошмар» — о пожаре, охватившем дом в Куинсе, а на четвертой — матерьяльчик «Торнадо-убийца» — об урагане, который опустошил Небраску. По разумению газеты, всякое несчастье в глубинке — наказание божье. В городе — другое дело. Там поджог, изнасилование, убийство — всегда дело рук человеческих. Все плохое, что происходит за границей, всегда можно свалить на жестокость иностранцев. Прекрасное, простенькое видение мира. Коматозный ребенок обнаруживается на пятой странице. Никаких сдвигов: КОМАТОЗНЫЙ РЕБЕНОК ЖИВ. Врачи обсуждают возможность предупредительного кесарева сечения.

Когда оказываешься на Таймс-сквер, на часах — десять-десять, когда входишь в редакцию — десять-шестнадцать. Лифтер — паренек,

---

[1] **Хасиды** — члены религиозно-мистической секты в иудаизме. В Нью-Йорке занимаются обработкой драгоценных камней и торговлей ювелирными изделиями.

[2] Растафарии — члены религиозной секты из Ямайки, которая считает, что император Эфиопии Хайле Селассие был святым, что Эфиопия — это рай и что все чернокожие в конце концов переберутся в Африку.

[3] Крупный нью-йоркский универмаг.

похожий на карманного воришку. Здороваешься с ним и проходишь в глубь кабинки. Спустя минуту он оборачивается:

— Скажите, на какой этаж ехать, я же не телепат.

Называешь двадцать девятый. Тебя, привыкшего к Лючио и его добрым улыбкам, этот парнишка-чужак раздражает своей грубостью. Он задвигает решетку, потом возится с дверью. На полпути вверх он достает ингалятор «Викс» и вдыхает. Это вызывает приятное пощипывание в твоем носу.

— Двадцать девятый,— говорит он, когда вы останавливаетесь.— Женское белье и прочее.

Вооруженная стража тебя не ждет. Ты спрашиваешь у секретарши Салли, пришла ли Клара.

— Еще нет,— говорит она.

Раздумываешь, хорошо это или плохо. Быть может, отсутствие Клары лишь затянет твою агонию. Коллеги столпились вокруг экземпляра «Нью-Йорк таймс», газеты информативной и здесь, в проверке, любимой. Когда Клара принимала тебя на работу, то говорила, что желательно всем сотрудникам отдела внимательно читать это издание, за исключением очерков, но ты не заглядывал туда неделями.

— Что, война? — спрашиваешь ты.

Риттенхауз рассказывает, что одна из штатных авторов журнала, которую в отделе любят, ибо она тщательно готовит материалы и не грубит нижестоящим, только что получила большую премию за серию статей об исследованиях в области рака. *Рак.* Риттенхауз особенно горд тем, что участвовал в их проверке.

— Ну, что скажете? — спрашивает он.

Он держит газету так, чтобы ты мог видеть статью. Ты готов уже кивнуть и изобразить восторг, но вдруг замечаешь на соседней странице рекламное объявление. Берешь у Риттенхауза газету. Три женщины демонстрируют платья для коктейлей. Одна из них — Аманда. У тебя кружится голова. Ты приседаешь на стол и смотришь на фотографию. Точно, это Аманда. Ты даже не знал, что она в Нью-Йорке. По последним сведениям — она была в Париже и собиралась там остаться. Она могла бы позвонить тебе — просто ради приличия,— раз уж она здесь. Но, с другой стороны, о чем ей с тобой говорить?

Почему она преследует тебя? Лучше бы она просто работала в офисе, как все. Прямо перед отъездом она говорила про какой-то контракт на щитовую рекламу, и ты мечтал увидеть ее лицо на огромном плакате, как раз напротив ваших окон.

— По-моему, мы все должны гордиться ею,— говорит Риттенхауз.

— Что?

— Что-нибудь не так? — спрашивает Мег.

Ты мотаешь головой и складываешь газету. *Тэд сказал: лейкемия.* Мег сообщает, что Клара еще не пришла. Ты благодаришь ее за утренний звонок. Уэйд спрашивает, закончил ли ты французскую статью, и ты отвечаешь:

— Более или менее.

В первый вторник месяца каждый сотрудник проверки получает маленький материал из раздела, открывающего журнал. Работа распределена заранее: у тебя — отчет о ежегодной конференции Общества полярных исследователей, проходившей на сей раз в гостинице «Шерри Нидерлэнд» и завершившейся приемом. Полярные исследователи, как ты и ожидал,— народ эксцентричный. Они носят часы для подводного плавания и какие-то малоизвестные военные награды. Среди закусок на приеме подавали ворвань и копченое мясо императорских пингвинов на трисквитах[1]. Ты подчеркиваешь *«императорские пингвины»* — и помечаешь, что надо проверить орфографию, а также и то, съедобны ли они. Еще нужно посмотреть, как пишется слово *«трисквит»*. Как го-

---

[1] Сухое печенье.

ворит Клара, излишняя осторожность — не помеха. Если ты что-нибудь спутаешь, фирма, которая производит эти трисквиты, тебе никогда не простит. Если не существует пингвина-императора, а есть только пингвиниха-императрица, на стол отдела корреспонденции к середине будущей недели ляжет три сотни писем. Окажется, что фанатичные читатели знают о пингвинах все; орнитология, по-видимому, особенно привлекает их внимание, и малейшая ошибка или даже сомнительный факт приносит шквал корреспонденции. В прошлом месяце безобидная зарисовка о кормлении птиц вызвала настоящую бурю. Читатели возражали: упомянутый вид зяблика не мог оказаться у кормушки в Стонингтоне, штат Коннектикут, хотя автор и утверждал, что видел там пару этих птиц. Письма идут до сих пор. Друид призвал Мег, которая вела материал, и попросил проконсультироваться с Обществом Одюбона[1]. Ответа пока нет. Однажды ты написал пародию на этот орнитологический жанр под названием «Птицы Манхэттена», которая позабавила твоих коллег, но когда ты послал ее в Прозу, она исчезла там без следа.

Для выполнения полученного задания начинаешь с тома на букву «Е» энциклопедии «Британника»[2]. Никаких признаков императорских пингвинов, но зато увлекательная статья об эмбриологии с иллюстрациями: человеческое яйцо, саламандра, в которую оно превращается через десяток дней, и десятинедельный гомункулус. Наконец ты ставишь книгу на полку и тянешься за томом на «П», одним из твоих любимых. *Паралич. Параноидальные реакции. Паразитология* (увлекательно и полезно), подглавки о ризоподах, ресничных, жгутовиковых и споровых. *Пардубицы* — город в Восточной Богемии (Чехословакия), важный узел железной дороги Брно — Прага. Париж с цветной иллюстрацией; *Паскаль, Павлов, пекари* — американский вид свиньи (с ил.), *Педро* — имя пяти королей Португалии. Наконец, *Пингвины.* Не летают, при ходьбе неуклюжи. Совсем как ты. Пингвин императорский достигает высоты четырех футов. О том, можно ли их есть, ничего не сказано. На картинке они выглядят как забавные полярные исследователи, одетые для приема в «Шерри Нидерлэнд».

Твои коллеги заняты проверкой своих материалов. Уэйду досталась статейка об изобретателе, только что получившем сотый патент на вращающееся приспособление для стрижки волос в носу. Уэйд звонит новатору и выясняет, что тот еще и автор революционного изобретения — автоматической системы для прочистки толчков, однако крупные компании украли у него идею и сделали на ней миллионы. Он долго толкует Уэйду о несправедливости, а затем говорит, что не в состоянии обсуждать проблему, так как в связи с ней ведется судебная тяжба. Все это могло бы позабавить, однако в твоем смехе какая-то натянутость. Тебе трудно слушать разговоры других, а слова статьи, над которой ты якобы работаешь, плохо доходят до тебя. Ты перечитываешь по нескольку раз один и тот же абзац, пытаясь уразуметь разницу между вымыслом и фактом. Может быть, позвонить президенту Общества полярных исследователей и спросить у него, правда ли, что на некоторых гостях были шапки из моржовой шкуры? Имеет ли это значение? И почему название *трисквит* кажется таким странным? Ты продолжаешь наблюдать за дверью, ожидая, что сейчас появится Клара. В голове сумбурно мелькают французские фразы.

Сперва надо позвонить автору материала и получить у него телефон человека, который подтвердил бы существование общества у полярников, а также и то, что оно действительно устроило прием в упомянутой гостинице, в упомянутый день; что это факт, а не выдумка. В статье называются фамилии. Ты должен убедиться, что они принадлежат реальным лицам, и (если это так) проверить их правописание.

---

[1] Общество изучения и защиты пернатых, названо в честь американского натуралиста Джона Джеймса Одюбона (1785—1851).

[2] Слова «император» и «эмбриология» в английском языке начинаются с одной и той же буквы — Е.

Риттенхауз объявляет: ему только что позвонила Клара, она заболела и не придет — вот отсрочка, которой ты ждал. Удав, опутавший твое сердце, ослабляет хватку. Кто знает? Болезнь может оказаться серьезной.

— Вообще-то,— продолжает Риттенхауз,— она сказала, что наверняка не явится *сегодня утром.* Она не знает, как будет себя чувствовать потом и заглянет ли в редакцию после обеда.— Он делает паузу, теребит очки, словно раздумывая, нужно ли еще что-нибудь добавить, и завершает: — Если у вас к ней какие-нибудь вопросы, звоните домой.

Ты спрашиваешь Риттенхауза, нет ли особых указаний.

— Ничего конкретного,— отвечает он.

Вот он — твой шанс. Еще день работы — и ты справишься с французским материалом. Ты договорился бы с ребятами из производственного отдела, и они разрешили бы тебе задержать сдачу текста на несколько часов. Ты за полчаса разделался бы с заметкой о пингвинах, а затем все силы — на французскую статью. Alors! Vite, vite! Allons-y! [1]

Через час с полярными исследователями покончено. Уже за полдень, и твоя жизненная энергия явно идет на убыль. Теперь, чтобы прийти в норму, требуется подзаправиться. А затем с новыми силами приняться за французов. Может, взять une baguette [2] с ветчиной и сыром бри, это приведет тебя в норму. Ты спрашиваешь, не хочет ли кто-нибудь перекусить. Меган дает деньги на крендель.

По дороге — как раз перед автоматом для охлаждения воды — наталкиваешься на Алекса Харди, уставившегося на аквамариновое стекло. Вот он поднимает глаза, вздрагивает, но, поняв, что это всего лишь ты, здоровается. Затем опять поворачивается к автомату и говорит:

— Я вот думаю: нельзя ли там держать рыб.

Алекс — почетный редактор отдела прозы, реликт первых лет существования журнала, человек, который называет его почтенных основателей юношескими прозвищами. Он начинал курьером, заслужил репутацию автора сатирических заметок о светской жизни Манхэттена, которые вдруг, по каким-то до сих пор неизвестным причинам, перестали печатать, и стал редактором. Он открыл и выпестовал нескольких писателей, на книгах которых ты рос, но уже много лет не делает никаких открытий, и его главная роль, видимо, состоит в том, чтобы служить символом Преемственности и Традиции. За все время твоей работы в журнале из его кабинета вышел лишь один материал. То ли он стал попивать, переживая творческий закат, то ли, наоборот, увлечение спиртным как раз и угробило его карьеру. Ты полагаешь, что причина и следствие в подобных случаях взаимосвязаны. По утрам он вдумчив и остроумен, хотя несколько несобран. После обеда он иногда забредает в отдел проверки, где предается щемящим душу воспоминаниям. Тебя он, кажется, любит, насколько он вообще способен кого-нибудь любить. К нескольким рассказам, которые ты предлагал в журнал, он прикреплял листочки с подробными замечаниями, критика была резкой, но в то же время вселяла надежды. К твоим произведениям он относился серьезно, хотя появление их у него на столе, пожалуй,— показатель того, что в отделе прозы их не принимают всерьез. Ты обожаешь этого человека. Другие считают, что его песенка спета, но ты строишь воздушные замки: вот ты начал писать и публиковаться под его руководством; забота о тебе вновь делает его целеустремленным. Вы начинаете работать вместе, одной командой, новый вариант Фицджеральда и Перкинса [3]. И вот уже он пестует новое поколение талантов — твоих

---

[1] Ну-ка! Быстро, быстро! За дело! *(франц.)*

[2] Здесь: бутерброд *(франц.)*.

[3] Речь идет о дружбе писателя Ф. Скотта Фицджеральда и его редактора Максуэлла Перкинса.

учеников, а ты в своем творчестве переходишь из Начального периода в более Поздний.

— Прекрасная идея для нашего руководства,— говорит он.— Сиамские боевые рыбки в водоохладителе — неплохо, а?

Пытаешься ответить чем-нибудь остроумным, вроде «и рыбья чешуя уколола тебя»,— но ничего хорошего в голову не приходит.

— И куда ты сейчас направляешься?

— Обедать,— опрометчиво говоришь ты.

В прошлый раз, когда ты сказал Алексу, что идешь пообедать, обратно в редакцию ты добирался чуть ли не на карачках.

Он смотрит на часы:

— Неплохая мысль. Не возражаешь, если мы пообедаем вместе?

Пока ты придумываешь отговорку, уже поздно. Сказать, что тебя ждет приятель,— получится невежливо. Тебе не обязательно пить с Алексом наперегонки. И вообще пить не следует, хотя от одного стаканчика ты не помрешь. Глоток шипучки хорошо снимает головную боль. Ты только скажешь Алексу, что у тебя идет в печать большой материал, и он поймет. Ты сможешь воспользоваться его дружеским участием. Поговорить с ним по душам. Поведать о некоторых своих бедах. Впрочем, у Алекса и собственных проблем хватает.

— Ты никогда не думал получить диплом менеджера? — спрашивает он.

Он привел тебя в закусочную рядом с Седьмой авеню. Здесь накурено. Место это давно облюбовано репортерами из «Таймс» и прочими алкашами. Пепел его сигареты летит в тарелку. Мясо давно остыло, он к нему и не притронулся. Он уже предупредил тебя, что найти где-либо хороший бифштекс невозможно. Говядина совсем не та, что раньше. Бычкам силком впихивают корма и впрыскивают гормоны. Он пьет уже третий стакан водки с мартини. Ты пытаешься растянуть свой второй.

— Я не говорю, что надо обязательно заниматься бизнесом. Но пиши о нем. Вот это злободневная тема. Ребята, которые разбираются в бизнесе, создадут новую литературу. Уолли Стивенс[1] сказал, что деньги — это своего рода поэзия, но сам за деньгами не гнался.

Затем он говорит, что существовал золотой век Папы[2], Фицджеральда и Фолкнера, потом серебряный век, в котором и ему отведено скромное местечко. Он думает, что сейчас мы находимся в бронзовом веке и что проза зашла в тупик. Она еще кое-как существует, но развить настоящие темпы уже не может. Новые книги будут повествовать о технологии, о мировой экономике, о том, как компьютеры помогают людям создавать состояния и пускать по миру конкурентов.

— Ты парень толковый,— говорит он.— Не поддавайся всему этому трепу о чердаках, где творится искусство.

Он заказывает еще два мартини, хотя ты не допил второй стакан.

— Завидую тебе,— говорит он.— Сколько тебе — двадцать один?

— Двадцать четыре.

— Двадцать четыре. Целая жизнь впереди. Ты что, не женат?

Сначала ты пытаешься протестовать, но потом соглашаешься:

— Да, я холост.

— Прорвемся,— говорит он, хотя только что сообщил, что в мире, который ты собираешься унаследовать, не будет ни хорошей говядины, ни хорошей литературы.— Моя печень свое уже отслужила,— добавляет он.— Ни к черту не годится, у меня эмфизема.

Официант приносит выпивку и интересуется у Алекса его бифштексом, может, что-нибудь не так, не хочет ли он чего-нибудь другого. Алекс говорит, что бифштекс превосходен, и просит унести его.

---

[1] Уоллес Стивенс (1879—1955) — американский поэт.

[2] Имеется в виду Эрнест Хемингуэй.

— Знаешь, почему сейчас так много гомосексуалистов? — спрашивает он, когда официант уходит.

Ты мотаешь головой.

— Все из-за этих гормонов проклятых, которые впрыскивают в мясо. Целое поколение на них выросло.— Он кивает и смотрит тебе прямо в глаза. Ты напускаешь на себя глубокомысленный, серьезный вид.— Так кого ты сейчас читаешь? — спрашивает он.— Скажи, кто из молодых сейчас в фаворе, кто идет в гору?

Называешь пару писателей, которых недавно прочитал с удовольствием, но его внимание уже рассеивается, и веки дрожат. Взбадриваешь его вопросом о Фолкнере, с которым он в сороковых годах в Голливуде работал в одном кабинете месяца два. Он рассказывает, как однажды они три дня пили наперегонки, насквозь пропитались бербоном и упражнялись в острословии.

Алекс едва ли замечает, когда ты прощаешься с ним на тротуаре. Он уже направляется в сторону редакции, глаза его блестят от водки и воспоминаний. Ты сам немного на взводе, и чтобы освежиться, тебе совершенно необходима прогулка. Сейчас еще довольно рано. Времени хватит. Ты стоишь на углу возле светофора, уставившись на фотографию Мэри О'Брайен Макканн (той самой девушки, которая пропала без вести), и тут кто-то хлопает тебя по плечу:

— Эй, друг, хорька не купишь?

Парень примерно твоего возраста, морда в угрях, глаза плутоватые. Он держит на поводке зверька, который смахивает на таксу в меховом пальто.

— Это и есть хорек?

— В натуре.

— А на что он нужен?

— Знакомиться с телками. Отличный повод завязать беседу. К тому же, если у тебя дома заведутся крысы, он им устроит красивую жизнь. Его зовут Фред.

Фред выглядит элегантно, вполне благовоспитанный хорек, хотя первое впечатление тебя всегда обманывает — например, однажды ты купил «остин хили», под капотом которого оказался не мотор, а настоящая свалка металлолома, да потом еще эти часы «Картье» — совсем точно настоящие. А как ты выбрал жену? Тебе приходит в голову, что зверек может стать прекрасным символом отдела — подлинный живой хорек для искателей фактов. По правде говоря, зверь тебе не нужен, о себе-то позаботиться некогда, однако Фред, наверное, идеально подошел бы Кларе. Прощальный подарок, знак любви.

— Сколько?

— Сотня.

— Пятьдесят.

— Хорошо, восемьдесят пять. Меньше не могу.

Ты говоришь ему, что должен приценяться в других магазинах. Он вручает визитную карточку с названием магазина, рекламируемого в журнале для взрослых.

— Спроси Джимми,— говорит он.— У меня есть еще удавы и обезьяны. Дешевле нигде не купишь. Я же чокнутый.

Идешь по городу, на восток по Сорок седьмой улице, мимо витрин магазина уцененных ювелирных изделий. Уличный торговец, который держит в руках кипу рекламных листков, бубнит перед дверью магазина: «Золото и серебро, покупаю и продаю, золото и серебро, покупаю и продаю». Насколько ты понимаешь, никаких вопросов он не задает. Добро пожаловать, карманники! Останавливаешься, чтобы полюбоваться изумрудной диадемой, прекрасным подарком для твоей следующей королевы на час. Что-то фантастическое. Естественно, когда у тебя будут деньги, ты и не заглянешь сюда. Ты вовсе не собираешься заманивать девушку своей мечты шкатулкой драгоценностей с надписью «Джем-О-Рама». Ты отправишься прямиком к «Тиффани» или «Картье».

Рассядешься в кабинете директора магазина, а тебе будут приносить чудеса ювелирного искусства.

Хасиды, придерживая шляпы, снуют по улице туда-сюда. Они останавливаются потолковать друг с другом и стараются не глядеть на женщин в мини-юбках. Ты изучаешь товар в витрине «Книжного рынка Готем» и обращаешь внимание на объявление: УМНЫЕ РЫБАЧАТ ЗДЕСЬ.

На Пятой авеню переходишь на другую сторону и направляешься в сторону «Сакса»[1]. Останавливаешься перед витриной. За стеклом — манекен, копия Аманды. Когда для него делали форму, Аманда полтора часа пролежала в ванне лицом вниз в вязком латексе и дышала через трубочку. Несколько дней спустя она отправилась в свою последнюю поездку в Париж; с тех пор ты ее не видел. Ты стоишь перед витриной и пытаешься вспомнить, действительно ли она выглядела так.

Les jeux sont faits[2]

Ты встретил ее в Канзас-Сити, куда приехал работать репортером после колледжа. Тебе приходилось жить и на Западном побережье, и на Восточном, и за границей, а на Среднем Западе ты не был никогда. Ты чувствовал, что где-то там таятся своего рода истина и американская добродетель, и, как человек пишущий, хотел их познать.

Аманда выросла в американской глубинке. Ты встретил ее в баре и не мог поверить своему везению. Ты и не собирался с ней знакомиться. Но она сама подошла и завела разговор. Пока вы беседовали, ты поймал себя на мысли: *она выглядит как потрясная манекенщица и даже не подозревает об этом.* Ты подумал — такую непосредственную девочку могла взлелеять только провинция. Ты представил Аманду на фоне солнечного заката по колено в янтарных россыпях зерна. Своей тонкой, нескладной фигурой она напоминала новорожденного жеребенка. Волосы ее были пшеничного цвета, а может, это тебе только казалось; за два месяца, что ты прожил в Канзасе, тебе еще не довелось увидеть пшеницы. Ты проводил большую часть времени на заседаниях Совета по вопросам районирования и добросовестно строчил репортажи о бурных дискуссиях относительно строительства торговых рядов и планирования новостроек. Вечерами дома было слишком скучно, и ты шел с книгой в бар.

Она, по-видимому, считала, что ты прибыл прямо из Манхэттена. Похоже, здесь, в Канзасе, бытовало некое всеобщее заблуждение: если человек говорил, что приехал из Новой Англии, Массачусетса или вообще с Восточного побережья, все почему-то полагали, что жил он именно в Нью-Йорке. Она расспрашивала про Пятую авеню, «Карлайль», «Студию 54»[3]. Совершенно очевидно, что из журналов она знала об этих заведениях больше, чем ты. Она представляла себе Северо-Восток в виде какого-то сада при загородном клубе, в центре которого возвышаются небоскребы Манхэттена. Она спросила об «Айви лиг», словно это была некая официальная организация, и в тот же вечер представила тебя соседке по комнате как ее члена.

Не прошло и недели, как она перебралась к тебе. Она работала в цветочном магазине и думала, что когда-нибудь будет ходить в университет. Твоя образованность ошеломляла и восхищала ее. Стремление Аманды к учебе было трогательным. Она просила дать ей список книг для чтения. Вполне серьезно ждала появления твоей новой книги. Ты мечтал, что будешь продаваться в «Готем». Она хотела обитать возле Центрального парка, ты стремился приобщиться к литературной жизни города. Она выписала проспекты нью-йоркских университетов, и вы ра-

[1] «Сакс» — большой универмаг.
[2] Ставки сделаны *(франц.)*.
[3] Популярные бары-дискотеки.

зослали туда ее автобиографию, которую она добросовестно отстучала на машинке.

Чем больше ты узнавал о прошлом Аманды, тем меньше удивлялся ее желанию начать все заново. Отец ушел из дома, когда девочке было шесть лет. Последнюю весточку от него Аманда получила из Ливии, где он добывал нефть на платформе прямо в открытом море. Это была рождественская открытка с изображенной на ней мечетью. Когда Аманде исполнилось десять лет, они с матерью перебрались на ферму двоюродного дяди в Небраске. Своего дома там у них не было. Мать вышла замуж за торговца сеном, и они переехали в Канзас-Сити. Торговец часто уезжал, а если появлялся, то либо скандалил, либо приставал и к матери, и к дочери. Аманде приходилось самой заботиться о себе; как ты понял, мать не очень-то пеклась о ней. Аманда ушла из дома в шестнадцать лет, какое-то время прожила с приятелем; их связь оборвалась за несколько месяцев до того, как вы познакомились. Он оставил записку, где объяснял, что уезжает в Калифорнию.

У нее было очень тяжелое детство, и ты всякий раз напоминал себе об этом, когда начинал искать у нее недостатки.

За восемь месяцев, прожитых с ней в Канзас-Сити, вы лишь раз навестили ее мать. По дороге Аманда была кокетлива и остроумна. Вы подъехали к домику, переделанному из автофургона, на улице не росло ни единого деревца. Она познакомила тебя с матерью, которую называла просто Долли. Торговец сеном, по-видимому, тут больше не появлялся. Вы сидели в тесной комнатенке; ты чувствовал себя ужасно скованно. Долли все время курила сигареты «Кулс», заигрывала с тобой и бесцеремонно шпыняла Аманду. Ты видел, что Долли привыкла быть в центре внимания и откровенно завидует молодости и привлекательности дочери. Они были очень похожи друг на друга, с той только разницей, что у Долли был внушительный бюст — отличие, на которое та несколько раз намекнула. Ты видел, что Аманде стыдно за нее, стыдно за пошлую картинку на стене, за немытую посуду в раковине, стыдно за то, что мать — косметичка. Когда Долли отлучилась в уборную — «освежиться», как она выразилась,— Аманда сняла с телевизора сувенирную статуэтку «Свободы» и сказала:

— Посмотри. В этом вся моя мать.

Она словно боялась, как бы ты не подумал, что эта статуэтка — ее, что она — такая же, как Долли.

Два года спустя, когда вы жили уже далеко от Канзаса, на Восточном побережье, вы пригласили Долли на свадьбу. Аманда с облегчением вздохнула, когда та не сумела приехать. Приглашение, посланное ее отцу, вернулось с целой коллекцией арабских почтовых марок и с пометкой: «Адресат неизвестен». В церкви со стороны невесты не было никого, если не считать дальних родственников, престарелых троюродных тетушки и дядюшки. Они были как бы свидетельством того, что у Аманды есть хоть какое-то прошлое и что жизнь ее не началась с того дня, когда вы приехали в Нью-Йорк. Кажется, она хотела, чтобы именно так все и было.

Хотя твои родители вовсе не пришли в восторг от вашего возвращения под их кров, тем не менее, когда вы приехали на Восточное побережье, они делали все возможное, чтобы Аманда чувствовала себя как дома. Твоя мать никогда не прогнала даже бродячей собаки, а уж если слышала, как бедствуют дети в других странах, всегда добровольно вызывалась помочь и доставала чековую книжку; вот и к Аманде она отнеслась как к беженке. Аманда привлекала ее своим стремлением найти человека, который бы о ней заботился. Она словно сошла с рекламного объявления: «Вы можете равнодушно перевернуть эту страницу, а можете спасти ребенку жизнь» — и ребенок был прямо здесь, очаровательный и всегда готовый угодить. Задолго до свадьбы Аманда стала называть родителей «мамочка» и «папочка», а их дом в округе Бакс своим домом. Как вы все попались на эту удочку! Отец как-то

спросил: не боишься ли ты, что разница в вашем воспитании может в конце концов повлиять на твою семейную жизнь. Это был единственный случай, когда отец попытался предостеречь тебя.

Ты еще всерьез и не думал о свадьбе, а все вокруг уже считали ее делом решенным. После двух лет, что вы прожили вместе, женитьба казалась естественной. Тебя беспокоило — достаточно ли ты нагулялся? — но, по здравом размышлении, ничто не мешало свадьбе. Аманда не просто жаждала вступить с тобой в брак. Она всегда говорила, что знает: когда-нибудь ты бросишь ее (будто ты — такая же свинья, как все те, с кем сталкивала ее жизнь), и, по-видимому, полагала, что женитьба отсрочит или, быть может, даже предотвратит твое бегство. Ты не хотел ни раскрываться перед ней, ни лезть к ней в душу. Возможно, просто боялся, что в душе у нее — пустота. Но в конце концов ты решил не предаваться наивным юношеским мечтам. Когда взрослеешь, начинаешь понимать, что нельзя требовать от человека слишком много.

Предложение было сделано отнюдь не в романтической обстановке. Это случилось после того, как ты задержался с друзьями на вечеринке, куда Аманда пойти не захотела. Ты прокрался в дом почти на рассвете и обнаружил, что она не спит и смотрит в гостиной телевизор. Она была в ярости. Она сказала, что ты ведешь себя так, словно ты один. Она же хотела связать свою жизнь с человеком, который был бы ей предан. Ей не нужен бродяга вроде тех, которых вечно приводила в дом ее мать. Ты был виноват вдвойне, потому что у нее болела голова. Начинало светать; ты понимал: она права. Ты плохой мальчик, и тебе захотелось изменить свою жизнь к лучшему. Захотелось вознаградить ее за то мерзкое существование, которое досталось ей в детстве. Ты сказал, что женишься на ней, и она, подувшись de rigueur [1], приняла предложение.

Вы прибыли в Нью-Йорк, не имея представления о том, чем Аманда будет заниматься. Она заговорила было о колледже, но потеряла к нему всякий интерес, когда подошло время заполнять вступительные документы. Она не знала, чего ей хочется. Несколько месяцев она просто смотрела телевизор.

Ей всегда советовали стать манекенщицей. Однажды она заглянула в одно агентство и пришла домой с контрактом.

Поначалу работа ей претила, и, по-твоему, это говорило о цельности ее натуры. Пока она не стала принимать свою профессию слишком всерьез, ты полагал, что все идет хорошо. И даже очень хорошо, поскольку она начала приносить домой большие деньги. Раз в неделю она грозилась уйти из агентства. Она ненавидела фотографов, всяких ловкачей и торговцев наркотиками. Ненавидела манекенщиц. Она чувствовала себя виноватой, получая деньги за свою внешность, в которой совсем не была уверена. Ты говорил, что быть секретаршей тоже не сахар. Убеждал ее потерпеть немного, чтобы поднакопить деньжат, а потом она сможет делать что захочет.

Ты считал, что демонстрация мод была для нее своего рода временной причудой, поскольку она позировала лишь ради заработка и не была настоящей манекенщицей. Вы вместе посмеивались над настоящими манекенщицами, считавшими любой прыщик язвой и полагавшими, что климакс наступает в двадцать пять лет. Вы оба презирали людей, для которых получить приглашение на вечеринку в «Мажик» по случаю дня рождения Х казалось великим достижением — вроде как переплыть Ла-Манш. Но вы тем не менее шли туда, посмеиваясь про себя, и пока Аманда общалась с гостями, ты в гостиной наверху нюхал розовый перуанский кайф из личных запасов ближайшего друга Х.

Хозяйка агентства все время вправляла Аманде мозги, говоря, что

---

[1] Здесь: для порядка *(франц.)*.

если та хочет стать профессионалом, то она должна относиться к работе более серьезно: перестать стричься в дешевых парикмахерских, не чураться нужных знакомств. Аманду это забавляло. Она здорово изображала свою агентшу, манекенщицу — звезду пятидесятых годов, с повадками коменданта студенческого общежития и душой сводни. Однако несколько месяцев спустя вы начали ходить в рестораны подороже, и Аманда стала делать укладку в парикмахерской на Верхнем Истсайде.

В первый раз отправляясь в Италию на осенний показ мод, она расплакалась в аэропорту. Она напомнила тебе, что за полтора года вы не разлучались ни на одну ночь. Она сказала, что пошлет все это к чертям, обойдется безо всякой Италии и завяжет с модами. Ты убедил ее поехать. Каждый вечер она звонила из Милана. В дальнейшем эти расставания стали менее болезненными. А свадебное путешествие вы отложили на неопределенный срок, потому что через три дня после венчания ей предстояло показывать весенние модели.

Ты был занят работой. Иногда ты приходил вечерами домой и заставал ее спящей. Утром, завтракая в вашем уютном гнездышке, ты глядел на нее и тебе часто казалось, что ее взгляд проникал сквозь стены здания и полконтинента в прерии и метался там в поисках чего-то забытого, хотя она не могла вспомнить чего. В глазах ее стыли степные просторы родных полей. Она сидела, опершись локтями на кухонный столик и теребя пальцами прядь волос, голову она склоняла набок, словно слушала голоса ветра. В ней всегда было что-то неуловимое — какая-то истовость, которую ты никак не мог разгадать и которая беспокоила тебя. Ты подозревал, что она сама не отдавала себе отчета, почему ее страстно влекло то к тебе, то к работе, то к безудержному накопительству и столь же безудержным тратам, то к пропавшему отцу, и наконец все сошлось на идее замужества. Вы *поженились*. И все же ей чего-то не хватало. Но она по-прежнему готовила исключительно вкусный обед, оставляла любовные записки в твоем портфеле и в ящиках письменного стола.

Несколько месяцев назад она заплакала, когда собиралась в Париж. Ты спросил ее, в чем дело. Она сказала, что нервничает в связи с поездкой. Когда подъехало такси, она успокоилась. Вы поцеловались у двери. Она велела тебе поливать цветы.

Накануне возвращения она позвонила. Голос ее звучал необычно. Она сказала, что домой не вернется. Ты не понял.

— Прилетишь следующим рейсом?

— Я остаюсь,— сказала она.

— Надолго?

— Извини. Желаю тебе всего хорошего. Правда, желаю.

— Что ты говоришь?

— Я отправляюсь на следующей неделе в Рим с «Вог», а затем в Грецию сниматься на натуре. Здесь я по-настоящему становлюсь профессионалом. Извини. Я не хотела причинить тебе боль.

— Профессионалом? — сказал ты.— С каких это пор гребаная демонстрация мод стала профессией?

— Извини,— сказала она.— Мне пора.

Ты потребовал объяснений. Она сказала, что была несчастна. Зато теперь счастлива. Ей нужен простор. Она попрощалась и тут же повесила трубку.

Три дня ты слал через Атлантику телеграммы, без конца звонил по телефону и, наконец, обнаружил ее в отеле на левом берегу Сены. Когда она подняла трубку, голос ее звучал устало.

— У тебя другой мужчина? — спросил ты. Ты только об этом и думал на протяжении трех бессонных ночей. Не в том дело, сказала она, хотя мужчина действительно есть. Он фотограф. Вероятно, того типа, что называют себя художниками. Трудно было поверить. Ты напомнил ей, как она сама говорила, что все они голубые.

Она сказала: Au contraire[1], Пьер. И этим угробила тебя окончательно. Когда ты позвонил еще раз, она уже выехала из гостиницы.

Несколько дней спустя раздался звонок, человек назвал себя ее адвокатом. С вашей стороны, сказал он, было бы проще всего подать в суд на мою клиентку за оставление супруга. Это просто юридическая формула, сказал он. Его клиентка, то есть твоя жена, не будет ничего опротестовывать, вы можете разделить имущество пополам, хотя она претендует на серебро и хрусталь. Ты положил трубку и заплакал. *Оставление супруга.* Адвокат позвонил снова через несколько дней и сообщил, что машина и ваш общий счет в банке — твои. Ты сказал, что хочешь знать, где Аманда. Он позвонил снова и спросил, какую сумму ты просишь, чтобы уладить дело. Ты назвал его сутенером.

— Я требую объяснения,— сказал ты.

Это было несколько месяцев назад. Никому на работе ты ничего не сказал. Когда тебя спрашивают об Аманде, отвечаешь: жива-здорова. Отец ничего не знает. Беседуя с ним по телефону, сообщаешь, что все в порядке. Ты полагаешь, что твой сыновний долг — казаться счастливым и преуспевающим. Это самое малое, что ты можешь сделать для него в благодарность за все, что он сделал для тебя. Ты не хочешь его расстраивать, а у него по нынешним временам и без того забот хватает. К тому же ты понимаешь, что проболтаться никак нельзя. Он никогда Аманду не простит. Пока существует шанс, что она вернется, ты не хочешь, чтобы он знал о ее предательстве. Ты хочешь пережить это один. Объясняешь, что тебя держат в городе работа, обязательства, встречи с лауреатами Нобелевской премии, хотя до родного порога всего два часа езды. Рано или поздно придется ехать, но ты хочешь оттянуть встречу насколько можно.

И вот теперь ты стоишь перед универмагом «Сакс» на Пятой авеню и пялишься на манекен. Как-то на прошлой неделе ты попытался выместить на нем свои чувства и принялся орать на него. Подошел полицейский и предложил тебе покричать где-нибудь в другом месте. Да, вот так она и выглядела перед отъездом — отсутствующий взгляд, крепко сжатые губы.

Когда же она превратилась в манекен?

Ты снова в редакции. Твоя решимость проверять факты, касающиеся недавних выборов во Франции, несколько поувяла. Прикорнуть, что ли, в одном из редакторских кабинетов наверху? Но тебе придется торчать здесь. Завариваешь чашку растворимого кофе — четыре столовые ложки «Максима». Меган сообщает, что тебе звонили трижды: президент Общества полярных исследователей, еще кто-то из Франции и твой брат Майкл.

Заходишь в кабинет Клары, чтобы забрать гранки, но на столе их нет. Ты спрашиваешь о них у Риттенхауза, и он сообщает, что звонила Клара и велела отослать гранки в работу. Она велела также прислать их фотокопии к ней домой.

— Ну,— говоришь ты то ли с ужасом, то ли с облегчением.— Теперь конец.

— У тебя есть какая-нибудь дополнительная правка? — спрашивает Риттенхауз.— Ее наверняка еще можно внести.

Мотаешь головой:

— Чтобы все исправить, мне нужно пересмотреть последние три года.

— Конечно, ты не вспомнил о кренделе,— говорит Меган.— Не беспокойся. Я совсем не голодна. Да и вообще мне не стоит обедать.

---

[1] Напротив *(франц.)*.

Ты извиняешься. Просишь прощения. Говоришь, что у тебя в голове чертова куча забот. У тебя плохая память на мелочи. Хотя ты точно знаешь, когда разгромили Непобедимую армаду, но даже не представляешь себе сумму на своей чековой книжке. Каждый день ключи или бумажник у тебя куда-то деваются. В этом одна из причин твоих постоянных опозданий. Если даже добираться в редакцию по утрам для тебя сложно, то как уж тут упомнить все, что надо сделать за день. Ты не можешь внимательно слушать, когда с тобой разговаривают. На свете так много ерунды. Крупные проблемы — с ними по крайней мере можно сражаться в открытую. Но эти мелочи... ты бьешься насмерть с главными силами врага, а тут эта жалкая мелочовка ведет по тебе снайперский огонь из засады.

— Извини, Мег. Я и вправду очень виноват. Я просто великий путаник.

Все смотрят на тебя. Меган подходит и кладет руку тебе на плечо. Гладит по голове.

— Не волнуйся,— говорит она.— Бог с ним, с кренделем. Сядь и успокойся. Все образуется.

Кто-то приносит тебе стакан воды. На фоне окон цветы в горшках образуют силуэт джунглей — картина простой, близкой к природе жизни. Тебе видятся острова, пальмы, сбор урожая. Бежать.

Коматозный ребенок жив!

Все очень добры. Коллеги хотят прикрыть тебя, позаботиться о материале, который лежит на твоем столе. Еще недавно ты был склонен недооценивать доброту людей. Но Меган, Уэйд, Риттенхауз — все они хотят, чтобы ты расслабился, пошел домой, а ты идти домой не хочешь. Твоя квартира — камера пыток. В кухонных шкафах — клещи, на стенах — кольца, кровать утыкана шипами. Туда — ни в коем случае. Теперь, когда ты освободился от работы, сковывавшей тебя железной хваткой обязательств, редакция кажется тебе забавным местом, местом, которое ты любишь, потому что уже потерял свое право на него.

Бредешь в библиотеку полистать старые номера журнала. Архивариус Марианна рада тебя видеть. Посетителей у нее бывает немного. Целый день она разрезает номера журнала на колонки и расклеивает в подшивочные тома по авторам, теме и году. Ей всегда известно, где что лежит. Сначала она разочарована, что тебе ничего особенного не нужно, затем удивляется — когда ты пытаешься с ней заговорить. В ответ на твой вопрос, где она живет, Марианна настораживается, но затем постепенно оттаивает, поскольку ты переходишь на нейтральную тему — кино. Она поклонница комедий тридцатых и сороковых годов — Любич, Капра, Кьюкор [1].

— Ты видел «Заваруху в раю»? — спрашивает она. Да. Конечно, видел.

— Фильмы теперь совсем не те, что раньше,— говорит она, затем намекает, что у одного так называемого критика, известного вам обоим, дрянной вкус и грязный язык. Марианна предана журналу, но ее беспокоит, что новые сотрудники — карьеристы — расшатывают его устои. Ее тревожит, что Друид окружил себя льстецами. Нырнув в клетку со старыми томами, она вылезает с подшивкой за 1976 год. Листает страницы и указывает пальцем на абзац с бранным словом, впервые пробившимся в журнал. Конечно, это всего лишь беллетристика, конечно, автор получил Национальную книжную премию. Но все же... Плотина нравственности рушится. Марианна считает обязанностью журнала придерживаться определенных норм.

---

[1] Эрнст Любич (1892—1947), Франк Капра (1897— ?), Джордж Кьюкор (1899—1983) — американские режиссеры.

— Когда-нибудь надо твердо сказать им «нет». Если не мы, то кто же? — Ты находишь такую заботу о благопристойности весьма трогательной.

— Дело не только в этом, главное — реклама,— говоришь ты.— Посмотри на рекламные картинки. Женщины соблазнительно дымят сигаретами, бриллианты, декольте, куда ни посмотришь — одни сиськи.

— Да, верно,— соглашается она.— Знаешь, что мне сегодня утром в подземке сказал какой-то мальчишка? И ведь сопляк, лет восемь, десять — никак не больше!

— Что же он сказал?

— Не могу повторить. Невероятно.

О невероятном ты знаешь все; об этом ты даже не задумываешься, а уж повторять и вовсе не хочется.

Потом поднимаешься в пустой кабинет на тридцатом этаже, он принадлежит редактору, который сейчас лечится в больнице от алкоголизма. Тебе нужен отдельный телефон. Произносишь вслух несколько фраз, отрабатывая соответствующий случаю прононс. Затем делаешь глубокий вдох и набираешь номер агентства, где трудится Аманда. Голос на другом конце провода тебе незнаком. Представляешься фотографом и говоришь, что хотел бы посотрудничать с Амандой Уайт. Она, случайно, не в Нью-Йорке? Женщина на том конце провода — явно новичок. Обычно они так просто никакой информации не дают. В агентстве считают всех мужчин, которые туда звонят, потенциальными насильниками до тех пор, пока не будет установлена их личность. Голос сообщает, что вам и вправду повезло, ибо Аманда недавно вернулась на недельку другую в Нью-Йорк.

— Знаете, она ведь обосновалась в Париже.

Ты спрашиваешь, не участвует ли она в каких-нибудь показах мод, ты бы хотел посмотреть ее на подиуме, прежде чем ангажировать. Женщина упоминает демонстрацию мод в четверг, затем возникает чей-то еще голос.

— Будьте добры, назовите вашу фамилию,— произносит женщина официальным тоном, внезапно проявляя бдительность. Ты кладешь трубку. Теперь нужно лишь узнать адрес, где будет проходить показ мод, это легче простого уладить, позвонив приятелю в «Вог». В голове — картины кровавой мести, сменяющиеся сценами ласкового примирения.

Спускаясь вниз по черной лестнице, замечаешь Клару, шагающую в отдел. Взмываешь по лестнице и ныряешь в мужской туалет отдела прозы. Ты знаешь, что рано или поздно придется предстать перед ней, но лучше уж поздно, чем рано, как можно позже. Все равно долго так не протянешь. Возможно, когда-нибудь вы встретитесь за рюмкой и посмеетесь над всей этой историей. Нынешняя забавная глава твоей жизни будет называться «Юное безрассудство» и последует за главой «Из молодых, да ранний». Всепрощающий журнал будет с гордостью считать тебя одним из своих. Ты бы с удовольствием проспал несколько грядущих лет и проснулся, когда нынешний период будет уже позади. А пока тебе бы грузовик либриума [2] — и в долгую, сладкую кому.

Ты изучаешь в зеркале свое лицо, в это время в дверном проеме появляется Уолтер Тайлер, редактор отдела путевых заметок. Ты не знаешь, как его приветствовать: то ли он будет задирать нос — дескать, я из Новой Англии, то ли начнет ломать из себя эдакого рубаху-парня, который без ума от «Янки» [1]. И в том и другом случае он оскорбится, если не угадаешь тон. Иногда он обижается, когда кто-нибудь из мелкой сошки называет его по имени. Если же обратиться к нему слишком

---

[1] Популярный футбольный клуб.

[2] Психотропное средство.

официально, это иной раз оскорбляет его товарищеские чувства. Так что на сей раз ты киваешь и говоришь «добрый день».

— Всегда хотел спросить кого-нибудь из проверки,— говорит он, становясь перед писсуаром.— Клара ходит в мужской клозет или в женский?

На сей раз ты попал в точку:

— Я не уверен, что у нее вообще возникает необходимость посещать это заведение.

— Прекрасно,— говорит он.

Какое-то время он стоит перед писсуаром. Чтобы заполнить паузу, он спрашивает:

— Так как тебе тут нравится? — словно ты поступил в редакцию на прошлой неделе.

— Вообще-то я бы предпочел работать в Прозе.

Он утвердительно кивает и какое-то время занимается тем делом, за которым, собственно, сюда и пришел. Затем говорит:

— Ты пишешь, не так ли?

— Да как вам сказать...

— Хм-м.— Он стряхивает конец и застегивает штаны.— У двери он поворачивается и окидывает тебя строгим взглядом.— Читайте Хэзлитта [1],— говорит он.— Мой вам совет. Читайте Хэзлитта и пишите каждый день до завтрака.

Совет на всю жизнь. Ты в свою очередь мог бы посоветовать ему стряхнуть еще разок-другой, если он хочет вернуться в кабинет в сухих штанах.

Направляешься к лифту. Какой-то тролль, которого ты никогда раньше не видел, высовывает башку из двери кабинета и тут же ныряет обратно. Завернув за угол, едва не сталкиваешься с бегущим вниз Призраком.

Призрак вскидывает голову набок, пялясь на тебя и хлопая глазами. Ты говоришь «добрый день» и называешь себя.

— Да,— говорит он, словно знает, кто ты такой. Он любит создавать впечатление, будто в его затворничестве есть свое преимущество, будто он ведает больше, чем можно было бы ожидать. Прежде ты лишь однажды видел этого человека, ставшего живой легендой. Он работает над единственной статьей уже семь лет.

Ты извиняешься и проскальзываешь мимо. Призрак же, словно на колесах, беззвучно исчезает. Улизнуть тебе удалось без приключений. Твой пиджак остается в отделе как своего рода залог.

Теплый, влажный день. Весна. Конец апреля или начало мая. Аманда уехала в январе. В то утро, когда она звонила, на земле белым покровом лежал снег — к полудню он стал серым и грязным, а затем растаял и исчез под решетками сточных труб. Потом позвонил цветочник (ты заказал ему букет к ее возвращению). Когда тебя предают, все начинает казаться смешным и символичным.

Заскакиваешь в бар на Сорок четвертой улице. Это вполне приятное ирландское заведение без названия. Здесь никто ни о чем не думает, кроме выпивки и спорта. На большом видеоэкране в дальнем углу длинного, обшитого деревом зала показывают какие-то соревнования. Садишься на табурет и заказываешь пиво, затем обращаешь внимание на экран. Баскетбол. Ты не представлял себе, что в это время года баскетбольный сезон уже в разгаре. Мяч носится туда-сюда, и это тебе нравится. Это успокаивает нервы. Сидящий рядом парень поворачивается и говорит:

— Козлы! Долбозвоны гребаные! Совсем защищаться не умеют.

Ты киваешь головой и пьешь пиво. Он вроде бы чего-то ожидает от тебя, и ты спрашиваешь, какой сейчас период.

---

[1] Уильям Хэзлитт (1778—1830) — английский критик и публицист.

Он оглядывает тебя сверху донизу, словно в руках у тебя — сборник стихов, а на ногах — клоунские ботинки.

— Третья *четверть,*— произносит он. И отворачивается.

Ты давно хочешь разобраться в том, что касается спорта. И все яснее понимаешь, какое значение имеют разговоры о спорте в мужской компании. Остро ощущаешь свое невежество. Ты отринут от этого гигантского братства болельщиков. Ты хотел бы уметь вот эдак войти в бар или забегаловку и сразу же завоевать всеобщее расположение какой-нибудь репликой в духе Раниена [1]: дескать, такой-то и такой-то в разгар сезона взяли и продались в другую команду. Ты чувствовал бы себя своим и с шоферами грузовиков, и с биржевыми маклерами. В школе ты занимался теннисом и лыжами. Играть в команде тебе не приходилось. Ты не знаешь, например, что такое зона защиты. Не понимаешь спортивных метафор в политических комментариях. Мужчины просто не доверяют человеку, ни разу не видевшему финал футбольного чемпионата. Ты бы с удовольствием весь год смотрел каждый матч по Эй-би-си и читал все пятьдесят два номера «Спортс иллюстрейтед». А пока что — хотя бы увидеть по одной финальной игре в каждом виде спорта, чтобы потом выдавать замечания типа: «А Ляфлер лихо сыграл в третьем периоде против Бостона?» Или в третьей четверти?

Уходишь из бара, дождь, часы показывают пять-двадцать. Бредешь к станции подземки на Таймс-сквер. Проходишь мимо объявлений: ДЕВОЧКИ, ДЕВОЧКИ, ДЕВОЧКИ. Одно из них, в отличие от прочих, гласит: МАЛЬЧИКИ. Затем мимо плаката в магазине канцелярских принадлежностей: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ДЕНЬ МАТЕРИ. Дождь усиливается. Интересно, есть ли у тебя зонтик. Сколько раз ты забывал их в такси. Обычно, едва на землю падают первые капли, на каждом углу появляются продавцы зонтиков. Ты всегда задавался вопросом: откуда они приходят и куда деваются, когда кончается дождь? Ты представляешь себе, как они толпятся вокруг мощных радиоприемников в ожидании последней сводки Национальной службы погоды или спят в вонючих гостиничных номерах, выставив руки из окна, готовые вскочить от первого прикосновения влаги. А может, думаешь ты, они сговорились с компаниями, владеющими такси, и забирают все забытые зонтики почти даром. Экономику города составляют какие-то странные, невидимые системы, которые столь же непостижимы для тебя, как переплетения проводов и труб под тротуарами. Правда, сейчас не видно ни одного торговца зонтиками.

Пятнадцать минут ты ждешь на платформе подземки. Куда ни глянешь, везде Пропавшая Без Вести. Потом объявляют, что поезд сломался. В туннеле пахнет мокрой одеждой и мочой. Снова из громкоговорителя раздается голос, он сообщает, что местный поезд задерживается на двадцать минут из-за пожара. Проталкиваешься сквозь толпу и выходишь на улицу.

Все еще льет. Поймать такси — целая проблема. На каждом углу стоят люди и машут проходящим машинам. Идешь по Седьмой авеню до автобусной остановки, где под навесом сгрудились человек двадцать таких же бедолаг. Автобус, битком набитый людьми с угрюмыми физиономиями, не останавливаясь, проезжает мимо. Пожилая женщина вырывается из-под навеса и бежит за автобусом.

— Остановитесь! Эй, остановитесь! — Она лупит зонтиком по задней стенке автобуса.

Подходит другой автобус, из него вываливаются пассажиры. Люди под навесом сжимают в руках зонтики, сумочки и портфели, они приготовились сражаться за места; но, разгрузившись, автобус почти пустеет. Водитель, чернокожий верзила с потными подмышками, говорит:

— Не волнуйтесь.— Голос его вызывает уважение.

Садишься впереди. Автобус вливается в поток транспорта. За Со-

[1] Альфред Раниен (1884—1946) — американский журналист и автор коротких рассказов.

роковой улицей меняются таблички на углах, после Седьмой авеню начинается авеню мод — платяной квартал. Те самые места, где когда-то обреталась Аманда. До Сорок второй женщин продают, можно сказать, безо всего, а здесь — вместе с фирменным тряпьем.

На остановке у Тридцать четвертой улицы в дверях происходит какая-то заминка.

— Платить надо, если едешь,— говорит водитель.

Молодой человек, стоящий около кассы-автомата, пытается залезть рукой в карман джинсов фирмы «Калвин Клейнс», они сидят на нем в обтяжку. Рубашка с эмблемой «Пич Лакост», усики, похожие на выщипанные брови. Под мышкой у него небольшой портфель и толстый японский бумажный зонт. Он кладет зонт на кассовый аппарат.

— Дай людям войти,— говорит водитель,— им же холодно. Смотри, посинели все.

— Без тебя, начальник, разберусь, кто тут посинел.

— Да уж, конечно, разберешься. Сам-то небось давно поголубел.

Наконец, он набирает мелочь и с ужимками опускает монеты в автомат, а затем виляет бедром перед водителем.

— Двигай в зад, моя королева,— говорит водитель.— Верю, верю, что ты мастак по этой части.

Молодой человек пробирается по проходу, играя запястьями и жеманно покачивая бедрами. Водитель оборачивается и наблюдает за ним. Когда он проходит в хвост автобуса, водитель берет оставленный им японский зонтик. Ждет тишины и затем говорит:

— Эй, фея Динь-Динь [1], ты забыла волшебную палочку.

Пассажиры, наблюдающие за всем этим, покатываются со смеху.

Автобус стоит на месте.

Фея Динь-Динь задерживается в хвосте автобуса, глаза его сужаются и становятся злыми. Затем он улыбается. И идет назад, продолжая демонстрировать все свои ужимки. Подойдя к водителю, забирает зонт, поднимает его над головой и осторожно опускает на плечо шофера, словно посвящая того в рыцари. Он проделывает это три раза, произнося бодрым фальцетом:

— Я, фея Динь-Динь, заклинаю тебя: стань говном, стань говном, стань говном.

У самого дома обнаруживаешь, что ключей у тебя нет. Они в кармане пиджака, который остался на работе. Хотя ты и не любишь свою квартиру, все же кровать в ней есть. Хочется спать. Ты настолько измотан, что, оказавшись в постели, заснул бы тут же, как убитый. А ведь ты еще собирался попить какао, потом посмотреть сериал под названием «Семейная ссора». Ты даже мечтал поваляться с каким-нибудь романом Диккенса. Почитать, ради разнообразия, про чужие злоключения.

Представляешь себе, как лежишь на тротуаре вместе с другими бродягами, скрючившись на теплой вентиляционной решетке, затем эта картина уступает место несколько менее мрачной перспективе пойти к коменданту за вторыми ключами. Комендант, огромный грек, свирепо таращится на тебя с тех пор, как ты забыл дать ему обычный подарок к Рождеству наличными или в виде спиртного. Жена его выглядит не менее устрашающе, ибо у нее растут усы. Однако, к твоему счастью, за дверью обнаруживается не комендант, а один из его родственников, молодой парень, вполне покладистый, что отчасти объясняется полным незнанием английского языка, отчасти же тем, что въездная виза его просрочена. На пальцах объясняешь ему, в чем заключается твоя просьба, и через несколько минут снова стоишь у своей двери с запасной

---

[1] Персонаж популярной детской сказки английского писателя Джеймса Барри «Питер Пэн».

связкой ключей. К двери прикреплен конверт с грифом рекламного агентства, где работает Аллагэш. Внутри записка:

Шеф.

Посылаю сие в твою берлогу после многочисленных и безуспешных попыток найти тебя в твоей почтенной конторе. Ты что же не блюдешь более рабочие часы? Одному Богу известно, насколько это утомительно, но нужно хотя бы делать вид, что служишь, а также бывать на месте на случай таких чрезвычайных обстоятельств, как нынешнее. Короче;

Давно ожидавшаяся мной свиданка с несравненной Ингой — несостоявшейся королевой красоты — под угрозой из-за приезда двоюродной сестры из Бостона. Знаю, что ты сейчас подумаешь: бостонская ветвь клана Аллагэшей? Действительно, у каждой семьи есть свои мрачные тайны. Эта моя сестрица прибыла на академическое сборище в Нью-Йоркский университет и располагается на лежаке Аллагэша. Ее нужно развлекать по большому счету. Это недурно воспитанная молодая леди, не лишенная некоего подобия интеллекта. Какой-нибудь несчастный бухгалтер, способный с увлечением говорить о состоянии рынка зубной пасты, для такого дела не подходит. Тут нужен человек, по меньшей мере владеющий французским, читающий «Нью-Йорк ревью оф букс» и обладающий невыразимым очарованием, то есть ты. Не подведи, шеф, и все, что у меня есть — включая порцию отменного боливийского порошка, не говоря уж о вечной благодарности и преданности,— принадлежит тебе. Я осмелился сообщить сестре, Викки Холлинз, что ты будешь ждать ее у «Львиной головы» в семь тридцать, я и Инга присоединимся к вам, как только сможем. Описал тебя как помесь Скотта Фицджеральда, Хемингуэя и позднего Витгенштейна[1], так что облачись соответственно.

С Богом, Т. А.

P. S. Если тебе повезет с сестрицей или вдруг ты навлечешь на нее редкую социальную болезнь, данное учреждение на все закрывает глаза.

Самонадеянность Аллагэша потрясает. Звонишь ему на работу, чтобы отказаться от встречи, но он уже ушел. Ведь это же его сестра и, стало быть, его проблемы. Гены Аллагэша плюс бостонский климат — это, видимо, что-то жуткое. Судя по описанию, тебе предстоит общаться с занудой в клетчатой шерстяной юбке, которая всю жизнь играла в хоккей с мячом на зеленых лужайках Новой Англии, а отнюдь не с будущей королевой красоты. И манеры у нее, видимо, соответствующие — выпендривается, наверное, не хуже, чем Липучка после своего Вассара. Но в отличие от Липучки у нее это врожденное. Ты отключишь телефон и скажешь, что никакого письма вообще не получал.

Врубаешь телик и заваливаешься на кушетку. В «Семейной ссоре» много смешного. Десять отличных хохм про садовый инвентарь. Ричард Доусон[2] потешно играет бровями. Но ты поглядываешь на часы. В семь двадцать ты уже на ногах и, мотаясь по квартире, распихиваешь белье по углам. Насколько ты знаешь Тэда, ни в какую «Львиную голову» он не пойдет, и бедная девочка будет оставлена на милость всех этих честолюбивых актеров и писателей-неудачников. Если ты выпьешь с ней по-дружески пару рюмок, это тебя явно не убьет. Накидываешь пиджак и выходишь.

К условленному месту прибываешь с опозданием на десять минут. У стойки бара толпа — не пробиться. Никаких признаков Аллагэша. Особа в клетчатой шерстяной юбке и с признаками Аллагэшей тоже отсутствует.

---

[1] Людвиг Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ.

[2] Популярный американский комик.

Выпив полкружки пива, замечаешь женщину, одиноко стоящую у вешалки для пальто, в руке у нее бокал, она читает книжку в бумажной обложке. Иногда она поднимает глаза, а затем вновь возвращается к чтению. Ты следишь за ее взглядом, которым она окидывает бар. У нее умное лицо. Волосы какого-то непонятного цвета — смесь клубники с золотом. При таком освещении не разобрать. Даже не скажешь, что она может быть из бостонских Аллагэшей. Сапожки, джинсы и черная шелковая кофточка. Ни лоскутка хлопка или шотландки.

Черт с ним, с Аллагэшем, и его древним родом. Тебе хотелось бы поговорить с этой женщиной, может быть, пригласить ее поужинать. Что, если это та самая женщина, которая поможет тебе забыть тревоги и несчастья, заставит завтракать по утрам и бегать трусцой. Ты подбираешься ближе. В руке у нее «Этика» Спинозы. Без дураков. Она вновь поднимает глаза, и ты перехватываешь ее взгляд.

— Ну, мы тут, конечно, не спинозы...— начинаешь ты.

— Неудивительно,— говорит она,— сидите в темноте...

Ее голосок — смесь гравия и меда. Улыбкой она подбадривает тебя и затем возвращается к книге. Жаль, что ты ничего не можешь вспомнить о Спинозе, кроме того, что он был отлучен от синагоги.

В двери появляется Аллагэш. Думаешь, не спрятаться ли в мужском сортире, но он замечает тебя и подходит. Тэд пожимает тебе руку. Затем запечатлевает братский поцелуй на щечке философа.

Представление вас друг другу, короткое замешательство в связи с тем, что еще не успели познакомиться. Аллагэш сообщает, неодобрительно вращая глазами, что Викки изучает философию в Принстоне. Тебя он представляет как литературную знаменитость, имя которой еще не достигло провинции.

— Жутко не хочется опять вылезать на улицу. Но я назначил встречу на семь тридцать, а Инга почему-то решила, что на десять. Так что она еще в профессиональном, как мы говорим, одеянии. Придется пилить через город ее встречать. Но в любом случае давайте встретимся и поужинаем.— Он смотрит на часы.— Давайте, скажем, в девять тридцать. Лучше в десять. В десять у «Рауля». Не забудьте.— Он целует Викки и незаметно опускает тебе в карман стеклянный пузырек, а затем молниеносно исчезает.

Викки, кажется, сконфужена гостеприимством братца:

— Вы все поняли?

— Более или менее.

Ты знаешь, что сегодня вечером Тэда больше не увидишь.

— Он назначил свидание на семь тридцать, а его подружка думала, что на десять?

— Обычная история.

— Ну что ж,— говорит она, укладывая книжку в сумку. Положение, казалось бы, довольно затруднительное, но она относится к нему спокойно.— Что будем делать?

Аллагэш купил тебя этим пузырьком боливийского зелья. Ты мог бы пригласить ее к себе домой, чтобы там поделиться ценным приобретением, но не решаешься. Хотя очень может быть, что она это оценила бы, все же интересно ради разнообразия провести хоть один вечер без химии. И поговорить с человеком без южноамериканского акцента.

Спрашиваешь, не хочет ли она посидеть тут еще немного, чего-нибудь выпить. Она в свою очередь интересуется, какие у тебя планы. В конце концов вы поднимаетесь по лестнице и выходите на улицу. На ум приходят путешественники Платона, выбирающиеся из пещеры, из сумеречного мира в мир реальный, и ты задумываешься над вопросом, можно ли изменить свою жизнь. Общаясь с философом, и сам начинаешь размышлять.

Вы задерживаетесь на краю Шеридан-сквер поглазеть на акробата, который пытается проехать на одноколесном велосипеде по натянутому канату. Подросток в толпе поворачивается к Викки и говорит:

— Точно так же он проехал между башнями Всемирного торгового центра [1].

— Представляете? — произносит какая-то женщина.

— Это напоминает мою работу,— говоришь ты.

Акробат пускает шляпу по кругу, и ты бросаешь доллар. Вы бесцельно бредете на запад. Викки рассказывает о своих занятиях. Она на третьем курсе, приехала в Нью-Йоркский университет на конференцию, где выступит с опровержением статьи под названием: «Почему нет настоящих людей».

Прохладный вечер. Вы идете по Гринич Виллидж [2], ты показываешь ей местные достопримечательности и свои любимые здания. Еще вчера ты считал бы такую прогулку немыслимой, а сегодня вспоминаешь, как любил раньше эту часть города. Повсюду запах итальянской кухни. Знакомые названия улиц, которые, пересекаясь под самыми замысловатыми углами, образуют на карте города причудливый узор. Здесь нет ни жесткой прямоугольной планировки, ни подавляющих величием небоскребов. Мимо топают подвыпившие амбалы с крутыми бедрами, затянутые в кожу и обвешанные цепями, вид у них жутковатый.

Викки останавливается перед витриной антикварной лавки на Бликер и показывает на деревянную лошадку с карусели, выкрашенную в красное и белое и водруженную на подставку.

— Я хочу, чтобы у меня был дом, где в гостиной будет стоять вот такая лошадка.

— Ага. И еще музыкальный автомат.

— Ну, конечно. Без него никак нельзя. И еще обязательно китайский бильярд. Настоящий, старый, с Баком Роджерсом [3].

Вы идете дальше; она рассказывает о доме, в котором выросла. Это скрипучее сооружение в стиле «Тюдор» на берегу моря в Марблхеде, построенное в начале века как летняя дача; казалось, что даже в просторной столовой всегда сохранялся запах влажных полотенец. В доме было полно пустых комнат, где они играли, и закрытый чулан под лестницей, куда без разрешения Викки никто не смел войти. Они всегда держали целую кучу домашних зверюшек. Над крышей была вышка, где четверо девочек во главе со старшей сестрой Викки устраивали некое символическое чаепитие — без чая. Ее отец держал в сарайчике для лодки цыплят и несколько лет потратил, пытаясь развести огород. Каждое утро он вставал в пять часов и шел плавать. Мама оставалась в постели, пока дочки и зверюшки не являлись всей гурьбой к ней в комнату пожелать доброго утра.

Рассказывая об этом, она оживленно жестикулирует, так что ты очень ясно представляешь себе картину ее идиллического детства. Впервые замечаешь, что у нее веснушки. Надо же. Ты представляешь ее маленьким ребенком, вот она идет по пляжу с ведерком песка. А ты словно бы наблюдаешь за ней с крутого берега, сквозь пелену времени и говоришь: когда-нибудь я встречу эту девочку. Тебе хотелось бы оберегать ее все это время, защищать от жестокости школьников и грязных желаний мужчин. То, что она излагает (а говорит она неизменно в прошедшем времени), наводит на мысль о некоей трагедии, постигшей их семью. Похоже, в огороде, который столь безуспешно возделывал ее отец, обитал дракон.

— Ну, а как теперь живут твои родители? — спрашиваешь ты.

— Развелись три года назад. А твои?

— У них, что называется, счастливый брак.

— Везет.

Везет — не то слово, которое бы ты выбрал, разве только оно бы вырвалось случайно.

— А братья или сестры у тебя есть? — спрашивает она

---

[1] Два самых высоких здания в мире. Находятся в Нью-Йорке.

[2] Район нью-йоркской богемы.

[3] Герой научно-фантастических, космических мультфильмов.

— Три брата. Младшие — двойняшки.

— Здорово. Прямо-таки симметрия. У меня три сестры. Мальчики для нас были полной загадкой.

— Понимаю, что ты имеешь в виду.

— Послушай. Нам очень нужно встречаться с Тэдом?

— По-моему, Тэд и не собирается с нами встречаться. То есть, может быть, и собирается, но не придет.

— Он что, сказал тебе об этом?

— Нет, просто я его знаю. Он вечно куда-то мчится, но сплошь и рядом не добирается до цели.

— Что он тебе про меня рассказывал? — спрашивает она после того, как вы уселись во дворике кафе на Чарльз-стрит. У нее заговорщицкая улыбка. Она вроде бы считает, что твоя преданность Тэду рухнет в свете этой, только что возникшей близости.

— Да почти ничего,— говоришь ты.

— И все-таки?

— Он пытался набить тебе цену. Честно говоря, я решил, что ты настоящий синий чулок. Такая, знаешь, особа в очках с толстыми стеклами, которая играет в хоккей на траве в университетской сборной.

На комплименты она больше не напрашивается. Просто изучает меню и улыбается.

Ты говоришь ей, что Тэд, в сущности, хороший парень. Тебе нравятся его энергия и образ жизни — joie de vivre, je ne sais quoi, savoir-faire, sprez-zatura [1]. Ты почти искренен. За такую сестру, как Викки, ты готов простить ему некоторую безалаберность. Ты, конечно, не назовешь его близким другом, но на вечеринке без него не обойтись. Рассказываешь, как он поддержал тебя, когда тебе было тяжело. Ему, быть может, не хватает чуткости, но он человек по-своему благородный, хотя, правда, легкомысленный.

— А вы хорошо понимаете друг друга? — спрашиваешь ты.

— Я думаю, он дурак,— говорит она.

— Верно.— Все, что она говорит, верно. Она взяла тебя голыми руками. Тебе очень нравится, как она подносит к губам стакан с водой, нравятся раскованные движения ее рук. Тебе кажется, что ты уставился на нее уж слишком бесцеремонно, впрочем, похоже, она ничего не имеет против такой бесцеремонности.

— А где ты работаешь? — спрашивает она.— Наверное, в какой-нибудь солидной фирме?

— Что ты. Честно говоря, мне там не нравится. Наверное, я им тоже не очень подхожу.

— Другие, я знаю, за такое место готовы на все.

Тебе бы не очень хотелось хвастаться работой, которую ты со дня на день можешь потерять. Жаль, что раньше и ты, и другие считали ее чем-то особенным. Тебя коробит при мысли о том, как ты пускал пыль в глаза, расписывая свои журналистские похождения. Ты рассказываешь ей про нудную процедуру проверки фактов, про долгие часы, проведенные над словарями, телефонными справочниками, энциклопедиями, правительственными брошюрами. Признаешься, как тебе устроили выволочку за то, что ты стал делать стилистические поправки.

— Как интересно,— говорит Викки.— Мы с тобой знакомы не больше двух часов, но я уже понимаю, что эта работа не для тебя.

— Это точно, не для меня.

Вы стоите на углу Четвертой западной улицы и Седьмой авеню, делаете вид, будто ожидаете такси, чтобы отвезти Викки на квартиру Тэда. Пустые машины катятся мимо, а вы с Викки все говорите и никак не можете наговориться. Вы говорите про работу, про деньги, про Кейп-

---

[1] Жизнерадостность, что еще сказать, не знаю, сноровка *(франц.)*.

Код и про то, что на завтрак надо есть овсянку; вы обсудили даже проблему Духа и Тела. Ты уже записал ее адрес и номер телефона в Принстоне. Когда вы шли из ресторана, она взяла тебя за руку, и ты продолжаешь держать ее ладонь в своей. Видишь, как проходящие мужчины — по крайней мере те, что не гомики,— посматривают на тебя с завистью. Ради нее ты готов совершать безумства: можешь снять фуражку с головы полицейского или сорвать браслет с одного из подвыпивших кабальеро на Кристофер-стрит. Или даже забраться на фонарный столб и размахивать с самой верхушки ее косынкой.

— *Теперь* мне и *вправду* надо идти,— говорит она.

— Как жаль.

— Мне тоже.— Она придвигается ближе и целует тебя. Ты отвечаешь ей тем же, ваш поцелуй затягивается. Тебя охватывает желание. Ты думаешь, не позвать ли ее к себе домой, но потом решаешь, что не надо. Лучше сохранить этот превосходный вечер в чистоте, чтобы, вернувшись к себе, вспоминать на сон грядущий все его великолепные подробности и предвкушать, как завтра утром ты ей позвонишь. И пусть Клара Тиллингаст катится к чертовой матери, сегодня вечером ты счастлив.

Пигмеи, хорьки и мясной фарш

За завтраком, состоящим из кофе и яиц, читаешь «Таймс» и «Пост» (включая страницу спортивных новостей). Коматозная мама, похоже, протянет недолго. Бостон выиграл на баскетбольном поле, на бейсбольном — проиграл. Официантка уже не меньше шести раз подливала тебе кофе, а на часах всего лишь восемь тридцать. Ты проснулся в шесть тридцать, с ясной головой, словно всю жизнь вставал в такую рань. Отчасти это объясняется приятным волнением после вчерашнего вечера с Викки, отчасти страхом от предстоящего разговора с Кларой. Проснувшись, ты сразу же позвонил Викки. Она сказала, что Тэд так и не пришел домой и что спала она замечательно, но прежде пришлось убедить привратника в том, что она находится тут на законном основании. Тебе хочется позвонить ей снова и рассказать в подробностях, как ты завтракал.

В девять тридцать ты в редакции. Мег уже здесь. Увидев тебя, она явно пришла в замешательство. Ты можешь только догадываться, что случилось вчера после возвращения Клары. Теперь уже всех оповестили о твоей профессиональной непригодности. Ты даже не спрашиваешь, в чем дело.

Однако Мег не может вынести этой недоговоренности. Она подходит к твоему столу и сообщает:

— Клара вне себя. Она говорит, что французский материал — сплошная путаница, но сейчас вынимать его из номера уже поздно. Вчера вечером на совещании, когда решали, что делать, был грандиозный скандал.

Ты киваешь головой.

— Что случилось? — спрашивает она, словно и без того ясный ответ почему-то не пришел ей в голову.

Появляется Риттенхауз и приветствует тебя как обычно — нечто среднее между кивком и низким поклоном. Тебе будет не хватать этого человека, его манер бухгалтера эдуардианской поры, его галстука бабочкой. Повесив шарф и шляпу на вешалку, он подходит к твоему столу. Выглядит он, пожалуй, не так мрачно и печально, как всегда.

— Мы тут говорим про эту французскую статью,— произносит Меган.

Риттенхауз кивает:

— Я считаю, что они бесстыдно изменили график. Хотя у них, очевидно, были на то свои причины.

— У тебя почти совсем не было времени на проверку,— говорит Меган.— Все знают, что этому автору верить нельзя.

— Мы все полностью тебя поддерживаем,— говорит Риттенхауз. Утешения в этом немного, но ты благодарен им за заботу.

Неторопливо входит Уэйд и останавливается перед твоим столом. Он смотрит на тебя и пощелкивает языком.

— Какие цветы принести на твою могилу? У меня уже и эпитафия готова: *Он не выносил фактов.*

— Не смешно, Ясу,— говорит Меган.

— Ну, ладно. Даже у Лира был шут.

— С каждым из нас могло случиться то же самое,— говорит Меган.— Нам нужно поддерживать друг друга.

Ты мотаешь головой:

— Черт возьми, да я сам во всем виноват. Сам себе вырыл могилу.

— У тебя совсем не было времени,— говорит Меган.— Статья написана страшно небрежно.

— Все мы когда-нибудь пропускали ошибки,— добавляет Риттенхауз.

— Она, наверное, совсем никудышная? — спрашивает Меган.— И потом, ты же почти все проверил?

— Честно говоря, не знаю,— отвечаешь ты.

Сейчас все они задаются вопросом: *«Могло ли такое случиться со мной?»* И ты хочешь подбодрить их, объяснить, что ты во всем один виноват. Они пытаются стать на твое место, но сделать это довольно трудно. Вчера вечером Викки говорила о том, что иной раз невозможно представить себе чужие ощущения. Вообрази, что ты — летучая мышь. У летучих мышей, оказывается, есть такая штука — вроде эхолота,— чтобы не натыкаться на препятствия в темноте, ты понимаешь, как она устроена, но никогда не узнаешь, что чувствует маленькое мохнатое существо, когда ею пользуется, или когда оно висит вверх ногами под потолком пещеры. Викки говорила, что многое постигается лишь на собственном опыте. Видимо, она имела в виду, что нельзя понять другого, не побывав в его шкуре. Мег не может ощутить себя тобой, самое большее, на что она способна,— представить себя на твоем месте.

Ты хочешь поблагодарить коллег за участие, но никогда не сможешь по-настоящему объяснить, почему ты сорвался.

Время приближается к десяти. Все погружаются в свои дела. Тебе явно нечем заняться. Чтобы отвлечься, аккуратно раскладываешь скрепки и шариковые ручки, приводишь в порядок стопки бумаг. Мимо двери проскальзывает Друид. Его глаза встречаются с твоими, и он отводит взгляд в сторону. Тебя бросает в жар. Его прославленная вежливость ему изменила. Тут что-то не так. Когда-нибудь расскажешь детям, что ты был единственным за всю историю сотрудником журнала, с которым Друид не поздоровался.

На твоем столе рассказ, который ты давно хотел прочитать. Пробегаешь глазами по строчкам. Это все равно что ехать по льду на машине с лысыми покрышками. Колеса скользят, машина буксует. Встаешь из-за стола и наливаешь себе чашечку кофе. Другие согнулись над своими рукописями. В тишине слышно лишь, как царапает карандаш по бумаге и гудит холодильник. Подходишь к окну и смотришь вниз на Сорок пятую улицу. Может, подстеречь Клару, когда она будет проходить внизу, и пристукнуть ее цветочным горшком? Впрочем, люди, если смотреть сверху, все на одно лицо. Хотя нет. Вот на тротуаре сидит человек и играет на гитаре. Открываешь окно и высовываешься, но шум автомобилей заглушает музыку. Кто-то легонько касается твоего бедра. Уэйд показывает на дверь, в которой стоит Клара.

— Немедленно зайдите ко мне,— говорит она.

— На твоем месте я бы сиганул вниз,— шепчет Уэйд.

Кабинет Клары совсем близко. Слишком близко. И вот ты уже там. Она захлопывает дверь, садится за стол и кидает на тебя высокомерный взгляд. Она не предлагает тебе сесть, но ты садишься без приглашения. Дело оборачивается даже хуже, чем ты ожидал. И все же чувствуешь какую-то отрешенность, словно все уже позади, а сейчас ты лишь на миг вернулся в прошлое. Жаль, ты не понял, что к чему, когда женщина, которую ты встретил в «Разбитом сердце», пыталась объяснить тебе про медитацию в духе дзэн. Представь себе, что это мираж. Клара не может причинить тебе никакого вреда. Ничто не устрашит самурая, идущего в бой и исполненного решимости умереть. Ты уже смирился с неизбежностью. Так чего ради ты должен выслушивать все это?

— Я хотела бы знать, что произошло.

Глупый вопрос. На это можно ответить все что угодно. Делаешь глубокий вдох.

— Я напился.— Ты мог бы добавить, что напился также и автор статьи, и что ты сделал статью неизмеримо лучше, и что изменение графика сдачи было неразумно. Но ты ничего не говоришь.

— Вы напились?

Ты киваешь. Это правда. Однако в данном случае искренность не пойдет тебе на пользу. Ты делаешь усилие и встречаешь ее горящий взгляд.

— Могу ли я попросить объясниться? Правда, мне интересно.

Теперь она пытается раздавить тебя своим сарказмом.

— Так как же *именно* вы напились?

Известно, что способов напиться полно, перечислять их все бесполезно.

— Ну?

Ты уже далеко. Ты за окном — летаешь там вместе с голубями. Чтобы заглушить страх, рассматриваешь ее нелепую прическу — косички, торчащие на голове, словно спинакеры на буксире. Подозреваешь, что в глубине души она наслаждается всей этой историей. Она давно ждала такого случая.

— Вы понимаете, насколько это серьезно? — нажимает она.— Вы поставили под угрозу репутацию журнала. Наш журнал известен своей скрупулезной точностью. Наши читатели верят, что мы печатаем правду.

Тебе хочется сказать: «Бросьте! Факты — это еще не вся правда!» — но она уже закусила удила.

— Каждый раз, когда журнал отправляется в печать, на карту ставится его репутация. А как только нынешний номер появится в газетных киосках, выяснится, что вы ее подорвали, и подорвали непоправимо. Наш журнал выходит пятьдесят лет, и за это время нам только однажды — только однажды! — пришлось давать печатное опровержение.

Да, ты об этом знаешь.

— Понимаете ли вы, что из-за вашей безответственности пострадаем мы все?

Кабинет Клары и так невелик, а сейчас тебе кажется, что он сжимается с каждой минутой. Ты поднимаешь руку:

— Так какие же ошибки вы у меня нашли?

У нее уже готов список: в двух местах неверно расставлены акценты, избирательный округ в центральной Франции назван северным. Один из министров приписан к чужому министерству.

— И это наверняка еще не все. Представляю, что вы там дальше напортачили. Гранки — настоящий кошмар. Разобрать, что вы проверили, а что — нет, невозможно. Дело в том, что вы не придерживались правил работы — тех правил, которые давно уже должны были стать вашей второй натурой. А между тем эти правила написаны в вашей должностной инструкции. Они плод многолетнего коллективного опыта, и если бы вы взяли на себя труд следовать им, то никогда бы — насколько это вообще возможно — не пропускали фактических ошибок.

Лицо Клары покраснело. Хотя Уэйд утверждает, что она недавно начала бегать трусцой, дыхалка у нее ни к черту.

— Можете вы что-нибудь сказать в свое оправдание?

— Нет.

— И это уже не в первый раз. Раньше я многое списывала на вашу неопытность. Однако вы вообще, видимо, не в состоянии делать эту работу.

Возражать ты не собираешься. Ты готов признаться во всех преступлениях, описанных в сегодняшней «Пост», только бы эта пытка поскорее закончилась. Ты печально киваешь головой.

— Ну, и что вы скажете?

— Полагаю, что я уволен.

Она, кажется, удивлена. Она постукивает пальцами по столу и хмурится. Ты видишь, что пальцы ее дрожат, и это тебя радует.

— Совершенно верно,— наконец говорит она.— С этой самой минуты.

— Это все? — спрашиваешь ты и, не получив ответа, поднимаешься. Ноги дрожат, но ты думаешь, что она этого не замечает.

— Мне очень жаль,— говорит она, когда ты открываешь дверь.

Запершись в уборной, постепенно приходишь в себя. Хотя ты испытываешь облегчение и понимаешь, что все не так уж плохо — могло быть и хуже,— руки и колени дрожат. Порыскав по карманам, вытаскиваешь маленький стеклянный пузырек — подарок Тэда. Для поднятия настроения это, как говорится, то, что доктор прописал. Хотя скорее наоборот: вредное лекарство.

Ты высыпаешь изрядную дозу порошка на ладонь. Затем подносишь руку к лицу, и тут пузырек выскальзывает из твоих пальцев, с отвратительной точностью падает в унитаз, отскакивает от фаянса и уходит под воду с нахальным всплеском, словно большой лосось, выплюнувший крючок с очень маленькой и тщательно насаженной мушкой.

Нет, сегодня не твой день. Тебе надо было заглянуть в «Пост» — проверить свой гороскоп.

Возвращаешься в отдел, все столпились у стола Риттенхауза. При твоем появлении они замолкают.

— Ну? — спрашивает Меган.

Хотя колени еще дрожат, у тебя возникает странное ощущение всесилия. Ты можешь нырнуть в окно и полететь над крышами. Можешь поднять свой стол одной рукой. На лицах твоих бывших коллег — какое-то угнетенное выражение.

— Мне жаль с вами расставаться.

— Не может быть,— говорит Меган.— Они не имели права.

— И тем не менее.

— Но она сказала хоть что-нибудь конкретное? — спрашивает Риттенхауз.

— Это не имеет значения. Факт тот, что я уволен.

— Они не имеют права,— повторяет Меган.

— А может, стоит направить твое дело в арбитражный комитет служащих,— говорит Риттенхауз.— Ты же знаешь, я член этого комитета.

Ты качаешь головой:

— Спасибо, но, по-моему, не стоит.

— Ну, по крайней мере они могли бы дать тебе возможность уйти по собственному желанию, если ты этого хочешь,— говорит Уэйд.

— Да какая мне разница? — говоришь ты.— Серьезно, мне наплевать.

Потом они расспрашивают тебя, как именно все происходило, и ты пытаешься удовлетворить их любопытство. Они советуют тебе встать в позу несправедливо обиженного, протестовать, оправдываться, ссыла-

ясь на особые обстоятельства. Они боятся, что ты отступишься без боя. Клара не появляется. Уэйд считает, что напоследок надо устроить им хороший скандал, и предлагает насрать у Друида в кабинете. Меган спрашивает, что ты теперь собираешься делать, и ты отвечаешь, что не имеешь понятия.

— Ладно, я тут больше не нужен. За вещами зайду завтра.

— Может, заодно и пообедаем вместе? — спрашивает Меган.— Я бы очень хотела с тобой поговорить.

— Конечно. До завтра.

Пожимаешь всем руки. Меган перехватывает тебя у лифта:

— Забыла тебе сказать. Майкл, твой брат, опять звонил. Мне показалось, он жаждет с тобой пообщаться.

— Спасибо. Я ему позвоню. Спасибо за все.

Меган кладет руки тебе на плечи и целует тебя:

— Не забудь, завтра мы с тобой вместе обедаем.

Выходишь на улицу. Надеваешь темные очки и размышляешь, куда теперь податься. Вечный вопрос. Кажется, он возникает все чаще и чаще. Всего несколько минут назад тебе было море по колено. А сейчас до тебя начинает доходить, что работы-то больше нет. Ты уже не сотрудник известного журнала, где со временем мог стать редактором или штатным автором. Вспоминаешь, как обрадовался отец, когда ты устроился на работу, и догадываешься, как он отреагирует на известие о том, что тебя вышвырнули.

Останавливаешься, чтобы послушать гитариста. Он сидит прямо на тротуаре и наигрывает блюз, каждый аккорд бьет тебя по сердцу — прямо между третьим и четвертым ребрами. Ты слушаешь, как он поет «Нет у меня дома», «Не уходи», «Междугородный телефон». Когда он начинает «Сироток», ты трогаешься дальше.

На Сорок второй улице, недалеко от поворота на Пятую авеню, рядом с тобой пристраивается парнишка.

— Самые настоящие гавайские стимуляторы. Отличная штука. И возбуждает, и успокаивает.

Ты мотаешь головой. Парнишке на вид всего тринадцать лет.

— Еще кока есть. Хочете? Запечатанная перуанская травка. Понюхаете и полетите прямо к Богу.

— Сколько?

— Пятьдесят долларов за половину.

— Половину чего? За половину буры и половину сахарного спирта — пятьдесят долларов?

— Чистяк. Запечатанная.

— Естественно. Тридцать пять.

— Я бизнесмен. Мы филантропией не занимаемся.

— За пятьдесят не возьму.

— Сорок пять. Но это грабеж.

Ты идешь за парнишкой в парк, что за библиотекой. Прежде чем войти, осматриваешься по сторонам. Может, тут с бейсбольной битой под мышкой поджидает его братец. Два старика кормят голубей. Парнишка подводит тебя к большому дереву и просит подождать. Затем бежит в другой конец парка. Ну и делами ты занялся! — поощряешь малолетних преступников. Да к тому же впустую тратишь деньги на это сомнительное зелье. Парнишка выбегает из-за фонтана.

— Дай попробовать.

— Ну и дерьмо же вы,— говорит он.— Думаете, вы кто — Джон Делореан? [1] Вы же половину берете. Человеческим языком говорят: травка настоящая.

Классический прием. Его торгашеская улыбка исчезает. Ты пони-

---

[1] Скандально известный американский предприниматель.

маешь, что тебя вот-вот обдерут, но все еще цепляешься за надежду получить кайф.

— Дай хоть посмотреть.— Он уходит за дерево и открывает пакетик. Ты покупаешь какой-то белый порошок. Судя по весу, его хватит надолго, хотя кто его знает. Отдаешь деньги. Парнишка сует их в карман и отходит задом, не спуская с тебя глаз.

Поскольку тебя, по всей видимости, никто не видит, решаешь попробовать зелье. Вместо ложечки берешь ключ от кабинета. На вкус эта штука напоминает «Драно» [1]. Ко второй пробе ты уже готов, и это не так уж плохо. И все же ощущение такое, будто из носа у тебя сыплются искры. Из чего бы ни делали эту дрянь, помереть от нее, наверное, все-таки нельзя. Ну хоть что-то южноамериканское должно же в ней быть? Взбодрив себя еще разок, закрываешь пакетик. Ты *думаешь,* что наступает кайф. Тебе хочется куда-то идти, что-то делать, с кем-то говорить, но сейчас еще одиннадцать тридцать утра, и у всех в этом мире (кроме тебя) есть работа.

Возвращаешься в редакцию около полуночи. С тобой Тэд Аллагэш. Вы оба поддали. Ты уже решил: ну ее к черту, эту говенную работу, и ушел ты с нее как раз вовремя. Если бы ты и дальше продолжал торчать в этом самом отделе проверки, то кончил бы хроническим запором. Ты отрезанный ломоть. Конечно, от этого вина Клары Тиллингаст не убавляется. На ее совести многочисленные преступления против человечества и против тебя лично. Тэд считает делом чести отплатить ей за все хорошее. В его родных краях таких негодяек лупят кнутом или палкой с набалдашником из слоновой кости. Он утверждает, что подобного рода расправа над редакторами, клевещущими на собратьев по перу, имеет долгую и почтенную историю. Однако в данном случае требуется нечто более утонченное. Большую часть вечера вы разрабатывали и готовили достойный план отмщения. Первая часть вашего плана состояла в том, чтобы сообщить журналисту Ричарду Фоксу, занимающемуся скандальными разоблачениями, некие грязные тайны, которые ты узнал за два года работы в журнале. Ты бы не стал в это ввязываться, но Тэд отчаянно взывал к твоему боевому духу. Он сам позвонил Фоксу и, естественно, напоролся на автоответчик. Тогда Тэд (назвавшись Большим Лоботрясом) продиктовал заранее заготовленный текст, пообещал рассказать кое-что еще покруче и в довершение всего оставил Кларин телефон. Затем вы перешли ко второй части плана.

Ночной сторож кивает при виде твоего служебного удостоверения и просит записаться в книге посетителей. Вы записываетесь Ральфом Крамденом и Эдом Нортоном. Тэд объясняет, что у вас срочное дело: на карту поставлены проблемы, связанные с Первой поправкой к Конституции [2]. Сторож уже привык, что журналисты вечно появляются в самое неурочное время, и никаких оснований беспокоиться по поводу очередных двух пьянчуг у него нет. Он указывает на грузовой лифт и снова зарывается в спортивный журнал. Он даже не интересуется, что у вас в чемоданчике.

Когда лифт трогается, из чемоданчика раздается пронзительный, визгливый крик, похожий на птичий писк. В этом крике слышится страдание. Нет, не дело вы задумали. На Клару тебе, конечно, плевать, но вот хорька жалко. Бедняга Фред — совершенно безобидное существо — невольно станет соучастником ваших преступлений.

— Не дрейфь,— говорит Тэд.— Видишь, как все просто. Может, лучше было подсунуть им волчонка? — Поначалу Тэд хотел обзавестись летучей мышью, но когда ты упомянул хорька, он обалдел от восторга.

Дверь лифта открывается на двадцать девятом этаже. Вы стоите в

---

[1] Средство для чистки туалетов.

[2] Поправка гарантирует свободу слова и печати.

кабине, прислушиваясь. Тишина. Тэд вопросительно смотрит на тебя. Ты киваешь и выходишь в приемную, следом за тобой — Тэд. Двери лифта закрываются с оглушительным грохотом: кажется, будто мимо прошел товарняк. Затем шум становится глуше, и наконец снова воцаряется тишина. Тэд наклоняется к тебе и шепчет на ухо:

— Пленных не брать.

Ты идешь с чемоданчиком в руке по коридору. Во всех кабинетах темно, но ты все еще продолжаешь нервничать. Известно, что Друид засиживается на работе немыслимо долго, и ты на секунду представляешь себе, как поворачиваешь за угол и сталкиваешься с ним нос к носу. Ты бы умер от стыда. И все же стремление выкинуть коленце придает тебе храбрости. Как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. Заглянув в зеркало, стоящее в углу, убеждаешься, что и дальше, за поворотом, свет нигде не горит.

Дверь Клариного кабинета заперта, но тут проблемы не возникает. У тебя есть ключ от двери в отдел, а ключ от ее кабинета спрятан — где же еще? — за томом на букву «К» энциклопедии «Британника». Секундное дело.

Вы проникаете в кабинет Клары и закрываете дверь.

— И вот они вступили в логово дракона,— шепчет Тэд. Ты включаешь свет.— М-да! — говорит он.— Трудно поверить, что это кабинет редактора. Выпендривается, как чванливая горничная.

Теперь, когда вы уже здесь, ты не совсем понимаешь, что надо делать. Хорек в чемоданчике отчаянно скребется.

— Веревка у тебя? — спрашиваешь ты.

— Нет.

— Я же тебе давал.

— Да она нам не нужна. Будет еще лучше, если этот стервец высунется из ящика стола.

Тэд кладет чемоданчик на пол, открывает замки и отходит в сторону.

— Выпусти его,— говорит он. Ты поднимаешь крышку. Действие разворачивается стремительно. Зверек впивается зубами в твою руку. И ты машинально отдергиваешь ее. Хорек висит, вцепившись в тебя зубами. Боль дикая. Трясешь рукой изо всех сил и стряхиваешь зверька на Тэда. Прежде чем приземлиться, Фред выдирает лоскут из его брючины, а затем начинает носиться по комнате, перевертывая коробки, и наконец прячется на полке за переплетенными томами «Сайентифик американ» [1].

Рука горит. В башке будто что-то пульсирует. Ты трясешь рукой, разбрызгивая по стенам красные капельки. Лицо Тэда побелело. Он наклоняется и робко оглядывает дыру в своих штанах чуть пониже причинного места.

— Боже милостивый! Еще дюйм...

Его прерывает стук в дверь.

— Черт возьми!

Снова стук, а затем хриплый голос:

— Откройте! Я знаю, вы там.

Ты узнаешь голос — могло быть и хуже — и прикладываешь палец к губам. Взяв карандаш и бумагу с Клариного стола, карябаешь здоровой левой рукой: *Разве дверь заперта?*

Тэд отвечает тебе растерянным взглядом.

За дверью продолжается сопение, потом снова стучат. Дверная ручка поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону. Аллагэш дергает тебя за руку, на губах его беззвучный вопрос. Щелкает замок, и дверь распахивается. За дверью обнаруживается Алекс Харди. Он мрачно кивает головой, как будто именно вас двоих он и ожидал найти среди ночи в кабинете Клары. Чтобы оправдаться, тут же пытаешься

---

[1] Американский научно-популярный журнал.

придумать какую-нибудь историю. Тэд размахивает линейкой, которую нашел за дверью.

— Фу, черт. Ну и напугал ты нас. Думаю: кто это в такое время... Понимаешь, я бумажник посеял... утром еще.

— Пигмеи,— говорит Алекс,— одни пигмеи.

Тэд вопросительно смотрит на тебя. Ты пожимаешь плечами.

— Я окружен пигмеями.

Теперь ты видишь, что он вдрызг пьян. Интересно, узнал ли он тебя.

— Я общался с великими,— говорит Алекс.— Я с ними работал. С настоящими мужчинами, слова которых разносились по миру и вызывали уважение. Ну, и с женщинами тоже. С настоящими мужчинами и настоящими женщинами. У них был талант! У них были великие замыслы! А вы тут копошитесь в своем дерьме. Проклятые пигмеи.

Алекс стучит кулаком по стене. Хорек выпрыгивает из укрытия и кидается к двери. Он пытается проскользнуть между ног Алекса. Тот старается увернуться. Хорек скребет коготками по линолеуму. Алекс хочет удержать равновесие, хватается сначала за косяк, потом, когда начинает падать, за вешалку и наконец за книжную полку, которая грохается вместе с ним. Еще немного — и верхние крючки вешалки разодрали бы физиономию Тэда. В результате Алекс лежит на полу под кучей книг. Ты не знаешь, как сильно его пришибло.

— Давай сматываться, пока он не пришел в себя,— говорит Тэд.

— Не могу я его так оставить.— Ты опускаешься на колени и осматриваешь его. Он дышит; кабинет уже пропах спиртным.

— Брось. Ты что, хочешь *объяснять,* что мы тут делаем? Пошли.

Ты снимаешь несколько книг с груди Алекса и вытягиваешь ему ноги. В конце коридора раздается телефонный звонок.

— Слава богу, с ним все в порядке. Если нас здесь застукают, мы влипли.

— Возьми чемодан,— говоришь ты. Потом берешь подушку с Клариного стула и подкладываешь под голову Алекса. Его ноги торчат из двери, так что закрыть ее невозможно. Лифт поднимается целую вечность и с таким шумом, словно объявлена общая тревога.

В вестибюле сторож по-прежнему с увлечением изучает свой журнал. Когда он отпирает дверь на улицу, ты держишь руку в кармане пиджака. На улице вы пускаетесь наутек и, пока не садитесь в такси, молчите как рыбы.

Дома у Тэда промываешь и осматриваешь рану, а он меняет штаны. Поначалу ты нервничаешь. С тревогой думаешь о том, что хорек, возможно, бешеный, и пытаешься вспомнить, когда тебе последний раз делали прививку. Отпечаток зубов отчетливо виден между большим и указательным пальцами. Ранки глубокие, но не широкие. Тэд уверяет, что швы не нужны. Он говорит, что, если бы хорек был бешеным, он не ласкался бы так, когда ты засовывал его в чемодан. Он выливает на рану стопку водки. Ты хочешь, чтобы тебя пожалели. В больницу тебя совсем не тянет. Ты ненавидишь больницы и врачей. Запах спирта вызывает тошноту. Затем ты вспоминаешь об Алексе: может, у него сотрясение мозга. Пожалуй, в «Пост» могли бы сделать из этой истории нечто занимательное: ЛУЧШИЙ ДРУГ ФОЛКНЕРА ВСТУПАЕТ В ПОЕДИНОК С МОХНАТЫМ ДЬЯВОЛОМ.

— Алекс просто просыхает после пьянки,— говорит Тэд.

— Будем надеяться.

— Хотел бы я посмотреть, что будет там утром, когда народ придет на работу.

Тэд достает из аптечки вату и лейкопластырь, и пока ты оказываешь себе первую помощь, высыпает на стол несколько бороздок боливийского порошка.

После такой анестезии боль и чувство вины уходят и вся эта история начинает казаться просто смешной.

— Великаны гребаные,— говорит Тэд.— А кто он сам? — Карлик! И он посмел назвать меня пигмеем? Ну ничего. Старина Фред за нас постоял. De casibus virorum illustrium, как говорили мы на уроках латыни.

— Что говорили?

— О падении великих людей.

Тэд предлагает куда-нибудь пойти. Он говорит, что еще не поздно. Ты говоришь, что все же поздновато, а он напоминает, что тебе же не идти спозаранок на работу. Это звучит вполне убедительно. И ты соглашаешься пропустить стаканчик в «Разбитом сердце».

В такси по дороге в центр Тэд говорит:

— Спасибо, что ты избавил меня от Викки. Инга тебе очень благодарна.

— Рад стараться.

— Правда? Удалось, да?

— Не твое дело.

— Ты что, серьезно? — Он наклоняется и смотрит тебе в лицо.— На самом деле? Ну и ну. Каждому свое.

Таксист то и дело выруливает на полосу встречного движения, бормоча при этом на каком-то ближневосточном языке.

— Во всяком случае, я рад, что с Амандой у тебя — все. Вообще-то она ничего смотрелась. Ну, да Бог с ней. Не понимаю только, почему ты решил на ней жениться.

— Сам удивляюсь.

— Разве ты не увидел на челе ее печать?

— Какую печать?

— Обыкновенную. С жирной надписью: *Сдается внаем на короткий и длительный срок.*

— Мы ведь с ней в баре встретились. Слишком темно было, не разобрать.

— Ну, не так уж и темно. Она по крайней мере неплохо разглядела, что ты ее единственный шанс выбраться из этой дыры. Яркие огни, большой город. Если тебе действительно хотелось жить с ней в счастливом браке, ты не должен был разрешать ей работать манекенщицей. Неделя на Седьмой авеню испортила бы и монахиню. Там, где нет глубины, твоя устоявшаяся идея домашнего очага не найдет отклика, не расцветет. Аманда как могла избегала всего неприятного и не напрягалась. И решила выехать на своей внешности, но для этого ей надо было избавиться от тебя.

Тэд совсем не удивился уходу Аманды, ибо считал его неизбежным. Ее отъезд лишь подтвердил его предчувствия. Твое разбитое сердце — обычный финал все той же извечной истории.

Под утро, придя в себя, обнаруживаешь, что катишь в машине в обществе парня по имени Берни и двух его подружек. Подружек зову́т Мария и Кристал. Вы с Кристал разместились на заднем сиденье. Одной рукой она обнимает тебя, другой — Аллагэша. Берни и Мария сидят напротив на откидных сиденьях. Берни шурует вверх-вниз по ноге Марии. Ты никак не сообразишь, знал ли Тэд раньше этих людей или познакомился с ними нынешней ночью. Тэд вроде бы говорил про какую-то вечеринку. Мария заявляет, что хочет ехать в Нью-Черси. Берни кладет руку тебе на колено.

— Вот моя контора,— говорит он.— Ну как, нравится?

Ты не уверен, что тебе нужно знать, какого рода деятельностью занимается Берни.

— У тебя такая же?

Ты мотаешь головой.

— Естественно, нет. На тебе же большими буквами написано: «Айви лиг». А я ведь могу купить и тебя, и папашу твоего вместе с его загородным клубом. И ребята вроде тебя, вот такие, застегнутые на все пуговицы, подают мне кофе.

Ты киваешь. Интересно, есть ли у него вакансия и сколько он платит.

— Ладно, контору нашу я тебе показал. А теперь тебе, конечно, хочется знать, где же сама фирма?

— Да, в общем, нет,— говоришь ты.

Тэд лезет Кристал под платье и исчезает там с головой.

— Не хочется, значит? Но все-таки интересно? — говорит Берни.— Ну, так и быть, расскажу. Она на Нижнем Ист-сайде, авеню Д и в Сумеречной зоне. Неподалеку от того места, где мои старые папуля и мамуля надорвали здоровье у конвейера, чтобы их детки смогли перебраться в Скарсдейл и Метачен. Теперь там одни торчки [1] и черножопые. Я тебе покажу эти места. И даже расскажу, как мы доставляем товар. Хочешь узнать?

— Пожалуй, нет.

— Молодец. Молодец, парень. Не хочешь, и правильно. Объяснить, что бывает с теми, кто чересчур много знает?

— А что?

— А ничего. Мясной фарш из них делают. На корм собакам, фирма «Натуральные собачьи корма».

Тэд поднимает глаза:

— У нас в агентстве эта фирма имеет счет.

Ты задаешься вопросом: как ты, собственно, тут оказался? Рука, которую прокусил Фред, нарывает. Может, бешенство начинается? Интересно, как там Алекс.

— Раньше,— говорит Берни,— это был самый дрянной бизнес. Имеешь дело со всякой южноамериканской швалью да еще с итальяшками из Нью-Джерси. Район тяжелый, эти черножопые — народ горячий, и все ходят с ножами, но зато какой простор для предприимчивого человека. А теперь сюда текут совсем другие деньги. Мне приходится вести переговоры со швейцарскими банкирами в тройках. Вот что происходит со здешним бизнесом. Но с этими парнями работать можно. Все, чего они хотят,— хороших барышей. Просто и ясно. А вот чего я боюсь, так это моих собратьев — евреев-хасидов. Они сюда валом валят, выпихивая независимых дельцов. И, надо сказать, они не такие дураки, это не то, что бриллианты гранить. Они просто вцепились в этот бизнес. У них есть все — международная организация, широкие возможности маневрировать капиталом, тайна и доверие. Разве они могут проиграть? Помяни мое слово: если где чего не так — тут уж явно еврейский запашок чувствуется.

— Ты имеешь в виду этих придурков в черных шляпах и с такими штуками на висках? [2] — говорит Тэд.

— Поверь мне,— говорит Берни,— у них хватит денег и чтобы в парикмахерскую сходить. Так как ты думаешь, «Янки» выйдут в финал?

— Да вроде бы должны,— говорит Тэд.

Вываливаешься у первого же красного светофора, заявив, что тебя укачало. Ты уже прошел половину квартала, когда Берни кричит тебе в спину:

— Эй, парень! Запомни. Проболтаешься — мясной фарш из тебя сделаю.

---

[1] Наркоманы.

[2] Имеются в виду пейсы — длинные пряди волос, которые хасиды отращивают на висках в знак принадлежности к ортодоксальной иудейской вере.

О couture[1]

К одежде ты всегда относился равнодушно, удовлетворяя свои скромные потребности в «Брукс Бразерс» или в «Дж. Пресс». И, похоже, ныне в обоих этих заведениях сложности с кредитом. Тем не менее сегодня утром ты намерен объявиться в танцевальном зале гостиницы «Уолдорф-Астория», где один модельер демонстрирует свою осеннюю коллекцию. Приглашение ты раздобыл у приятеля из журнала «Вог». Он у тебя в долгу — когда-то, отправляясь в Уэстчестер, он позаимствовал у тебя «остин хили», но по дороге врезался в оленя с какими-то поразительно ветвистыми рогами. Ни один из твоих приятелей-охотников за последние двадцать лет ни разу не видел оленя с такими удивительными рогами. В итоге машина закончила свой жизненный путь на свалке на окраине Плезантвилля. Дальнейшая судьба оленя осталась неизвестной, равно как и судьба той суммы, которую ты получил по страховке, известно лишь, что деньги эти исчезли за две недели без следа.

У двери высокая женщина с серебристыми волосами проверяет твой пригласительный билет. По обе стороны двери стоят двое чернокожих в тюрбанах со скрещенными руками на груди. Они изображают рабов-нубийцев или что-то в этом роде. Такое может позволить себе только итальянский модельер. Женщина, которая проверяет билеты, похожа на представительницу какого-то экзотического племени. У нее нет ни бровей, ни ресниц, а волосы растут только на макушке. То ли она попала в катастрофу, то ли просто шикует? Дамочка таращится на твою некогда белую повязку, которая давно уже стала серой и покрыта пятнами запекшейся крови.

— Мистер...

— Аллагэш,— говоришь ты, вытягиваясь в струнку. Это первая фамилия, что приходит тебе в голову. Тебе совсем не хочется пользоваться своей.

— Из «Вог»? — говорит она.

— Я работаю там с прошлой недели.

Она кивает и возвращает приглашение. Затем она щурит глаза и морщит нос, словно хочет сказать, что скормит тебя гигантам-нубийцам, если ты лжешь.

Замечаешь бар, он открыт. Поблизости, сжимая бокалы в руках, толкутся местные ветераны — торговые агенты универмагов. Вид у них такой, словно им больше всего хотелось бы сейчас оказаться во Флориде. Идти сразу в бар — явная ошибка, впрочем, с точки зрения здравого смысла все, что ты затеял,— полный идиотизм: явился сюда как дурак, под чужим именем и собираешься сорвать у них представление.

Извиняясь, протискиваешься к стойке и заказываешь водку.

— Со льдом,— уточняешь ты.— И еще одну стопку для подружки.

С двумя стопками в руках идешь в глубь зала и, наморщив лоб, останавливаешься в центре толпы. Затем оглядываешься вокруг, словно и в самом деле ищешь тут свою знакомую, что рекламирует фирму «Ревлон». Ты не хочешь привлекать внимания. Не исключено, что один из друзей Аманды узнает тебя и прежде, чем ты успеешь провернуть свой план, натравит на тебя гигантов-нубийцев. Вот именно так, думаешь ты, чувствует себя террорист — стоит в толпе с бомбой в портфеле и трясется, словно каждый может заглянуть ему в башку и узнать, что у него на уме. Колени дрожат. Ты залпом опрокидываешь одну стопку. Увы, террориста из тебя не выйдет. Затем вспоминаешь, что возле бара стоял чей-то портфель, и с первой волной алкоголя в мозгу твоем рождается идея.

Возвращаешься к стойке. Портфель все еще на месте. Его владелец, лысеющий человек с искусственным загаром, разговаривает с дву-

---

[1] О, мода! *(франц.)*

мя восточного типа девицами. Он стоит к портфелю спиной. Ты облокачиваешься на стойку бара, делая вид, что устал.

— Что-нибудь подать? — спрашивает бармен. Отвечаешь отрицательно. Бармен хмурится. Тебе кажется, что во взгляде его мелькает подозрение.

— Черт ее разберет, как на ней плавают, на этой штуковине,— говорит лысый дядя.— Я нанял каких-то греков...— Девчонки, наклонившись друг к другу, шушукаются, а затем прыскают со смеху. Очевидно, они что-то задумали. Он плетет им какую-то околесицу про острова в лазурном море, а тем временем ты присваиваешь его портфель. Pas de[1] труда.

Затем садишься в середине зала, прямо напротив подиума. Когда начнется представление, добраться до тебя будет практически невозможно. Подсовываешь портфель под сиденье и сверху кладешь пиджак. Итак, твой план приходит в действие.

Внезапно толпа у входа заволновалась, расступилась, словно гладь вод перед носом корабля. Щелкают фотоаппараты, мелькают вспышки. Наконец, обнаруживаешь и виновницу ажиотажа. Она тебе, несомненно, знакома — ее лицо ты видел на рекламе «кока-колы» и еще какой-то косметической фирмы, а недавно в одной бульварной газетенке прочел о ее скандальных похождениях. Это известная актриса, она же манекенщица. На сей раз она на отдыхе. На ней линялые джинсы, свитер и яхтсменская шапочка; появившись в таком виде, она словно хочет сказать: «Я могу выглядеть шикарно и в смирительной рубашке». Аманда, которая однажды ездила с ней на показ моделей, рассказывала, что та — настоящая мученица. Не меньше семи раз она делала пластические операции, пытаясь исправить форму носа, и все равно недовольна. Теперь она отказывается фотографироваться в профиль. Впрочем, с такого расстояния нос выглядит вполне нормально, да и в остальном она кажется тебе на удивление приятной особой. Ростом она примерно пять футов и пять дюймов — для манекенщицы маловато. К тому же у нее слишком пышный бюст.

У Аманды был идеальный восьмой размер: бедра — тридцать четыре, талия — двадцать три, бюст — тридцать три. Кроме того, ты помнишь размер ее туфель, перчаток и кольца. Клара была бы в восторге. Все цифры у тебя в голове. А если прибавить еще и скулы, которые один фотограф как-то назвал «неоклассическими», то она тянула на все сто пятьдесят долларов в час.

Народ рассаживается. На подиум выходит женщина в свободном розовом платье, очевидно ведущая. Она улыбается, приветливо кивает головой, благодарит собравшихся за внимание и проходит к микрофону на краю подиума. Руки у тебя начинают дрожать. Ты думаешь, что неплохо бы еще выпить, выбираешься к проходу и устремляешься к бару наперерез толпе. Люди смотрят на тебя; кажется, они читают каждую твою мысль. Впрочем, с Амандой ты прожил три года в одном доме, можно сказать, бок о бок, а так и не понял, что у нее на уме. Она говорила, что любит тебя, и вела себя безупречно.

Свет гаснет, и женщина в розовом начинает рассказывать, почему все здесь сегодня собрались. Она говорит что-то о Революции Вкуса. О герое этого вечера — модельере, который носит фамилию знаменитого художника Возрождения и оказал на нынешнюю моду не меньшее влияние, чем его прославленный однофамилец — на живопись. Между тем бармен сообщает тебе, что бар закрыт до конца программы, но для тебя он, так и быть, сделает исключение. (Ты тем временем тычешь ему десятку.) Бармен — парень примерно твоего возраста. Тебе хочется потолковать с ним об Аманде. Но вместо этого у тебя вырывается:

— Тут дамы ходят, все в золоте, а охраны что-то не видно.

Он смотрит на тебя.

---

[1] Без *(франц.)*.

— Охрана тут есть,— произносит он уверенно.

Отличный ход. Ты-то, балда, надеялся, что сможешь, не привлекая лишнего внимания, все у него выпытать. А он тебя сразу раскусил. И принял за обыкновенного жулика, что, по его разумению, еще хуже, чем брошенный муж. Хоть бы руки перестали дрожать. Он оглядывает тебя: совершенно очевидно, что ты ему не нравишься. Он готов позвать пинкертонов или гигантов-нубийцев. Они будут бить тебя палками по пяткам, пока ты не признаешься во всем. Аманда увидит твое позорное изгнание и подумает: «Боже, как низко он пал».

Ты тем временем продолжаешь врать:

— Моя дама немножко нервничает. Она надела свое лучшее ожерелье, а тут.... Знаете, может, я и ей заодно принесу чего-нибудь выпить?

Он кладет лед в другой стакан.

— Нет, ей безо льда,— говоришь ты. Его взгляд холоден.— Вряд ли ее муж будет в восторге, если она придет домой без ожерелья.

Ты подмигиваешь.

— Он думает, что она пошла играть в бридж.— Зачем ты все это говоришь?

По дороге в зал поворачиваешься, оглядываешься через плечо. Бармен подает кому-то знаки. То и дело извиняясь (и расплескивая водку), протискиваешься, задевая чужие колени, на свое место. Розовая дама вещает нечто о Новых Смелых Фасонах. Едва ты садишься, как появляется первая манекенщица. Она чернокожая и высоченная, как зулуска. Розовая дама описывает ее туалет, специально обращая внимание на гофре, которое придает ему особую элегантность.

Аманда выходит третьей. По крайней мере ты предполагаешь, что это Аманда. Волосы ее зачесаны назад; она густо накрашена, так что ты вовсе не уверен, она ли это. Идет она обычным шагом манекенщицы — они все двигаются одинаково,— но, кажется, ты узнаешь ее походку. Вот она прокручивается и уходит со сцены. Времени подумать у тебя совсем нет. Ты не можешь понять, она ли это. Вспоминаешь, как твои друзья, бывало, говорили, что видели ее фотографии в журнале «Нью-Йорк таймс мэгэзин» или где-то еще, хотя это была другая манекенщица. Иногда они приносили вырезки из журналов, и ты с удивлением обнаруживал, что девушки на картинках совсем не похожи на Аманду. А после того, как вы расстались, ты уже сам стал забывать, как она выглядит. Как-то ты просмотрел альбом с ее фотографиями и попытался составить некий обобщенный портрет. Все фотографии немного отличались друг от друга. Ее агентша говорила, что она может выступать в любом амплуа — соблазнительницы, деловой женщины или простушки. Модельер, с которым она работала, считал, что у нее очень пластичные черты лица. Начинаешь подозревать, что все твои надежды вернуть Аманду столь же призрачны, как те образы, которые она с такой легкостью меняла в лучах прожекторов. Ты видел то, что она хотела тебе показать, или то, что сам хотел видеть.

Хватаешься за край стула и ждешь, когда она выйдет снова. Теперь ты более или менее представляешь себе, что надо делать. Итак, когда Аманда появится, ты подойдешь к ней. Если кто-то попытается помешать тебе, скажешь, что в портфеле — взрывчатка и при приближении любого ты разнесешь к чертям весь этот зал. Опять выходит зулуска — на сей раз уже в новом одеянии. Следом за ней — еще одна манекенщица. Теперь очередь Аманды, но вместо нее возникает какая-то брюнетка. Начинаешь паниковать. Она тебя видела. Она больше не выйдет. Однако Аманда (или женщина, которую ты принимаешь за Аманду) все же появляется. Пока она проходит по подиуму, ты встаешь. Розовая дама восторгается плиссе. Ты хочешь крикнуть: «Аманда!» — но от страха у тебя пропадает голос. На тебя начинают оглядываться. Ты хрипишь нечто невнятное. И наконец слышишь свой голос: «А-ман-да!»

Женщина продолжает показ. Она доходит до края подиума и де-

лает резкий пируэт, так что юбка ее взвивается. Затем проходит в одно крыло подиума (он имеет форму буквы «Т»), потом — в другое. Оказавшись почти напротив, она смотрит на тебя. В ее взгляде то ли ненависть, то ли равнодушие. Теперь тебе нужно встать и потребовать у нее объяснений. Но она поворачивается и уходит как ни в чем не бывало. Кто бы она ни была, она — профессионалка! Кто бы она ни была, ты ее не знаешь.

Розовая дама просит тебя занять свое место. Люди оглядываются, пытаясь получше рассмотреть тебя. Ты слышишь их голоса: «Сядьте». «Что ему нужно?» Находящийся впереди фотограф щелкает тебя — так, на всякий случай, вдруг тобой заинтересуется пресса. Ты представляешь себе заголовок в «Пост»: БРОШЕННЫЙ МУЖЕНЕК ВЫХОДИТ ИЗ СЕБЯ. По проходам спешат два здоровяка в униформе. На них — миниатюрные наушники, вероятно, они соединены с такими же крохотными приемниками. Интересно, а что, если они не люди, а роботы? Рядом с тобой сидит женщина с испуганным лицом. Откуда ты знаешь, что она на самом деле напугана? Если бы ты наступил ей на ногу, она бы закричала, но откуда ты знаешь, что ей *больно?* Быть может, человек, с которым ты встречался многие годы да так и не удосужился познакомиться поближе,— робот? Не исключено также, что робот жил с тобой под одной крышей, а ты по простоте душевной считал его своей женой.

Люди-роботы приближаются. Очевидно, они хотят насесть на тебя с двух сторон. Великолепный маневр! Просто восхитительный. Музыку врубили на полную громкость — вероятно, чтобы заглушить шум, когда тебя будут брать. Ты не сопротивляешься, когда один из этих людей (из уха у него тянется проводок от наушников — ну, форменный робот), берет тебя за руку и говорит:

— Пройдемте.

Ты идешь за ним вдоль ряда кресел, то и дело задевая чьи-то колени и извиняясь. Он выводит тебя в главный проход и тут впивается тебе в руку железной хваткой.

Двое роботов ведут тебя через фойе. На какое-то время твое внимание привлекает группа японских туристов. Они идут толпой вслед за гидом с розовым флажком и значком с иероглифами на лацкане пиджака. Твои провожатые докладывают в миниатюрные микрофоны, прикрепленные у них на рукавах:

— Нарушитель задержан. Идем по фойе.

Перед тем как вытолкнуть тебя за дверь, один из охранников наклоняется и говорит:

— Чтобы ноги твоей тут больше не было.

Ясный, солнечный день — для тебя даже слишком солнечный. Черные очки, слава богу, при тебе. По Парк авеню катится полуденная толпа. Ты ждешь, что люди будут пялиться на тебя, как на чудище, однако никому ты не нужен. На углу толстяк в шапочке с надписью «Янки» продает с тележки сухие соленые кренделька. Женщина в меховом манто подняла правую руку — ловит такси. Мимо громыхает автобус. Ты осторожно входишь в толпу — так человек, многие годы не входивший в воду, ступает на дно плавательного бассейна.

Аманда говорила: «Люди меняются, в жизни всякое бывает». Ей это казалось вполне сносным оправданием. Ты же хотел, чтобы она все объяснила, хотел знать, кто из вас двоих виноват. И пусть он получит по заслугам. Ты вынашивал планы жестокой мести и в то же время рассчитывал на примирение. Теперь прошлое будет стираться, таять, как при очень быстром прочтении книги, когда первое время память хранит еще какие-то образы, ощущения, а потом в голове остается только название.

Тесто и симпатия

С наступлением темноты возвращаешься на место преступления, чтобы подбить концы. Поскольку журнал отправлен в печать сегодня утром, предполагаешь, что все разошлись по домам. Когда входишь в здание редакции, чувствуешь себя иноверцем, проникающим в храм. Похмелье после «Уолдорфа» не помогает.

Выйдя из лифта на двадцать девятом этаже, сталкиваешься с Призраком. Двери лифта закрываются за твоей спиной.

Призрак стоит посреди приемной, наклонив голову, как дрозд, выискивающий червяков, и здоровается.

Ты испытываешь желание повернуться и удрать. Самое твое присутствие здесь кажется тебе чем-то позорным, особенно после вчерашней ночи. Чем дольше ты ждешь, тем труднее тебе заговорить. Словно он глухой, а ты немой.

— Привет,— говоришь ты чужим, дрожащим голосом.

Он кивает.

— Я слышал, что вы нас покидаете,— говорит он.— Жаль. Если вам когда-нибудь потребуется рекомендация...

— Спасибо. Большое спасибо.

— До свидания.— Он поворачивается и топает к отделу технического редактирования. От этой неожиданной встречи тебе становится грустно — жаль уходить из редакции.

Кидаешь взгляд на зеркало в углу приемной. Дверь Клары закрыта, так же как и дверь, ведущая в тайные покои Друида. За ними темно. В проверке горит свет. Осторожно двигаешь туда.

Меган сидит у себя за столом. Когда ты входишь, она поднимает глаза, но затем опять возвращается к чтению.

— Ты меня еще помнишь?

— Я помню, что мы договаривались пообедать.— Она смотрит в текст.

— Ой, извини ради бога!

Она смотрит на тебя:

— Ты всегда извиняешься.

— Мне нужно было провернуть одно дело.

— И что же, крутое дело?

— Какое там. Дохлое дело, совсем дохлое.

— Знаешь, я тоже человек.

— Ну, извини, извини...

— Да ладно. На тебя в последнее время столько всего валится,— говорит Меган.

— Ну так как? Мы идем ужинать?

— Если ты еще раз пригласишь меня в ресторан, я этого точно не перенесу.— Теперь она улыбается.

— Я быстро. Только вещи соберу.

Едва ты открываешь ящики стола, до тебя доходит, что на сборы уйдет, пожалуй, целая ночь. Тут немыслимое количество барахла: папки, записные книжки, личная и деловая переписка, гранки и верстки, книги для рецензий, спичечные коробки, какие-то бумажки с именами и телефонами, листочки с записями, наброски рассказов, очерки, стихи. Вот, например, первоначальный вариант «Птиц Манхэттена», а вот «Статистический обзор правительства США по сельскому хозяйству, 1981», который был тебе нужен, когда ты проверял статью о разорении семейных ферм. На задней обложке его записан телефон и имя: Лаура Боумэн. Кто такая Лаура Боумэн? Ты мог бы позвонить ей и спросить, где и когда вы познакомились. Скажешь ей, что у тебя амнезия и ты ищешь зацепки, чтобы вспомнить свое прошлое.

В верхнем ящике обнаруживаешь два пустых прямоугольных пакетика. Точнее, один из них не совсем пустой: внутри черной бумажки белая пыльца. Орудуя кредитной карточкой, выцарапываешь порошок на

стол и затем с помощью той же карточки выкладываешь его двумя ровными бороздками. Смотришь на Меган. Она читает. Ты можешь тихонько понюхать порошок, и она ничего не заметит. Достаешь из бумажника банкнот и сворачиваешь его большим и указательным пальцами в тугую трубочку. На двоих этого зелья явно не хватит. С другой стороны, и тебе одному его тоже не хватит — захочется еще. Вечно испытывать неосуществимые желания... может, в этом и состоит самопознание? Во всяком случае, тебе хочется сделать Меган что-то приятное. Для нее это, конечно, экзотика.

— Мег. Подойди-ка на минутку.— Теперь ты повязан. Ты протягиваешь ей трубочку. Она удивленно поднимает бровь.— Это заставит тебя забыть, что ты не обедала.

— Что это?

— Порошок, который прославил Боливию.

Оно осторожно подносит купюру к носу и наклоняется над столом.

— Бери еще,— говоришь ты, когда она возвращает тебе трубочку.

— Точно?

— Конечно.— Тебе хочется, чтобы она поскорее расправилась с этим зельем.

Мег шевелит носом, как кролик, и нюхает:

— Спасибочки.

Вываливаешь содержимое верхнего ящика на стол и размышляешь, что же делать со всеми этими бумагами. Некоторые из них могут оказаться важными. Большинство — дрянь. Как теперь в этом разберешься?

— У нас тут утром был переполох,— говорит Меган. Она садится на край твоего стола. Ты готов вскочить со стула и стыдливо удрать, накрывшись пиджаком. И *никаких объяснений.* Весь день ты старался не вспоминать о пьяном налете, который вы совершили на кабинет Клары. Ты хочешь объяснить Меган, что это была шутка, что ты был пьян, а идею подал Тэд. По сути, это сделал даже не ты, а твое разгильдяйское alter ego[1], над которым ты не властен. Ты же сам на это просто не способен. Не такой ты человек. Если Алекс серьезно ушибся, Мег, вероятно, уже сказала бы об этом. Ты уставился в брошюру под названием «Руководство по проверке фактов».

— В каком смысле переполох?

— Да Риттенхауз пришел сегодня утром и нашел Алекса Харди без сознания на полу в кабинете Клары.

Ты с трудом выговариваешь:

— Правда? Но он в порядке?

— Едва ли. Впрочем, проспится и придет в норму. Он ведь лечится в «Маклинз». Это клуб для пьющих писателей.

— Он ушибся?

— Вот то-то и странно. Ни единой царапины на нем не было. А в кабинете у Клары весь пол был в крови. И стены тоже. Очень интересно.

— Он что-нибудь говорил? Ну, о том, что произошло?

— Ничего вразумительного. Говорил, что на него напали пигмеи.

— А полицию не вызывали?

— Зачем?

— Да так... По-моему, все это очень странно.— Ты начинаешь расслабляться. С Алексом все нормально, и, похоже, в ближайшее время тебе нечего бояться визита блюстителей порядка.

— Да, вот еще что,— говорит Меган.— Там нашли норку.

— *Норку?*

— Вот именно. Она забралась в почтовый мешок. Знаешь, куда складывают рукописи, которые надо вернуть. Сегодня утром почтальон, как обычно, является за мешком, а она на него как кинется. Пришлось звонить в общество охраны животных.

---

[1] Второе «я» *(лат.)*.

— Действительно странно.— Бедный Фред, думаешь ты.

— Как же ты пойдешь?— спрашивает она, кивая на твой стол.— Нельзя же все это бросить.

— Придется прибегнуть к решительным мерам.— Ты встаешь, собираешь все имеющиеся в комнате мусорные корзины и ставишь их в ряд вдоль своего стола. Затем берешь со стола книгу и протягиваешь ее Меган: — Это Алексу. Скажи ему, что ее написал один младотурок.

Она берет книгу. Один за другим ты вытаскиваешь ящики и вываливаешь их содержимое в плетеные стальные корзины.

— Готово. Теперь пошли есть.

В такси ты спрашиваешь Меган, где она хотела бы поужинать.

— А что, если ко мне?

— И ты сама будешь готовить?

— В твоем голосе я слышу недоверие.

— Да нет. Но затея довольно смелая.

— Если ты предпочитаешь поужинать где-нибудь еще...

— Нет. Прекрасная идея. Едем к тебе.

Вы останавливаетесь на Бликер-стрит. Меган берет тебя под руку. Заходите в гастроном. Там она выбирает упаковку и показывает тебе.

— Тесто,— говорит она. Ты киваешь.— Я хочу научить тебя готовить.— В следующем ряду она выбирает две баночки с консервированными моллюсками. При этом она признается, что обычно берет свежие моллюски и тесто; кстати, готовит сама. Просто ей не хочется запугивать тебя с первого же урока.

Из гастронома вы направляетесь к Шестой авеню. Меган рассказывает, чем отличается домашнее тесто от магазинного. С каждым шагом вы приближаетесь к тому старому дому на Корнелиа-стрит, где вы с Амандой начинали семейную жизнь. Это твой район, твои магазины. Ты владел этими улицами, как хозяин. Сейчас перспектива слегка перекошена. Кажется, будто земля чуть-чуть накренилась. Все по-старому и в то же время по-другому.

Вы проходите мимо мясного магазина «Оттоманелли», в витрине висят ободранные тушки кроликов, молочные поросята, ощипанные куры с желтыми лапами. Хорьков тут не продают. Аманде всегда претило это зрелище. На Верхнем Ист-сайде (где она хотела жить) витрины мясных магазинов — подлинные произведения искусства.

На углу Джонс и Бликер на месте бывшего бара — китайский ресторан; в свое время бар облюбовали лесбиянки, и летними ночами, когда из-за жары вы не закрывали окна, они не давали вам спать. Незадолго по вашего отъезда в бар явилась компания весьма решительно настроенных молодых людей из Нью-Джерси с бейсбольными битами, поскольку накануне оттуда выперли одного их приятеля. Лесбиянки отбивались бильярдными киями. Обе стороны понесли тяжелые потери, и бар по приказу властей закрыли.

Еще дальше полнотелая цыганка, мадам Катринка, зазывает посетителей к себе в салон. Мадам Катринка — гадалка. Интересно, что бы она нагадала тебе год назад?

— Лучшая булочная в городе,— говорит Меган, указывая на вывеску «Пекарня Зито».

Когда вы входите в булочную, колокольчик на двери звонит, извещая о вашем появлении. Аромат свежеиспеченного хлеба напоминает тебе, как ты просыпался по утрам на Корнелиа-стрит от запаха свежего хлеба из пекарни. Рядом с тобой спала Аманда. Это было, наверное, сто лет назад, но ты видишь ее как сейчас. Единственное, что ты не можешь вспомнить,— о чем вы болтали?

— Белый или ржаной? — спрашивает Меган.

— Не знаю. Пожалуй, белый.

— Решай сам.

— Давай ржаной, ржаной лучше.

Из булочной вы идете к лоткам с овощами. Почему все овощи в городе продают корейцы? Спелые овощи и фрукты в коробках блестят под зелеными тентами. Интересно, не раскладывают ли все это хитроумные торговцы по какой-то цветовой гамме в соответствии с тайными восточными учениями, позволяющими исподволь влиять на нас. Что, если, скажем, вид ярко-красных помидоров, лежащих рядом с оранжевыми апельсинами, вызывает у человека неудержимое желание приобрести целый пакет этих апельсинов — кстати, довольно дорогих. Меган покупает свежий базилик, чеснок, салат-латук и помидоры.

— Ну, вот это помидор так помидор,— говорит она, протягивая тебе большой красный овощ. Или это фрукт?

Меган живет в большом доме постройки пятидесятых годов на углу Чарлтон и Шестой. В дверях вас поджидают два огромных кота — один пятнистый, другой — явный сиамец.

— Знакомьтесь,— говорит Меган,— Розенкранц и Гильденстерн. Попросту: Роуз и Гилли.— В свое время, объясняет Меган, она была актрисой. Первое, что ей довелось сыграть, была роль Гертруды в рок-спектакле по «Гамлету».

— Ты была актрисой? Не знал.

— Моя первая любовь. Но я устала каждый день говорить: «кушать подано».

Квартира у Меган однокомнатная. Комната небольшая, но обставлена очень — как бы это сказать? — функционально. Вдоль одной стены расположилась двуспальная кровать, накрытая лоскутным одеялом. В центре комнаты перед самым большим окном — кушетка с обивкой в цветочек и в тон ее кресла. В другом конце — раздвижной стол. Он почти не виден за рядом книжных полок. Резкие пятна зеленых растений подчеркивают продуманность интерьера.

Пока Меган вешает косынку в шкафчик рядом с дверью, кошки трутся о ее ноги.

— А не выпить ли нам по стакану вина? — спрашивает она.

— Давай. Спасибо.

Она отправляется на кухню. Следом за ней дефилируют коты. Ты рассматриваешь книжные полки. Знакомство с личными библиотеками дает представление о характере их владельцев. У Меган удобные светлые кленовые полки. Тут всего понемножку. Книги несколько потрепаны, откуда следует, что ими пользуются, и в то же время стоят они довольно аккуратно. Это указывает на то, что их уважают. Книги распределены по темам; на одной полке — стихи и несколько больших альбомов по искусству, длинный ряд карманных изданий французских романов, книги, посвященные музыке и, в частности, опере, пачки тонких пьес издательства «Сэмюэл Френч». Половину полки занимают мемуары, публиковавшиеся в журнале. Вытаскиваешь зачитанный том Франклина Уолкрафта «Человек в городе»; на вкладном листочке написано: «Мег, которая заставляет меня быть честным, с любовью». Когда ставишь книгу обратно, замечаешь корешок с названием: «Искусство секса».

Меган возвращается с двумя фужерами красного вина.

— Я сейчас быстро переоденусь,— говорит она.— А потом научу тебя готовить одну штуку. Это очень просто.

Меган направляется к шкафу около кровати. Где она собирается переодеваться? И где тут вообще проходит граница дозволенного? Когда она копается в гардеробе, замечаешь, какая у нее роскошная задница. Ты проработал с ней почти два года, а вот этого как раз и не заметил. А сколько же ей лет? Она снимает какую-то вещь с вешалки, говорит, что сейчас вернется. И уходит в ванную. Сиамец трется головой о твою ногу. «Искусство секса».

Меган выходит в темно-бордовой шелковой кофточке с буфами на рукавах. Глядя на ее наряд, трудно понять, как же себя вести. Расстегни она еще одну пуговицу — это, видимо, можно было бы воспринять как сигнал: *«Ну, смелее!»* Нынешний же ее вид означает, пожалуй: *«Будь как дома»*.

— Садись,— говорит Меган, указывая на кушетку. Вы садитесь.

— Мне нравится твоя квартира,— говоришь ты.

— Маленькая, но что поделаешь — денег нет.

Ты надеешься, что вы разговоритесь. Несколько минут назад вы были коллегами, отправившимися перекусить. Теперь вы — мужчина и женщина, вы сидите в комнате, в которой есть кровать.

На маленьком столике рядом с кушеткой — большая глянцевая фотография Меган; она чуть моложе, чем сейчас, и стоит на сцене с двумя мужчинами.

— Это мой последний спектакль. «Кто боится Вирджинии Вулф?» в Бриджпорте, Коннектикут.

Ты берешь другую фотографию, на ней — парнишка с удочкой и форелью в руках, позади — маленький домик среди деревьев.

— Это твой старый приятель?

Мег качает головой. Она перегибается через кушетку, берет фотографию и внимательно ее рассматривает.

— Мой сын,— говорит она.

— *Сын?*

Меган кивает, глядя на снимок:

— Фотографии года два. Сейчас ему тринадцать. Я не видела его почти год. Вот занятия кончатся, и он приедет меня навестить.

Ты не хочешь проявлять излишнего любопытства. Тема, похоже, опасная. Ты никогда не слышал, что у нее есть сын. Внезапно Меган кажется значительно недоступнее, чем ты представлял себе.

Она протягивает руку, чтобы поставить фотографию на тумбочку. Чувствуешь ее дыхание у себя на щеке.

— Он живет с отцом в северном Мичигане. Для мальчика в его возрасте — самое место. Они там охотятся, рыбачат... Его отец лесоруб. Когда я его встретила, он был подающим надежды драматургом... Вот только поставить свои пьесы никак не мог. Тяжело было. Денег у нас не хватало... И почему-то казалось, что у всех вокруг их полно. Да и я была не лучшей в мире женой. Джек — мой бывший муж — не хотел, чтобы его сын рос в городе. А я не хотела уезжать отсюда. Ну, конечно, не хотела, чтобы и сын уезжал. Когда он увез его, я лежала в Бельвю[1], глушила либриум и была какая-то отупевшая. Естественно, у меня уже не было сил бороться за сына.

Ты не знаешь, что сказать. Ты смущен. Хочется узнать об этом побольше. Меган потягивает вино и смотрит на улицу. Наверное, ей тяжело вспоминать прошлое.

— Тебя туда муж упек?

— У него не было выбора. Я была просто как бешеная. Маниакально-депрессивный психоз. Несколько лет назад наконец установили, от чего начинается эта болезнь — из-за недостатка каких-то химических веществ. Карбоната лития или чего-то в этом роде. Сейчас принимаю по четыре таблетки в день, и все в порядке. Но теперь уже поздновато становиться настоящей матерью. Как бы то ни было, у Дилана — это мой сын — прекрасная мачеха, и я вижу его каждое лето.

— Это ужасно,— говоришь ты.

— Да нет. Не так уж и плохо. Я сейчас здорова, у Дилана нормальная жизнь. Я думаю, что это — хорошая сделка. Ну что, будем обедать?

---

[1] Клиника для душевнобольных.

Некоторых звеньев в ее рассказе недостает. Например, тебе бы хотелось узнать подробности — о криках и стонах в Бельвю, но Меган встает и протягивает тебе руку.

В кухне она вручает тебе маленький ножик и три дольки чеснока, которые надо почистить. Кожура снимается с трудом. Она объясняет, что чеснок удобнее чистить, если сначала размять его тупой стороной ножа. Тут она замечает повязку.

— Что у тебя с рукой?

— Дверью прищемил. Ничего страшного.

Меган заходит к тебе за спину, чтобы помыть салат в мойке. Когда ты отступаешь на шаг, чтобы удобнее было чистить чеснок, вы сталкиваетесь задами. Она смеется.

Меган переходит к плите. Она протягивает руку к открытой полке и достает бутылку.

— Оливковое масло.

Она льет масло на сковородку и зажигает конфорку. Ты вновь наполняешь свой фужер вином.

— Чеснок готов? — спрашивает Меган. Ты успеваешь очистить только две головки. Они кажутся голыми.— Не очень-то мы расторопны, а? — говорит Меган. Она берет у тебя нож, очищает третью головку и рубит ее на мелкие кусочки.— Так, теперь кладем чеснок на сковороду, пускай жарится. Пока я буду резать базилик, открывай моллюсков. Умеешь?

Ты главным образом стоишь и наблюдаешь, как Мег порхает по кухне. Иногда ты оказываешься у нее на дороге, и тогда она мягко отстраняет тебя. Ее руки прикасаются к твоим плечам, и тебе это нравится.

— Расскажи об Аманде,— говорит Мег, когда вы приступили к салату. Вы сидите при свечах в нише, где стоит стол.— У меня такое чувство, что случилось что-то плохое.

— Никакой Аманды на свете нет,— говоришь ты.— Я ее придумал. Я этого не понимал до недавнего времени, когда уже чужая женщина, тоже по имени Аманда, выдала телефонный звонок из Парижа за мой счет. Ничего, если я открою еще одну бутылку вина?

В конце концов ты объясняешь Мег, что у вас произошло. Она говорит, что Аманда, должно быть, теперь сама не своя. За это стоит выпить.

— Тебе было очень тяжело, да? — спрашивает она. Ты пожимаешь плечами. В то же время ты внимательно разглядываешь ее бюст, пытаясь понять, носит ли она лифчик.

— Я беспокоилась за тебя,— говорит Меган.

Вы перебираетесь на кушетку. Меган говорит, что все мы перекладываем свои проблемы на других, а другие не всегда в состоянии их решить. Лифчика на ней нет — решаешь ты.

Извиняешься и идешь в ванную. Зажигаешь свет и закрываешь за собой дверь. В ванной — обычный домашний беспорядок. На сливном бачке — засушенные цветы, на крышке сиденья — белая овечья шкура. Отодвигаешь занавеску у душа. За ней обнаруживается полочка. Там целая куча флаконов. *«Витабас, желе для ванной и душа»*. Тебе нравится *«Шампунь Пантене»*. *«Ополаскиватель Пантене»*. Конечно, это не должно наводить тебя на мысль о панталонах, но тем не менее наводит. *«Лосьон Любридерм»*. Трешь лосьоном щеку, а затем ставишь флакон обратно. В мыльнице лежит розовый станок для бритвы.

Открываешь аптечку над раковиной — косметика и обычный набор лекарств. Тюбик *«Джинол II, противозачаточное желе. Без запаха, бесцветное»*. Обнадеживает. На верхней полке набор пузырьков с лекарствами по рецептам. Снимаешь один: «Меган Авери, карбонат лития; четыре таблетки в день». Второй пузырек с тетрациклином. Вроде бы

знаешь, что ничем заразным ты не болен. Ставишь его на место. С третьей попытки находишь то, что нужно: «Валиум, принимать по назначению врача, снимает нервное напряжение». Нервное напряжение у тебя, несомненно, есть. Смотришь пузырек на свет. Почти полный. После секундного колебания отвинчиваешь крышку, вытряхиваешь на ладонь голубую таблетку и глотаешь. При этом размышляешь вот о чем: прошлый раз, когда ты глотнул валиум, вообще никакого эффекта не почувствовал. Ладно, примем еще одну. Ставишь пузырек на место и спускаешь воду.

Когда ты возвращаешься, Меган гремит посудой.

— Отдыхай,— говорит она. Ты усаживаешься на кушетку и наливаешь себе полный фужер из бутылки на кофейном столике. Вино отдает потом рабочего-иммигранта.

Вскоре Меган возвращается и объясняет:

— Решила убрать тарелки, чтобы не мешались.

— Правильная политика,— говоришь ты.— Хочешь еще вина?

Она качает головой:

— Я теперь почти не пью.

— Это тоже правильная политика.— Ты чувствуешь себя великодушным.

— Что-нибудь пишешь? — спрашивает Мег.

Пожимаешь плечами:

— Да так. Есть кое-какие идеи.

— Работай,— говорит Меган.— Я хочу, чтобы в один прекрасный день ты вернулся туда, в Прозу, за гонораром. Хочу увидеть, как ты прошествуешь мимо Клариной двери в тот отдел. У меня для такого случая и бутылка шампанского найдется.

Ты не знаешь, почему Меган поверила в тебя, ибо даже сам в себя не веришь. Но ты благодарен ей. Пытаешься вообразить картину своего триумфального возвращения в журнал, но вместо этого ловишь себя на том, что любуешься обнаженными ногами Меган, которые она поджала под себя.

— А пока что будешь делать? Ну, наметки какие-нибудь у тебя есть?

— Да так, кое-что...— говоришь ты.

— Я могла бы свести тебя с полезными людьми,— говорит она.— Тебе нужно подготовить хорошую автобиографию — достаточно емкую, чтобы годилась для журналистики и издательского дела. Я знаю редактора в «Харпер энд Роу», он будет рад с тобой побеседовать. Я уже поговорила с Кларой, и она сказала, что со стороны журнала к тебе претензий нет и ты получишь хорошую рекомендацию.

Меган — умница. Она сделала все поразительно оперативно, но эта история с увольнением вымотала тебя вконец, и пока ты не будешь никуда устраиваться. А сейчас ты хотел бы выпить еще немножко вина и зарыться поглубже в обивку дивана. Ты хотел бы показать Меган, насколько ты ей благодарен. Ты тянешься к ней, берешь за руку:

— Спасибо, ты так много для меня сделала.

— И не бойся просить взаймы, чтобы пережить это время.

— Ты прелесть.

— Просто я хочу помочь тебе снова встать на ноги.

Нет, не сейчас, думаешь ты. А хорошо бы вот так завалиться в постель, спрятаться в ее объятьях и остаться там на недельку-другую. Кровать совсем рядом — всего в нескольких футах. Ты наклоняешься и кладешь руку на плечо Меган. Гладишь его, шелк скользит по ее коже. Бретельки лифчика нет. Ты смотришь ей в глаза. Редкостная женщина. Она улыбается, протягивает руку и гладит тебя по волосам.

— Все образуется,— говорит она.

Ты киваешь.

Затем на ее лице появляется какое-то новое выражение, и она говорит:

— Как твой отец?

— Хорошо,— говоришь ты.— Отлично.

Прижимаешь ее к себе. И закрываешь глаза, когда губы ваши встречаются. Ищешь языком ее язык. Как хорошо было бы исчезнуть... спрятаться у нее во рту, как в норе... Она отворачивает голову и пытается вырваться из твоих объятий. Ты запускаешь руку ей под кофту. Она мягко сжимает руку и удерживает тебя.

— Нет,— говорит она.— Тебе ведь не это нужно.

Ее тихий голос успокаивает. Она не сердится, но настроена решительно. Когда ты пытаешься залезть рукой еще дальше, она снова останавливает тебя.

— Не надо,— говорит она. Ты опять пытаешься ее поцеловать, и на сей раз она от тебя отстраняется, хотя и остается сидеть рядом на кушетке. Тебе кажется, что ты — бурная, неспокойная река, а Меган — море. Ты кладешь голову ей на колени, и она гладит ее.

— Успокойся,— говорит она.— Успокойся.

— Теперь все в порядке? — спрашивает Меган и слегка приподнимает твою голову.

Комната все еще ходит ходуном. Все вокруг поднимается и опускается, словно здесь гуляют морские волны. С тобой явно что-то не так.

— Может, я встану и пойду, э-э, в ванную.— Голос, несомненно, твой, но доносится он будто издалека. Чтобы услышать его еще раз, произносишь: «раз-два-три».

Меган помогает тебе встать на ноги. И, поддерживая тебя под руку, ведет к двери.

— Если что, я рядом.

Черно-белые плитки на полу продолжают двигаться. Ты стоишь перед унитазом и размышляешь. Тебе что, плохо? Да вроде нет. Пока, во всяком случае. А раз уж ты здесь, мог бы заодно и отлить. Расстегиваешь ширинку и целишься в унитаз. Перед тобой плакат с какими-то печатными буквами. Наклоняешься вперед, пытаясь его прочесть, но тут тебе приходится откинуться назад, чтобы не вмазаться носом в стену.

Падая, ты пытаешься ухватиться за занавеску душа, но промахиваешься.

— Ну как, все в порядке? — спрашивает Меган по другую сторону двери.

— Порядок,— отвечаешь ты.

Ты почти целиком — в ванне. Наружу свешиваются только ноги, но тебе кажется, что они где-то очень-очень далеко. И в самом деле все в порядке, если не считать того, что ты немножко подмок. В этом нужно разобраться. Где ты мог промокнуть? Одну минутку.

Дверь открывается. И Меган спешит к тебе на помощь.

Точно в забытьи

Проснувшись, обнаруживаешь, что на груди у тебя свернулся и спит кот. Ты лежишь на кушетке, накрытый пледом. Через несколько минут ты уже в состоянии понять, где находишься. Это, несомненно, жилище Меган. Ее постель пуста. Часы на тумбочке показывают 11.13. Утра или вечера? Судя по солнцу, все-таки утра. Последнее, что ты помнишь,— как ты полез к Меган и, очевидно, безуспешно. Было это где-то после полуночи. Да, похоже, ты свалял дурака.

Садишься в постели и с удивлением обнаруживаешь, что на тебе — чужая пижама. Затем встаешь. На кухонном столе записка: «Яйца, булочки и апельсиновый сок в холодильнике. Твоя одежда висит в ванной. Позвони мне. Целую. Меган».

По крайней мере она тебя не презирает. Может, и не так уж ты опростоволосился. Впрочем, об этом лучше не думать. Вещи твои действительно в ванной. Все отглажено и вычищено, словно только что из прачечной. Пока ты одеваешься, пятнистый кот вспрыгивает на крышку унитаза и трется головой о твою ногу.

Теперь нужно написать Меган записку. Обнаруживаешь ручку и толстую пачку листков с надписью: ПАМЯТКА.

«Дорогая Мег, спасибо за гостеприимство. Ужин был великолепен». Что дальше? Нужно ли признаваться в полной потере памяти? «Кажется, я слишком быстро отрубился». Остается выяснить, что ты делал до того? И опять же что после? Нужно извиниться за все, что ты тут натворил. А поскольку помнишь ты далеко не все, нужно извиниться еще и за то, что ты мог натворить: «Я вел себя не как джентльмен. Прости меня. Давай поскорее встретимся и сходим куда-нибудь пообедать».

Ты рвешь записку и на новом листке пишешь: «Дорогая Меган, извини. Я знаю, что вечно извиняюсь, но сейчас я действительно виноват. Спасибо за все».

Когда возвращаешься домой, раздается телефонный звонок. Ну, была не была. Снимаешь трубку. Это Ричард Фокс, репортер. Он сообщает, что до него дошел слух, будто ты недавно лишился работы. Он говорит, что ему понравилась рецензия, которую ты недавно написал для «Виллидж войс». Никто не читает рецензий в «Войсе», но ты восхищаешься усердием помощника Фокса, который ее там разыскал. Он вспоминает, что в «Харпере» есть место, которое, возможно, тебе подойдет. Он мог бы замолвить там за тебя словечко. Он как-то уж слишком добр. Когда вы встретились на приеме по случаю публикации его последней книги, он был настроен отнюдь не так дружелюбно.

— Несколько недель назад я виделся с Кларой Тиллингаст,— говорит он.— Ни один мужик, с которым я когда-либо пил, не выдержал бы в ее обществе и часа. Мои осведомители утверждают, что она с самого начала имела на вас зуб.

— Медовый месяц проходит быстро, а развод может тянуться вечно.

— Сука она, вот что! Сучка с ручкой.

— Знаете, раз уж вас потянуло на всякие инженерные ассоциации... мне она больше всего напоминает танк.

Танк «Шерман». Правда, довольно трудно проверить, есть ли у нее гусеницы.

— Полагаю, вы знаете, что я пишу статью о журнале?

— Да?

— Я надеялся, что вы мне сможете дать кое-какой закулисный материалец. Знаете — что-нибудь о характере людей, анекдотики...

— Компроматик...

— Все, что у вас есть.

По стене рядом с телефоном ползает таракан. Убить его, что ли? Или отпустить?

— Я был всего лишь скромной рабочей лошадкой. Не думаю, что смогу рассказать вам этакое, что вызвало бы мировую сенсацию.

— Не скромничайте. Рабочим сцены лучше всех виден театр.

— Место, где я работал, довольно скучное,— говоришь ты. Вроде бы все осталось далеко позади — служебные интриги и закулисная возня. Впрочем, здесь столь же уныло, как и повсюду.

— Почему вы сохраняете лояльность? Они ведь выбросили вас пинком под зад.

— Мне просто надоела эта тема.

— Давайте где-нибудь встретимся, пообедаем. И обмозгуем кое-какие идеи. Скажем, в «Русской чайной» в час тридцать?

Ты говоришь ему, что никаких идей у тебя нет. И точной информации тоже нет. Ты думал, будто что-то знаешь, а оказалось — ошибался. В общем, ты ненадежный источник. Он в свою очередь настойчиво возражает в том смысле, что читатели, мол, имеют право знать все. В конце концов, говорит он, ты должен им отомстить. Потом он дает тебе свой телефон на случай, если ты передумаешь. Ты его не записываешь.

Выходишь перекусить и купить «Пост». Почти два часа дня. Уже не в первый раз у тебя возникает вопрос, почему во всех кофейнях города хозяева — греки. На картонных стаканчиках изображены полуобнаженные фигуры — статуи времен классической Эллады.

О, древние черты... Мужей и дев бумажных...

Разворачиваешь газету на стойке и выясняешь, что коматозный ребенок все-таки появился на свет, причем на шесть недель раньше положенного срока, матери его сделали кесарево сечение, после чего она умерла, так и не выходя из комы.

Выйдя с Седьмой авеню на Двенадцатую западную, видишь, что кто-то сидит на ступеньках твоего дома. Он ужасно смахивает на твоего братца Майкла. Ого! Ты замедляешь ход. Затем останавливаешься. Точно, это Майкл. Что он тут делает? Он же должен сейчас быть у себя дома, в округе Бакс.

Заметив тебя, он встает и направляется тебе навстречу. И тут ты разворачиваешься и рвешь когти. До метро — примерно полквартала. Прыгая через две ступеньки, лавируешь между унылыми призраками, которые поднимаются тебе навстречу. У платформы стоит поезд, направляющийся в верхнюю часть города. Возле кассы — очередь. Тогда ты перемахиваешь через турникет. Из репродуктора над кассой раздается металлический голос: «Эй, парень, полегче!» Ныряешь в вагон, и двери за тобой захлопываются. Люди таращатся на тебя, как на чучело. Но когда поезд трогается, снова погружаются в свои газеты и в собственные горести.

Увидев на уплывающей платформе Майкла (он стоит за турникетами), отшатываешься от закопченного окна. Ты не хочешь с ним встречаться. Не потому, что он такой уж плохой парень. Просто ты чувствуешь себя кругом виноватым. Вон, может, и сейчас фараон, который топает по вагонам с переносной рацией, собирается тебя арестовать.

Садишься, и шум поезда заполняет голову. Ты закрываешь глаза, и вот тебе уже кажется, что шум — это вовсе и не шум и вообще ты не едешь, а стоишь на месте. Ты вот-вот заснешь.

Открываешь глаза и некоторое время пялишься на рекламные плакаты. ИГРАЙТЕ В УИНГО! ЭТО ОТКРОЕТ ВАМ ДОРОГУ К ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ!

НОВЫЙ ШАМПУНЬ! ПРЕВОСХОДНО СМЯГЧАЕТ СУХИЕ ВОЛОСЫ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ, И ВЫ СТАНЕТЕ МАНЕКЕНЩИЦЕЙ ИЛИ БУДЕТЕ ПОХОЖИ НА НЕЕ.

На Пятидесятой улице выходишь, поднимаешься по лестнице наружу и направляешься на восток. Ты идешь в тени небоскребов, попадая временами под прямые лучи палящего солнечного света, отчего тебе то холодно, то жарко. На углу Пятой авеню обозреваешь длинный ряд витрин универмага «Сакс». Переходишь на другую сторону и направляешься к третьей от угла витрине.

Манекен исчез. Ты снова считаешь витрины. Все верно: там, где был манекен Аманды, теперь стоит совсем другой — с темными волосами из акрилика и слегка вздернутым носиком. Обследуешь все витрины, внимательно рассматривая каждый манекен. Раз тебе даже показалось, что ты нашел Аманду,— но нет, это не она. Черты лица чересчур угловаты, и нос не тот.

Ты ведь пришел сюда убедиться, что идол с фигурой Аманды потерял свою власть над тобой. Но вот манекен убрали, и ты испытываешь

беспокойство. А в самом деле, зачем они убрали его? Потом приходишь к следующему выводу: раз его унесли, это может означать лишь одно — что у тебя с Амандой все кончено. И слава Богу.

На Мадисон авеню ты проходишь мимо строительной площадки, загороженной огромными фанерными щитами; на них — портреты разных рок-звезд и снова Мэри О'Брайен Макканн. Рядом со строящимся зданием подъемный кран протянул свою стрелу над улицей на уровне тридцатого этажа. С тротуара кран кажется игрушечным, однако несколько месяцев назад ты читал, что на этом месте насмерть убило пешехода оторвавшимся кабелем. СМЕРТЬ ПАДАЕТ С НЕБА, писала «Пост».

Затем минуешь Дворец Хелмсли — каркас старого нью-йоркского здания, слегка прикрывающий встроенное в него уродливое сооружение какого-то магната-домовладельца. У входа во дворец тротуар перегородила съемочная группа. Пешеходы подчиняются женщине с хлопушкой, которая направляет их в обход, по мостовой.

— Крупный план малой камерой,— говорит кто-то. Киношники выглядят словно генералы на поле боя. На полосе для автобусов парнишка в хлопчатом свитере «Школы Пресвятой Богородицы» приглушает звук своего мага.

— Кто это? — спрашивает он тебя. Ты мотаешь головой, и он снова врубает музыку.

> Факты просты и факты ясны, 1
> Факты ленивы и факты скучны,
> Факты не зависят от точки зрения.
> Факты не меняются от моего хотения.

— Вот она! — раздается крик.

Продолжая шагать по улице, ты вспоминаешь вдруг о Пропавшей Без Вести, о той, что появилась и исчезла навсегда. Выходишь на залитую солнцем Пятую авеню к отелю «Плаза», возвышающемуся посредине площади гигантским белым замком, словно воплощение американской мечты. Когда ты впервые приехал в город, то провел здесь ночь с Амандой. У тебя были друзья, у которых можно было остановиться, но ты хотел провести ту первую ночь в «Плазе». Выходя из такси возле знаменитого фонтана, вы точно спешили на премьеру спектакля — спектакля вашей жизни. У ступенек вас приветствовал швейцар. В зале «Палм корт» играл струнный квартет. Ваша комната на десятом этаже была крохотной и выходила окном на вентиляционную трубу; и хотя из окна города видно не было, тебе казалось, что он — у твоих ног. Лимузины у подъездов представлялись тебе настоящими каретами, и ты думал, что когда-нибудь вот такая карета будет ждать и тебя. А сейчас они смахивают на мертвых птиц. Какими же пустыми были твои мечты!

Вы явились настоящей находкой для потребительского стереотипа — Американская Мечта: девочка из скромной семьи становится образованной манекенщицей. *Когда ты останавливаешься в «Плазе» с красавицей женой, разве не стоит заказать лучшее шотландское виски перед поездкой в театр на шикарном лимузине?*

Ты однажды там останавливался с родителями и братьями, когда отец в очередной раз переходил с одной работы на другую. Вы с Майклом целый день катались на эскалаторах вверх-вниз. На следующий день вы должны были отправиться в Англию на «Куин Элизабет»[1]. Ты сказал Майклу, что в Англии нет столовых приборов и потому англичане вынуждены есть руками. Майкл заревел. Он не хотел отправляться в Англию, не хотел есть руками. Ты сказал ему, чтобы он не беспокоился — ведь вы возьмете с собой столовое серебро. Бродя по коридо-

[1] Самый крупный английский океанский лайнер.

рам, ты спер несколько столовых приборов с подносов, на которых приносили еду в номера, и рассовал их по чемоданам. Майкл поинтересовался, есть ли в Англии стаканы. Тогда ты закосил еще и несколько стаканов, так, на всякий случай. На таможне в Ливерпуле Майкл снова заревел, ибо ты сообщил ему, каким ужасным наказаниям вас могут подвергнуть за контрабанду. Он не хотел, чтобы ему отрубили руки. Несколько лет назад ты приехал домой на выходные и нашел одну из ложек с эмблемой «Плазы» в ящике для столового серебра.

Идешь вдоль парка по Пятой авеню. На ступенях музея «Метрополитен» перед небольшой толпой выступает мим с черно-белым лицом. Проходя мимо, слышишь смех, оборачиваешься и видишь, как мим имитирует твою походку. Когда ты останавливаешься, он кланяется и прикасается к шляпе. Отвечаешь поклоном и бросаешь четвертак.

В кассе говоришь, что ты студент. Женщина просит показать удостоверение. Отвечаешь, что оставил его в общежитии, и в конце концов она все-таки выдает тебе билет со скидкой — как и положено студентам.

Идешь в египетский зал и бродишь там среди статуй, саркофагов и мумий. Не так уж часто ты выбирался в «Мет» и всякий раз дальше этого зала не заходил. И вот теперь ты снова среди мумий, некоторые из них раскрыты, чтобы можно было видеть их источенную временем мертвую кожу. Здесь есть также мумии собаки, кошки и ребенка — древнеегипетского младенца, который так и остался спеленутым на веки вечные.

Выходишь из «Мет» и бредешь к дому Тэда на Лексингтон. Перевалило за шесть вечера. На звонок никто не отвечает. Тогда ты решаешь пойти пропустить стаканчик и вернуться попозже. Через несколько минут ты на Первой авеню. Тут настоящий рай для одиноких. Заходишь в «Пятницу» и занимаешь место у стойки бара. Наконец тебе удается заказать выпивку. Приближается время ужина, и заведение битком набито посетителями: в основном это секретарши и прохиндеи-юристы. Выглядят они все шикарно, так шикарно, что и смотреть тошно. На женщинах — косметики на сотни долларов, и на тысячи — золота на мужских шеях в расстегнутых рубашках: на цепочках — золотые распятия, звезды Давида и ложечки для кокаина. Одни уповают на Бога, другие — на наркоту. Надо было бы как-нибудь провести опрос, что эффективнее, а результаты опубликовать в журнале «Нью-Йорк».

Сидишь рядом с девицей, волосы у которой покрашены под измороз, она источает запах жимолости. Девица треплется со своей подружкой, но время от времени поглядывает на тебя. Похоже, она несовершеннолетняя. Под глазами намазаны два фиолетовых пятна — намек на скулы. Но как себя с ней вести, пока непонятно. Ловишь взгляд бармена и заказываешь еще стопку.

— Извините,— говорит девица.— Вы, случайно, не знаете, где бы нам достать немного коки?

— Откуда же мне знать.

— Я знаю,— говорит она.— То есть, мы знаем, где подкуриться, но у нас не хватает бабок. Может, присоединишься к нам? У нас еще и «колеса»[1] есть.

Убеждаешь себя, что еще не совсем дошел до ручки. Нужно же себя уважать.

Просыпаешься от голоса Элмера Фадда[2]: «Убейте клолика! Убейте клолика!» Ты сам чувствуешь себя жертвой убийства. Потом замеча-

[1] Транквилизаторы.

[2] Персонаж со смешным произношением из популярного мультфильма-сериала.

ешь, что на тебя смотрит девица с волосами под седину и припухшими глазами. Интересно, ты случаем не пытался ее изнасиловать?

— Что произошло?

— Ничего,— говорит она.— Обычная история. Обычная моя история. Встретила тебя в баре, а потом притащила домой, чтобы ты хоть проспался.

Ну, слава Богу, ничего страшного. И голова уже не так болит. Ты в чужой постели. В другом конце комнаты телевизор показывает мультик. Обнаруживаешь, что ты не вполне одет.

— Хорошо, хоть ты не блевал,— говорит она.

— Надейся, надейся! Может, еще раз так повезет.

— Ты о чем это?

— Где я?

— У меня на квартире, где ж еще?

— А где это?

— В Куинсе.

— Шутишь, что ли?

— Чего шутить-то? — Ее лицо смягчается, и она гладит тебя по лбу.— Хочешь еще попробовать?

— Который час? — спрашиваешь ты.— Я опоздал на работу.

— Не дергайся. Сегодня суббота.

— Я по субботам работаю.— Ты садишься на кровати и извлекаешь ее руку из твоих волос. Чувствуешь себя опустошенным. На экране Хитрый Койот устраивает какую-то невероятную ловушку, чтобы поймать Братца Кролика. На стенах — плакаты с фотографиями рок-групп на огненно-красном фоне и котят в размытом фокусе.

Из соседней комнаты раздаются какие-то звуки.

— Кто это? — спрашиваешь ты, указывая на дверь.

Девица ставит пластинку на вертушку.

— Родители,— говорит она.

В два часа возвращаешься в Манхэттен. Чувствуешь себя так, словно прошел тысячи миль, преодолел горы и океаны. Ее родители смотрели телевизор, когда ты, набравшись храбрости, улизнул из спальни. Они даже глаз не подняли.

Никогда прежде ты не был так рад оказаться дома. Лезешь в холодильник посмотреть, нет ли чего попить. Молоко скисло. Потом ложишься подремать на диване, и тут раздается звонок.

Нажимаешь кнопку домофона «слушайте», и неизвестный голос произносит: «Единая служба посылок». Вероятно, какая-нибудь добрая душа послала тебе по почте свое преисполненное нежности сердце. Голос звучит словно сквозь многослойную марлевую повязку. И куда подевался этот чертов швейцар? Разве ЕСП доставляет посылки по субботам? А, не все ли равно? Жмешь на кнопку «дверь» и опять заваливаешься на диван. Раздается звонок, ты идешь и заглядываешь в глазок. В коридоре стоит Майкл. От того, что ты глядишь на него в глазок, он кажется маленьким, но отнюдь не менее грозным. Не удрать ли по пожарной лестнице? Он делает шаг вперед и барабанит в дверь. Глазок, выпуклый, как рыбий глаз, превращает его кулак в чудовищную гирю. Может, если не шевелиться, он уйдет. Он барабанит снова.

Ты открываешь, Майкл, кажется, заполнил собой весь дверной проем.

— Майкл,— говоришь ты.

Ты смотришь ему в глаза. Они неумолимы, затем переводишь взгляд на его ноги, на них — настоящие рабочие ботинки, которые обычно городские жители не носят.

Оставив дверь открытой, возвращаешься в гостиную. Майкл почему-то медлит. Наконец, он входит, громко хлопнув дверью. Ты вытягиваешься на диване.

— Садись,— говоришь ты.

Он продолжает стоять перед тобой. Это же нечестно, думаешь ты, ведь так получается, что он выше.

— Что это, черт возьми, с тобой творится? — говорит он.

Брат вырастает с каждой минутой.

Ты пожимаешь плечами.

— Я пытаюсь поймать тебя целую неделю. И на работу звонил, и сюда.

— Ты когда приехал? — спрашиваешь ты.

— Я как идиот примчался на вонючем автобусе в город и жду тебя у входа. А ты увидел меня и сразу дал деру.

— Я, наверное, тебя не узнал.

— Ну что ты чушь-то несешь? Я звонил тебе на работу больше сотни раз, просил со мной связаться. А вчера прихожу к тебе в редакцию, и мне говорят, что ты со среды уже уволен. Что за х..ня?

Он стоит, сжав кулаки. Можно подумать, что это ты *его* лишил работы.

— Так зачем ты хотел меня видеть?

— Я *не хотел* тебя видеть. Я бы с удовольствием оставил тебя здесь тонуть в коке или черт знает в чем. Но папа волнуется за тебя, а я волнуюсь за папу.

— Как папа?

— А тебе не все равно?

Ты всегда думал, что из Майкла вышел бы замечательный прокурор. Он всегда знает, кто виноват, и у него потрясающий нюх на косвенные доказательства. Будучи на год моложе тебя, он узурпировал роль старшего. И все твои закидоны и нарушения гражданской добродетели он воспринимает как личное оскорбление.

— Папа по делам в Калифорнии. По крайней мере был там вчера вечером. Он просил меня позвонить и уговорить тебя приехать домой на выходные. А поскольку ты никогда не подходишь к телефону и сам никогда не звонишь, я и примчался. Хочешь не хочешь, но ты едешь со мной.

— Хорошо.

— Где ты держишь «хили»?

— Тут вот какое дело. Один приятель его разбил.

— Ты что, позволил кому-то разбить свою машину?

— Честно говоря, я просил его сделать на ней только пару вмятин, но он, как всегда, переборщил.

Он качает головой и вздыхает. Ничего другого он от тебя и не ожидал. Наконец он садится (что уже — добрый знак) и обводит взглядом квартиру. Раньше он у тебя никогда не был. При виде царящего в ней беспорядка он качает головой. Затем переводит взгляд на тебя.

— Завтра годовщина, надеюсь, ты не забыл. Ровно год. Мы собираемся развеять ее прах над озером. Папа хочет, чтобы ты приехал.

Ты киваешь головой. Ты знал, что приближается годовщина. Ты не следил за календарем, но чувствовал, что она вот-вот наступит. Закрываешь глаза и откидываешься на спинку дивана. Ты сдаешься.

— Где Аманда? — спрашивает он.

— Аманда? — Тут ты открываешь глаза.

— Твоя жена. Высокая, светлая, стройная.

— Пошла в магазин,— отвечаешь ты.

Очень долго, как тебе кажется, вы сидите друг против друга и молчите. Ты думаешь о матери. Пытаешься вспомнить, какой она была до болезни.

— Ты ведь совершенно забыл маму, да?

— Обойдусь без твоих нотаций.

— И папу с самого Рождества не видел.

— Слушай, заткнись, а...

— Тебе все давалось даром. Школа, работа, девочки... Все это прямо в твои руки плывет. Даже не приходится ходить и искать. Ну, конечно же, мама с папой не могли для тебя много сделать. Почему ты смотришь на людей свысока? Потому что ты мистер Счастливчик?

— Послушай, Майкл, это, наверное, очень трудно — всех учить, как им надо жить. Как же ты несешь это бремя?

— Ты лучше на себя посмотри. Помнишь, когда мама умирала, ты примчался из Нью-Йорка на своей английской спортивной машине в последний момент, можно сказать, под самый занавес. Рыцарь! Будто это была какая-то твоя очередная вечеринка и ты не хотел оказаться там раньше других, да простит меня Господь.

— Заткнись.

— Ты мне рот не затыкай.

— А хрен тебе.

Ты встаешь. Майкл тоже встает.

— Я ухожу,— говоришь ты и поворачиваешься. Ты едва различаешь дорогу к двери. Перед глазами — сплошной туман. Стукаешься коленкой о стул.

— Никуда ты не уйдешь.

Когда подходишь к двери, Майкл хватает тебя за руку. Ты вырываешься. Он прижимает тебя к металлическому дверному косяку и, ухватив за волосы, бьет о косяк головой. Деваться некуда, тогда ты наносишь ему удар локтем в живот, и его хватка слабеет. Поворачиваешься и изо всех сил бьешь его еще раз — теперь уже в лицо. В ход идет рука, которую укусил хорек, и поэтому в ту же секунду тебя пронзает жуткая боль. Падаешь спиной в холл, но затем поднимаешься и смотришь, что с Майклом. Он на ногах. У тебя мелькает мысль: *сейчас он будет меня бить.*

Придя в себя, обнаруживаешь, что лежишь на диване. Ужасно болит голова. Он ударил тебя чуть ниже левого виска.

Майкл выходит из кухни с бумажной салфеткой у носа. Салфетка запачкана кровью.

— Ты в порядке? — спрашиваешь его.

Он кивает.

— На кухне в кране нужно сменить прокладку. Льет как черт знает что.

— Я соврал,— говоришь ты.— Аманда меня бросила.

— Что?

— Она как-то раз позвонила из Франции и сказала, что не вернется.

Майкл внимательно смотрит на твое лицо, чтобы проверить, насколько серьезно ты говоришь. Затем откидывается на стуле и вздыхает.

— Не знаю, что и сказать,— говорит он и качает головой.— Черт! Извини. Правда, извини.

Майкл встает и направляется к дивану. Садится на корточки и говорит:

— Как ты?

— Скучаю по маме,— отвечаешь ты.

Ночное дежурство

Майкл голоден, а ты хочешь пить; предлагаешь прошвырнуться, и он поддерживает эту идею. Впечатление такое, будто весь верхний город валит в центр, чтобы провести там субботний вечер. На улице полно возбужденных молодых людей. На Шеридан-сквер какой-то оборванец срывает плакаты со столбов. Ногтями отдирает бумагу и затем топчет ее ногами.

— Он это что, из политических соображений? — спрашивает Майкл.

— Нет, просто злится.

Вы заходите в «Львиную голову», минуете стену, увешанную портретами всех когда-либо напивавшихся здесь писателей, и направляетесь в дальнее помещение, где царит полумрак. Вы садитесь, и тут же на стол вскакивает Джеймс — пушистый черный котяра.

— Честно говоря, она никогда мне особенно не нравилась,— начинает Майкл.— Какая-то она фальшивая. Если я когда-нибудь ее встречу — кишки повыдергиваю.

Ты представляешь Майкла официантке Карен, и она спрашивает, как тебе пишется. Заказываешь две двойных водки. Она приносит меню и исчезает.

— Поначалу,— говоришь ты,— я даже не поверил, что она меня бросила. А теперь я не верю, что мы вообще были женаты. Я только сейчас начинаю вспоминать, как холодно она себя вела, когда мама заболела. Ее, похоже, раздражало, что мама умирает.

— Как думаешь, женился бы ты на ней, если бы мама не болела?

Про себя ты решил не вспоминать подробности, связанные со смертью матери, стараясь забыть, что она и подтолкнула тебя к этому решению — жениться. Ты жил с Амандой в Нью-Йорке, и брак совсем не входил в твои расчеты. Зато в ее — входил. Ты сомневался, сможешь ли пробыть с ней в горе и радости до гробовой доски. Потом матери поставили диагноз, и все стало выглядеть по-другому. Твое первое чувство уже прошло, а Аманда ждала предложения. Мама никогда не говорила, что ей было бы приятно видеть тебя женатым, но тебе так хотелось доставить ей удовольствие, что ради этого ты, казалось, мог бы кинуться в огонь, дать отрубить себе руки... Ты хотел, чтобы она была счастлива, а она хотела, чтобы ты был счастлив. И в конце концов ты перепутал то, что хотела она, с тем, что хотела Аманда.

Раньше тебе казалось, что смерть матери ты не перенесешь. Ты готов был броситься за ней в погребальный костер, но она ведь сама просила тебя не горевать. И ты просто не знал, как себя вести, казалось, ты разрываешься на части. Так долго ты готовил себя к ее смерти, что, когда она наступила, на тебя нашло какое-то странное отупение. После похорон тебе казалось, что ты блуждаешь в потемках своей души, но там пусто. Твоя душа была как брошенный дом, в котором нет ничего, кроме безлюдных комнат и белых стен. Ты все ждал, когда же навалится горе. И начинаешь подозревать, что это случилось девятью месяцами позже — под видом тоски по Аманде.

Майкл заказывает пирог по-крестьянски. Ты даже не заглянул в меню. Вы вспоминаете прошлое, потом разговор заходит о нынешних делах. Спрашиваешь, как там ваши братья-близняшки: Питер, который сейчас в Амхерсте, и Шон (он теперь в Боудойне). После того как вы обсудили твои злоключения в журнале, включая и недавний гамбит с хорьком, спрашиваешь Майкла о его работе (он реставрирует старые дома), и он говорит, что все идет хорошо. Он трудится над брошенным каретным сараем в Нью-Хоуп.

— Собираюсь нанять несколько рабочих. Может, тебя это заинтересует. По крайней мере сменишь обстановку. Скажем, недели на три-четыре.

Говоришь, что подумаешь об этом. Ты удивлен, что он вообще что-то предлагает. Майкл давно решил, что ты ни на что не годен. В двенадцать лет он был взрослее тебя. Он выработал свою систему отношений с миром, и в этой системе твои амбиции и возможности ничего не стоили.

Вы пьете и разговариваете. Под воздействием алкоголя ты становишься каким-то удивительно терпимым. Ты, Майкл, Питер, Шон и папа — вы противостоите всему миру. Семью вашу раскидало по свету, но ничего, прорвемся. А эту сучку Аманду надо забыть. И про врачей, которые не смогли спасти маму и даже не хотели объяснить, что с ней,

тоже надо забыть. И про Клару Тиллингаст. И про священника, который у смертного одра матери заявил: «Смерть от рака — прекрасная смерть».

Вы уже изрядно выпили. Майкл говорит:

— Надо пойти подышать свежим воздухом.

По дороге домой заходите к приятелю, у которого оказывается полпорции наркоты (поразительно дешево — всего шестьдесят долларов). Ты чувствуешь, что с этим покончено. И хочешь отпраздновать сей знаменательный рубеж. Ты немного пьян, и поэтому тебе хочется еще погулять и потрепаться.

— Ты должен был рассказать нам,— говорит Майкл, растянувшись на диване в твоей квартире.— Иначе зачем же нужна семья? — Он стучит ладонью по кофейному столику, подчеркивая свою мысль.

— Не знаю. Ну так как, нюхнем?

Майкл пожимает плечами:

— Почему бы и нет? — Он наблюдает, как ты встаешь и снимаешь со стены зеркало.— Что ужасно,— говорит он,— так это то, что поначалу она вспоминалась мне такой, какой была перед самой смертью, вся высохшая, увядшая. Теперь я вижу ее совсем другой. Не знаю, когда это было, но как-то я пришел из школы — ты тогда уже учился в колледже, а мама на дворе подметала листья. Пожалуй, стоял октябрь, на ней была твоя старая лыжная куртка, мама в ней просто потонула.— Он останавливается. Глаза его закрыты, и ты думаешь: а он, часом, не помер? Вытряхиваешь немного коки на зеркало. Майкл открывает глаза.— Помню, воздух тогда был особенно ароматным, по-осеннему. И маму помню — вот она, в твоей куртке, и в волосах у нее запутались осенние листья... А позади — озеро... Такой я ее теперь и вижу. Сгребающей листья в твоей старой лыжной куртке.

— Замечательно,— говоришь ты.

Тебе нетрудно вернуться в прошлое вместе с ним. Ту куртку мама носила много лет. Кончив школу, ты хотел забыть обо всем, что с ней связано, и поэтому мама взяла куртку себе. Ты никогда не придавал этому значения, но теперь тебе приятно, что так получилось.

Ты насыпаешь восемь бороздок. Майкл начинает похрапывать. Ты зовешь его, затем встаешь и осторожно трясешь за плечо. Он зарывается лицом в подушку. Ты засасываешь две бороздки и откидываешься в кресле. Ровно год назад ты не спал до рассвета, сидя у постели матери.

Ты думал, что упадешь в обморок, когда в последний раз за три дня до ее кончины приехал домой и увидел, во что превратила ее болезнь. Даже улыбка у нее изменилась. Несколько месяцев врачи говорили что-то невразумительное, морочили вам голову, но наконец признали свое полное бессилие и согласились с тем, чтобы она находилась дома при условии, если за ней будет налажен уход. Когда ты приехал домой, Майкл и отец, сменявшие друг друга через каждые двенадцать часов у постели больной на протяжении недели, были вконец измотаны. Последние трое суток ты дежурил ночами, от полуночи до восьми утра. Каждые четыре часа ты делал ей уколы морфия и как мог смягчал ее страдания.

Когда ты впервые увидел ее — хотя Майкл тебя и предупреждал, что она очень изменилась,— тебе захотелось убежать. Но ужас прошел, и ты был рад сделать для нее хоть что-нибудь, рад, что можешь быть рядом с ней. Если бы не эти последние часы, ты бы никогда по-настоящему и не узнал, какая она была на самом деле. Последние несколько ночей она совсем не спала, и вы болтали.

— Ты когда-нибудь пробовал кокаин? — спросила она в последнюю ночь.

Ты не знал, что сказать. Странно было слышать такое из уст матери. Но она умирала. Ты сказал, что пробовал.

— Неплохая штука,— сказала она.— Когда я еще могла глотать, они давали мне кокаин с морфием. Чтобы снять депрессию. Мне понравилось.

Как же так, мама? Ты же в жизни не выкурила ни единой сигареты, тебя качало даже от двух рюмок...

Она сказала, что морфий спасал от боли, но она все время была как во сне. А ей хотелось, чтобы голова была ясной. Она хотела знать, что происходит.

Затем она сказала:

— А вы, молодые, можете обойтись без секса?

Ты спросил, что она имеет в виду под словом «обойтись».

— Ты понимаешь, о чем я говорю. Я должна знать об этом. Мне не так долго осталось жить, а вокруг так много интересного. Мне внушали с детства, что секс — это испытание, через которое вынуждены проходить замужние женщины. Потребовалось немало времени, чтобы я избавилась от этого предрассудка. Теперь мне кажется, будто меня обманули.

Ты всегда считал, что твоя мать — закоренелая пуританка.

— У тебя, наверное, было много женщин?

— Да ладно, мама,— сказал ты.

— Ну давай выкладывай, чего скрывать? Если бы я заранее знала, что мне предстоит так рано умереть, мы бы могли куда лучше понять друг друга. Я так мало о тебе знаю.

— Ну, было у меня несколько девочек.

— Правда? — Она подняла голову с подушки.

— Мам, можно я не буду вдаваться в подробности, а?

— А почему нет?

— Как-то неловко.

— Жаль, что люди тратят столько времени на всякие условности. Бог мой, сколько времени я потратила впустую. Так что говори уж правду.

Ты начал забывать, как она выглядела тогда, и видел ее совсем молодой, даже моложе, чем она была в твоем далеком детстве. Ее изнуренное болезнью тело казалось каким-то нереальным. А ты видел в ней молодую женщину.

— Тебе, правда, это нравится? — спросила она.

— Конечно. Конечно, нравится.

— Ты спал с девочками, которых не любил. А когда любишь, это по-другому?

— Конечно, совсем по-другому. Намного лучше.

— А помнишь Салли Киган? Ты и с ней тоже переспал?

С Салли Киган ты встречался, когда учился в школе, ходил с ней на концерты.

— Да, было дело один раз.

— Я так и думала.— Она обрадовалась, что интуиция ее не подвела.— А со Стефани Бейтс?

Потом она спросила:

— Ты счастлив с Амандой?

— Да, кажется, счастлив.

— До конца жизни?

— Надеюсь.

— Мне повезло,— сказала мама.— Мы с папой были счастливы. Но не всегда было легко. Однажды я хотела уйти от него.

— Правда?

— Все мы люди.— Она поправила подушку и поморщилась от боли.— Мы были очень глупые.— Она улыбнулась.

Откровенность заразительна. Ты начал вспоминать детство. Пытался объяснить ей свои детские ощущения. Рассказал, что всюду чувствовал себя посторонним, как бы отстранялся от своего существа и смотрел на себя со стороны. Интересно, другие люди испытывают то же самое? Ты всегда считал, что другие более четко представляют себе, что они делают, и куда меньше терзаются вопросом: для чего? Ты поведал о своем первом дне в школе. Ты ревел и цеплялся за ее ногу. Ты даже помнил, какие на ощупь были ее брюки из шотландки, как они царапали твою щеку. Она отправила тебя к школьному автобусу — тут она прервала тебя, чтобы сказать, что переживала не меньше, чем ты,— а ты спрятался в рощице и дождался, пока автобус тронулся, затем вернулся домой и сказал, что пропустил его. И мама отвезла тебя в школу на автомобиле, и ты явился в класс с опозданием на час. Все наблюдали, как ты входил с записочкой, а потом объяснял, что пропустил автобус. Когда наконец ты сел на свое место, то понял, что отстал навечно.

— Тебе не кажется, что все чувствуют примерно то же самое?

Затем мама сказала, что всегда знала о твоем лихом трюке с термометром (ты опускал его в горячую воду — симулянт!), но разрешала тебе притворяться больным, когда тебе действительно требовалась передышка.

— Ты был невозможным мальчишкой. Рева-корова.— На лице ее появилась гримаса, и тебе даже на мгновение показалось, будто это от того, что она вспомнила, как ты ревел.

Ты спросил, не нужен ли ей морфий, и она сказала, что нет, пока не нужен. Она хотела говорить с тобой еще и еще.

В окне над изголовьем ее кровати занималось серое утро. В других комнатах спали трое братьев, отец, тетя Нора. Аманда была в Нью-Йорке.

— Я был хуже, чем Майкл и близняшки?

— Гораздо хуже.— Она улыбнулась, словно сказала тебе комплимент.— Намного хуже.— Ее улыбка сменилась гримасой боли, и она сжала пальцами простыню.

Ты умолял ее сделать укол. Но приступ боли прошел, и ты видел, как расслабилось ее тело.

— Пока не надо,— сказала она.

Она рассказала, каким ты был невыносимым ребенком: вечно все раскидывал, грыз игрушки и ревел — ревел все ночи напролет.

— Тебе никогда не удавалось нормально уснуть, помнишь? Иногда ночами нам приходилось везти тебя прокатиться на машине, чтобы убаюкать.— Она, казалось, вспоминала это с удовольствием.— Ты был не от мира сего.

На лице ее вновь появилась гримаса, и она застонала.

— Подержи меня за руку,— сказала она. Ты протянул ей руку, и она схватила ее неожиданно крепко.— Больно,— сказала она.

— Пожалуйста, дай я сделаю тебе укол.

Ты не мог выносить больше ее страданий, чувствовал, что сам вот-вот потеряешь сознание. Но она велела еще подождать.

— Знаешь, что это такое? — сказала она.— Какая это боль?

Ты мотнул головой. Она помолчала. За окном пропела первая утренняя птица.

— То же самое я чувствовала, когда рожала тебя. Странно, но это так.

— И тебе было так же больно?

— Ужасно больно,— сказала она.— Ты никак не хотел вылезать. Я думала, что помру.— Она втянула сквозь зубы воздух и резко сжала твою руку.— Так что теперь ты знаешь, почему я так тебя люблю.

Тебе бы хотелось расспросить ее поподробнее, но голос у нее был такой слабый и сонный, что ты не хотел ее прерывать. Ты держал ее за руку, надеясь, что она дремлет, и наблюдал, как дрожат ее ресницы.

Со всех сторон раздавался щебет. Казалось, ты никогда не слышал одновременно столько птичьих голосов.

Вскоре она заговорила снова. Она вспомнила одно утро, которое ей почему-то особенно запомнилось. Мать жила тогда в двухкомнатной квартире над гаражом в Манчестере, в штате Нью-Гэмпшир.

— Я стояла перед зеркалом, словно никогда прежде по-настоящему не видела собственного лица.— Она говорила тихо, и тебе пришлось наклониться, чтобы услышать ее.— У меня было какое-то странное чувство. Я знала: что-то случилось, но не знала, что именно.

Она забылась. Глаза ее были полуприкрыты, но ты видел, что она смотрела куда-то. Окно в спальне наливалось светом.

— Папа,— сказала она.— Что ты тут делаешь?

— Мама?

Она помолчала какое-то время, и затем вдруг глаза ее открылись. Пальцы разжались.

— Боль уходит,— сказала она.

Ты сказал, что это хорошо. Комната, казалось, внезапно озарилась светом.

— Ты держишь меня за руку? — спросила она.

— Да.

— Хорошо,— сказала она.— Держи и не отпускай.

Как дела?

Твоя квартира теперь кажется тебе совсем маленькой. Майкл похрапывает на диване. Тот последний, самый откровенный разговор с матерью все не идет у тебя из головы. Потом ты нюхаешь кокаин. Где-то, бесконечно далеко, эти белые полоски сходятся, и там, в загадочной точке пространства, расколотый мир вновь обретает цельность. На секунду ты ощутил блаженство. Тебе показалось, что цель — вот она, совсем близко. Затем кончилась кока. Втянув последнюю полоску, ты посмотрел в зеркало. Вид у тебя просто жуткий, из носа торчит свернутая в трубочку двадцатка. Цель ускользает. Нельзя все исправить за одну ночь. Ты чересчур возбужден, чтобы о чем-то думать, и чересчур измучен, чтобы заснуть. Ты боишься, что если уснешь, то уже не проснешься.

Звонит телефон, словно сирена. Снимаешь трубку, когда раздается второй звонок. Сквозь шум и невнятицу голосов до тебя доходит, что это Тэд. Он хочет встретиться с тобой в «Одеоне». Там вечеринка. Тебя очень просят прийти. Ты говоришь, что будешь через десять минут.

Накрываешь Майкла одеялом, набрасываешь пиджак, проверяешь, сколько у тебя денег (бумажник почти пуст), затем прикрываешь дверь и запираешь ее. На улице припускаешь трусцой. У двери банка на Шеридан-сквер (он работает круглые сутки) вставляешь в автомат пластиковую карточку, которая, как гласит объявление, является талоном на банковские услуги. Раздается звонок, открываешь дверь и входишь в помещение цвета ярко освещенного плавательного бассейна. У автомата, выдающего деньги, стоит какой-то тип в маскировочной военной форме. Его движения очень выразительны — словно он участвует в видеоигре. Если он не поторопится, думаешь ты, придется его убить.

Наконец он поворачивается к тебе и разводит руками.

— Компьютеры, мать их за ногу. При таких темпах они мир не завоюют. Эта чертова контора — «Ситибэнк» — в воскресенье утром не может соединиться со Стейтен-Айлендом. Нет связи! Ладно, давай, попытай счастья.

Эта неотгорилла носит значок с надписью: Я НЕ ТАК ПЬЯН, КАК ТЫ ДУМАЕШЬ.

Ты отнюдь не уверен, что твой полуночный соратник по банковским операциям в состоянии работать с компьютером, но все же лелеешь надежду, что тебе-то наличные перепадут. Подходишь к автомату и чита-

ешь надпись на экране, машина приветствует тебя по-испански и по-английски и спрашивает, на каком языке ты предпочитаешь с ней общаться. Решаешь, что лучше все-таки по-английски. Нажимаешь кнопку. Однако ничего не происходит. Ты жмешь еще раз, потом, потеряв терпение, давишь на все кнопки сразу, но экран продолжает высвечивать то же теплое приветствие. Ты не из тех, кто лупит по машине кулаком, если она барахлит. Но сейчас ты с удовольствием разбил бы бестолковый экран вдребезги. Яростно давишь на все кнопки и наконец, нецензурно выразившись, даешь машине хорошего пинка. Ты ненавидишь банки. Ты ненавидишь компьютеры. Ты ненавидишь этих идиотов там, на улице.

С последней пятеркой в кармане ты хватаешь такси. Пока едешь, тебе становится немного лучше.

Когда подъезжаешь к «Одеону», навстречу тебе выходит Тэд со своим приятелем Джимми Кью из Мемфиса. К счастью, у Джимми есть лимузин. Вы забираетесь туда. Джимми называет водителю адрес. «Кадди» плывет по центральным улицам. Лишь мелькание огней за окном говорит о том, что вы едете, а не стоите на месте. Некоторые из них окружены дымчатым сиянием, другие же рассыпают в темноту снопы искр.

Машина останавливается перед каким-то складским помещением. Ты слышишь, как там гудит вечеринка — словно вертолет, зависший над тихой улицей. Тебе не терпится туда подняться. Ожидая лифта, барабанишь пальцами по дверному косяку.

— Успокойся,— говорит Тэд.— Ты что-то уж слишком на взводе.

Спрашиваешь, кто устроил вечеринку. Тэд называет какое-то имя. По его словам, это наследник огромного состояния. Его папаша разбогател на ресторанах самообслуживания.

Дверь лифта открывается, и вы попадаете прямо в помещение склада, которое по размерам не уступает какому-нибудь штату на Среднем Западе и населено столь же плотно. По трем сторонам — окна, на четвертой — зеркала. В глубине — бар и буфет. Танцевальный зал внизу, в другом конце, где-то около Нью-Джерси.

У бара Тэд представляет тебя женщине по имени Стиви. На ней изящное черное платье с фестонами на подоле. Она очень высокая. Длинные светлые волосы, вокруг шеи смятый белый шелковый платок. Стиви спрашивает:

— Вы танцуете?

— Конечно.

Берешь Стиви за руку, вы направляетесь к танцевальной площадке и вливаетесь в круговерть танцующих пар. Элвис Костелло [1] рекомендует бодриться, когда вам совсем не до этого. Между тактами Стиви выделывает замысловатые фигуры. Ты тоже не отстаешь и исполняешь свой фирменный номер — «нью-йоркскую карусель». Музыка гремит. Кажется, она вламывается тебе в черепную коробку, сползает по позвоночнику, наполняет собой твои кости и вытекает наружу через кончики пальцев.

Стиви кладет руки тебе на плечи и целует тебя. Она говорит, что ей нужно пойти в пур ле дам, а ты направляешься к бару за выпивкой.

Тэд ждет тебя.

— Ну как наш общий друг?

— Какой еще друг?

— Твоя якобы почившая, но не совсем еще забытая жена.

Поднимаешь глаза от бутылок и оглядываешься вокруг.

— Аманда?

— Конечно. Чтобы увидеть ее, ты, помнится, ездил в «Блумингдейлз» [2] не меньше тысячи раз.

---

[1] Популярный певец.

[2] Популярный универмаг.

— Где она?

Тэд указывает рукой в сторону лифта. Там собралось несколько человек; среди них — Аманда. Сейчас она от тебя не дальше чем в двадцати футах. Стоит, повернувшись к тебе в профиль. Поначалу ты думаешь, что это не она, а просто какая-то очень похожая на нее женщина, но вот она подносит руку к плечу и начинает теребить пальцами прядь волос. Ее агентша, бывало, говорила, что так она испортит себе волосы. Сомнения нет.

Не сейчас, думаешь ты.

На ней брюки в обтяжку и вызывающая серебристая куртка. Рядом — здоровенный, явно южного типа амбал в белой шелковой рубашке. Он держит себя хозяином. Ты видишь, как он слушает ее, и улыбается, потом щиплет ее за зад. Au contraire [1] Пьер. Большие расхождения на сексуальной почве.

Парень смотрится так, точно его вылепил Пракситель в 350 году до нашей эры, а в 1947-м к нему приложил руку «Парамаунт». Интересно, он и в самом деле такой силач или это только видимость. Что он сделает, если ты попробуешь оторвать ему уши?

— Что это за рожа? — говорит Тэд.

Ты тянешься к бутылке и наливаешь себе большой стакан.

— Должно быть, счастливчик Пьер.

— Я его где-то видел.

— В «Джентльменс куотерли» [2].

— Нет, где-то в другом месте. Уверен.— Тэд трясет головой, словно пытаясь что-то вспомнить.— Я видел его на какой-то вечеринке. Посмотри на ложечку для коки, которая болтается на его волосатой груди.

— И слышать об этом не хочу.

— Но он был не с Амандой, а с какой-то другой птичкой.

Стиви возвращается.

— А вот и я,— говорит она.— Та самая дурочка, которая танцует лучше всех.

— А мне и танцевать не нужно. Я и так дурак.

Тэд говорит:

— Задрай кингстоны, шеф. Она идет прямо на тебя.

И правда, это Аманда.

Она говорит:

— Ciao, bello [3],— и прежде, чем ты успеваешь ответить, целует тебя в щеку.

Она что, спятила? Разве не ясно, что ты держишься из последних сил, чтобы ее не придушить?

Точно так же — равнодушно и благожелательно — она целует Тэда. Тэд знакомит Стиви с Амандой. Ты глазам своим не веришь. Посмотреть на вас сейчас — ну какая чудная компания, правда?

— А это твой итальянский кобель? — говорит Тэд, кивая в сторону лифта.— Или греческий козел? А может, французский жеребец? Или все-таки турецкий верблюд?

— Это Одиссей,— говорит Аманда.— Мой жених.

— Одиссей,— говорит Тэд.— Одиссей. Правильно, грек.— Тебе бы хотелось, чтобы Тэд заткнулся.

Аманда улыбается тебе, словно ты ее новый знакомый и она обязательно хочет запомнить твое имя. Интересно, она не устроит скандал в отместку за твою выходку, когда ты чуть не сорвал ее выступление.

— Ну, как дела? — говорит она.

Ты таращишься на нее в надежде увидеть проблеск иронии или стыда в ее больших голубых глазах.

— Как дела? — тебя уже разбирает смех.

---

[1] Напротив *(франц.)*.

[2] «Ежеквартальник джентльменов».

[3] Привет, дорогой *(итал.)*.

Она тоже смеется. Ты с размаху бьешь себя по ляжке. Она, видите ли, хочет знать, как у тебя дела. Очень смешной вопрос. Смешнее некуда. Аманда — умора! Ты хохочешь так, что у тебя перехватывает дыхание. Стиви колотит тебя по спине. Как только восстанавливается дыхание, снова начинаешь хохотать. Аманда выглядит встревоженной. Похоже, она даже не догадывается, как она может насмешить. Для нее это новость. Ты хочешь сказать ей, что она ходячий цирк, но говорить ты не можешь. Ты хохочешь. Люди хлопают тебя по спине. Это смешно. И люди смешные. И все вокруг такое смешное, что просто сдохнуть можно от смеха. Тебе трудно дышать. У тебя темно перед глазами.

— Попей,— говорит Тэд. Одной рукой он поддерживает тебя, а в другой — у него пластиковый стаканчик.— Разойдитесь,— говорит он каким-то людям, обступившим тебя густой толпой. Лица Аманды ты не видишь.

— В чем дело? — спрашивает Стиви.

— Он эпилептик,— говорит Тэд.— Я знаю, что делать в таких случаях.

Она, ясное дело, ретируется.

— Я не эпилептик,— говоришь ты.

— Конечно, нет, просто ты тетраплегик. Да еще перевозбудился.

— Ну и ну,— говоришь ты.— Как дела? Подумать только, она сказала: «Как дела?» — Начинаешь смеяться снова.

— Передохни, шеф.— Тэд сажает тебя на стул в стиле Мис ван дер Роэ.— Ты считаешь это смешным? — говорит Тэд.— Погоди, я тебе еще не то расскажу.

— Что?

— Одиссей, говоришь? Помнишь, кто он?

— Разве такое забудешь?

— Наконец я допер, где я его видел.

— Когда допер? Когда он лапал ее за задницу?

— Нет. Послушай-ка. У меня в агентстве это записано. Имен я называть не буду. Но в Атланте живет одна старая курва, она заправляет в какой-то компании и приезжает два или три раза в год в Нью-Йорк привести в порядок морду и задарма пожрать за счет своей фирмы. Естественно, на вечера ей требуется сопровождающий. Так что мы предоставляем эту услугу через такое заведение, которое называется «Красавец по телефону». Эта контора обеспечивает одиноких баб мужчинами-компаньонами, причем по высшему разряду. Когда я говорю «компаньонами», я, понятно, проявляю необычную для себя скромность. Как бы то ни было, около года назад мы вызвали красавца, и voilà [1] Одиссей.

— Не пытайся меня взбодрить.

— Нет, правда. Мне пришлось два вечера подряд сопровождать этих чокнутых; нечего и говорить, что бедняга Аллагэш был совершенно выбит из колеи. Мне платили, но, как ты понимаешь, рассчитывать на остроумную беседу с такими субъектами не приходится.

Когда ты начинаешь смеяться, Тэд говорит:

— Спокойно.— Но теперь ты держишь себя в руках.

— «Красавец по телефону».

— Именно.

— Красавец-пихарь по телефону.

— Да, это,— говорит Тэд,— действительно смешно. Коварный Одиссей.

— Наконец-то Аманда попала в точку.— Кажется, тебя опять разбирает смех. Вот если бы можно было и в самом деле — в прямом смысле слова — умереть от смеха. Вырваться из этой тяжелой телесной обо-

---

[1] Вот *(франц.)*.

лочки и улететь отсюда через открытое окно. Ты летел бы над городом, высоко-высоко, и с высоты вся эта мерзость и боль казались бы тебе бесконечно далекими — как мерцающие в темноте огоньки.

— Не знаю,— говоришь ты.— Честно говоря, не так уж это и смешно. Скорее грустно.

— Не следует менять гнев на милость,— говорит Тэд.

— Где Стиви?

— Еще одна дурацкая история. Тебе нужно забыть об этом, шеф.

— Почему?

— Стиви, он же Стив, сделал несколько недель назад третью операцию. Убедительно, правда?

— И ты хочешь, чтобы я в это поверил? — Мысленно возвращаешься к облику Стиви.— Вранье.

— Зачем мне врать? Спроси Джимми Кью, если сомневаешься. Для чего, думаешь, шарфик вокруг шеи? Нельзя же убрать кадык.

Ты не знаешь, серьезно он говорит или шутит, ибо он не раз уже тебя разыгрывал. К тому же, теперь тебе просто наплевать, какого пола эта Стиви. Время позднее, все равно ты ее никуда не поведешь.

— Я еще раньше хотел тебе об этом сказать.

— Спасибо.— Ты встаешь.

— Спокойней, шеф.— Он обнимает тебя за плечи.

— Я вдруг кое-что сообразил.

— Что?

— Вы с Амандой были бы потрясающей парой.

— Не означает ли это, что ты возьмешь Одиссея на себя?

— Потом, Тэд.

В углу склада расположены несколько спален. Первые две битком набиты какими-то явно насосавшимися коки и увлеченно беседующими парочками. Третья свободна, около кровати на столике стоит телефон. Ты лезешь в записную книжку и находишь тот самый номер.

— Поздновато,— говорит Викки после того, как ты называешь себя.— Ты где?

— Сейчас действительно очень поздно. Я в Нью-Йорке. Я хотел с тобой поговорить.

— Ты с Тэдом на какой-нибудь вечеринке. Ну что, угадала?

— Я был с Тэдом.

— И в самом деле, поздновато. Что-нибудь случилось?

— Просто я хотел сказать, что умерла мама.— Ты совсем не рассчитывал, что получится так коротко.

— О боже,— говорит Викки.— Я не знала, что она... когда?

— Год назад.— Пропала Без Вести.

— Год назад?

— Я не говорил тебе этого раньше. А сейчас захотел сказать. Думаю, это важно.

— Я тебе очень сочувствую.

— Ничего. Не так уж все плохо. То есть, раньше было плохо.— Ты не можешь выразить свою мысль.— Жаль, что тебе не пришлось с ней встретиться. Вы бы друг другу понравились. У нее были такие же волосы, как у тебя. Хотя дело, конечно, не в этом...

— Не знаю, что и сказать.

— Есть еще кое-что, о чем я тебе не говорил. Я был женат. Это была дурацкая ошибка, но теперь все позади. Я хотел, чтобы ты знала, если это имеет для тебя значение. Сейчас я напился. Если хочешь, я повешу трубку.

В наступившей паузе ты слышишь отдаленный глухой шум междугородной линии.

— Не надо,— говорит Викки.— Не могу сообразить, чем тебя утешить, но я тут, рядом. Мысли немного путаются.

— Я пытался забыть ее. Но, наверное, я обязан ее помнить.

— Подожди. Кого?

— Маму. О жене ты не думай. Я говорю о матери. Сегодня я вспомнил: после того как она узнала, что у нее рак, она говорила Майклу и мне...

— Майклу?

— Это мой брат. Она взяла с нас обещание, что, если боль станет нестерпимой, мы поможем ей кончить все это. У нас был рецепт на морфий, так что можно было им воспользоваться. Но потом стало совсем плохо. Я спросил ее, как быть, и она сказала, что, когда умираешь, на человеке лежит ответственность перед живыми. Меня тогда поразили ее слова. И я подумал, что на нас — ответственность перед мертвыми, я имею в виду живых. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Наверное. Хотя, честно говоря, не очень,— отвечает Викки.

— Можно я тебе завтра позвоню?

— Да, конечно. У тебя правда все в порядке?

Тебе кажется, что твои мозги вот-вот выскочат из черепной коробки. И тебе страшно.

— Все хорошо.

— Иди спать. А если не сможешь заснуть — позвони мне.

В раннем утреннем свете на фоне неба вырисовываются башни Всемирного торгового центра в конце острова. Ты разворачиваешься и идешь в верхнюю часть города. Там, где асфальт на улицах изношен, проступает булыжник. Ты думаешь о деревянных башмаках первых голландских поселенцев, ходивших по этим камням. А еще раньше на здешних пустынных тропах воины из племени алгонкинов выслеживали дичь.

Ты бредешь, сам не зная куда. Похоже, у тебя не хватит сил дойти домой. Прибавляешь шагу. Если солнечный свет застигнет тебя на улице, с тобой произойдет нечто ужасное — какая-нибудь необратимая химическая реакция.

Через несколько минут замечаешь у себя на пальцах кровь. Подносишь руку к лицу. На рубашке тоже кровь. В кармане пиджака обнаруживаешь бумажную салфетку, прикрываешь ею нос и идешь дальше, откинув голову назад.

Добравшись до Кэнел-стрит, понимаешь, что пешком тебе домой не дойти. Ты ищешь такси. Под брезентовым навесом закрытого магазинчика спит бродяга. Когда ты проходишь мимо, он поднимает голову и произносит: «Да благословит тебя Господь и да простит Он тебе твои прегрешения». Ты думаешь, что сейчас он попросит денег, но он ничего не просит. Тебе грустно, что он безмолвствует.

Заворачиваешь за угол и жалкими остатками своего обоняния улавливаешь, что где-то рядом пекут хлеб. Хотя из носа у тебя идет кровь, ты чувствуешь этот запах. Оглядываешься и видишь: в соседнем квартале грузят в машины хлеб. Человек с татуировкой на руках вытаскивает мешки с булочками на платформу. Он встал в такую рань и работает, чтобы другие люди могли купить свежий хлеб. Добродетельные люди, которые спят по ночам и на завтрак едят яйца. Сегодня воскресное утро, а скажи: когда ты ел в последний раз? В пятницу вечером. Чем ближе подходишь, тем сильнее запах хлеба. Он обволакивает тебя, как моросящий осенний дождь. Ты глубоко вдыхаешь и наполняешь им легкие. В глазах у тебя стоят слезы, ты чувствуешь такой прилив доброты и жалости ко всему миру, что останавливаешься и, не в силах устоять на ногах, хватаешься за фонарный столб.

Запах хлеба напоминает тебе вот о чем. Однажды, рано утром, ты приехал из колледжа домой. Полночи перед этим ты провел за рулем. Ты просто кожей чувствовал, что наконец дома. Когда ты вошел, кухня была полна ароматом свежего хлеба. Мама спросила, зачем ты приехал, и ты сказал: просто так. Потом ты спросил ее: «Ты что, хлеб печешь?»

А она сказала: «Учимся мыслить логически, да?» Еще она сказала, что теперь, когда сыновья покидают дом, ей нужно чем-то себя занять. А ты заявил, что покидать дом вовсе не собираешься. Потом вы разговорились, а хлеб тем временем начал подгорать. Ты помнишь еще два случая, когда мама пекла хлеб. И оба раза он подгорал. Как ты гордился тем, что твоя мать не погрязла в кухонных заботах, что она думает о других, более важных вещах. Так или иначе, она отрезала два толстых ломтя хлеба. Снаружи они немножко пригорели, но изнутри были теплыми и влажными.

Ты приближаешься к человеку с татуировкой, который грузит хлеб. Он прерывает работу и наблюдает за тобой. С ногами у тебя что-то неладно. Интересно, кровь из носу все еще идет?

— Хлеб.— Вот и все что ты ему говоришь, хотя хотел сказать гораздо больше.

— Как ты догадался? — говорит он. Этот человек, как ты полагаешь, служил в армии, и где-то за городом у него есть семья.

— Можно мне немножко? Ну, булочку?..

— Катись отсюда.

— Я отдам тебе темные очки,— говоришь ты, снимаешь очки и протягиваешь ему.— «Рэй-Бэнс». Только вот футляр потерял.— Он примеряет их, несколько раз мотает головой и затем снимает. Складывает очки и убирает в нагрудный карман рубашки.

— Чокнутый какой-то,— говорит он.

Потом оглядывается на пекарню. Поднимает пакет с хрустящими булочками и кидает его на землю — прямо тебе под ноги.

Ты опускаешься на колени и раскрываешь пакет. Тебя обволакивает запах теплого теста. Первый кусок застревает в горле, ты чуть не подавился. Ты должен есть медленно. Ты должен всему учиться заново.

■

ФРАНСУАЗА САГАН

Рыбья кровь

РОМАН

Перевод с французского ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ

Франсуазе Верни,
с обожанием, благодарностью и симпатией

Часть первая

Глава I

— Внимание! Последний кадр! Снимаем без репетиции!

Возвращаясь обратно к камере, Константин фон Мекк, в течение двадцати лет самый знаменитый режиссер в Голливуде и Европе, а за последние три года — в одной лишь Германии, пересек съемочную площадку, и в свете юпитеров ярко блеснули его огненные волосы, медно-рыжие усы и длинные узкие глаза: все это вместе с высокими скулами, крупным носом и мясистым ртом придавало ему — при высоченной, под два метра, гибкой, типично американской фигуре — сходство с казаком, правда, с казаком вполне цивилизованным и улыбчивым.

В свои сорок два года Константин фон Мекк прославился как фильмами, так и эксцентрическими выходками, и лишь благодаря его таланту и сказочному успеху пуританская нацистская Германия закрывала глаза на его сомнительные эскапады, а заодно и на равнодушие к политике. Сделав головокружительную карьеру в Голливуде, женившись там на суперзвезде Ванде Блессен и прожив двадцать пять лет в Калифорнии, он вдруг в 1937 году вернулся в Германию под предлогом съемок фильма «Медея», который заказала ему студия УФА [1], и тем самым бесконечно шокировал и великую Америку, и прочий свободный мир. Все, кто знал Константина фон Мекка — своевольного, остроумного, необузданного Константина,— теперь с изумлением и грустью называли и даже считали его в некотором смысле предателем, тогда как Германия, напротив, отнеслась к его поступку с восторгом и гордостью. Но все это время он снимал только развлекательные комедии, да и те от раза к разу становились все менее притязательными, а уж политика в них и не ночевала. Ходили слухи, будто Константин фон Мекк отказался от съемок «Еврейки», как и других антисемитских «шедевров», причем отказался настолько решительно, что до глубины души возмутил главарей третьего рейха, и не сносить бы ему головы, если бы его фильмы не смешили до слез всемогущего гитлеровского министра культуры и пропаганды доктора Геббельса. Покровительство последнего было признано официально, к великому счастью Константина. Ибо, не говоря уж о слабости к еврейскому сброду, полнейшем политическом невежестве и

© Éditions Gallimard, 1987

[1] **УФА**-фильм (Universumfilm Aktiengesellschaft) — германский киноконцерн, основанный в 1917 г. *(Здесь и далее прим. перев.)*

весьма прохладном отношении к национал-социалистической партии, Константина фон Мекка подозревали также в чрезмерном пристрастии к алкоголю, наркотикам, женщинам и даже мужчинам, хотя слухи об этой последней склонности развеселили бы немало особей во многих столицах мира. И тем не менее достаточно было бы Геббельсу поморщиться на очередном кинопросмотре, и Константин тут же обнаружил бы, что Мюнхен отделяют от Дахау всего двадцать километров.

Ну а пока Константин фон Мекк, могучий, чуть неуклюжий и улыбчивый гигант в старых ковбойских сапогах, перемежающий свои приказы и советы английскими словечками, машинально — как надеялись присутствующие,— но неуместно, казался воплощением беззаботной радости на земле.

— Ну, поехали! — возгласил он.— Мод, деточка, напоминаю вам: мы снимаем самый последний кадр этого превосходнейшего любовного фильма, где ваш текст — один из самых «волнительных» среди всех прочих диалогов. Мне нужно, чтобы вы превзошли самое себя. Начали! Hurry up [1]! Мотор!..

Мод Мериваль, хрупкая хорошенькая блондинка, начинающая «звездочка» на ролях инженю, запущенная на небосвод УФА мощными усилиями рекламы, возвела горé взгляд, который, по ее мнению, изображал пылкую мýку, а по мнению Константина — ужас кролика, зачарованного удавом. Вдобавок ассистент просунул между нею и камерой хлопушку точно таким жестом, каким предложил бы меню удаву, и, выкрикнув: «Скрипки судьбы», кадр 18, дубль первый!», исчез из поля зрения.

— Нет, я не могу принять эти розы! Даже эти бедные цветы из ваших рук, граф, терзают мне душу. Их аромат мгновенно умирает. Как я могу?! — вопросила Мод напыщенным тоном, еще сильнее подчеркнувшим весь идиотизм текста. Константин давно уже оценил извращенное очарование сценариев и диалогов, напичканных сентиментальной чепухой, по которым его вынуждали делать фильмы в ожидании согласия на съемки чего-нибудь более серьезного, соответствующего «линии Партии». И все-таки фраза «Как я могу?!», произнесенная подобным тоном, грозила рассмешить даже самых чувствительных Гретхен.

— Послушайте, Мод,— сказал он,— пойдемте-ка со мной и давайте разберемся, что за отвращение испытывает к графу ваша юная героиня.

— О, конечно, конечно! — воскликнула Мод. Константин машинально взял ее за руку, и молодая актриса тотчас уподобилась крошечной куколке в нарядном кринолине рядом с человеком-великаном. Спохватившись, он попытался высвободить руку, но не тут-то было. Он на минуту запамятовал, что юная Мод, убежденная и матерью, и импресарио в роковой неизбежности постельной связи актрисы со своим режиссером — особенно если режиссер этот «сам» Константин фон Мекк,— столкнувшись с его вежливым отказом переспать с ней, вообразила себя женщиной с разбитым сердцем. Он же, хорошо зная, что разница между настоящей и придуманной любовью, между настоящим и придуманным страданием очень невелика, выказывал Мод дружелюбную и ровную учтивость. По внезапному наитию он поймал за руку болтавшегося рядом декоратора и потащил его за собой, словно дуэнью. Покинув залитую светом юпитеров площадку, они втроем зашагали в глубину павильона.

— Что-то не то в этой вашей реплике...— начал Константин, но Мод опять проворно перехватила у него инициативу.

— Да-да, именно что-то не то! — убежденно заявила она, смутно надеясь свалить всю вину на сценариста.— Я не чувствую ее вот тут! — продолжала она и, остановившись, ткнула пальчиком в ложбинку между грудями, давая понять, что именно там вызревает скрытое сопротив-

---

[1] Живо, быстрее! *(англ.)*

ление непокорной фразе. Константин бросил на ее грудь вежливый, но мимолетный взгляд.

— Видите ли,— сказал он,— меня очень смущает это ваше «Как...» Вы слишком уж форсируете первое «к», в результате создается впечатление, будто вы возмущенно зовете нерасторопного официанта в кафе, примерно так: «Кккакямогу, подойдите же сюда!» Или вы произносите их с чрезмерным изумлением, словно обнаружили перед собой невиданный экзотический фрукт: «Боже, да ведь это «кккакямогу»! Словом, ваше «как я могу» слишком вылезает, понимаете?

Мод не поняла ровным счетом ничего. Она с тоской силилась уразуметь, каким образом в фильме, задуманном в жанре оперетки, появились вдруг какие-то официанты и экзотические фрукты. Но, так и не поняв, все равно героически закивала в ответ.

— Да-да, вот теперь мне ясно! Боже, как все просто, когда вы объясняете, не правда ли? — обратилась она к декоратору, прятавшемуся за Константина, и тот кивнул, не поднимая глаз: он увидел, как Константин закинул голову, словно решил проверить, правильно ли поставлен свет: рука его, выпустив наконец запястье декоратора, потянулась к усам и принялась безжалостно ерошить их, собирать к центру, что, по ошибочному мнению их владельца, помогало скрыть усмешку. Декоратор, давно знакомый с этими предвестиями хохота Константина фон Мекка и знавший, насколько хохот этот заразителен, тщетно прислушивался.

— Да...— продолжала Мод Мериваль, цепляясь обеими руками за Константина; тот уже подошел к дверям студии и вдруг круто обернулся, почти оторвав Мод от пола: в этот момент она уподобилась рыбацкому челноку, взятому на буксир мощным теплоходом.— Да-да,— твердила Мод,— я поняла: вам не нравится первое «к» в реплике «Как я могу?!» Но, простите, куда же прикажете мне его вставить?

Константин и декоратор остановились было, но тут же зашагали дальше, не глядя друг на друга и не отвечая Мод; наконец, Константин пробурчал: «Да не вставляйте его никуда, просто будьте попроще... понежнее, что ли... В конце концов, чем цветы-то виноваты? Они ничуть не хуже любых других. А кстати... Анри, нужно заменить букет, этот завял. Так вот, Мод, деточка, ваши злополучные цветы тут совершенно ни при чем, они вам ненавистны лишь потому, что их преподносит граф». Константин говорил с явным усилием, как заметила Мод, воспламенявшаяся от его речей тем больше, чем отвратительнее, по ее мнению, вел себя декоратор — тот равнодушно отвернулся от них, словно ему наплевать на откровения из уст гениального Константина фон Мекка.

— О, вы знаете, так часто случается! — воскликнула она.— И даже в жизни! Однажды один человек — большая шишка! — решил не то купить меня, не то прельстить с помощью драгоценностей. Это меня-то! — добавила она с усмешкой, скорее удивленная, нежели возмущенная столь тяжким психологическим промахом.— Ну так вот, едва только он выложил на стол это колье,— а оно было в шикарном футляре и все такое прочее,— едва я взглянула на его лицо и руки, как у меня сразу же возникло подозрение, что колье фальшивое,— невероятно, правда? Ну просто в тот же самый миг! С первого же взгляда эти камни стали мне ненавистны, как вы сказали.

Мод выдержала эффектную паузу и торжествующе закончила:

— И самое интересное, что колье и вправду оказалось фальшивое! Представляете — стекляшки, и ничего больше!

Но это потрясающее сообщение не произвело на слушателей того убийственного впечатления, на которое рассчитывала Мод. Декоратор просто-напросто повернулся к ним спиной и исчез, а Константина фон Мекка, казалось, буквально зачаровал свет юпитеров. Все так же не отрывая глаз от потолка, он холодно попросил актрису вернуться на свое место.

— Теперь, когда мы обо всем договорились, пора наконец отснять этот эпизод,— сказал он хрипло, махнув рукой в сторону камеры, будто Мод еще неизвестно было, где ей предстоит исполнять свой долг. Удивленная таким обращением, она уже двинулась в сторону площадки, как вдруг Константин взглянул на двери студии, и что-то в этом взгляде заставило Мод обернуться туда же. В дверях — надменные, чопорные, примолкшие из почтения к чужой работе, но в то же время явно уверенные в том, что присутствующие заметили и их появление, и их тактичные манеры,— стояли два офицера и два ординарца. Блики на их околышах и сапогах сверкали, метались в темной глубине павильона, а в дверях, за спиной у немцев, возникали, исчезали и вновь появлялись юркие фотографы из французских газет.

— Господа! — произнес Константин, и Мод опять, в который уже раз, удивилась: отчего во время официальных церемоний голос великого режиссера всегда меняется до неузнаваемости, теряя обычный теплый тембр и становясь трескуче-сухим? В таких случаях Константин полностью преображался в напыщенно-высокомерного чиновника, а ведь он принимал своих же соотечественников.

— Well, давайте, please, go on [1]! — скомандовал Константин. Он упорно говорил по-английски во время подобных визитов, и это вызывало улыбку у Мод: какой же он все-таки ребенок, думала она. И уже собралась заговорить, в полной уверенности, что на сей раз ее не оборвут, ибо в присутствии немцев Константин неизменно демонстрировал прямотаки восторженное преклонение перед своими актерами и съемочной группой: его «русские» всплески гнева бесследно исчезали, превращаясь в безудержный поток похвал.

— Господа, мы заканчиваем. Последняя съемка! Мадемуазель Мериваль,— добавил он, на сей раз по-французски,— давайте снимать! А потом будем пить шампанское, мы все заслужили это сполна. Мы все заслужили это сполна,— повторил он тотчас же на безупречнейшем немецком — не оборачиваясь к нежданным посетителям, но явно специально для них, будто эти офицеры после двух лет пребывания во Франции не в состоянии были понять три несчастные коротенькие фразы на языке завоеванной страны. Ответом Константину были смешки и понимающие взгляды сотрудников; он вдруг ощутил себя отцом любящих детей. И верно: съемочная группа и актеры очень любили его, и, разумеется, ему было это приятно. Вообще-то Константин, даже самому себе в том не признаваясь, обожал очаровывать людей, утешать их, забавлять, поражать, защищать, холить и лелеять. Да, он любил нравиться им и мысленно отмечал это с благодушной самоиронией — так он скрывал от самого себя, насколько нуждается в любви. То была интуиция, или, вернее, неодолимая внутренняя убежденность, которую рассудок даже не мог четко сформулировать, выразить в словах — по крайней мере Константин таких слов не знал.

— Мотор! — крикнул Константин.

— Нет! Нет! Эти бедные розы из ваших рук, граф, источают опасный аромат. О нет, я не в силах принять эти цветы. Как я могу?! — На этот раз Мод, вопреки указаниям режиссера и даже собственному желанию, взвизгнула с удвоенной силой: до сих пор она выступала со старым букетом, но по просьбе Константина декоратор заменил его свежим, второпях не закрутив как следует металлическую проволочку, и когда актриса сунула цветы графу под нос — чтобы он оценил и ее личное к нему отвращение и невинность роз,— острый конец проволочки скользнул ей под ноготь и на словах «Как я могу?!» безжалостно вонзился в палец. Поэтому в ее голосе прозвучала отнюдь не меланхолия, а совсем напротив, изумление, гнев, даже благородное негодование, словно граф, позабыв о своей двусмысленной роли, вдруг нагло запустил руку ей под кринолин.

---

[1] Ну... продолжаем, прошу вас! *(англ.)*

Эта внезапная смена интонации переполнила чашу хладнокровия Константина: скорчившись за огромным роялем — частью реквизита — с очень кстати поднятой крышкой, он уткнулся лицом в шарф и зарыдал от смеха вместе с электриком. В шести метрах от них трясся от хохота декоратор, этот сунул голову в пустые картонки и так и не вылезал из них, весьма походя на торчащую из помойки донышком кверху пустую бутылку. Зато офицеры и их свита не увидели в сцене ровно ничего смешного и, одобрительно глядя на Мод, вежливо зааплодировали.

— Константин! — закричала та, замерев в свете юпитеров.— Константин! Герр доктор фон Мекк,— исправила она со сконфуженной гримаской оговорку, показывающую господам офицерам вполне допустимую симпатию актрисы к режиссеру и к мужчинам вообще.— Константин, ну что теперь? Вы хотите отснять еще один дубль? Мне кажется, я сыграла слишком... слишком живо, не так ли? Потому что я укололась.

Мод собралась было, воздев кверху пальчик, продемонстрировать выступившую на нем капельку крови и изобразить хрупкое раненое дитя, но все-таки воздержалась. В конце концов эти офицеры вернулись с войны, с фронтов России, Африки или еще откуда-нибудь, где кровь льется рекой, и ее рыдания из-за пустяковой царапины не умилят их, а скорее неприятно удивят. Наконец Константин выбрался из-за рояля; весь красный и запыхавшийся, с мокрыми глазами, он держался за бок.

— Ну ладно,— выговорил он,— ладно... если хотите... давайте... ох, боже мой! ну конечно, может быть, вы... вы постараетесь быть более careful... простите, как это по-немецки? — отнесся он к офицерам.— Careful... Ах, да! Более... более внимательной, более собранной, не так ли, Мод? Ты была великолепна, моя дорогая, вот именно, великолепна! Но мы отснимем еще один дубль — просто для удовольствия, ладно? И специально для этих господ.

Константин мямлил, заикался, наверное, у него начинался жар, и Мод решила покончить со съемкой как можно быстрее; не успела отзвучать команда «Мотор!», как она ринулась в бой.

— Нет, я не могу принять эти цветы. Эти розы из ваших рук, граф, источают опасный аромат. Нет, я не в силах. Как я могу?! Как я могу?! — взвизгнула она дважды, трепыхаясь, словно вспугнутая курица, и Константин, без сомнения в восторге от ее игры, ураганом ворвался на площадку и, согнувшись вдвое, стиснул Мод в объятиях; он бормотал: «Браво, деточка, браво, браво, малышка!» Его огромное тело содрогалось от коротких подавленных всхлипов, от немых рыданий, столь трогательных у мужчин. И Мод нежно, как маленького мальчика, баюкала на своем плече этого верзилу, которого весь мир считал бесстыдным, развратным циником. «В этом гигантском теле, под личиной тирана я ощутила трепет детского, но гениального сердца»,— поведала она на следующей неделе корреспонденту журнала «Синемондьяль» в словах, от начала до конца продиктованных ей импресарио; на сей раз они точно передавали ее собственные чувства.

— Ну-ну,— пролепетала Мод, даже слегка напуганная столь бурной реакцией,— что случилось, Константин? Что вам не понравилось? Вы хотите отснять еще один дубль?

В ответ она услышала, между двумя всхлипами: «Нет, нет!.. Нет! Нет!.. Последний кадр!..» Поразмыслив с минутку, Мод, как ей показалось, постигла причину скорби режиссера: то был конец его фильма, конец «их» фильма. Может быть, он все-таки любил ее? Может, его печалила предстоящая разлука, неизбежная при их профессии? Или в этом фильме было что-то, напоминавшее Константину его собственную жизнь, его жену? Пока Мод ломала голову над этой загадкой, Константин беззастенчиво утирал помятое лицо и мокрые от слез усы локончиками и белой батистовой косынкой своей героини.

— Ну что вы, Константин! — утешала его та,— не расстраивайтесь

так, мы еще увидимся. Поверьте, я разделяю ваше волнение. Но надо держать себя в руках, там ведь эти люди, эти военные, Константин!

Режиссер с трудом высвободился из ее объятий, но тут Мод Мериваль шепнула ему на ухо несколько слов, от которых он дернулся, словно от удара хлыста, и вновь припал к ее плечу, несказанно удивив этим продюсера УФА Дариуса Поиеску.

Ибо Константин, при всем своем ужасающе разнузданном образе жизни, со стыдливым упорством держал ее в секрете и категорически запрещал фотографировать себя в интимной позе с кем бы то ни было. Самое большее, что режиссер позволил однажды газетчикам,— это сделать снимок, где он, сидя в полуосвещенном ресторане, держит за руку свою супругу Ванду. И вот вдруг, нежданно-негаданно на глазах у Попеску он сжимает в объятиях юную Мод Мериваль, пряча лицо в ее волосах. Да это же просто scoop [1] в жизни Дариуса Попеску, как продюсера, так и мужчины. Было от чего впасть в экстаз!

Между тем Мод не сказала Константину ничего такого потрясающего, она просто шепнула ему: «Вы маленький мальчик, господин фон Мекк, мальчик-с-пальчик, который превратился в великана». И Константин, чей рост был метр девяносто пять, Константин, который в отелях, салонах и на улицах предпочитал сделать крюк, лишь бы не встретиться с бывшей любовницей, опять — в который уже раз! — поддался на эту нехитрую уловку; скорее всего у него сдали нервы или рассудок. В конце концов, он уже чертову пропасть времени снимал эти идиотские штуки — плоды дебильной фантазии сценаристов УФА, пропитанные тошнотворным духом немецкой добропорядочности и чувствительности в худшем смысле этого слова. Но на сей раз чаша его терпения переполнилась. Нет, хватит уж соглашательства, теперь он потребует своего; пускай УФА даст ему наконец снять «Пармскую обитель», и тогда, может быть, Ванда — Ванда Блессен! — сыграет у него герцогиню Сансеверину. Ах, то была, конечно, недостижимая мечта, но слишком уж соблазнительная, чтобы ее не лелеять.

Если Константин позволял себе сетовать на тупую сентиментальность сценаристов и германский конформизм, то Дариус Попеску, напротив, имел все основания поздравлять себя с ними. Родившийся в Ливане от матери-ливанки и неизвестного отца, Попеску из-за своего горбатого носа и курчавых волос не однажды попадал в критическое положение во время проверок и облав. По счастью (которое пока неизменно сопутствовало ему), он если и не являлся в глазах гестапо полноценным арийцем, все же был в достаточной мере левантинцем, чтобы снисходительный германский расизм не уступил места другому — смертоносному. И, стремясь подчеркнуть перед нацистами эту ставшую для него жизненно важной разницу между евреями и прочими уроженцами Ближнего Востока, Попеску год назад по собственной инициативе вызвался поставлять им неоспоримые доказательства своей расовой лояльности — неоспоримые, поскольку то были живые люди.

Вот почему в свете данной научной проблемы ему пришлось недавно донести гестапо на двух чистокровнейших представителей еврейской нации, то есть на декоратора Вайля, по документам Пети́, и электрика Швоба, по документам Дюше́,— оба они были взяты в группу Константином фон Мекком — «незнайкой» Константином, который на сей раз оказался информированным не хуже Попеску, более того — нанял обоих ассистентами именно потому, что узнал об их национальности. Но чиновникам по расовым вопросам во Франции пришлось еще некоторое время «погрызть удила», прежде чем они смогли дать ход доносу Попеску, ибо министр информации и пропаганды Йозеф Геббельс тремя годами раньше самолично запретил хоть в чем-либо препятствовать съемкам Константина фон Мекка. Попеску дрожал целых три недели, боясь, как бы его «живые доказательства» не сбежали до ареста; хотя

---

[1] Сенсационная новость *(англ.)*.

и тот и другой выглядели куда большими арийцами, чем он сам, их имена — Вайль и Швоб — звучали совсем иначе, нежели «Попеску», фамилия, по мнению ее владельца, вполне двусмысленная, а значит, и невинная.

Ну, а пока суд да дело, съемки фильма завершились, ординарцы немецких офицеров уже втаскивали на площадку ящики с шампанским, Константин импровизировал короткий прощальный спич, а Швоб-Дюше и Вайль-Пети в последний раз — в неведении своем — поздравляли себя с тем, что выжили и, стало быть, им, счастливчикам, везет.

— Эй, друзья! Давайте-ка выпьем шипучки, забудем о делах да повеселимся немного!

Прислонясь к штативу камеры, Константин одной рукой обхватил его за верх, как женщину за шею, а в другой — сжал бутылку шампанского; потрясая ею, словно знаменем, он одновременно пальцем расшатывал пробку, которая наконец с оглушительным шумом вылетела, пробив фальшивое окно декорации и ударившись в огромный, фальшивый же, донжон [1], куда выходило это окно; донжон тут же съежился и выпустил воздух, как проколотый шарик на ярмарке; при этом хлопке немцы автоматически схватились за револьверы, а тем временем из бутылки вырвалась шипящая пена и окатила плащ, руки и плечи Константина; тот, глазом не моргнув, спокойно поднял бутылку и опрокинул ее себе на голову; белая пена пузырилась и лопалась у него на волосах, заливала глаза, а он хохотал вовсю, бурно и заразительно, словно восемнадцатилетний мальчишка.

— Камраден! — вскричал он, обращаясь к своей группе драматическим фальцетом, воздев руки и вращая глазами, словно буйный сумасшедший, что придало ему сходство с неким другим современным оратором и заставило слушателей испуганно поежиться; потом он заговорил нормальным тоном: — Друзья мои, я благодарен вам за вашу работу и терпение. Без вас я никогда не снял бы такое кромешное идиотство, такую вселенскую чушь, как наши «Скрипки судьбы». Спасибо! Браво! — закончил он, бурно аплодируя и от всей души надеясь, что слова «идиотство» и «чушь» не входят в лексикон стоящего сзади переводчика. Так оно и оказалось, ибо офицеры захлопали, пока все кричали «ура», а вернувшиеся фотографы, не подозревая о том, какие кадры они упустили, усердно снимали режиссера и его красотку актрису, которых теперь разделяли добрых пять метров.

Мало-помалу присутствующие стянулись в центр площадки, в декорацию — освещенный юпитерами квадрат, единственное место в павильоне, где было чуть теплее и зубы не стучали от холода. И поскольку все сидели или стояли, прижавшись друг к другу, а шампанское лилось рекой, усталость, раздражение, враждебность, страх — все эти чувства, властвовавшие над городом целых два года, на миг исчезли, растворились в радости от завершения дурацкого фильма. На краткое мгновение они сменились весельем, дружелюбием, человечностью, согревшей сердца этих людей — таких разных, ненавидящих или презирающих друг друга; эта минута напомнила всем им мирное время и заставила умолкнуть даже злоречивых «ласточек» — незваных, но неизбежных прихлебателей на открытых приемах, охотников до дармовщины, чье число удвоилось с началом военных лишений. Это мгновение мира разбудило память Константина, как разбудили бы ее пейзаж, музыка, аромат, и внезапно явило его глазам безлюдный бассейн, увядшую пальму, огромный «бьюик» с откинутым верхом и спину женщины, идущей к воде. Кто она была? Откуда взялся этот образ? Может, это символ мирной жизни, его американского прошлого? Если так, то слащавый же выбран был символ и, уж во всяком случае, вполне безликий.

---

[1] Средневековая сторожевая башня.

Константин давно уже привык к тому, что его память превратилась в полупустую, заброшенную камеру хранения. Он свыкся с тем, что от самых пламенных его любовей в ней оставались лишь бледные подобия, стертые лица, бессвязные обрывки фраз. Да, он свыкся, но еще не смирился с этим, ибо — говорил он себе — если бы никто в мире больше не знал, что с ним происходило, если бы никто больше не помнил всю его жизнь, все, чем он был, что сделало его таким, все, что делал он сам; если бы никто ему этого не напоминал, то как мог бы он в один прекрасный день составить тот знаменитый счет, подбить знаменитый итог деяний своей жизни, вывести цифру, долженствующую стать оправданием и смыслом этой жизни? Когда и каким образом осуществит он тот пересмотр — вечно желанный и вечно откладываемый на потом, когда погрузится он в прошлое и сделает подсчет, который наконец скажет ему, был ли, в конце концов, необходим или безразличен миру факт его существования? И сможет ли он хотя бы перед смертью проследить мгновенный и слепой путь кометы, обезумевшей от собственной скорости,— кометы его жизни? Мысль о невозможности сделать это сводила его с ума.

И в десять, и в двенадцать, и в шестнадцать, и в двадцать лет он давал себе нелепую клятву: непременно узнать, прежде чем умереть, стоило ли труда доживать до смерти, и хотя все говорило ему о том, что на этот никчемный, бессмысленный вопрос нет ответа, давнее прошлое — бойскаут, неуклюжий подросток, который был так дорог ему и которому предстояло так скоро разочароваться в жизни,— судорожно цеплялось за память, отказывалось исчезать бесследно; и все же воспоминание о свершенных деяниях, об их результатах и отголосках блекло и расплывалось, он, упорствуя, требовал от своей памяти сделать усилие, высветить пережитое, повернуть его другой гранью, но разбитый ее юпитер был темен и пуст, и во мраке прошлого лишь слабо маячили силуэты некогда любимых, ныне обратившихся в смутные тени. «А ведь я по ней с ума сходил...— говорил он себе с чем-то вроде презрительного сочувствия к тому влюбленному безумцу, каким был когда-то.— Да нет, вот тут у меня наверняка найдутся другие воспоминания, другие крупные планы, другие символы, ведь то была моя первая любовь, я чуть не умер из-за нее!..» Но — увы! — оказывалось, что склад памяти давно опустел.

Тогда он мысленно возвращался к более недавней любви и... выходил на неведомую туманную дорогу или же перед ним — вот здесь-то четко, во всех подробностях — вставало лицо автомеханика, который чинил им машину,— лицо, виденное какие-нибудь две минуты, но зачем-то заботливо сбереженное этой бессмысленной памятью вместо лица женщины, которую он любил тогда целых два года и которую теперь заслонила фигура хозяина автостанции. А ведь воспоминание об этой любви было еще так свежо! Нет, память-безумица, память-растратчица ни на что путное не годилась, если, конечно, не считать Ванды, его жены, величайшей из кинозвезд, женщины, которая некогда подчинила себе его собственную волю, как нынче подчинила еще и память, послушно выдававшую своему хозяину при одном лишь упоминании ее имени безупречный, великолепный, взятый снизу крупный план этого чувственного и переменчивого лица, где до боли ясно виделись ему ослепительный серп ее улыбки, нежная кожа, смятение в глазах, когда она призналась наконец самой себе, что их любовь отличается от предыдущих мимолетных романов.

Спустя десять минут и еще две бутылки шампанского, насладившись предсказаниями продюсеров по поводу своего фильма — в будущем времени, рассказом немецкого офицера о сражении под Тобруком [1] — в прошедшем времени и, главное, упорным молчанием второго немецкого офицера по поводу Сталинграда — в настоящем времени,

---

[1] Тобрук — портовый город в Ливии, где в 1941—1942 гг. шли кровопролитные бои немцев с англичанами.

Константин фон Мекк отправился выпить с членами съемочной группы; их было двадцать, и, чокаясь с последним, он уже порядком захмелел,— тут-то он и обнаружил исчезновение Мод и, сам себе удивляясь, порешил непременно отыскать ее. Что же это такое с ним творилось? Миг назад, укрывшись в объятиях этой малютки по необходимости — чтобы спрятать свой сумасшедший хохот,— он задержался в них, как ему помнилось, не без удовольствия. С самого начала съемок, когда Мод стала навязываться Константину, она пробудила в нем лишь жалостливую симпатию — чувство, весьма далекое от любовного желания. Сперва она предложила себя как чудесный, нежданный дар, очаровательный сюрприз, но, столкнувшись с удивленным безразличием Константина, обернулась женщиной, сгорающей от страсти, эдакой Федрой, и, наконец, спустилась с этих высот до равной ему современной женщины, заигрывающей просто шутки ради. Константин, доселе поглощенный началом съемок, едва успел среагировать и остановить ее в тот самый момент, когда она уже согласна была сделаться случайной забавой, игрушкой на один вечер. И поскольку его приводила в ужас перспектива унизить женщину, по собственной ли воле или по воле обстоятельств, он решил предвосхитить события и подробно поведал Мод о своей несчастной, отвергнутой, а потому ни с чем не сравнимой страсти к бывшей жене, к Ванде Блессен. Ему, впрочем, не пришлось слишком уж притворяться: он действительно тосковал по ней — по Ванде. Ни одна женщина ей и в подметки не годилась. Конечно, у него был Романо. Да, кстати, а куда подевался Романо? Вечно он где-то пропадал, этот Романо, и никто никогда не знал, где его искать.

То ли дело Майкл — этот всегда был рядом: умница, мягкий, спокойный Майкл, Майкл в своей качалке на террасе, тихонько насвистывающий джазовый мотивчик. Константин всегда боялся, что он вот-вот умрет, и в начале их знакомства таскал его по врачам, чтобы убедиться в нелепости, безосновательности своих опасений. К несчастью, интуиция не обманула его, но для этого понадобилось, чтобы жизнь, как третий лишний, неожиданно, как наглый, лощеный, назойливый лакей, вмешалась в их судьбу и в один прекрасный полдень вышвырнула через дорожное ограждение в ров Майкла, сидевшего в черном автомобиле, который стремительно мчал его в студию. Эта смерть, эта катастрофа под ярким летним солнцем, оказалась тем ужаснее для Константина, что она разрушила не только тело Майкла, но и его образ, его личность и, главное, их общую идиллию, которая с самого зарождения была окрашена в нежные, пастельные тона, такие же блекло-серые, как те качалки на террасе в сумерках, как море под дождем. Кровавая, огненная развязка, окрашенная в дикие цвета трагедии, не имела ровно ничего общего с теплыми и нежными, вюйяровскими[1] тонами их любви.

Да, но теперь речь шла не о Майкле и не о Романо, а о Мод. Наконец Константин разыскал ее в гримерной — горько рыдающую. Он не впервые заставал Мод в слезах, но они впервые испугали его, ибо на сей раз это были настоящие, жгучие слезы, от которых у нее покраснели глаза, вспухло лицо; они обезобразили ее, вот почему Константин понял: Мод постигло настоящее, искреннее горе.

— Что случилось? — спросил он, становясь на колени, так чтобы их лица оказались на одном уровне.— Мод, да что же стряслось? — повторил он уже обеспокоенно, ибо увидел в ее глазах огоньки гнева — чувства, на которое он считал ее абсолютно неспособной.

— Дюше!..— прорыдала Мод, уронив голову на плечо Константину — на сей раз без всяких двусмысленных поползновений.— Дюше и Пети... они их увели, эти негодяи,— еле выговорила она, давясь слезами.

Константин замер в полном изумлении; наконец, до него дошло, что она говорит о Швобе и Вайле.

---

[1] Эдуар-Жан Вюйяр (1868—1940) — французский художник, график и декоратор, чьи произведения отличаются мягкими пастельными тонами.

— Но почему? — тупо спросил он.— Почему?..

— Потому что они евреи! — яростно крикнула ему в лицо Мод.— А вы будто не знали?

В ее голосе звенело презрение, вызвавшее у Константина, в ком тайно дремал актер, сардоническую усмешку, достойную немого кино,— усмешку, которой, впрочем, он тут же устыдился.

— Да нет, конечно, знал, Мод,— ответил он,— тем более что это именно я раздобыл им фальшивые документы. Но как это их вообще посмели тронуть без моего ведома?

— Они только-только успели выпить шампанского! — простонала Мод.— Теперь они пропали! У меня был один приятель, тоже еврей, немцы увезли его...— Тут она опять начала судорожно всхлипывать.— И никто из них не возвращается назад... никогда! За два года ни один не вернулся. Вот увидите...

— Да, верно,— отозвался Константин.— Сейчас пойду узнаю.

И он быстро зашагал по коридору. Он шел в обратном направлении, от гримерных к съемочной площадке, и его сапоги, старые ковбойские сапоги звонко цокали подковками по цементному полу. Но еще долго после первого поворота коридора до него доносились отдаленные рыдания, горестные всхлипы Мод, которые, один Бог знает почему, напомнили ему пронзительные вскрики ласточек в деревенских сумерках, когда они стрелой проносятся над полями и домами — так низко, словно смертельно боятся спускающейся тьмы.

Когда Константин уходил со съемочной площадки, там кипело веселое возбуждение; вернулся он в мрачную тишину. Звук его приближающихся шагов слегка встревожил присутствующих; их торопливая ярость заставила людей постепенно, одного за другим умолкнуть, и молчание это стало поистине гробовым, когда он показался в дверях павильона: огромный, залитый резким светом юпитера, чьи отблески плясали в зеркале, на волосах Константина, в его бешеных, гневных глазах, на всей фигуре, устремленной вперед в юношеском порыве, столь же неукротимом теперь, в сорок два года, как и двадцать лет назад. По странной прихоти случая гнев его обрушился именно на Попеску, который, опьянев от похвал гестаповцев, а затем и представителей УФА, и трепеща от пережитых волнений, поспешил к нему навстречу. Константин грубо схватил его за галстук:

— Где они? Почему их увезли без моего ведома?

— Но... о ком вы?

— Я говорю о Дюше и Пети,— яростно выкрикнул Константин ему в лицо.— Куда их дели? Почему меня не предупредили?

— Но, господин фон Мекк,— заверещал Попеску вырываясь,— вам же еще неизвестно, что вас обманули! У этих двоих были фальшивые документы, на самом деле они...

От злости Константин едва не оторвал Попеску ворот.

— Они евреи, и мне это известно. Тем более что я сам снабдил их липовыми документами, лишь бы они могли спокойно работать со мной, ясно вам?

Попеску даже подпрыгнул от ужаса:

— Это вы достали им фальшивые бумаги? Боже вас упаси, господин фон Мекк, говорить такое вслух! Вас же арестуют. Вы же...

— Идиот! — крикнул Константин и безжалостно шваркнул Попеску об стену; тот рухнул наземь и, с трудом поднявшись на четвереньки, замер, не решаясь встать: он чуть было не проболтался о своем участии в случившемся, чуть было не стал оправдывать этот арест и теперь, испугавшись задним числом, ясно понял, что Константин способен убить его за содеянное. Он увидел это по его глазам: перед ним стоял не человек, а бешеный зверь, грубый мужик — ну что взять с полурусского! Попеску облегченно вздохнул, но тут же со страхом увидел, что Константин направляется к немецким офицерам и продюсерам, застывшим в некотором смущении чуть поодаль, в то время как съемочная группа,

отступив от них и робко перешептываясь, сгрудилась на другом конце площадки.— У меня забрали двух человек! — выкрикнул Константин в лицо этим четырем людям, самый рослый из которых — немецкий офицер — едва доставал ему до плеча.— У меня забрали двоих, моего лучшего декоратора и моего лучшего электрика, только потому, что они якобы евреи! Я требую, чтобы мне их вернули! Иначе я не сниму больше ни единого фильма — ни для УФА, ни для кого другого, ясно вам?

— Но послушайте...— начал французский продюсер,— послушайте, господин фон Мекк! У нас же была договоренность — и вы о ней наверняка знали — не брать на работу представителей семитской расы...

— Мне плевать на ваши договоренности,— высокомерно отрезал Константин.— В первый раз слышу, что французы способны на подобные гадости!

— Ну хорошо, предположим, это условия немецкой стороны,— вмешался продюсер УФА, как всегда, с легкой, довольной, таящейся в углу рта усмешкой, которую обычно скрывала толстая сигара, добавляющая ему сходства с известной карикатурой на его корпорацию.

Константин обернулся к нему:

— Господин Плеффер, вы, кажется, ученый, не так ли? Стало быть, вам довелось слышать о теории эволюции Дарвина, согласно которой человек происходит от обезьяны,— эта теория, насколько мне известно, давно признана во всем мире. Но, я надеюсь, вам никогда до сих пор не приходилось слышать о «еврейских обезьянах»? Так вот, не будете ли вы настолько любезны употребить власть и вызволить из-под ареста этих двух потомков обезьян — моего электрика и моего декоратора? Вызволить и привезти их сюда, вот на эту площадку, пока я не послал вашу УФА ко всем чертям! И поторопитесь, старина!..

И Константин фон Мекк нарочито театральным жестом великого режиссера указал обоим продюсерам с их свитой на телефоны. Лишь один из них не двинулся с места, словно не слышал приказа,— капитан, прибывший из-под Сталинграда, грустный, усталый человек с отрешенным лицом.

— А вы,— спросил Константин,— вы не пользуетесь влиянием в гестапо или в СС?

— Нет,— ответил офицер ровным невыразительным голосом, который неизвестно почему успокоил Константина.— Нет, я до сих пор служил в вермахте.

Константин смерил его взглядом, но в облике этого человека — в каждом его движении, в каждой черте лица — сквозила такая бесконечная и явная усталость, что с ним невозможно было говорить тем тоном, каким Константин сейчас командовал остальными.

— Господин фон Мекк,— сказал офицер неожиданно мягко,— вы, по-моему, слишком нервничаете... или слишком многого не знаете...

Константин несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь прийти в себя.

— Можете вы мне наконец объяснить, почему немецкий народ ополчился против евреев? — спросил он тоном, который и ему самому показался детским.— Что же это творится кругом?

Голос офицера, прозвучавший в ответ, был бесстрастен и почти поучительски назидателен:

— А творится то, господин фон Мекк, что, когда мы захотели избежать Версальского договора 1919 года, уничтожавшего Германию, нам понадобилась поддержка денежных тузов и прессы. Так вот, и деньги и пресса, насколько вы знаете, находились в руках евреев.

— В том числе и немецких евреев, как я полагаю,— заметил Константин,— и некоторые из них погибли под Верденом, не так ли?

— Вполне возможно,— ответил капитан,— но то были немецкие евреи, чьи собратья работали в Лондоне, Милане или Нью-Йорке. И вам известно, что их банкирские семьи рассеяны по всему свету, а это препятствовало укреплению истинного патриотизма, абсолютного и полного, в каком нуждалась Германия. И пресса попала в те же руки, уж

поверьте, господин фон Мекк. Вы, надеюсь, согласитесь, что мы не могли оставить бразды правления страной людям, которые являются — возможно, по вине истории, из-за давнишних кровавых погромов — по сути своей не патриотами, а космополитами.

Константин не отрываясь смотрел на офицера; он тщетно пытался закурить сигарету: руки у него тряслись от раздражения.

— Ну и что? — спросил он.— Разве это причина для того, чтобы арестовывать заодно и лавочников, парикмахеров, красильщиков?

— Мы не могли издавать законы, касающиеся исключительно богатых евреев,— сказал капитан все так же бесстрастно,— не могли! Это противоречило бы нашему принципу всеобщего равенства.

Он даже не улыбнулся при этих словах, он просто излагал материал. Константин сделал последнее усилие:

— Но скажите... скажите наконец, что же это сталось с вашими — с «нашими» — принципами, если они приводят к таким зверствам?

Воцарилось молчание. Капитан слегка постукивал каблуком левого сапога о правый. На шее у него багровел страшный шрам, совсем свежий,— Константин увидел его, когда капитан повернулся к собеседнику.

— Видите ли, господин фон Мекк,— снова заговорил капитан,— мы лишились одного поколения между побежденными в первой мировой войне и их детьми тридцать девятого года, между озлоблением и яростью; мы лишились мира — поколения, которое хотело бы мира. Германия прямо перешла от воспоминания о войне к жажде следующей войны. Тогда царили нищета и озлобление, а сразу же вслед за ними возникло новое, дрессированное поколение, созданное, чтобы воевать,— и это дало нам самую прекрасную армию в мире, самую мощную и непобедимую. По крайней мере мы так считаем,— вдруг пробормотал он как бы про себя. Вслед за чем прекратил сложные маневры ногами и, оставив Константина в полном недоумении, вышел из студии.

Две минуты спустя вернулся продюсер, успокоенный, даже обрадованный, и заверил Константина, что завтра же все будет улажено, что он переговорил с нужными людьми и что к концу недели столь необходимые режиссеру ассистенты будут ему возвращены. Константин поднял крик, требуя, чтобы их доставили к нему завтра же, и продюсер тут же пообещал и это, даже поклялся, что завтра обоих привезут прямо к нему в отель. Но обещание было дано с такой подозрительной любезностью и готовностью, что встревоженный Константин решил обратиться куда-нибудь повыше. Нужно поговорить с генералом Бременом — Геббельс рекомендовал ему сделать это в случае каких-либо затруднений; а генерал Бремен именно сегодня ужинал, как всегда по понедельникам, у Бубу Браганс, старинной приятельницы Константина.

Элизабет Браганс, или Бубу — так называли ее ближайшие друзья,— была хозяйкой самого блестящего из парижских салонов еще лет пятнадцать тому назад, задолго до начала войны,— таковым он оставался и по сей день. Завсегдатаями его были все видные коллаборационисты [1] и сливки вермахта. Взглянув на часы, Константин сообразил, что еще успеет вернуться в отель, принять ванну, переодеться и вовремя явиться в особняк на Анжуйской набережной. Но перед уходом он забежал в гримерную и, схватив за руку Мод, потащил ее за собой.

— Пошли! — командовал он на ходу.— Быстренько наведите красоту и бежим в «изячный» салон мадам Браганс умолять одного всемогущего генерала о помиловании наших друзей. Я беру вас с собой, Мод, деточка!

И Мод, которая читала о роскошных апартаментах на Анжуйской набережной (не говоря уж о фотографиях чуть ли не в полусотне газет и журналов, правда, не в таких, как «Синемондьяль», скорее — в «Комедии»), пришла в восторг. Посещать тамошние приемы, как внушали ей и мать и импресарио, считалось еще шикарнее, чем ужинать «У Мак-

---

[1] Так во Франции называли людей, сотрудничавших с немецкими оккупантами.

сима». Печаль ее на мгновение улетучилась. А ведь именно из-за этой печали Константин и брал ее с собой. Ему очень хотелось напиться нынче вечером, и, зная себя, он боялся, как бы хмель не заглушил голос долга, как бы вино не заставило его забыть о крови, которая могла пролиться; он брал в спутники Мод, как берут с собою совесть,— так Пиноккио не расставался со Сверчком [1]; поистине, злосчастной Мод впервые приходилось играть подобную роль. Тем не менее, сидя в машине (Константин вел ее сам и не зажигал света), она вдруг повернулась к нему, и глаза ее блеснули любопытством.

— Знаете, Константин, вся наша группа ломает себе голову над такой загадкой: когда вы жили в Голливуде, вы ведь пользовались сумасшедшим успехом! Так почему же вы бросили студию, ваших кинозвезд, вообще все и вернулись снимать в Германию? Ведь вы же стопроцентный американец, разве нет?

— О, это долгая история, деточка. Я приехал в Германию в 1937 году, полный отвращения ко всему, и в первую очередь к самому себе. Американская пресса писала обо мне всякие гадости; жена, как я вам уже говорил, отвергла меня; отвернулись и друзья; в кармане не было ни гроша,— словом, я плюхнулся с небес в грязь — и все потому, что вздумал сделать мало-мальски серьезный фильм. Америка — это страна денег, Мод! И людей, которые забывают об этом, жестоко наказывают...

Благородная печаль, звучавшая в голосе Константина, на какой-то миг убедила даже его самого и, уж конечно, произвела потрясающее впечатление на Мод: ее глаза опять наполнились слезами.

— Бедненький мой Константин,— прошептала она,— расскажите мне... расскажите хоть что-нибудь. Может, вам от этого станет легче.

Константин фон Мекк пожал плечами.

— Почему бы и нет? Все произошло, когда я приехал из Мексики. Так вот, когда я вернулся в Лос-Анджелес...

Глава II

Константин, в ярости покинувший студию и увлекший за собой Мод Мериваль как грустное напоминание о долге, конечно, ошибся. Мод, которая уже была наэлектризована бурным концом съемок великосветской сцены, окончательно впала в экстаз при упоминании изысканнейшего салона Бетти Браганс — салона, регулярно поминаемого в газетной светской хронике. Она тут же осушила слезы умиления, возмущения и жалости, вызванные рассказом Константина, и спрятала уже ненужный носовой платочек.

— А вы близко с ней знакомы? — жадно выспрашивала она.— Говорят, у нее там потрясающе!

Потом, испугавшись, что это сочтут за восторги мещаночки, торопливо добавила: «Потрясающе, конечно, для снобов!» Слово «сноб» звучало для Мод столь же лестно, сколь и туманно. Константин неопределенно тряхнул головой, и они поехали к Мод, чтобы она смогла переодеться.

Мод побила все рекорды скорости, нарядившись и накрасившись меньше чем за три четверти часа; затем она поехала с Константином в его отель «Лютеция», где он, движимый скорее запоздалым гневом, нежели желанием, занялся с ней любовью, ухитрившись притом не помять ей платье, что показалось бедняжке Мод верхом галантности. Поэтому, когда он попросил было прощения за свой бурный порыв, Мод с сияющими от восторга глазами тут же прервала его:

— Ах, я так долго ждала этого мига!

— Я вас не слишком разочаровал?

---

[1] Герой написанного для подростков романа Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» (1880).

— Меня... разочаровали?! Да неужто я выгляжу разочарованной?!

И Мод рассмеялась томным смехом, на который не последовало ответа.

Особняк Бубу Браганс на острове Ситэ ночью выглядел темным кубом в окружении чуть более светлой воды. Подъезд был виден издалека благодаря паре высоченных канделябров, в которых горело по гигантской свече; другие, еще более роскошные канделябры обрамляли длинную лестницу — пламя свечей отбрасывало на широкие, плоские ступени причудливые черные арабески теней от великолепных кованых перил. И Константин увидел во взгляде Мод, вцепившейся в его локоть, восхищение и испуг Золушки, попавшей в королевский дворец,— увидел и невольно умилился...

— Константин, вы не знаете, где тут можно причесаться? — прошептала Мод. Константин указал ей на нужную дверь, пообещав подождать в вестибюле.

Он стоял, разглядывая гостей, потоком вливавшихся в гостиную, как вдруг из глубины бального зала на него налетел ураган. То была хозяйка дома Бубу Браганс собственной персоной; еще миг назад она льнула в танце к оробелому и скованному кавалеру и вдруг безжалостно бросила его прямо посреди толпы, чтобы кинуться к Константину.

— Константин! Да это же Константин! — воззвала она, перед тем как цепко, наподобие лассо, обвить руками талию своего друга. Откинув голову, она озирала его своими круглыми блестящими глазками хищной птицы.— Константин, скажи мне сразу: ты уже развелся, ты наконец свободен?

— А ты,— откликнулся ласково Константин,— ты скажи мне сразу: генерал Бремен здесь?

— Я первая спросила! — с жаром возразила Бубу Браганс.— Сперва ответь ты!

Константин рассмеялся: вращаясь всю жизнь в высшем обществе, Бубу ухитрилась сохранить дерзкие замашки школьницы.

— Ладно, отвечаю: я свободен, но пришел не один.

— Тогда и я тебе отвечу,— сказала Бубу,— генерал Бремен здесь, но он тоже пришел не один, его осаждают со всех сторон.

И они оба рассмеялись.

— У нас с тобой, как видно, разные устремления,— констатировала Бубу Браганс.— Да и странно, если бы было иначе. Ну ты и проказник! — воскликнула она, пытаясь дружески хлопнуть Константина по спине, но не достав своей коротенькой ручкой даже до лопаток, ткнула его вместо этого в солнечное сплетение, получив в ответ зверский взгляд своего обожаемого друга.

Одетая, а вернее, туго запеленутая в черное атласное платье от Пакэна, несомненно считавшееся шедевром в 1935 году, Бетти Браганс удивительно напоминала кругленький бочонок на двух подпорках. Но это был бочонок, полный золота и могущества; никому и в голову не пришло бы посмеиваться над ней, такой почтительный страх внушала она окружающим. Ее первым мужем был один из совладельцев сталелитейного концерна «Дюваль»; он умер еще молодым, перед тем завещав ей все свои капиталы; затем она вышла замуж за Луи Браганса, безвестного писателишку, также довольно скоро канувшего в небытие,— этот оставил ей в наследство сомнительный салон, из которого она сотворила самый престижный салон в Париже. В нем-то она и царила вот уже два десятка лет, и люди не знали, чему больше дивиться: то ли безраздельному влиянию Бубу, то ли ее сказочному богатству, то ли уму и проницательности. Бетти Браганс и в самом деле была далеко не глупа и обладала безошибочным чутьем на моду и на тех, кто должен был войти в моду — даже сейчас, при оккупации.

Она постепенно разработала целую серию очаровательных фраз-недомолвок, весьма убедительных именно в силу своей туманности. Например, таких: «Моя фамилия Браганс, но я не ставлю перед ней частичку «де»». Это было чистой правдой, но как бы подразумевало, что она имеет право на упомянутое «де»,— и это уже была ложь. Или она заявляла: «Должна честно признаться, мне давно уже за сорок»,— что было более чем правдой, поскольку ей уже стукнуло шестьдесят, но позволяло самым наивным из слушателей думать, будто ей под пятьдесят. И все же, какова бы ни была Бубу, она полновластно царила в Париже и его салонах, командуя интеллектуалами, газетчиками, политическими деятелями, к чьему бы лагерю они ни принадлежали.

При этом за два года оккупации в доме Бубу никто не видел немецких мундиров. По ее требованию все гости, что военные, что штатские, обязаны были являться во фраках или прочей гражданской одежде. Поэтому в салоне Бубу можно было встретить немецких офицеров в смокингах — лощеных, прекрасно воспитанных людей, и явно не все они были фанатично преданы Гитлеру. Однако, если кто-нибудь из них все же выказывал свое обожание фюреру чересчур шумно, Бубу Браганс тут же подавляла выскочку своим незыблемым хладнокровием и авторитетом хозяйки дома. «Ш-ш-ш! У меня о политике не говорят!» — бросала она нежнейшим голоском, со снисходительной усмешкой, словно Гитлер был всего лишь претендентом на пост мэра в какой-нибудь деревушке. Потом, взяв провинившегося под руку, она уводила его в свой будуар и цинично приступалась к нему со столь недвусмысленными авансами, что нацист быстренько приходил в себя. То была одна из граней могущества Бубу: она пускала в ход всю себя, вплоть до физических недостатков; более того, ей даже нравилось откровенно и беззастенчиво расписывать эти недостатки красивым молодым людям, коль скоро она заключала, что кого-то из них можно купить. Вот уже десять лет, как Бубу Браганс открыла для себя — и весьма охотно практиковала — этот новый вид сладострастия: низкое удовольствие бесстыдно и неторопливо демонстрировать свою непристойно-жирную, обвислую, отвратительную наготу испуганным юношам, которые поспешно натягивали на себя шелковые покрывала ее ложа и скрывали иронический или ненавидящий взгляд под длинными — всегда слишком длинными ресницами.

— Бубу,— сказал Константин без дальнейших околичностей,— я привел к тебе свою актрису Мод Мериваль. Ей, конечно, далеко до Эйнштейна, но в своем роде она прелесть. Не обижай ее!

И он умолк, ибо в дверях туалетной появилась Мод, счастливая и возбужденная.

— Ты подумай, там ванная вся из мрамора и хрусталя! — воскликнула она, обращаясь к Константину и еще не уразумев, что находящийся рядом жирный бочонок с хищными глазками и есть хозяйка дома. А поняв это, так и застыла на месте, испуганно приоткрыв хорошенький вишневый ротик. Бетти Браганс бросила на Константина дружески-свирепый взгляд, словно говоря: «Браво, браво, мой милый! Девочка хороша — глупа, конечно, как пробка, но хороша!» И Бубу пожала плечами, что означало: «Ишь ты, «не обижай ее»! Чего ты боишься? Что я наброшусь на эту беззащитную овечку? С ума сошел!» После чего — воплощение материнской доброты и гостеприимства — сжала пухлыми пальчиками обе руки Мод.

— Ну конечно! — провозгласила она трубным голосом хозяйки дома, в высшей степени приветливым голосом, ясно дающим понять всем окружающим, что Мод — новенькая здесь и находится под ее покровительством.— Ну конечно! Мы уже так давно слышим о ней! Мы уже так давно ждем, когда же этот противный Константин перестанет прятать ее от нас!.. Ах, какой чудный сюрприз она сделала нам, какой приятный сюрприз! Мы сейчас выпьем за ее здоровье! — добавила она, обращаясь к гостям, заполнившим ближайший салон, и те охотно устре-

мились к ней.— Дорогие друзья! Вот вам наш сюрприз: Мод Мериваль!

Поднялся восхищенный гул, и Константин увидел, что шею и щеки Мод залил румянец смущения, а сияющая Бетти — само благодушие, сама щедрость! — впилась в него глазами, ища ответного одобрения...

Бремен оказался меланхоличного вида старцем с лицом, испещренным мелкими морщинками; правда, живой взгляд и беспокойные руки слегка молодили его. По первому впечатлению он больше походил на персонажей оперетт Иоганна Штрауса, нежели на гитлеровского бонзу. Его сухое хихиканье, странная манера по-птичьи вертеть головой и потирать ладошки почему-то воскресили в памяти Константина героиню одной из венских опереток. Бремен знáком пригласил его сесть рядом на широкий диван, где восседал сам среди сонма юных арийцев в смокингах, подобострастно склонившихся к своему повелителю; гигантский рост Константина явно подействовал им на нервы, и они один за другим удалились с оскорбленным видом. Константин уселся напротив генерала и встретил его взгляд, в котором сквозили симпатия и любопытство — главным образом любопытство.

— Итак, господин фон Мекк, вот и вы наконец пожаловали к нам... Но вы нигде не бываете! Наша милая Бубу жалуется на это, и я ее вполне понимаю,— проговорил генерал с легкой приветливой улыбочкой, которая слегка сбила с толку Константина.

— Я никуда не хожу, когда работаю,— ответил он,— съемки фильма, знаете ли, штука утомительная...

— Ах, какой вы счастливый человек! — перебил Бремен, не слушая Константина.— Жить среди нарисованных декораций, в иллюзорном мире, не видеть реальной жизни и ее ужасов... Война — это же кошмар! — воскликнул он с такой театральной убежденностью, что его слова прозвучали просто комично.

— Да, разумеется,— с силой сказал Константин,— впрочем, именно по этому поводу я и хотел поговорить с вами, генерал. Мне...

Но генерал Бремен по-прежнему не желал его слушать:

— Видите ли, господин фон Мекк, война ужасна для человека, не только оттого, что накладывает на него ответственность, но еще и потому, что заставляет его бояться, если он одарен воображением; война особенно ужасна для человека ночью, до и после сражения; одиночество — единственная спутница солдата, вот так-то! Да, именно одиночество,— повторил он, нахмурив брови, и, деревянно выпрямившись, хлопнул ладонью по колену, словно пытался вколотить в него эту банальную истину, которой, по мнению Константина, действительно место было скорее в колене, чем в голове. Бедняга явно выжил из ума.

Константин решил предпринять обходной маневр и пуститься в общие рассуждения:

— Одиночество, увы, существует на всех уровнях, генерал. Режиссер также страдает от него; мне так тяжело вдали от повседневной жизни, от друзей, от моего окружения и...

— Да, верно! — внезапно воскликнул Бремен.— Вы ведь тоже женаты! Ужасно, не правда ли? Оставить где-то вдали семейный очаг!.. Моя жена, мои дети, мои дети, моя жена — я непрестанно думаю о них — только не в часы работы, разумеется,— добавил он с сумрачной гордостью. И обеспокоенный Константин спросил себя: неужели нацизм делает всех без исключения дебилами? Он поискал глазами Бубу Браганс, но та была далеко, она порхала среди гостей, словно пчелка, усердно собирая сомнительный мед их болтовни.

— Лично я разведен,— равнодушно ответил он.

— Разведены? Какая ужасная ошибка! — генерал был шокирован.— Развод — это же профанация! Как можно покинуть свою жену?! Как можно развестись с женщиной, с которой поклялся не расставаться до самой смерти?!

— Увы! — прошептал Константин, не зная, что еще сказать.— Увы! Трижды увы! — выкрикнул он громогласно. Его уже тошнило от этой

развалины, разукрашенной железными побрякушками, военными крестами и нашивками (а в передней этого вояку еще небось дожидается традиционный стэк). Генерал бросил на Константина взор, в котором наконец промелькнула озабоченность.

— Наша милая Бубу сказала, что вы хотели о чем-то переговорить со мной? — спросил он.— Могу ли я узнать, о чем речь?

— Речь идет о двух моих друзьях,— ответил Константин,— о моих декораторе и электрике, которых гестапо арестовало сегодня днем под тем предлогом, что они евреи; я хотел просить, чтобы их освободили.

Наступило молчание. Бремен заботливо массировал нос сверху вниз, потом рука его замерла на уровне ноздри; вид у него был крайне заинтересованный.

— А они и в самом деле?..— спросил он.

— Что в самом деле? — осведомился Константин.— Вы хотите знать, евреи ли они?

— Да.

— Ну конечно,— ответил удивленный Константин.— Конечно, в самом деле. Я ведь сказал: евреи — не мазохисты же они!

— Хорошо,— откликнулся генерал,— хорошо! То есть, что я говорю — «хорошо»... я бы предпочел, чтобы они евреями не были, для положительного решения вашего дела.

— Но в таком случае их бы и не арестовали,— возразил Константин, на сей раз следуя логике.— Я вас не совсем понимаю, генерал.

Бремен залился тихим смехом, хитро прищурясь и грозя пальчиком; нет, ему было не больше пятидесяти пяти, максимум шестьдесят, и не годы — что-то другое старило это лицо.

— Гестапо иногда случается совершать ошибки «сознательно», дорогой друг, так сказать, «с умыслом». Я сам видел одного молодого человека, называющего себя ни больше ни меньше — Шнейдером; его посадили в Дранси[1] как еврея... Так вот, евреем он не был! Шнейдер, подумать только! А? Как вам кажется: «Шнейдер» звучит по-еврейски?

Константин отчаялся: слабоумие, дряхлость и эпилепсия всегда внушали ему страх.

— Шнейдер,— повторил он машинально.— Шнейдер... Не знаю. Мне лично трудно отличить еврейское от нееврейского. Что вообще означает расизм?

— Ну так вот, мой бедный друг,— сказал посмеиваясь генерал,— расизм означает, что вы увидите своих друзей не ранее чем через несколько месяцев или уж во всяком случае через несколько недель: пока Германия — наша великая Германия — окончательно не выиграет войну.

Константин удержался от замечания, что «их» Германии это как будто не грозит; он принялся настаивать на своем:

— И вы думаете, что я их вскоре увижу опять? Каковы, собственно, планы третьего рейха относительно евреев? И прежде всего где они? Их увозят куда-то целыми эшелонами, и никто никогда не возвращается — это начинает пугать людей.

Бремен торжественно выпрямился на своем диване, в результате чего его макушка оказалась на уровне подбородка Константина. Он вновь воздел палец, но на сей раз направил его, как пистолет, на собеседника.

— Как это?! — строго вопросил он.— Как это «никто никогда не возвращается»?! Вас это пугает, господин фон Мекк? Могу сообщить вам, что мы увозим не только евреев-мужчин! Мы увозим также еврейских женщин и детей! Мы увозим даже еврейских грудных младенцев! И что же, по-вашему, мы с ними делаем? Неужто вы, господин фон Мекк, считаете немцев, наших соотечественников, способными на негу-

---

[1] Концлагерь для евреев на территории Франции.

манные поступки? Неужто считаете германскую армию бандой садистов?

К счастью для Константина, голос Бремена, поднимаясь до визга, одновременно слабел, в то время как лицо его багровело от возбуждения. Генерал продолжил:

— И вы полагаете, что мы допустили бы это — мы, офицеры третьего рейха? Мы, герои Эссена, Иены или Элендорфа?

— Нет, нет, конечно! — успокаивал его пораженный Константин.— Я уверен, что нет. Но ведь дело в том, что немецкая армия состоит не только из вермахта, в нее входит еще и СС. И я лично очень опасаюсь этих молодых людей.

— Я с 1942 года командую частями СС во Франции. Так же, как и гестаповцами. Вся политическая полиция работает под моим началом,— сказал Бремен таким тоном, будто хвастался, что у него дома есть персидский кот. Он вдруг словно упал с высоты своего величия: сгорбился, осел на диване, устремив куда-то невидящий взгляд, уронив руки между колен, и снова стал похож на слабоумного старичка, и еще — подумал Константин в мгновенном прозрении — у него вид смертельно напуганного человека. Напуганного кем? Или — чем? Как знать?.. Но Константин вдруг во внезапном порыве жалости, удивившем его самого, положил руку на рукав генерала.

— Генерал,— спросил он тихо,— вам нехорошо? Я могу чем-нибудь помочь?

Бремен слегка приосанился, попытался снова воинственно сверкнуть глазами, но только поморгал и, отвернувшись от Константина, почти прошептал:

— Нет, господин фон Мекк, вы ничем не можете помочь. Как и я не могу помочь вашим друзьям. А впрочем... Обратитесь к моему адъютанту,— добавил он, помахивая аристократической рукой,— тем самым как бы отпуская Константина и одновременно указывая ему на вялого молодого человека с невыразительным лицом, который, стоя в сторонке, хладнокровно поглощал эрзац-пирожное.

Бремен повторил свой не слишком учтивый, а скорее усталый жест трижды. Растерянный Константин наведался к буфету, чтобы приложиться к бутылке с водкой (за которой бдительно следил все время беседы с генералом и которую теперь прикончил в два счета); это помогло ему в конце концов счесть адъютанта весьма симпатичным парнем и даже полностью поверить в обещание все уладить: Бремен, по его словам, имел для этого все необходимые полномочия, да и сам он почел бы за счастье освободить обоих друзей Константина (он тут же занес имена в блокнотик) и привезти их к нему в отель «Лютеция». На последнем адъютант настоял особо.

Вот таким-то образом, невзирая на всю фантастичность подобного обещания, Константин и уверил себя, что ему завтра же вернут Швоба и Вайля. Рассудок его иногда вступал в противоречие с оптимизмом, но и оптимизм временами затмевал проницательность. Неужто он действительно уверовал в то, что вопреки безжалостным — и безжалостно соблюдаемым — законам третьего рейха, вопреки безжалостной роли гестапо два его еврея, арестованные с фальшивыми документами, когда-нибудь вернутся к нему?! И тем не менее он в этом даже не усомнился. Во-первых, потому, что желал их возвращения, а его желания почти всегда исполнялись; во-вторых, потому, что даже если он не верил в могущество своего имени — имени знаменитейшего режиссера, то был убежден в своем чисто человеческом везении. Итак, Константин беспечно напился в этот вечер, отмахиваясь от плаксивых, сентиментальных увещеваний бедной Мод, безуспешно пытавшейся увести его домой. И, наконец, мертвецки пьяный и умиротворенный, он очутился на кровати у себя в номере...

1939
Берлин

Хотя апрель только-только вступил в свои права, Берлин нынче купался в теплом полуденном солнечном воздухе преждевременно нагрянувшего лета, достаточно, впрочем, мягкого, чтобы город продолжал жить в обычном ритме: на улицах по-прежнему царило лихорадочное напряжение, похоже, никак не зависевшее от времени года.

Сидя за рулем великолепного черного «дуизенберга» с откидным верхом (подарок Геббельса по случаю возвращения в Германию, за который нужно будет позже поблагодарить), Константин фон Мекк ехал по улицам города и невольно улыбался: уж больно опереточный вид был у этого чересчур воинственного Берлина. Пятнадцать лет режиссерской работы в Голливуде сразу позволили ему подметить некоторый перебор в декорациях и постановке спектакля третьего рейха: слишком много солдат, слишком много знамен, слишком много приветствий! А какое изобилие свастик, монументов и воинственного пыла! Константин посмеивался надо всей этой безвкусицей.

Только нынешним утром прибывший самолетом на аэродром Темпельхоф, еще оглушенный Грецией, ее неистовым солнцем, Константин чувствовал себя счастливым, измотанным и довольным, несмотря на газетные статьи, комментировавшие его отъезд из Штатов: он прочел их лишь теперь, полгода спустя, ибо не успел он ступить на землю Германии, как УФА тут же отправила его в Грецию, на остров Гидра, подальше от всякой цивилизации, писать сценарий «Медеи» и снимать по нему фильм — великолепный, потрясающий фильм, который он сам же потом смонтировал в Афинах, и фильм с триумфом прошел по всей Европе, прежде чем удостоиться успеха в Америке. Константин ощущал радостный подъем, несмотря на смутное впечатление экзотичности, возникавшее у него при виде любой иностранной столицы, хотя какая же она иностранная — он находился на родине, среди соотечественников, говоривших на языке его детства, и сердился на себя за это неосознанное снисходительное любопытство туриста, куда более сильное, чем в Париже или в Нью-Йорке. Но если забыть об этих патриотических изысках, такой Берлин был гораздо более приемлем для Константина, чем тот, который он видел здесь в свой предыдущий короткий приезд: нищих людей тогда, в 1921 году, уныло бродивших среди развалин, сменила солидная, хорошо одетая толпа, возбужденно — на взгляд Константина, слишком возбужденно — спешившая куда-то по улицам. Казалось, в Берлине больше нет места лениво фланирующим зевакам, женщинам, любующимся заманчивыми витринами. Эта толпа состояла словно бы из одних солдат и офицеров да их матерей, жен и отпрысков.

Разумеется, Германия воевала или собиралась воевать, но демонстрировала это чересчур явно — во всем, вплоть до отеля, где он остановился, старинного отеля «Кампески»: горничные, вместо того чтобы приветливо поболтать с постояльцем, как во всех гостиницах мира, или восхищенными (в данном случае вполне уместными) возгласами оценить его роскошный гардероб, молча, безо всяких комментариев развесили его костюмы в шкафу, будто расторопные и покорные денщики. О нет, невеселая это была страна — воюющая Германия! Ну да ладно! В конце концов, он же не развлекаться сюда приехал... Но вот только что, когда Константин направлялся к министерству информации и притормозил на перекрестке, какая-то женщина, увидев в открытой машине рыжего великана, взглянула в его зеленые глаза и вдруг невольно ответила ему улыбкой на улыбку, чем и вернула Константину фон Мекку вкус к жизни и патриотическую гордость.

Весело насвистывая, он въехал во двор министерства пропаганды, где его пропуск, подписанный лично Геббельсом, позволил ему насладиться целым десятком воинственных, шумных приветствий часовых —

они выбрасывали руку вверх и щелкали каблуками. Но эта глупая солдатня, пресыщенная своими танками и вездеходами, даже не удостоила взглядом огромные фары, удлиненные борта, изящный абрис, всю породистую красоту его великолепной машины! Рядом мгновенно возник офицер, он открыл дверцу, также не забыв отдать знаменитое военное приветствие и вдобавок сопроводив его громовым «Хайль Гитлер!», на что Константин ответил намеренно жеманным помахиванием кисти — явно издевательским жестом, который, однако, ничуть не смутил бесстрастного провожатого. Зато тот испуганно вздрогнул миг спустя, когда почти двухметровый гигант — косая сажень в плечах — вышел из машины: костюм-тройка Константина, классического стиля и безупречного покроя, был сшит не больше, не меньше как из рыжего вельвета — даже не коричневого, а именно рыжего.

— Этот цвет называется «сиена»,— разъяснил Константин с очаровательной улыбкой.— Костюм мне сшили в Беверли-Хиллз, у «Квикерз тейлорс». Did you have to wait long? [1] — учтиво осведомился он, но тут же хлопнул себя по лбу и огорченно извинился на чистейшем немецком: — Ах, извините Бога ради! Мне давно пора расстаться с привычкой говорить по-английски, не то кончится тем, что меня расстреляют! Как поживаете, господин фон Брик? Лейтенант фон Брик... так, кажется?

Это был тот самый адъютант Геббельса, который десять месяцев назад встречал Константина на аэродроме Темпельхоф и потом весьма почтительно сопроводил его к самолету, отбывавшему в Афины. И ему же, без всякого сомнения, поручено было наблюдать за Константином и разведать, почему этот блестящий известнейший режиссер, имевший и огромный успех, и все мыслимые блага в Америке, вдруг возымел нелепое желание покинуть свою вторую родину, вернуться в Германию и снимать фильмы для нацистов, бросив тем самым вызов своей обожаемой Европе и приняв те принципы и этику, которые были противны всем его предыдущим убеждениям, всему его творчеству. Итак, невзирая на безупречное воспитание, фон Брик не удержался и вздрогнул при виде огненно-рыжего Константина: прошла целая минута, прежде чем он заговорил с обычным спокойствием.

— Господин фон Мекк,— сказал он,— господин министр Геббельс ждет вас в своем кабинете. Будьте добры следовать за мной.

— С удовольствием, дорогой мой, с удовольствием! — воскликнул Константин и, подпрыгнув на месте, чтобы размять ноги, под испуганными взглядами солдат и часовых зашагал за своим провожатым. Их путь растянулся чуть ли не на километры по бесконечным мраморным коридорам, где с интервалом в двадцать метров были расставлены часовые, точно фруктовые деревья в саду, только увешаны они были не плодами, а оружием. Часовые выпячивали грудь и щелкали каблуками перед проходящими, и тут Константин прогудел в спину фон Брику:

— Да что за чертова мания у ваших парней лупить каблуками об пол! Может, их стоит обучить бить чечетку или проделывать еще какие-нибудь трюки? А то что с ними будет после войны?

Последний вопрос, естественно по-немецки, Константин задал намеренно громко, но фон Брик, не оборачиваясь, ускорил шаг. Константин гнул свое:

— Ведь когда война окончится, вы разошлете этих парней по домам, и на что они сгодятся с такой дурацкой, бесполезной привычкой? У них и сапоги-то сотрутся в прах от поминутного щелканья каблуками. А ведь мир когда-нибудь да наступит, верно?

Он намеренно повышал голос, а фон Брик так же намеренно набирал скорость. Они мчались мимо солдат и унтер-офицеров, замерших по уставу, но пораженно взиравших на дерзкого огненно-рыжего чужака, что беспечно шагал по их коридорам.

---

[1] Долго вам пришлось ждать? *(англ.)*

— Скажите, пожалуйста, лейтенант,— не выдержал наконец Константин,— мы, по-моему, прошли уже не меньше трех километров. Скоро ли мы прибудем?

Фон Брик, бледный, но невозмутимый, простер руку вперед, указывая куда-то в конец коридора.

— Скоро, господин фон Мекк. Кабинет его превосходительства господина министра сразу за поворотом.

И через мгновение они оказались в приемной, также охраняемой двумя часовыми с примкнутыми штыками. Часовые все тем же заученным приемом отдали честь фон Брику, полностью проигнорировав Константина. В этих сжатых челюстях, рыбьих глазах и твердых лбах нет ничего человеческого, подумал он; тут солдаты деревянно расступились перед ними с фон Бриком, чтобы пропустить в святая святых — кабинет. На пороге провожатый его покинул.

Константин с удовольствием припомнил гигантоманию голливудских киномагнатов: до того отвечала этому духу необъятная пустынная комната с письменным столом, двумя креслами и огромнейшим портретом Гитлера, висящим за спиной маленького, просто-таки крошечного Геббельса. Карликовая скрюченная фигурка выбралась из-за стола ему навстречу.

— Господин фон Мекк,— сказал Геббельс,— вы не представляете, как я счастлив принимать вас у себя, в Берлине. К сожалению, я находился в Берхтесгадене [1], когда вы прибыли сюда в прошлый раз...

И поскольку они были слишком уж несоразмерны по росту, оба поспешили к креслам, словно к спасительной гавани, и, только усевшись по разные стороны стола, осмелились взглянуть друг другу в лицо — Геббельс водянистыми серо-голубыми глазами, Константин — светло-зелеными. Эти двое были разительно непохожи друг на друга абсолютно во всем, но на короткое мгновение каждый испытал удовольствие от взгляда другого, как случается иногда при встрече двух умных, проницательных людей, уставших от назойливой глупости окружающих.

Плотно сжав губы и вздернув брови, что придавало ему слегка высокомерный вид, министр Геббельс изучал своего гостя, следуя испытанной тактике молчания — прежде она всегда приносила плоды, но с Константином решительно не удалась. Презрев этикет, тот первым нарушил тягостную тишину — вполне, впрочем, любезной фразой.

— Этот «дуизенберг»,— сказал он по-немецки,— великолепный, прекрасный подарок. Просто не знаю, как вас благодарить.

Геббельс — удивленный, но удивленный приятно — скромно потупился.

— О, какие пустяки, господин фон Мекк. Третий рейх в неоплатном долгу перед вами — вспомним хотя бы о точке зрения международной прессы. Ваш отъезд из Голливуда и возвращение сюда были расценены как протест против агрессивной политики врагов рейха и как поддержка нашего народа, а вы и не представляете себе, насколько это важно.

На лице Константина не отразилось никакой радости. Причины его возвращения были совершенно иными и слишком личными; он вовсе не собирался враждовать с целой Европой. Вероятно, и Геббельс заподозрил это, ибо продолжил:

— В противоположность тому, что пишут некоторые газеты, нет таких денег, которыми можно было бы вознаградить вас за это, к тому же ни один банкир не способен создать «Медею». Вы удостоились большого и вполне заслуженного успеха. Этот фильм произвел на меня впечатление черно-красного, господин фон Мекк, хотя снимался как черно-белый. Это великолепный фильм.

---

[1] Берхтесгаден — загородная резиденция Гитлера.

Константин признательно улыбнулся: своим комплиментом Геббельс верно оценил его замыслы.

— Благодарю вас,— сказал он,— теперь я хотел бы снять фильм «Эдип» в черно-золотой гамме, если мне это удастся.

— Я полагаю, что УФА строит относительно вас иные планы,— заметил Геббельс.

Константин выпрямился в своем кресле.

— Я и слышать не желаю об этих планах. УФА хочет заставить меня снимать «Еврейку», а это антисемитский фильм.

— Ну и что? — бросил Геббельс.

— А то, что это противно моим чувствам,— с улыбкой объяснил Константин.— И поверьте мне, здесь любые деньги окажутся бессильными: не найдется в мире такого богача, который заставил бы меня изменить моим убеждениям.

Наступило короткое молчание.

— Вам не следовало бы излагать свои мысли... таким образом,— мягко заметил Геббельс.— Еще передо мной, пожалуй... Но только не публично. И, уж конечно, не перед полицией.

— Меня не испугаешь даже самым ужаснейшим орудием пытки,— возразил Константин, иронически подчеркнув слово «ужаснейшее», чтобы лишить свою фразу всякого мелодраматического оттенка.— Я не стану снимать «Еврейку», уж лучше вернуться в Америку.

Вот где был его главный козырь, и Константин понимал это. Геббельс ни в коем случае не мог допустить, чтобы он уехал и нанес тем самым оскорбление третьему рейху. По крайней мере именно на это Константин и надеялся.

— Было бы жаль,— сказал Геббельс, умиротворяюще подняв руку,— если бы вы вернулись в Америку до выхода там вашей «Медеи». Лучше вам явиться туда в разгар успеха, «со щитом», так сказать. Вы согласны?

— Да, конечно,— ответил Константин.

Он сказал правду: ему хотелось вернуться в Голливуд только триумфатором.

— Да и для третьего рейха это было бы весьма огорчительно,— продолжал Геббельс.— Весьма! Ваш отъезд показал бы всему миру, что третий рейх — государство, где трудно или невозможно жить артисту, и, не стану скрывать от вас, господин фон Мекк, это нанесло бы огромный урон нашей репутации.

Константин был поражен. Хитрый человечек раскрывал перед ним карты, сам вкладывал ему в руки оружие против них. Этот Геббельс был предельно искренним. И напрасно он так волнуется по поводу моего намерения уехать, подумал Константин, никогда не придававший особого значения ни своей персоне, ни своей известности, ни впечатлению, которое могли бы произвести на публику его убеждения или поступки. Он ответил уклончиво:

— Ну ладно, посмотрим. «Медея» выйдет в Штатах месяца через два... Может, я пока проедусь, погляжу на родные места. В конце концов, я заслужил небольшой отпуск...

Геббельс медленно закурил, пристально глядя на Константина.

— Вам нужен вовсе не отпуск, господин фон Мекк. Представьте себе, я знаю, зачем вы сюда приехали.

И, сменив сухой тон на дружеский, Геббельс продолжил:

— Господин фон Мекк, неужто вы не понимаете, что я наводил справки о вас с тех пор, как все газеты мира стали писать о вас на первой полосе? Неужто не понимаете, что и я спрашивал себя: зачем вы вернулись в Германию именно сейчас, когда вы достигли там, в США, вершин карьеры, когда весь мир недоумевает, почему вы все бросили и приехали сюда? Узнать это было моим долгом, господин фон Мекк, и, я полагаю, мне удалось его выполнить.

Константин взглянул ему в лицо.

— Ах, вот как! — усмехнулся он.— Вам известны причины моего приезда? А уверены ли вы в том, что они ведомы мне самому?

Геббельс залился смехом. То был тихий, отрывистый, как кашель, смех, приглушенный, ибо министр прикрыл рот ладонью.

— Если вам неведомы ваши собственные побуждения, господин фон Мекк, вы, быть может, окажете мне честь, позволив изложить их? Вы покинули Соединенные Штаты не из-за обиды или уязвленного самолюбия, как намекали некоторые газеты. Ваши мотивы имеют куда более глубокие корни, не так ли? Давайте же разберемся! Вы покинули Германию в 1912 году, когда ваша матушка, русская по национальности, развелась с вашим отцом — немцем. Вам тогда было лет одиннадцать-двенадцать, верно?

— Именно так,— подтвердил, заинтересовавшись, Константин.

— А когда Германия в 1914 году объявила войну Франции, вы уже находились в Голливуде. Ваша мать вновь вышла замуж — за продюсера. Война уже шла полным ходом, но мать удержала вас в Америке; впрочем, тогда вы были еще действительно слишком молоды, чтобы воевать.

— Все точно.

— Война продолжалась, а для вас это время стало началом карьеры, не так ли? Вы уже заслужили репутацию хорошего ассистента среди режиссеров того времени. Вы вышли на прямую дорогу к успеху — и это в пятнадцать-то лет! Да, такое бывает только в Америке!

Константин молча кивнул.

— Вы не знали, что Германия обескровлена, что у нее не осталось больше солдат, что курсанты офицерских училищ от пятнадцати до восемнадцати лет все поголовно мобилизованы и посланы на фронт...

Константин фон Мекк опустил голову, теперь он очень внимательно разглядывал свои руки.

— Да,— ответил он,— этого я не знал.

— В результате, когда в 1921 году вы вернулись в Германию, господин фон Мекк, и вам пришла в голову мысль наведаться в свою старую школу в Эссене, вы обнаружили, что за время вашего отсутствия все ваши товарищи погибли на фронте. Конечно, кое-кто был старше годами, но большинство — ваши ровесники, и ни один из них не захотел влачить жалкую жизнь побежденного. Вы поняли, господин фон Мекк, что из всего класса в живых остались вы один, если не считать некоего молодого человека — офицера с ампутированной ногой. Ибо вы ведь учились в знаменитой кадетской школе, не так ли, господин фон Мекк?

— Да, правда,— ответил Константин. Он стал шарить по карманам в поисках сигареты, долго-долго вынимал и раскуривал ее, не поднимая глаз. Геббельс наблюдал за ним с нескрываемым удовольствием и, когда Константину удалось наконец закурить, продолжил ледяным тоном:

— И этот офицер без ноги, ваш бывший соученик, назвал вас трусом в эссенском кафе, при всем честном народе; он даже вызвал вас на дуэль. Вот тогда-то вы и почувствовали себя виноватым; в этот день вам стало ясно, что вы в долгу перед Германией, в настоящем долгу, ибо подобное оскорбление в тогдашнем вашем возрасте — сознательном или несознательном, это уж другое дело,— не забывается. Я не ошибаюсь?

Константин курил, выпуская густые клубы дыма и по-прежнему не поднимая глаз.

— Как вы узнали об этой истории? — спросил он трагически-надломленным голосом, смутившим его самого.

— От одного из ваших преподавателей — он был свидетелем этой сцены. И потом, я всегда знаю все, господин фон Мекк, знаю из принципа, понимаете? Это мой принцип!

Константин вскинул глаза: Геббельс больше не улыбался.

— Все, что вы рассказали, чистая правда, господин министр,— признался он.— Я храню в памяти это происшествие, и оно толкает меня на странные поступки...

— Поздравляю вас с одним из таких поступков! — перебил его Геббельс пронзительным голосом — голосом оратора, совершенно неожиданным для такого худосочного дерганого недомерка.— Ибо они делают честь и вам, и всей Германии в целом!

Константин облегченно вздохнул: слава Богу, с 1921 года ему впервые напоминали об этом унижении — случае, конечно, неприятном, но вообще-то давным-давно позабытом. Разумеется, какое-то время его совесть терзало воспоминание о классной фотографии 1912 года, где были сняты Константин и его двенадцатилетние сверстники, чьи лица потом перечеркнули траурные кресты — все, кроме двух, его собственного и того обидчика,— но потом этот инцидент, как и прочие грустные события, улетучился из памяти: в конце концов он всего-навсего пренебрег нелепым средневековым предрассудком, именуемым «долгом перед родиной», зато с тех пор множество раз имел возможность доказать, что он отнюдь не трус. Но тот факт, что Геббельс приписывал его возвращение значительности школьного воспоминания 1921 года, а не значительности гонорара УФА в 1937 году, вполне устраивал Константина. До чего же все-таки сентиментальны и романтичны эти нацисты с их «моральными принципами» и примитивной героикой! Режиссеры и сценаристы, недавно изгнанные из Европы и приехавшие в Калифорнию с рассказами о всяческих ужасах, творящихся в Германии, о ее кровавых чудовищах-правителях, явно не принимали в расчет Йозефа Геббельса: этот тщедушный раздражительный человечишка, перед которым трепетала вся Германия (а он наверняка трепетал перед какой-нибудь женщиной), этот крошка-министр несомненно отличался острым умом и твердыми нравственными принципами, даже если он обожал и поддерживал паяца Гитлера, чей портрет висел у него за спиной,— диктатора с жидкими усишками и чубчиком, довершавшим смехотворный его облик. Впрочем, если Геббельс по каким-то скрытым мотивам и преклонялся вместе со всей страной перед этим горластым бесноватым лавочником, у него наверняка были на то свои причины. Константин на миг размечтался: а не сделаться ли ему другом маленького министра? Он бы научил его обхаживать женщин и прилично одеваться, посоветовал бы сбросить эти дурацкие сапоги, делающие его еще меньше ростом; он внушил бы ему желание засвистать от счастья, подобно дрозду, в пустых продезинфицированных коридорах. Ах, до чего же, наверное, тягостно человеку с живым артистическим умом таскать на себе всю эту воинскую дребедень!.. Константин во внезапном душевном порыве обратил к Геббельсу сияющую улыбку, но тот удивленно дернулся, мигнул и нервно уткнулся в толстенное досье, лежавшее перед ним на столе.

— Вот источник моей осведомленности,— сказал он, подтолкнув папку поближе к Константину.— Здесь все ваше прошлое — предки, друзья, фильмы — словом, полная биография. Теперь это досье ваше, господин фон Мекк, я в нем больше не нуждаюсь.

— Я тоже! — беспечно откликнулся Константин.

И, даже не заглянув в папку, он швырнул ее под стол, в корзину для бумаг. Затем Геббельс принялся обсуждать со своим гостем «Стальной дождь», «Золотые слезы», «Мирные трапезы» — иначе говоря, фильмы Константина, всякий раз высказывая едкие, но в конечном счете восхищенные замечания, которые в иные времена привлекли бы к нему сердце любого режиссера. За беседой о кино они провели целый час, и первым опомнился Константин... Теперь они двинулись к дверям, будто лучшие друзья, хотя по-прежнему один из них был ростом метр девяносто пять, а другой — метр пятьдесят пять.

На пороге Геббельс протянул Константину руку, но тот не пожал ее и даже отвернулся, глядя назад. Геббельс не разозлился, а скорее

растерялся, ибо Константин устремил взгляд на портрет Гитлера, висевший на другом конце комнаты; медленно простерев вверх, к портрету, правую руку и постаравшись как можно громче щелкнуть каблуками кожаных мокасин, он изобразил перед разочарованно уставившимся на него Геббельсом безупречное нацистское приветствие, но вдруг, переведя глаза на свою вытянутую руку, изо всех сил растопырил пальцы, повернулся к министру с идиотски-радостной миной и доверительно шепнул:

— А дождик-то все не идет, ваше превосходительство!

Застывший, словно соляной столб, Геббельс впился в него глазами и внезапно залился нервным, визгливым истерическим хохотом; этот звук еще долго преследовал Константина в бесконечных коридорах, и попадавшиеся навстречу подчиненные министра глядели на него озадаченно, с удивлением, а еще чаще, как он заметил, с явным ужасом, вызванным этими непривычными отголосками.

Глава III

Телефон в отеле звонил невыносимо пронзительно; заспанный Константин протянул руку к ночному столику и опрокинул множество предметов, пока не нашарил трубку. Он приложил ее к уху с крайней осторожностью: хотя ему чудилось, что голова его плавает где-то за сто миль от тела, она была чудовищно тяжелой и одновременно хрупкой, как стекло.

— Алло! — простонал он.

Свежий, хрустальный голосок — голос юности, голос Мод — вызвал у него болезненную гримасу: это эхо весны, этот живой задор только усугубили муки его похмелья.

— Боже мой, это вы, Константин? Как я счастлива слышать вас! Ах, я так переволновалась! Да вы меня слушаете?

— Кто говорит? — пробормотал он, движимый больше любовью к порядку, нежели любопытством.

— Но... это я, Мод! Мод! Это Мод!

— Мод? Какая еще Мод? — спросил он сиплым басом непроспавшегося алкоголика.

— Да Мод же! Господи, Константин, сколько у вас знакомых Мод?!

Голос ее зазвенел так возмущенно, что Константин поспешно отодвинул трубку от уха.

— Ну и что же, что Мод? — сказал он насмешливо.— Вы думаете, вы одна-единственная Мод на всей земле? В некоторых странах — в Кении, например,— Мод водятся дюжинами! Да во всех колониях — в восточных, я имею в виду,— все женщины только и носят это имя — Мод. Это звучит так по-английски, так пикантно и свежо — Мод! Это даже слегка...

Но Мод Мериваль, субтильная звездочка французского экрана, вдруг перебила его с неожиданной силой:

— Прекратите сейчас же! Вы что, издеваетесь надо мной? Ну прошу вас, Константин, будьте посерьезнее! Куда вы запропали вчера вечером? Знаете ли, что я целый час искала вас в этом заколдованном замке вместе с хозяйкой дома мадам де Браганс? Знаете ли, как она на вас рассердилась? Знаете ли...

— Да ничего я не знаю, моя милая! — остервенело прорычал Константин.

Откинувшись на подушки, он боролся с ощущением невыносимой чугунной тяжести в голове; каждая косточка, каждый мускул лица ныли на свой лад. Ох уж эта водка! Он отлично знал ее парфянское коварство.

— А что мы пили вчера? — спросил он тупо.— Водку, что ли?

— О да! — ответила Мод решительно.— О да! *Вы* пили только водку. И вдобавок Бубу Браганс сообщила мне, что это была настоящая, натуральная водка, иначе вы бы давно богу душу отдали. Вы просто

с ума сошли, господин фон Мекк!— заключила она тоном маленькой девочки, еще раз заставившим Константина поморщиться.

Но отчего бедняжка Мод бранила его так нежно? И вдруг его осенило: да ведь он вчера вечером лежал с ней в этой самой постели: она просто-напросто звонила ему как новому любовнику! Ох, черт, в хорошенькую же переделку он вляпался! И это в последний-то день съемок... Пристыженный, но зато почти проснувшийся Константин заговорил с Мод чуть ласковей:

— Мод, деточка, я прошу прощения за вчерашний вечер... то есть, за вечер у Бубу... а что мне оставалось, как не напиться? Эти ходатайства за Швоба и Вайля, перед немцами... ну, то есть... перед этим офицерьем — они меня совсем выбили из колеи.

— О, главное, вы добились своего, Константин! Вы просто молодец! Подумайте только, ведь генерал обещал помочь! И через неделю благодаря вам мы опять увидим у нас в студии Пети и Дюше. Вы их спасли от этих ужасных трудовых лагерей! Нет, вы были просто ФАНТАС-ТИЧ-НЫ!

— Н-да... По крайней мере надеюсь, что так оно и будет,— отозвался Константин сухим, почти официальным тоном, словно стараясь не слишком обнадеживать Мод.— Да-да, к концу недели; мне клятвенно обещали: именно к концу недели.

Но сомнение уже овладело им — как мог он быть вчера таким доверчивым и праздновать, точно уже одержанную победу, это туманное обещание, которое вытянул за пять минут у двух неизвестных? Почему не добился от них подробностей, письменных обязательств? Почему так быстро удовлетворился их посулами, если не из чистого эгоизма, из вечной боязни обременить себя чужими заботами, от маниакальной жажды удовольствий и забвения всего, что не способно их ему доставить? И он всегда был таким — отважно спешил в крестовый поход за справедливость, удовлетворялся первой же мелкой победой, первым же крошечным успехом, расценивая это как крупный триумф и... тут же бросал начатое.

— О чем вы думаете, Константин? Какая печаль вас гнетет? — лепетала тем временем Мод на другом конце провода.— Что происходит? Какие мысли скрываются под вашей рыжей львиной гривой? — вопросила она неожиданно элегическим тоном.

Константин, удивленный, а затем польщенный, окончательно стряхнул с себя сон.

— Под моей львиной гривой, как вы изволили выразиться, меня поминутно словно током шибает — это мне мстит вчерашняя водка. Ну, а что там творится под вашей белокурой гривкой, милая Мод? Чего это вы начитались нынче утром, коль скоро изъясняетесь столь романтично? Неужто «Книги джунглей»? [1]

— Ну вот еще! Я ее прочла давным-давно, в детстве! — возразила Мод (вне себя от счастья, ибо Константин весьма удачно назвал одну из трех сосен ее литературного заповедника).— Но вообще-то я просто хотела послать вам мой скромный утренний поцелуй. Вот он! А теперь до свиданья! Вы позвоните мне попозже, дорогой?

— Да-да,— пробурчал Константин, яростно зажмурившись и сжав кулаки от хлюпающего звука «скромного утреннего поцелуя» в трубке. Отныне это невинное жеманное чмоканье грозило сопровождать все его утренние пробуждения. Он так поспешно бросил трубку, словно она жгла ему пальцы, и, заметив это, невесело ухмыльнулся. Ему срочно требовалось глотнуть кофе или водки, чтобы прочистить мозги. Потянувшись всем телом и поразмыслив, он склонился в пользу аспирина — в первую очередь, затем ванны, а после нее — стаканчика спиртного.

---

[1] «Книга джунглей» написана английским поэтом и романистом Джозефом Редьярдом Киплингом (1865—1936).

Протирая на ходу глаза, он добрался до ванной, но по пути уловил свое отражение в большом, до полу, зеркале комнаты. Остановившись, он оглядел себя сверху донизу, потом снизу доверху критическим, хотя и благосклонным взором: этот могучий поросший волосами торс, эти усы, эти зубы и ногти, все это огромное поджарое мускулистое тело, верно служащее хозяину и — по счастливому везению — столь привлекательное для других, принадлежало ему, ему! Тело человека в расцвете здоровья (если и не всегда здорового), который мог не запыхавшись пробежать с десяток километров, выпить подряд две бутылки водки и притом твердо стоять на ногах, безумствовать целую ночь над другим телом, спать всего по три часа в сутки в течение месяца... Тело человека, способного впивать с жадным восторгом — равно как отвергать или покорно переносить — людей, удары, катастрофы, любые излишества. Ох уж эти излишества!... Один Бог знает, скольким из них он предавался, сколько их, самых причудливых, наизобретало его тело, подстегнутое возбужденным мозгом!.. И Константин рассмеялся, не отрывая глаз от зеркала: его забавлял собственный взгляд, изучающий это отражение, точно верного сообщника, но как бы иронически, свысока. Что он представлял собой, если не эту вот машину из плоти и крови, чьи ощущения зависели от молниеносных импульсов, передаваемых нервами к маленькой костяной коробочке, где таился мозг, а от него, с той же скоростью, обратно, только уже в виде рефлексов, приводящих в конечном счете к какому-нибудь благородному или неблаговидному человеческому поступку. И так ли уж необходимо было придавать этому чудесному устройству еще и вечную душу? Константину казалось вполне достаточным обладать на какой-то срок живущим инстинктами телом да маленьким мыслящим устройством в голове, и срок человеческого существования тоже вполне устраивал его — пусть он иногда казался телу, равно как и рассудку, то слишком долгим, то слишком кратким, но зато всегда был реально обозрим.

Глава IV

Несмотря на подлинные документы, украденные Константином у другого человека, документы, свидетельствующие о принадлежности к немецкой нации — единственной в Европе, исключающей обыск и личный досмотр,— Романо был чистокровным цыганом. При Гитлере еврейская национальность автоматически превращала вас сперва в преступника, а затем во что-то вроде багажного тюка с этикеткой в виде желтой звезды, который отправляли поездом в никому неведомые лагеря — почти сразу же или чуть попозже, но все же с некоторой отсрочкой. Зато принадлежность к цыганскому племени незамедлительно превращала человека в мишень, тем более что людей этой национальности было немного, и это позволяло расправляться с каждым из них безо всяких затруднений.

Итак, Константин преобразил Романо в молодого немца, своего ассистента по подбору натуры, с соответствующим удостоверением и кучей прочих проштемпелеванных бумажек для беспрепятственного прохождения всевозможных проверок; однако короткий ежик белокурольняных волос на узкой голове не то ангела, не то проходимца, хрупкие запястья и тонкая шея, стебельком встающая из грубого суконного ворота серо-голубого френча, сияние угольно-черных глаз под льняными же бровями, которые Константин обесцвечивал ему перекисью вместе с волосами каждые десять дней,— все это временами, особенно нынешними временами, делало Романо существом крайне экзотическим. Но, как ни странно, подобная внешность работала на него: в глазах какого-нибудь недоверчивого полицейского Романо выглядел слишком неправдоподобно, слишком «эклектично», чтобы его можно было заподозрить в обмане. А для других людей его природная красота, смесь латинской изворотливости со славянским проворством, блеск черных глаз и

сияние белокурых волос, это сочетание света и тени, изощренной хитрости и дикарской простоты казались столь привлекательными, что окружающие — и мужчины и женщины — куда больше интересовались желаниями и прихотями Романо, нежели его национальностью. Что же до Константина (он давно уже устал, в силу своей профессии, от капризных актеров, но пунктуально, каждые десять дней, по два часа трудился над головой Романо с ножницами и таким количеством перекиси, какого хватило бы на двадцать шевелюр), то он считал свое творение истинным шедевром и гордился этим белокурым цыганом не меньше, чем создатель Франкенштейна — своим детищем.

— Хорошенький же у тебя видик, нечего сказать! — заметил Константин. Он лежал на кровати, подложив руки под голову, совершенно не заботясь о том, что его великолепный костюм безжалостно смят, и весело поглядывал на Романо.

— Ну и вид! — повторил он и рассмеялся.

— Да, вид черт знает какой! — признал Романо.

Высокий, мускулистый, худой, почти тощий, он в свои двадцать три года все еще продолжал расти. Слоняясь по комнате, он на ходу бросил на себя в зеркало строгий, подозрительный, почти враждебный взгляд. Константину нравилось, что Романо, живший в основном своими прелестями, совершенно не ценил и не понимал собственной красоты — красоты юноши, становящегося мужчиной, а иногда мальчика, становящегося юношей. Кожа у Романо была гладкой, матовой, хотя и с синими прожилками бурно бегущей под ней цыганской крови; ее бледность перекрывал несмываемый загар, нажитый им скорее под ветрами странствий, нежели под солнцем,— прочный загар путника, двадцать лет вдыхавшего вольный воздух дорог; загар, от которого не избавиться, который мог бы стать самым опасным признаком его расы, если бы нынче он не покрывал лица всех солдат гигантской немецкой армии, которых война швырнула в ледяные бураны или знойные вихри фронтов.

Вот уже два года Романо разделял жизнь и скитания Константина фон Мекка, а началось все с того момента, как охранники киностудии «Викторина» в Ницце однажды ночью застукали его за кражей дорогостоящей оптики. Лишь втроем им удалось одолеть его, связать и бросить в угол студии, как загнанного дикого зверя. Он и смотрел зверем, когда впервые предстал перед Константином со своей спутанной жестко-курчавой гривой, взглядом исподлобья, смуглой матовой кожей, под которой ходуном ходили мускулы, и судорожно бьющейся синей жилой на длинной шее; его грациозные движения, отказ слушать и отвечать, жестокость и необузданность, которыми дышало все его существо, так же как тщательно скрываемая и все же явная детская беззащитность, пробудили в душе Константина не отцовские и не любовные чувства, а скорее инстинктивное стремление защитить этого загнанного зверька, этого хищника, этого голодного волчонка, заплутавшего на дорогах войны и ворующего «Кодаки» из темной студии. Короче говоря, вместо того чтобы доставить мальчишку в жандармерию, Константин привел его к себе, накормил, напоил и уложил спать. Он даже пообещал своему гостю раздобыть фальшивые документы, хотя тот так и не вымолвил ни слова. В общем, Константин взял парня под свое крыло — насколько можно взять под крыло опытного хищника, ибо Романо, которому тогда еще и двадцати лет не было, знал о жизни и ее превратностях куда больше самого Константина. С самого своего рождения скитаясь вместе с семьей в цыганской повозке по дорогам Центральной Европы, он постиг все: спал с женщинами, девочками, мальчиками и зрелыми мужчинами, воровал, грабил, обирал, да, вероятно, и убивал. Он не поддавался никакому влиянию, был круглым сиротой и явно впал в отчаяние — которое изо всех сил пытался скрыть,— ибо если до войны его жизнь была игрой в прятки с нищетой, то теперь она стала игрой в прятки со смертью, и он знал, что ему суждено проиграть, когда вдруг встретил Константина. И этот всемогущий человек сделал его немцем,

дал имя Романа Вилленберга — одного из своих кузенов, умершего при неясных обстоятельствах в жалкой конуре Гамбурга,— и вполне официально взял к себе на службу в качестве шофера, камердинера, секретаря, доверенного лица и ассистента по подбору натуры во время съемок — должность, убедительно объяснявшую непрестанные отлучки Романо, поскольку тот вечно скитался по городам и весям, дабы обеспечить себе существование. Ибо если он и соглашался принимать от Константина кров и иногда пищу, то больше не принимал ничего. С этой целью он соблазнял и обирал тех, кто соглашался стать его жертвой,— мужчин или женщин, независимо от их привлекательности и возраста, и устраивал свои дела с равной долей пыла и холодного расчета. Впрочем, это началось уже довольно давно, лет пять назад, с тех пор как вся его семья — родители, братья, сестры и прочие родственники — погибла во время погрома в какой-то деревушке Центральной Европы, возле которой они остановились на ночлег в своей повозке. Все эти годы Романо жил, торгуя своим телом. Мало-помалу он сделал это своей профессией — профессией, а не игрой,— но занимался ею с таким искренним нескрываемым цинизмом, что она выглядела почти благим делом.

— Я предлагаю им ощущения,— объяснил он однажды Константину, озадаченному его хладнокровием,— а не чувства. А если к этому все же примешиваются — не по моей вине — чувства, я отчаливаю.

Проведя у Константина первую неделю и за это время так и не раскрыв рта, Романо, то ли успокоенный видимым безразличием своего хозяина, то ли зачарованный обещанием раздобыть фальшивые документы, в один прекрасный вечер спокойно и грациозно откинул одеяло, чтобы лечь в его постель. Константин, к великому изумлению Романо, как, впрочем, и к своему собственному, выпроводил его спать к себе.

— Когда обзаведешься документами и деньгами,— сказал он почти уязвленному отказом парню,— когда у тебя будет выбор, тогда поглядим...

И Романо пришлось ждать, пока у него будет выбор, чтобы предаться Константину — и вместе с Константином чувственным, извращенным играм, которые поначалу всего лишь развлекли их, а затем подвели к началу любовной привязанности, мужской, мужественной, скорее жестокой привязанности, и та оборачивалась наслаждением лишь тогда, когда хотя бы один из них желал этого, хандрил или нуждался в тепле. Это эротическое содружество обладало теперь в глазах Константина бóльшим очарованием, чем многие так называемые поэтические любовные романы. Ему очень хорошо было с Романо. Он полностью доверял ему, даже если время от времени видел, как тот возвращается домой на рассвете, насвистывая, с темными кругами под глазами; Константин смутно ощущал в этом и свою вину, словно выпустил в общество беззащитных людей свирепого, дикого волка.

На сей раз волк пропадал по своим делам больше трех дней, что бывало довольно редко, но, как всегда, не нуждалось в объяснениях. Ни тот, ни другой из них не делился с партнером никакими подробностями своих любовных похождений. Случалось, конечно, что Романо, толкнувшись в дверь Константина, заставал его в обществе женщины и, рассеянно бросив короткое «извините», удалялся. А иногда Константин тщетно разыскивал Романо по всей квартире, ругаясь, как извозчик, если не находил его. Но в любом случае они были так же сдержанны во взаимных излияниях, как двое незнакомых пассажиров, которых случай свел в спальном вагоне на одну ночь...

— Мне нужно переодеться,— сказал Константин, уходя в ванную.— Послушай, Романо, как это ты ухитрился забыть, что у нас вчера был последний день съемок? Оставил меня одного хандрить по вечерам! Неужели тебя не терзают угрызения совести?!

Константин говорил как бы шутливо, но при этом подпускал в свою речь малую толику меланхолии, которая, как он знал, пристыдит Рома-

но. В общем-то, он научился «объезжать» этого своенравного жеребенка; и в самом деле, Романо ответил извиняющимся тоном:

— Да знаю, но я впутался в одну длинную историю... в дело, которое никак не могли решить... ну, в общем, мне пришлось потерпеть, оно того стоило: помнишь фальшивого Дюфи [1], что ты купил у своего обидчивого приятеля-бродяги,— такая маленькая голубая картинка... помнишь? Ну так вот, я ее перепродал.

— Не может быть! — воскликнул пораженный Константин. Он только что вышел из ванной, сменив жеваный костюм на нормальную одежду — свитер и черные брюки.— Не может быть! Эту кошмарную копию?! Да кому она нужна? Ты шутишь, Романо? Сколько же ты за нее выручил?

— Двадцать тысяч! — ответил тот победоносно, и Константин рухнул на кровать, раскинув руки.

— Двадцать тысяч?! Кто это тебе заплатил за такое дерьмо двадцать тысяч? Неужто на свете еще водятся подобные идиоты? Она что — слепая, твоя клиентка?

— Это клиент,— невозмутимо ответил Романо.— И он прекрасно видел, что покупает подделку, да я, впрочем, и не особенно скрывал...— Тут он рассмеялся.— Но этот тип еще целых два дня не мычал, не телился, хотя его первая цена была всего десять тысяч. Пришлось мне попотеть, чтобы он накинул еще столько же, и все-таки я из него выжал эти денежки.

— «Целых два дня» — это недурно,— заметил Константин,— но даже десять тысяч за эту мазню... Признайся, Романо, ты приврал?

Романо тут же полез в бутылку.

— Почему это приврал? Я никогда не лгу! — заявил он с твердостью, удивившей Константина. Потом, вскочив на ноги, вытащил из кармана висевшего на вешалке пальто длинный конверт и с пренебрежительным смехом бросил его на кровать. Из конверта выпали две пачки кредиток, заботливо стянутых резинками, а вместе с ними — маленькая фотография, скользнувшая прямо под нос Константину изображением книзу. Константин не шевельнулся. Романо замер, удивленно глядя на снимок.

— Можно? — спросил Константин утомленно-пресыщенным голосом. Романо кивнул, и он, подняв фотографию, повернул ее к себе. На него с мягкой улыбкой смотрел солидный пожилой человек в спортивной рубашке.

— Боже ты мой! — произнес Константин.— Боже ты мой! Нет, я глазам своим не верю. Да ведь это же Бремен! Сам Бремен! Ну, мой дорогой, ты просто гений. Представь себе, что... Кстати, который час?

— Полдень,— сказал Романо.

— Ну так вот, представь себе, что ровно двенадцать часов назад этот почтеннейший господин рассказывал мне о своей жене и детках, детках и жене, хныча по поводу одиночества мужчины на войне. Бог ты мой, ну и лицемер! Да, с него стоило содрать двадцать тысяч.— И, швырнув деньги в воздух, как цветы, он захохотал. Романо мрачно глядел на него, не трогаясь с места.

— Что это с тобой? — спросил наконец Константин.— Тебя что-то огорчает?

— Мне не нравится,— сквозь зубы процедил Романо,— мне не нравится, что ты представляешь... можешь себе представить кого-то вместе со мной... я хочу сказать: человека, которого ты знаешь с виду...

— Это еще почему?

— Потому что мне не хотелось бы, чтобы я мог вот так же вообразить тебя с кем-то,— ответил Романо устало и вновь принялся бродить по комнате. Константин опустил глаза, он был смущен и почти обрадован этим признанием. Впервые он услышал от этого дикого волчон-

---

[1] Рауль Дюфи (1877—1953) — известный французский художник и график.

ка слова о чувстве. И он был доволен — вот только Романо теперь расстроился. Значит, Константину следовало извиниться перед ним за рану, от которой он мог бы страдать, но по вполне естественной причине не страдал вовсе: Константину была чужда банальная ревность, он не понимал ревности, он не был ревнив в мазохистском смысле этого слова. И мысль о том, что Романо мог ревновать и говорить об этом, удивила его, заставила почти ликовать, словно они, как пара влюбленных, строили планы на будущее.

— А я ничего и не воображал,— сказал он.— Впрочем, этот тип недурен... Его стыдиться нечего.

Нет, не так ему нужно было говорить, он ясно чувствовал фальшь своих слов, но не находил лучших доводов, чтобы успокоить этого воришку, вдруг ставшего сентиментальным и жестким, этого нового Романо.

— Я не то имел в виду,— пробурчал Романо и смахнул с покрывала красивые французские кредитки, веером разлетевшиеся по всей комнате. Но предварительно он подобрал и сунул в карман фотографию Бремена, к большому утешению Константина, вдруг испугавшегося, как бы Романо не сбросил ее вместе с деньгами тем же небрежным, презрительным жестом, который, даже неизвестно почему, не понравился бы Константину; он был счастлив, что и его любимый друг инстинктивно ощутил ту легкую, почти неуловимую вульгарность, какой отдавало бы это движение...

Романо уснул блаженным сном прямо на ковре, а Константин продолжал маяться похмельной бессонницей, от которой звенело в ушах. Наконец, он встал и, подойдя к балконной двери, с отвращением глянул на бульвар Распай и улицу Севр, одинаково пустынные в этот час... При виде нового, такого непривычного Парижа, где все улицы и проспекты были завешаны плакатами и афишами на непонятном для парижан тарабарском языке, Константин чувствовал себя скорее угнетенным французом, нежели гордым завоевателем. Не зря же он два года снимал здесь фильм за фильмом, притом большей частью в свободной зоне или, вернее, там, где она была до недавнего времени. Там, среди пустынных пейзажей и бутафорской мебели, он мог ощущать себя нейтральным лицом. Тем более что окружение его отличалось такой же пестротой и многообразием, как декорации. Живя бок о бок с вечными бродягами — членами съемочной группы, с продюсерами — заведомо экзотическими личностями, с актерами — людьми без роду, без племени, чьи место и дата рождения, день свадьбы или смерти не имеют ничего общего с реальностью и чье иллюзорное бытие обретает конкретное воплощение лишь на страницах «Синемондьяль», Константин не собирался заниматься политическими проблемами и пристрастиями, если только они ему их не навязывали — эти самые эсэсовцы, из особой группы СС, не принадлежавшей к вермахту, которых он всегда считал способными на самую отвратительную жестокость. Только вот Романо был абсолютно непреклонен в данном вопросе, утверждая, будто эта «особая» группа в тысячу раз многочисленнее, чем думал Константин, а его выражение «отвратительная жестокость» — просто стилистический изыск. Они никогда не углублялись в эту тему, и Константин иногда спрашивал себя: кого из них двоих она задевала серьезнее и больнее?..

— Ты так и не спал? — донесся до него голос Романо.

Константин обернулся. Романо глядел в небо над крышами и на голубей с благодарным восхищением, умилившим Константина. Сейчас Романо выглядел ребенком — внешне взрослым, конечно, и все-таки ребенком. Константин заказал по телефону завтрак и встретил фатальным вздохом мерзкую бурду, заменявшую таковой. Его внимание привлекла лежащая на подносе «Пари-суар». Он величественным жестом

развернул ее и, спросив: «Хочешь послушать последние новости?» — принялся торжественно вещать:

— «Все идет прекрасно. Вермахт, как всегда, непобедим. Мы скоро возьмем Сталинград, а пока что с твердой решимостью откатываемся назад по всей России... Мы с триумфом изгнаны из Северной Африки и успешно отступаем в Сицилии...» Что еще?.. Ну-ка поглядим... «Маршалу Петену исполняется восемьдесят шесть лет... До сих пор не найден убийца капитана Кольбера, на которого было совершено покушение на улице Соссэ... Десять заложников, арестованных наугад из числа гражданских лиц, будут расстреляны завтра утром».

Константин поднял голову.

— Представляешь себе? Расстрелять десяток ни в чем не повинных граждан! Нет, ей-богу, странный способ поддерживать у населения эту самую пресловутую любовь к оккупантам... Да что с тобой? — удивленно вскричал он, увидев, как Романо кинулся в ванную, откуда тут же донеслись звуки рвоты вперемежку с судорожными всхлипами, столь неожиданными для крайне сдержанного юноши. Наконец, тот вышел и, задержавшись на пороге ванной, вызывающе глянул на Константина. Прислонясь к косяку, он вытирал рот полотенцем — это мало эстетичное зрелище скорее обеспокоило, чем покоробило Константина. Что такое стряслось с Романо? Завтрак, хоть и отвратный, тут ни при чем: у Романо был луженый желудок; ни при чем и поражения вермахта: они его могли только порадовать; и, уж конечно, его не мучила совесть от того, что он позабыл день рождения Петена. Значит, история с убийством на улице Соссэ? Странно: Романо всегда говорил о казнях, обо всех ужасах войны с пугающим хладнокровием... Но на сей раз это, видно, напрямую касалось его. И Константина вдруг прошиб холодный пот. В общем-то, никакой особой тайны тут не было: на самом деле он отлично знал, что Романо интересуется не только постелью и бумажниками своих многочисленных покровителей и покровительниц. Чем же еще он занимался? Что его так сильно потрясло?

Константин решил предпринять обходной маневр.

— Он, наверное, в отчаянии — тот тип, что прикончил Кольбера? Представляешь, знать, что из-за тебя погибнут десять невинных...

— Это еще как посмотреть,— возразил Романо.— От такой сволочи, пока она живет на этом свете, куда больше зла, чем от убийства десятка невинных. Только, конечно, не их невинных близких.

Константин поднял глаза:

— Ты думаешь, у Кольбера таких близких не было?

Романо усмехнулся.

— Нет. У него были только жертвы,— ответил он твердо.— И вообще, Константин, я слабо разбираюсь в твоем странном гуманизме, зато твердо знаю другое: таких людей нужно убивать. Ведь это Кольбер допрашивал участников Сопротивления на улице Соссэ — мужчин, а иногда и женщин. Обычно после допросов людей даже приканчивать не требуется, это уже излишне. Но вот совсем недавно он допрашивал одну женщину из Сопротивления, а потом ее забыли ликвидировать, и перед смертью она успела рассказать подругам по камере, как именно обошелся с ней Кольбер; это стало известно на воле. И тогда было решено убрать Кольбера — в отместку за тех, кто прошел через его руки и в защиту тех, кому еще предстояло пройти.

— А ты-то, дружок, откуда все это знаешь? — спросил Константин, надеясь, что голос его звучит бесстрастно.

— Знаю, потому что кроме «Пари-суар» есть еще и другие газеты, представь себе! — бросил Романо.— И есть другие салоны, кроме салона твоей драгоценной Браганс, и другие борцы, кроме доблестных офицеров вермахта. Вот почему я кое-что знаю, представь себе!

И он не то улыбнулся, не то ощерился; в его улыбке смешались гнев и отвращение, она обезобразила его, подумал Константин, отвер-

нувшись — только бы не видеть этого искаженного лица. И ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить:

— Все равно... Я считаю, что расстреливать этих женщин и мужчин из-за кого-то другого несправедливо.

— Несправедливо! Да неужели?!

И Романо рассмеялся незнакомым Константину горьким смехом. Старческим, безнадежным...

— Несправедливо! — повторил он.— Несправедливо... Значит, ты считаешь своих соотечественников «несправедливыми»... Бедный ты мой друг, да ведь Германия и немцы давным-давно позабыли разницу между несправедливостью и справедливостью. Эти слова уже много лет как вышли из моды. Ну а что касается убийцы этого Кольбера, «ответственного» за смерть заложников, то я тебе сейчас расскажу, что его ждет, если он вздумает честно-благородно сдаться немцам. Несколько эсэсовцев, отобранных из числа самых «злых» — согласно твоей теории,— возьмутся пытать его и когда они вырвут ему ногти, половые органы и глаза, то поинтересуются именами и адресами его приятелей, чтобы поступить с ними точно таким же манером. И вполне возможно — заметь, я повторяю: вполне возможно, поскольку никогда нельзя сказать заранее, до чего доведет боль,— он заговорит; так вот, я думаю, что этот «негодяй» именно потому и не спешит сдаваться. А может быть, еще и потому, что он хочет убивать других кольберов. Ибо, видишь ли, Константин, их нужно убивать — этих кольберов,— даже вслепую, даже такой дорогой ценой. Иначе большие кольберы наплодят маленьких, которых станет еще больше, чем нынешних. И весь мир будет заполонен маленькими кольберчиками — легионами послушных садистов и убийц.

— Легионами послушных — кому? Гитлеру? Ты думаешь, что можно вот так просто взять да оболванить целый народ? Послушай, Романо! — взорвался Константин.— Я, представь себе, вырос в Германии. Провел там все свое детство. И прекрасно знаю немецкий народ. Знаю немецких крестьян: это тяжелодумы с грубыми руками, простоватые на вид, но они любят свою семью и свою страну, и они выхаживают своих животных, когда те заболевают. И знаю немецких женщин — кротких и белокурых. И знаю скромных немецких служащих с пенсне на носу, робко семенящих по улицам,— воплощение честности. Кроме всех этих есть еще и богатые люди, пусть и с причудами, но вполне хорошие и милые. Я не верю тебе, Романо. Так же, как не верил в сказки об уланах, которые в первую мировую войну якобы отрубали руки у французских младенцев. Глупости все это!

Романо опять рассмеялся: невеселый то был смех.

— Да, такое вообразить трудно, верно, Константин? И все-таки речь идет обо всех немцах — обо всех, а не только об эсэсовцах! Запомни это: там, на твоей родине, они теперь все поголовно сделались свирепыми, мерзкими, ненасытными гиенами. И остановить их можно только убивая, понятно? Эсэсовцы не одиноки, Константин! В этом-то и заключается самое страшное. В твоей родной стране нынче есть те, кто убивают, и те, кто позволяют себя убивать, вот и все. Ты не можешь мне поверить, да? Поверить, что твоя кроткая Германия превратилась в гадючье гнездо? Ты отказываешься мне верить, потому что эта правда помешает тебе наслаждаться жизнью, разве не так?

И Романо под удивленным взглядом Константина пнул ногой стоявший на полу поднос с завтраком, расплескав содержимое чайника на красивый, сливового цвета ковер отеля, и без того уже безжалостно прожженный окурками Константина и местами заплесневевший от воды — результат его купаний в вечно переполненных ваннах. Константин даже глазом не моргнул. Он глядел в сторону Романо, туда, откуда доносился голос Романо, но его широко открытые глаза, казалось, ничего не видели.

Зато теперь он слышал. Неужто Романо говорил ему правду? Сквозь дурман ужаса и бесконечной усталости, что, подобно налетевшему внезапно сну, лишили его сил, к Константину пришло прозрение: да, то была правда. Теперь им завладела тяжелая, подспудная уверенность в этом, теперь он увидел все, от чего до сей поры отвращал взор, все, что, будучи немцем и добровольным соратником немцев, отказывался знать, оценивать и судить. Он отказывался судить свою родину, особенно эту родину, которую невозможно теперь было защитить и оправдать... Обессиленный и потрясенный, он смутно услышал то, что напоследок бросил ему Романо с порога:

— Бедный ты мой дружище... бедный дружище... Ты иногда упрекал меня, что я не все тебе рассказываю, ну вот, теперь можешь быть доволен...— И он исчез. Но Константин уже не слышал его затихающих шагов. Водка и похмелье наконец смилостивились над ним: головная боль растаяла, отпустила его, и он безвольно соскользнул в сладкий, глубокий, бескрайний сон.

Константин пробудился в четыре часа дня, в превосходном настроении, и спросонья решил отнести свою размолвку с Романо на счет недоразумения или склонности цыгана все преувеличивать; вот почему его передернуло, когда, вновь взявшись за газету, он еще раз увидел прямо посреди страницы, ставшее причиной их спора объявление о расстреле, обведенное черной каймой и вполне недвусмысленное. Он уже собрался отшвырнуть газету, как вдруг взгляд его, случайно упав на список заложников, выхватил из него два имени: Вайль, иначе Пети, и Швоб, иначе Дюше. Вместо того чтобы отбросить газетный листок, Константин просто разжал пальцы, и тот, уже слегка скомканный, все-таки мягко спланировал к его ногам.

Первой реакцией Константина было изумление. Он знал, что Бремен всемогущ, а потом, ведь адъютант генерала обещал режиссеру жизнь его подчиненных. Так почему же фон Брик переменил решение и вдобавок солгал? Гестапо проводило столько облав, хватало столько заложников, что вряд ли заметило бы отсутствие двух человек. И зачем, зачем Бремен солгал ему? Ведь он, Константин, поверил Бремену, он вообще склонен был верить людям, во-первых, чисто инстинктивно, во-вторых, из упрямства. И когда жизнь доказывала ему опасность подобной позиции или друзья подсмеивались над его легковерием, он высокомерно заявлял: «Лучше быть обманутым, чем недоверчивым». В действительности он просто считал недоверие слишком утомительным и мрачным — доверять было куда приятнее и легче. Но его друзья, как и вообще все его окружение, полагали невыносимым и позорным для себя быть обманутыми; они не понимали, как он может так быстро утешаться после очередного разочарования, и сочли бы его извращенцем, узнав, что ему заранее наплевать на результат; вот почему приходилось заявлять им: «Я еще в ранней молодости поспорил сам с собой, что человек добр!» — и действовать в соответствии с этими словами, лишний раз выдавая свои неосознанные побуждения за твердую решимость, а собственный характер — за высоконравственный.

Итак, Константин был сильно угнетен, но, к великому своему стыду, не столько возможной казнью своих друзей, сколько теми энергичными хлопотами, на которые ему предстояло решиться. Больше всего на свете ему хотелось теперь полеживать на ковре, слушая пластинки Эдит Пиаф, покуривая английские сигареты и попивая холодные мятные коктейли. Лень и скука навалились на него при мысли о том, что сейчас придется выйти на улицу и ехать умолять о чем-то Бремена. А Константин хорошо знал, что лень и скука — чувства такие же неодолимые и захватывающие, как любовь или честолюбие. Ему-то это было прекрасно известно: слишком часто оба порока одерживали в его душе верх над обеими страстями; лень мешала пойти на важную встречу со

всесильным продюсером; скука вгоняла в сон рядом с молодой женщиной, стоило ей на миг умолкнуть; а ведь только что, казалось, он был в нее безумно влюблен. Нет, эти «псевдо»-чувства владели им, и владели цепко.

И все-таки нужно было встряхнуться — ведь он уважал Вайля, любил Швоба и не мог без дрожи представить себе их обоих завтра на заре с белыми от ужаса глазами, с небритыми застывшими лицами перед двенадцатью черными зрачками смерти. Не мог без муки думать о двух людях, доверившихся ему — ему, который попытался взять их под свою защиту... «Да нет, я мог бы! — подумал он.— Я мог бы...» — и его обуял нервный смех. Конечно, он мог бы — забыть об их судьбе, если бы... если бы некий добрый и храбрый, верный и благородный рыцарь — Константин фон Мекк — не потеснил этого Константина — ленивого верзилу, которому только дайте почитать Сашу Гитри [1], а на остальное наплевать. Если уж быть откровенным до конца, то смерть что Вайля, что Швоба в данный момент была ему глубоко безразлична; он чувствовал, как крепнут и по-хозяйски завладевают им равнодушие, спокойствие и цинизм — пороки, которые сильно обеспокоили бы его, не будь он столь же мало уверен как в них, так и в своих добродетелях. Он хорошо знал, что сейчас станет тем, другим — преданным, бесстрашным и испуганным собственным бесстрашием достойным человеком, с которым сам не знал, что делать — презирать ли его, восхищаться ли им, цепляться ли за него? Этот человек жил в Константине, был им самим, ибо почти всегда действовал как он, согласно его принципам, и именно этому человеку предстояло победить в разладе между сердцем и рассудком или, вернее, между долгом и ленью...

Константин достал из шкафа свой единственный классический костюм-тройку серого цвета с черными галунами — в этом наряде он выглядел совсем худощавым и откровенно напоминал русского террориста. Итак, еще более высокий, стройный и царственно-небрежный, чем всегда, Константин сошел вниз по ступеням отеля «Лютеция» и, сев в свой «дуизенберг», отправился в гестапо.

* * *

Особняк, где располагалось гестапо, имел мрачную репутацию — явно не без оснований; во всяком случае, Константин не знал никого, кто бы там работал или хотя бы мог принять его. Он долго пытался дозвониться в Берлин Геббельсу, но это ему не удалось и обеспокоило его еще сильнее. Предпоследний фильм Константина пользовался оглушительным успехом во всей Германии и в оккупированных странах, министр даже прислал режиссеру собственноручно написанное поздравительное письмо, но вот «Скрипки судьбы» выглядели настолько идиотской мелодрамой, настолько явным издевательством, что Геббельс не мог этого не заметить. И теперь Константин ехал к генералу Бремену, не заручившись ничьей поддержкой.

Коридоры парижского гестапо как две капли воды походили на берлинские: такие же нескончаемые и могильно-холодные, с такими же часовыми в стальных касках через каждые десять метров. Константина провели в приемную и оставили там созерцать в окне озябшие каштаны оккупированного Парижа. Он стоял и ждал в своем темном костюме, не смея шевельнуться, чувствуя себя раздраженным и неуверенным, словно родитель, вызванный в школу классным наставником,— с той лишь разницей, что родителям вряд ли приходится умолять директора пощадить жизнь своих детей. Прошло десять минут, потом двадцать, Константин совсем изнервничался; наконец за ним явился адъютант — другой, не тот, с кем он говорил накануне в доме Бубу Браганс. Этот был хрупкий смазливенький блондинчик, и Константину сразу припомнился рассказ Романо о нравах генерала. Его ввели в огромную

---

[1] Французский актер и драматург (1885—1957).

комнату, и он внутренне усмехнулся при мысли о том, что, невзирая на все усилия, генералу Бремену далеко до великолепия министра пропаганды: его письменный стол — разумеется, поставленный на другом конце зала, дабы посетителю пришлось преодолевать огромное пустое пространство — все-таки был вполовину меньше, чем у Геббельса. Адъютант шествовал перед Константином, виляя задом, как девица; неспроста Бремен посещал парижские салоны без него: мальчик смотрелся слишком уж вызывающе. Доведя гостя до Бремена, который учтиво поднялся навстречу, юный адъютант повернулся к Константину:

— Я хотел вам сказать, господин фон Мекк,— промолвил он, очаровательно зардевшись,— что просто обожаю ваши фильмы.

Константин слегка поклонился.

— Тысячу раз вам благодарен...

— Будьте добры оставить нас, капитан,— вмешался Бремен, явно раздраженный этими светскими любезностями.

Адъютант побагровел, выбросил вперед руку и проорал «Хайль Гитлер!», так оглушительно щелкнув каблуками, что Константин вздрогнул. По знаку Бремена он опустился в кресло у стола и нервно стиснул руки. Нехороший дух витал в этом доме — словно вы очутились разом и в булочной, и в больнице. Здесь пахло не эфиром, не ванилью, а тем и другим вместе, и сочетание это было тошнотворным.

— Прошу прощения за беспокойство, генерал,— начал Константин,— мне следовало бы предупредить вас о своем визите заранее, но я случайно прочел сегодня в газете, что мои друзья, за которых я ходатайствовал вчера, должны быть расстреляны завтра утром. И меня это крайне удивило, учитывая наш вчерашний разговор и данное вами обещание.

Он говорил, делая долгие паузы между словами в надежде, что Бремен прервет его, но тот молчал. Церемонно положив руки на подлокотники кресла, генерал пристально смотрел на посетителя, сощурясь от желания понять и брезгливо опустив уголки рта.

«Старый педик! — яростно выбранился про себя Константин.— Старый сволочной педик! И как только Романо мог спать с этой мразью! Вот кошмар-то!»

Он пробовал подстегнуть себя конкретными образами, но тщетно: Романо никак не сочетался с этим старикашкой, который выглядел на все сто лет, хотя ему едва ли было пятьдесят. Наконец Бремен ответил — с недоброй натянутой улыбкой, словно кюре, отпускающий грехи прихожанину на исповеди:

— Вы, без сомнения, имеете в виду ваших друзей... евреев?

Бремен сделал нарочитую паузу между двумя последними словами, словно считал их несовместимыми. Константин нахмурился.

— Именно так,— ответил он.— Швоб и Вайль входят в число завтрашних жертв под фамилиями Пети и Дюше.

По оптимистическим представлениям Константина все было очень просто: сейчас Бремен возьмет со стола листок, напишет на нем имена Пети и Дюше и вручит его Константину, который вручит его адъютанту, который вручит его еще Бог знает кому, а потом внизу, в вестибюле, Константин найдет двух своих ассистентов и быстренько увезет их отсюда на машине. Но дело казалось не таким легким. Константин дружески улыбнулся генералу, но ответа не получил. Выставив вперед руки, тот с преувеличенным вниманием разглядывал свои ногти.

— Знаете ли вы, господин фон Мекк, что подложные документы ваших друзей могут им стоить очень дорого? Ведь это конкретная попытка обмануть власти... избежать конкретной кары, если встать на их точку зрения. Разве нет?

— Ну в таком случае единственный виновный — я! — торопливо возразил Константин.— Это я раздобыл им фальшивые бумаги. Послушайте, генерал,— сказал он, наклоняясь к собеседнику,— послушайте, ну давайте рассуждать как деловые люди. Эти двое — прекрасные ас-

систенты, в высшей степени достойные личности, умные, способные люди. Они были незаменимы при съемках, а сейчас необходимы мне для монтажа фильма.

— Господин фон Мекк,— сдавленным голосом вымолвил генерал,— господин фон Мекк, постараемся забыть то, что вы сказали. Постараемся забыть, что это вы снабдили их подложными документами. Впрочем, постараемся забыть и все остальное,— решительно закончил он.

— Я вас не понимаю,— сказал Константин.

Он почувствовал, что бледнеет, сердце тяжело заколотилось у него в груди. В голосе этого маленького, но всемогущего старичка прозвучало что-то угрожающее, что-то бесповоротное, очень похожее на отказ.

— Да, господин фон Мекк, вам придется забыть о ваших... ваших евреях, боюсь, что так. Впрочем, по документам они ведь арийцы. И по вашей просьбе мы перевели их как арийцев в тюрьму для арийцев. В этом и заключался смысл ваших хлопот, не так ли?

Константин, которого передернуло от слова «хлопоты», тем не менее кивнул.

— Конечно, генерал. Только я не хлопотал о том, чтобы их расстреляли и...

— Позвольте мне продолжить, господин фон Мекк,— прервал его Бремен.— По вашей просьбе мой адъютант прямо среди ночи весьма любезно распорядился о переводе ваших друзей в другую тюрьму, но так случилось, что нынче утром там были взяты заложники из числа гражданских лиц, среди коих случайно оказались ваши друзья. Неприятный случай, в этом я готов с вами согласиться.

Бремен говорил с явным удовольствием, смакуя мерзкую холодность тона, которую, видимо, находил восхитительной. Константин выпрямился.

— Я не понимаю, генерал,— сказал он.— Вы сообщаете мне, что этих двух человек убьют за то, что они евреи, или за то, что они не евреи? Или потому, что они скрывали свое еврейское происхождение? Тут какая-то путаница, знаете ли!

Бремен, который вздрогнул и привскочил с места, когда Константин шевельнулся, сел обратно, но как-то боязливо, на краешек сиденья, ибо в голосе его собеседника прозвучала неприкрытая угроза.

— Успокойтесь, пожалуйста, господин фон Мекк,— пролепетал он испуганно, ища глазами звонок.

Константину вдруг безумно захотелось, чтобы по звонку явился адъютант: вот уж он тогда сделает отбивную разом из адъютанта и из Бремена! А потом зашвырнет их в камин, точно пару обнявшихся марионеток! Кровь бурными толчками стучала в висках, в запястьях, в горле, как всегда бывало в приступе ярости; на какой-то миг ему почудилось, что сердце вот-вот откажет, остановится, и он подумал: «Когда-нибудь меня вот так удар хватит. Ванда мне часто это предсказывала. И подохну как идиот, прямо тут, на паркете, у ног этого подонка. Ну и мерзость же эта жизнь! И немцы мерзавцы! Все они мерзавцы, Романо прав — будь то офицерье с их светскими курбетами или солдаты, гавкающие не хуже псов... мерзавцы, все до единого! А я-то, что я здесь делаю?» — вдруг спросил он себя в безнадежном отчаянии.

— Господин фон Мекк,— нетерпеливо повторил Бремен из-за стола,— я ничем не могу вам помочь.

Зазвонил телефон, и генерал снял трубку. Константин откинулся назад, беспомощно уронив руки, галстук у него распустился и съехал вниз. Как сквозь сон услышал он слова Бремена: «Ах, так? Поберегите его, слышите? Это очень нужный человек, не бейте его слишком сильно. Поаккуратней там!.. Полагаюсь на вас».

И у Константина мелькнула смутная мысль: «Ну ведь должна же в нем остаться хоть капля сострадания...»

— Вам не в чем упрекнуть себя,— обратился к нему Бремен.— Даже если бы ваших друзей не расстреляли, они были бы отправлены в Освенцим.

— Но согласитесь,— отозвался Константин упавшим голосом,— согласитесь, генерал, что между расстрелом и трудовым лагерем есть небольшая разница.

Однако ироническая усмешка Бремена и пожатие плеч погасили в нем надежду на милосердие.

— Послушайте, генерал,— сказал Константин, подавшись к столу,— прошу вас, окажите мне любезность, позвольте позвонить от вас Геббельсу, я передам вам трубку, и он скажет...

Но тут вновь затрезвонил телефон, и Бремен, закативший было глаза к потолку, снял трубку. Вдруг Константин увидел, как он побелел.

— Господи Боже! — воскликнул генерал.— Я иду! Сделайте пока все необходимое, отвяжите его, уложите, вызовите врача. Сейчас буду.— И он с невероятной скоростью побежал к двери в глубине кабинета. Константин провожал его изумленным взглядом: дробная рысца, прижатые к бокам локти, вздернутый подбородочек. Смешон! Он был просто смешон!..

Постояв с минуту в одиночестве, Константин бросил взгляд на стол, надеясь — чем черт не шутит! — найти там бланк с грифом «Приказ к исполнению», «Просьба об освобождении» или «Приказ об освобождении», в общем, какую-нибудь ерунду такого рода, хотя и сам понимал наивность своих надежд. Ничего похожего он там не обнаружил — одни только распоряжения о поездах, грузовиках, вагонах, рейсах, словно попал в министерство путей сообщения. Легкое покашливание заставило его отпрянуть назад, словно вора, пойманного с поличным, но это оказался всего лишь адъютант — он появился из двери в глубине кабинета, еще розовый от недавнего волнения.

— Господин фон Мекк,— произнес он свистящим от полноты чувств тенорком,— господин фон Мекк, я хотел бы прежде всего выразить вам свое восхищение и зависть. Как подумаю, что вы женаты на Ванде Блессен!.. Какая потрясающая судьба, ах, господин фон Мекк! — сыпал он, то и дело озираясь на дверь, в которую выскочил генерал. Константин раздраженно тряхнул головой: что правда, то правда — Ванда почему-то всегда возбуждала восторг в педерастах всех мастей.— Господин фон Мекк,— продолжал адъютант, подойдя поближе,— я должен вам сообщить... я слышал... простите, я случайно слышал ваш разговор с генералом и... я хочу сказать вам... заложники... они были расстреляны сегодня утром.

— Как?! — вскричал Константин. Вот тут-то он и понял на деле классическое выражение: у него буквально подкосились ноги. Ему пришлось опереться о стол, чтобы не упасть. Нет, о нет, он не был безразличен к судьбе Швоба и Вайля! Каким дураком, каким фантастическим дураком он был там, в гостинице, когда на миг вообразил себе, будто они ему безразличны! Сердце у него разрывалось от горя.

— Видите ли,— объяснял адъютант,— это делается специально: в газете пишут, что заложники еще живы, поскольку часто находятся люди, которые хотят их выручить и для этого приходят в тот же день или накануне и либо выдают кого-нибудь, либо поставляют другую важную информацию, в общем, это дает результаты. Но на этот раз их уже расстреляли всех, утром. Так что вы напрасно просили Генриха... о, простите, генерала,— испуганно поправился он.

Несмотря на ярость и отчаяние, Константин все же заметил, как мальчик покраснел, принужденно улыбнулся и замер с открытым ртом, уразумев, что означало вырвавшееся у него имя Бремена и его собственное смущение, а заодно и то, что смущение это не ускользнуло от внимания собеседника.

— Осмелюсь ли я попросить у вас автограф? — продолжал адъютант, и ошеломленный Константин расписался на бледно-голубом ли-

сточке, где ему пришлось, по просьбе своего юного поклонника, добавить: «Дитеру — Константин фон Мекк», как будто этот самый Дитер был не адъютантом генерала, а самым близким другом режиссера, что и заверялось данной надписью.

Молодой человек удалился, пятясь и сияя улыбкой, от радости он даже позабыл свое прощальное «Хайль Гитлер!». Константин остался один, и его охватила непонятная паника: что он тут торчит? Ведь парень сказал правду, это яснее ясного. Ему хотелось прибить генерала до смерти: ощущение бессилия, только что испытанное перед Бременом — чувство, доселе ему неизвестное,— душило его, сдавливало горло. И наплевать, если потом он будет убит или арестован и брошен в тюрьму, другое останавливало его: он не один, у него есть Романо, и Романо нуждается в нем, чтобы выжить. Нужно уходить отсюда. Нужно обязательно уходить, пока не вернулся тот дебил и пока сам он не дал волю своему гневу.

Константин вытер лоб рукавом и удивился при виде мокрого пятна на ткани пиджака; он вышел из кабинета, но, ошибившись дверью, попал на галерею, окружавшую лестничный пролет, и решил спускаться пешком. Вдруг над ним, сверху, раздался грохот, зазвенели выкрики: он вскинул голову и увидел какой-то окровавленный мешок, перевалившийся через перила галереи; с воплем пролетев мимо Константина, он рухнул десятью метрами ниже, на плиточный пол вестибюля, и вокруг него тотчас расплылась кровавая лужа. В какую-то долю секунды Константин успел увидеть лицо падающего — нет, уже не лицо, а то, что раньше было лицом, бесформенное месиво, лишенное черт и взгляда,— и туловище, настолько густо покрытое черными и багровыми пятнами, ранами, ссадинами, что лишь по рукам, в последнем отчаянном рывке простертым к нему, понял, что человек этот — не негр, а белый. Константин судорожно отшатнулся, потом, не обращая внимания на странный звон в ушах, ринулся обратно, наверх. В несколько прыжков одолев лестницу, он расшвырял каких-то людей и оказался лицом к лицу с Бременом. Он схватил его за шиворот и почти вбил в стену. Чьи-то руки вцепились ему в плечи, в волосы, в бока, оттаскивая прочь, но он все же успел ударить Бремена еще два-три раза; он бил куда попало, не то ребром ладони, не то кулаком, бил со свирепой энергией, с веселой удалью человека, отринувшего осторожность, ощутившего себя всемогущим. Константин бил в это надменное, лживое лицо с сухими чертами искаженными вечным лицемерием, притворной жалостью и непритворной жестокостью. Он бил в это лицо, которое, наверное, вот уже три года было его собственным, а он-то этого не знал!..

С большим трудом его оторвали от генерала.

Спустя неделю режиссер Константин фон Мекк в сопровождении своей новой «пассии» — юной кинозвезды, надежды французского кинематографа Мод Мериваль отбыл на отдых в Экс-ан-Прованс, на виллу, предоставленную в его распоряжение одной из его старинных приятельниц, элегантнейшей мадам Элизабет Браганс. Режиссер, впрочем, собирался не только отдыхать, ибо увез с собою месье Бруно Вальтера и месье Жан-Пьера Дану — хорошо известных публике киносценаристов, а также месье Романа Вилленберга, своего ассистента по подбору натуры. Знаменитый режиссер намеревался снимать на натуре и при весьма желаемом участии великой кинозвезды Ванды Блессен в роли Сансеверины «Пармскую обитель» по роману Стендаля — произведению, которое, как с отчаянием констатировал продюсер УФА Дариус Попеску, насчитывало целых пятьсот страниц. Прекрасно, конечно, что Стендаль настрочил их всего за три недели и что краткость этого срока вызвала восхищение Константина фон Мекка, но Дариус Попеску не скрыл от последнего своих опасений: ведь столько же времени у него может уйти и на чтение.

Часть вторая

Глава I

Куда только девались неотразимая красота и естественная грация, которыми природа наделила героя-любовника Люсьена Марра́, выбранного Константином фон Мекком на роль Фабрицио дель Донго: стоило актеру сесть на лошадь, как все его очарование бесследно улетучивалось. Едва он оказывался в седле, лицо его искажалось, плечи ссутуливались и аристократической непринужденности персонажа как не бывало. Тщетно представители УФА разыскивали сперва в местах съемок, потом в Париже подходящего дублера: похоже было, что СПР[1], плен или уход в Сопротивление начисто выкосили именно французских наездников... Оставались слишком малорослые, слишком толстые или коренастые — во всяком случае, ни один из них не способен был изобразить стройного и прекрасного юношу. Итак, Константин фон Мекк решился на отсрочку, сняв сперва пейзажи Прованса, напоминающие итальянские, а затем, по приезде Ванды Блессен, несколько сцен на натуре с Сансевериной — одной или в сопровождении графа Моски. Так прошло две недели, а тем временем мастера манежа пытались преподать хотя бы начала верховой езды совсем приунывшему Люсьену Марра.

Нынче утром, когда пошла третья неделя съемок, злополучному красавцу предстояло сесть на одного из тех великолепных неукротимых скакунов, коих Константин фон Мекк счел достойными блистательного наездника, описанного Стендалем. Ибо если в битве при Ватерлоо Фабрицио дель Донго еще мог, по необходимости, скакать на какой-нибудь случайной кляче, то, уж конечно, ему неприлично было гарцевать на смирной манежной лошадке под балконом красавицы Фаусты. Итак, ему подвели норовистого вороного жеребца-полукровку, заранее взмокшего от возбуждения, и несчастный Люсьен Марра в жемчужно-сером нанковом камзоле, тоже взмокший, но от страха, вынужден был подойти к этому страшилищу. Тренер по верховой езде держал жеребца под уздцы; Люсьен Марра вдел левую ногу в стремя и, побуждаемый всеобщим ожиданием, перенес правую; на секунду он утвердился было в седле, но тут жеребец легким взбрыком отправил своего всадника в воздух, за три метра от себя. Это произошло молниеносно, а затем последовали десять минут криков, охов и ахов, тем более разнообразных, что съемочная группа являла собою настоящее вавилонское смешение языков. Юные звезды Мод Мериваль и Люсьен Марра были французами, великая голливудская кинозвезда Ванда Блессен — шведского происхождения, а Людвиг Ленц, в вышей степени красивый и благовоспитанный мужчина, исполнявший вторую мужскую роль,— немец родом из Венгрии. Остальные актеры и технический персонал были под стать им. Так что беднягу Люсьена Марра подняли на ноги и отчистили от пыли с самым невероятным разноязыким гомоном. Актер медленно и неловко взобрался на коня и через мгновение вновь плюхнулся в траву — к счастью, довольно мягкую. Осыпаемый ругательствами Константина и уязвленный неэффективностью своих уроков, тренер попытался укротить жеребца, сев на него самолично, но только усугубил ярость животного. Не успел он опуститься в седло и ехидно улыбнуться, как тем же манером был сброшен лицом в пыль. Взбудораженную лошадь долго выводили, стараясь успокоить, но когда десять минут спустя юный Фабрицио дель Донго под прицелом камеры в свою очередь сел на жеребца, ему удалось лишь коснуться седла — он тут же кубарем вылетел из него прочь.

Этот прискорбный инцидент поверг в отчаяние продюсера УФА господина Попеску, для которого каждая потерянная секунда отдавалась

---

[1] Служба принудительных работ, отправлявшая французов на работу в Германию.

похоронным звоном. Зато режиссер Константин фон Мекк, излив в крике всю свою ярость, нашел отдохновение в смехе и покорности судьбе. Пока Дариус Попеску в отчаянии рвал на себе волосы и с воплями метался от лошади к актерам и от актеров к лошади — так, словно его посредничество способно было вдруг создать таинственное молчаливое согласие между нею и окружавшими ее двуногими,— помощь пришла с самой неожиданной стороны; ассистент по подбору натуры, молчаливый, скрытный красавец Роман Вилленберг одним прыжком вскочил на коня и прогарцевал мелкой рысцой — легко, изящно, красиво — с одного конца луга на другой. Молодой человек божественно держался в седле, кроме того, своей худощаво-стройной, но крепкой фигурой он как две капли воды походил на героя-любовника. Съемки были спасены! Вилленбергу предстояло скакать туда-сюда на лошади вместо Люсьена Марра, которого в крупных планах ассистенты станут весело трясти и подбрасывать на стуле — старинная уловка, известная еще со времен немого кино. Правда, Роман Вилленберг был блондин — убийственно светлый блондин, и он категорически отказался, один Бог знает почему, перекрашиваться в брюнета, но кивер, надетый на голову, мог уладить дело.

Если сей неожиданный талант Романа Вилленберга вызвал уважение у мужской половины группы, то благосклонность женщин была завоевана этим прекрасным юным кавалером давным-давно и доказывалась ему достаточно часто — столь же часто, сколь и незримо для посторонних. Во всяком случае, именно такое впечатление вынес Дариус Попеску из весьма игривых комментариев дам съемочной группы: похоже, что спортивные таланты Романа Вилленберга не ограничивались верховой ездой под открытым небом. Но за этим небольшим исключением о самом юном Романе никто ничего не знал. Он входил в число тех преданных Константину фон Мекку людей, которых тот повсюду возил с собой,— декоратора, главного оператора и секретаршу. И Попеску в жизни не заприметил бы этого неуловимого юношу, если бы его верховые подвиги и смешки женской половины группы не привлекли к нему внимания продюсера. В самом деле: долгое время послужив немецкой науке в качестве этнолога и выдав всех знакомых ему евреев, Попеску теперь был нанят гестапо в совершенно конкретном качестве осведомителя. К несчастью, с тех пор как они прибыли на юг Франции, Попеску не посетило ни одно подозрение, не попался ни один сомнительный тип, и хотя единственной наградой за доносительство были его собственная жизнь и безопасность, Попеску начинали мучить угрызения совести перед его временными хозяевами.

— Ну что, господин Попеску? — раздался сзади рокочущий бас.— Теперь УФА спасена?

Попеску обернулся на голос своего истинного хозяина, нынешнего и каждодневного хозяина, то есть Константина фон Мекка, который возвышался над ним, небрежный, нескладный, в экстравагантном, давно уже немодном костюме из небеленого льна, в курортном стиле тридцатых годов, с бело-голубой косынкой на шее вместо легендарного красного шарфа; он стоял и улыбался своей улыбкой счастливого человека. Дариус Попеску невольно загляделся на Константина: высокий выпуклый лоб, густые брови и ресницы, пышные усы и шевелюра, слишком большие удлиненные глаза, слишком торчащие скулы, слишком волевой орлиный нос, слишком белые зубы между слишком длинными и мясистыми губами, над твердым мужским подбородком с чувственной ложбинкой посередине. В этом лице не было ни одной смазанной, неясной черты, и Попеску, благо что абсолютно не женоподобный, все же смутно почувствовал, как должны стремиться женщины укрыть этот застывший вихрь на своем плече, сохранить для себя, у себя на груди, в темной бездне желания это первобытно-грубое лицо, которое жизнь, интеллект, время и морщины сделали одухотворенным и даже, если приглядеться получше, по-детски беззащитным.

— О да,— согласился Попеску, подняв глаза к темному силуэту, заслонившему от него солнце,— признаюсь вам, господин фон Мекк, у меня прямо гора с плеч упала. Это у вас, наверное, наследственное, да? Мне кажется, вы и сами прекрасный наездник?

— Как это — наследственное? Что наследственное? — с враждебным подозрением осведомился Константин.

Попеску всполошился:

— Да я только хотел сказать, что элегантная посадка — это наверняка талант, свойственный многим знатным семьям, не так ли? А ваш кузен так великолепно держится в седле... Прошу прощения, но в карточке господина Вилленберга записано, что он ваш родственник. Поэтому я позволил себе...

— Ну да, родственник... дальний,— ворчливо подтвердил успокоенный Константин.

И он отошел, не обернувшись и оставив Попеску в полном недоумении. С чего вдруг Константину вздумалось отрицать свое родство с этим членом семьи, выказывать странный снобизм, которого Попеску никогда не замечал в нем?

Пока с Люсьена Марра снимали роскошный камзол Фабрицио и надевали его на Романа Вилленберга, Константин фон Мекк пересек лужайку, где суетилась его команда, и постучал в гримерную — а проще говоря, в фургон на колесах,— где его бывшая супруга Ванда Блессен читала, сидя в шезлонге у открытого окна. Ее изумительное, известное во всем мире лицо даже под безжалостно-ярким июньским солнцем не оскверняла ни одна лишняя морщинка. За все десять лет, что Константин знал Ванду, любил Ванду, он всегда видел ее не старше чем тридцатилетней: ей было тридцать навсегда. Когда он вошел, Ванда обернулась и встретила его улыбкой, нежной улыбкой, которая вывела его из себя. С самого своего приезда Ванда отказывалась спать с ним, и это казалось Константину издевательством, если не извращением. Они были любовниками по природе своей, от рождения, и, даже разведенные, все-таки навеки принадлежали друг другу. Кроме того, между ними не стоял третий, им не мешали сожаления о прошлом, словом, ничто не оправдывало этот отказ — отказ, который полностью противоречил ее присутствию здесь. Константин ровным счетом ничего не понимал. Америка много месяцев назад вступила в войну, а Ванда была американской подданной. Болезнь отца привела ее в Швецию — это было естественно, но то, что из Швеции она приехала прямо в оккупированную Францию, согласившись сниматься для Германии, вражеской страны — пусть даже в такой желанной роли,— казалось Константину совершенно необъяснимым и могло быть оправдано только их взаимной страстью. Константин всегда плохо понимал мотивы поведения своей жены и даже довольно долго делал это непонимание предметом какой-то глупой гордости. Слава и популярность Ванды Блессен подогревались еще и ее причудами, загадочными исчезновениями и взбалмошными выходками, и Константину всегда нравилось заявлять: «Я ничего не понимаю в своей жене», тем самым наводя собеседника на мысль: «Но она любит его!» — и мысль эта была для него и лестной, и в конечном счете удобной. Мало-помалу он привык считать забавным и даже нормальным свое непонимание характера собственной жены, восхищаться — вместе с газетами — ее сумасбродствами и игнорировать вместе с окружающими всю глубину ее натуры. Мало-помалу и сама Ванда — пленница своих привычек, актерского инстинкта и желания нравиться Константину — согласилась с тем, чтобы он любил ее за то, что больше всего любил в ней: за непостоянство и изменчивость настроений. Оба они смутно понимали это, и каждый сожалел о своем отношении ровно настолько, чтобы упрекать в нем другого больше, чем себя...

Стоя в ногах шезлонга, Константин рассматривал Ванду. Он глядел на ее черные волосы, отливавшие на солнце синевой, на лицо с такими безжалостно четкими, хотя и непроницаемыми чертами и такой

белоснежной — тугой от скул до подбородка — кожей, что она розовела от малейшего слова. Он глядел на ее длинный нос с трепещущими ноздрями, на ее рот с опущенными уголками губ, который говорил «нет». Все это лицо жаждет любви, глаза мечтают о ней, но рот сурово говорит лицу «нет». Как писал один из банды слабоумных критиков и как говорили все зрители ее фильмов, да и все ее продюсеры, коим надлежало, однако, изображать пресыщенность, невозможно было не любоваться Вандой, и Константин помимо воли любовался ею. Уж он-то знал, что веселое оживление и смех, приподнимавший уголки этих губ, освещали детским простодушием слишком страстное ее лицо.

Да, это прекрасное создание, думал с нежностью Константин, прекрасное, сложное, непостижимое. Но у нее еще и прекрасное лицо, лицо, чью чувственность удваивает ум.

И с уст Константина сорвался преждевременный стон наслаждения. Встряхнувшись, он поймал мимолетно-беспокойный, мимолетно-нежный взгляд Ванды.

— Что случилось? — спросила она своим хрипловатым, циничным, знаменитым, как и ее лицо, голосом.

Пожав плечами, он ответил: «Ничего» — и сел у нее в изножье. Из открытого оконца на них пахнуло ароматом перегретой травы, земли, деревни, и Константин, взяв руку Ванды, приник к ней щекой с юношеским пылом. Какой далекой становилась война, когда он оказывался рядом с этой женщиной! Подле нее он вновь обретал свое прошлое, свое ремесло, свою жизнь, вновь обретал необъятные пляжи Америки — золотистые или серые, ее знойные солнца, запахи ветра и бензина, весело звенящие голоса; он вновь обретал ее слишком просторные дома, растрепанные пальмы, машины, пахнущие кожей, бары и пианино; он вновь обретал все то, что было основой его существования, музыкой и ароматом его жизни, плотью, облекающей костяк. И иссушающая тропическая ностальгия сжимала ему горло возле этой женщины, хотя она-то родилась на берегу бесцветного тусклого фьорда, среди ночи — северной белой ночи...

— Знаешь,— сказал он тихо,— я скучаю по Америке.

— Вот странно-то! — откликнулась Ванда ровным, без всякого волнения голосом.— А мне нравится здесь, я до сих пор не знала Франции, или знала ее очень плохо.

— Но то, что ты видишь, не Франция,— ответил Константин,— а оккупированная Франция. Это совсем разные вещи.

— Да неужели?! — заметила она, как будто без иронии, и сделала паузу, дав место молчанию, которое — он это ясно почувствовал — было вопросительным, если не строгим.

Чего она ждала от него? На какой ответ рассчитывала? Неужели она хоть на минуту понадеялась на то, что сегодня он способен объяснить свою грандиозную ошибку 1937 года лучше, чем любую другую глупость, совершенную двадцатью годами раньше? Могла ли думать, что он постарел, что он созрел, что у него теперь есть ответы на все ее вопросы? Ей ведь хорошо было известно, что только две женщины во всем мире могли отвечать за него, вместо него на любой вопрос, и эти женщины были сперва его мать, а потом она сама. И потому Ванде не о чем было спрашивать его, а ему не пристало ей отвечать, тем более что она вздумала разыгрывать недотрогу. Так неужели же он, Константин, станет говорить с ней «только в присутствии адвоката»? Нет, он подождет того момента, когда они окажутся вдвоем в постели. И лишь тогда, в темноте, меж теплых простынь, возле этой женщины и после любви, он сможет ей ответить на все. Так он думал, и это вовсе не было шантажом — просто закон жизни.

Рука Ванды легла на его волосы.

— Знаешь, в чем заключается благородство графа Моски у Стендаля? — спросила она внезапно, подняв к нему книгу, которую читала и перечитывала со дня своего приезда.— Любой пятидесятилетний муж-

чина, англичанин или американец, в его положении сказал бы себе: «Моя любовница предпочла этого юного ветрогона? Значит, она просто шлюха». А Моска думает: «А почему бы ей не предпочесть такого прекрасного юношу мне, старику?» Он предоставляет Сансеверине полную свободу и эстетический выбор, в котором мужчины до сих пор отказывают женщинам. Мужчины, видишь ли, верят женщинам, то есть они хотят видеть их, женщин, более зачарованными деньгами или властью, нежели мужской красотой,— в сущности, они-то и делают из женщин шлюх, поскольку стремятся купить, а потом сохранить их для себя с помощью денег. Но называют их шлюхами как раз тогда, когда женщины перестают вести себя как таковые, когда они расстаются с покоем и роскошью, чтобы последовать душевному порыву, когда деньгам они предпочитают юного красавца. А вот Моска ни минуты не верит, что его состояние стоит гладкого лица и свежих уст Фабрицио. Он справедливо полагает, что в глазах Сансеверины они обладают большей властью, но все равно чтит ее и ставит неизмеримо выше любого другого человека на земле. И знаешь, что я скажу тебе: из всех своих героев Стендаль любит только Моску. Фабрицио дель Донго раздражает его!

Константин изумленно воззрился на Ванду.

— С каких это пор ты размышляешь о Стендале? С каких пор ты вообще размышляешь?

— С самого рождения,— ответила Ванда, грациозно обмахиваясь книгой.

— Ну, если ты столько размышляешь, то зачем приехала снимать-ся сюда? — вырвалось у Константина.— Ведь Америка воюет с Германией. И у тебя будут неприятности, знаешь ли, когда Германия проиграет войну... когда *мы* проиграем войну,— благородно поправился он.

— А ты, значит, рассчитываешь проиграть ее? — расхохотавшись, спросила Ванда.— Ты думаешь, что Германия проиграет войну, несмотря на твое верное сотрудничество начиная с 1937 года? А кстати, можешь ты мне объяснить, какая муха тебя тогда укусила?

— Я сейчас говорю о тебе. Я волнуюсь за тебя,— сказал Константин.

Ванда спокойно взглянула на него:

— И напрасно! Какие еще неприятности? Этот мой промах прекрасно объяснят моей безумной страстью к тебе.

— Тогда как тебя интересует только Сансеверина, не правда ли? — подхватил Константин беззаботным, как ему казалось, тоном, который тем не менее заставил Ванду рассмеяться.

Она провела рукой по волосам Константина, пригладила ему усы и брови — весело и по-хозяйски, что ему очень не понравилось.

— Ты узнаешь,— сказала она,— скоро ты узнаешь мотивы моего приезда. В любом случае, нельзя доверять ни первому, ни второму. В этом я готова тебе поклясться... А теперь иди снимать, милый, иди! Слышишь, тебя уже зовут. Наверное, твой юный Люсьен наконец выучился сидеть на лошади.

— Нет,— мрачно ответил Константин,— не выучился. Его будет дублировать Романо, ассистент по подбору натуры.

— Ах, Романо! — протянула Ванда, и в ее смеющихся глазах мелькнула ирония: этой негодяйке всегда были известны привязанности Константина.— Ах, этот красавчик Романо! Вообще-то именно ему следовало сыграть Фабрицио,— добавила она с улыбкой вслед Константину, в ярости покинувшему фургон.

Его и в самом деле звали — Фабрицио дель Донго, он же Романо, гарцевал на своем скакуне посреди лужайки, в ярких лучах солнца. Константин издалека увидел, как он приподнялся на стременах, удерживая коня, вставшего на дыбы, и вздрогнул от страсти и восхищения перед этим юным цыганом, приговоренным к смерти и взлетающим из травы к небу в беззаботном ликующем порыве. Конь дрожал от бешенства, это был один из тех породистых жеребцов, которых, вероятно,

объезжал некогда с помощью берейторов аристократ Фабрицио дель Донго, и в то же время одно из тех неукротимых злобных созданий, которых несколько лет назад этот нищий, упивающийся опасностью мальчишка, наверное, нахально угонял на венгерских равнинах под громкие вопли хозяев. Но каковы бы ни были — в прошлом и ныне — преимущества одного и недостатки другого, оба они — Фабрицио и Романо — были юношами с горячей кровью, но слабым сердцем. Ибо в конечном счете Фабрицио дель Донго всего лишь огорчался, признаваясь себе, что никого не любит. Романо же почти бахвалился этим. И тем не менее глядя, как он впервые в жизни вышел из тени на яркий свет перед зачарованными зрителями, а быть может, и перед удивленными доносчиками, глядя, как взмывает к небу, к верхушкам деревьев, к радости жизни этот юный цыган, незнаемый никем, даже им самим, Константин вдруг на какой-то миг вообразил, будто ему показывают сцену из оперы, лирическую, благородную сцену... И ведь это впервые доводилось ему видеть, как человек гарцует перед лицом смерти. В Голливуде он часто наблюдал людей, гарцующих перед жестокими превратностями общественной жизни, и еще иногда как гордо гарцующих. Да и в Европе за эти несколько последних лет ему пришлось повстречать немало людей, смело гарцующих перед расставленными ловушками, страхами, опасностью доноса. Но он впервые видел, как юный, ни в чем не виновный, сияющий красотой человек гарцует перед лицом смерти и дразнит ее, сам упиваясь этим. И, быть может, в каком-то смысле Романо выглядел романтичнее Фабрицио дель Донго, который и рисковал-то всего-навсего однажды поддаться смерти, в которую, в отличие от Романо, не мог верить.

— Мотор! — коротко приказал Константин...

Итак, всю вторую половину дня Романо снимали дальним планом в роли Фабрицио дель Донго. Как и его герой, он падал из седла и терял своего коня при Ватерлоо; он спасался от полиции на другом коне; он топтал Джилетти; он гарцевал под балконом красавицы Муффы и мчался вдогонку за Сансевериной. Чуть ли не шесть часов кряду он скакал перед камерой то на одном, то на другом коне, и только к восьми вечера съемка закончилась. Романо направил своего жеребца, ставшего покорнее ягненка, к фургону для лошадей, спешился под строгим взглядом Константина и глянул на него искоса и виновато, и радостно.

— Ну и денек! — вырвалось у него.— Ну и денек! Лошадь потрясающая! Захочет — и двухметровый барьер возьмет!

Он ослабил подпругу, сорвал пучок травы и умелой рукой обтер ею дымящиеся бока лошади.

— Зачем ты вылез? — зло спросил Константин.— Глупо обращать на себя внимание.

— Да я и не собирался,— быстро ответил Романо.— Просто, когда я увидал этого актера или нет, другого, тренера... ну вот, когда я увидал, что он собирается надеть на жеребца вторую узду и цепочку в придачу к трензелю, я не выдержал — ведь он бы ему весь рот разорвал.

— А тебе не кажется, что твой рот поважнее лошадиного? — спросил Константин с благодушием, которого отнюдь не испытывал.

— Ну конечно, нет,— возразил Романо с хитрой усмешкой,— конечно, нет, бедный мой господин! Конь для цыгана — дело святое, знаешь ли. Или тебе это не известно? Ты ведь всего лишь руми. Лошади, Святые Марии-у-Моря да острые кинжалы — вот в чем истинная душа нашего племени!

Романо сорвал с шеи косынку, завязал ее наискось, через лоб, прикрыв ею один глаз, потом схватил руку Константина, словно решил прочесть по линиям ладони его судьбу, и затянул странную, дикую цыганскую песню. Константин в замешательстве вырвал руку: трудно было угадать, какая доля ностальгии примешивалась к шутовству, когда Романо пускался в свои цыганские фокусы.

— Перестань лизать мне руки, цыган несчастный,— огрызнулся Константин, пожимая плечами.— Я всего только и сделал, что спас тебя от верной смерти благодаря моим званиям и храбрости. Откровенно говоря, тебе должно быть стыдно за твои выходки, за то, что ты нарочно лезешь на рожон. Даже здесь доносчиков и соглядатаев хватает.

— Да ладно,— со смехом прервал его Романо,— еще неизвестно, что сейчас опаснее: скрываться или лезть на рожон. Не уверен, что первое лучше. Да и вообще, послушай, я же это не нарочно. Я провел отличный день. Не порть мне его.

Не дожидаясь ответа Константина, Романо отошел от него и постучался к Ванде. Она открыла ему — такая прелестная в сине-бежево-золотистом свитере, который подчеркивал ее собственные сине-бело-черные краски.

— Входите,— сказала она,— входите, прекрасный юноша! И вы, благородный старец, войдите тоже, выпьем капельку этого синтетического портвейна, который преподнес мне добрый господин Попеску. Романо, заведите патефон и поставьте для меня пластинку Эдит Пиаф, от которой я плачу горючими слезами. Входите, входите же!

Константин последовал за Романо, удивляясь и радуясь дружескому согласию, связавшему два самых дорогих ему существа, которые глядели друг на друга и робко и доверчиво, словно каждый из них был приручен другим. И это придавало изысканный привкус их отношениям — так по крайней мере казалось Константину. Романо завел патефон и поставил песню Пиаф; ее слова, довольно-таки бесхитростные, тем не менее вызывали у Константина холодный озноб. Но Ванда позабыла, что хотела заплакать над ними.

— Романо,— говорила она между тем,— Романо, я видела в окно, как ты скачешь на коне, ты был просто бесподобен. До чего же ты хорош верхом! Прекрасен, как бог! Ах, если бы ты и вправду играл Фабрицио, всю роль целиком, вместо этого несчастного Люсьена Мареля... нет, Марра — так, кажется? — уверяю тебя, мне бы это очень помогло. Ты что, не слышишь меня, Константин? Ты уверен, что не можешь отослать своего француза в родные пенаты и выкрасить волосы нашего юного друга в черный цвет или, вернее, восстановить их, ибо перекись в конце концов загубит его чудесную шевелюру? Ну-ка, дай посмотреть,— обратилась она к Романо, который, опустившись перед ней на одно колено, словно перед королевой, подставил ей свои белокурые волосы — волосы, в который раз два дня назад высветленные рукой Константина.

— Вот ужас-то! — воскликнула Ванда.— Да ведь они станут ломкими, тонкими, сухими, ты их испортишь вконец! Нет, это просто недопустимо!

И она бросила на Константина исполненный упрека взгляд, который поверг его в смятение и заставил отвести глаза.

— Ладно, ладно,— проворчал он,— а скоро ли мы будем ужинать? Я голоден как волк.

— Ты всегда голоден, как волк, стоит в чем-нибудь упрекнуть тебя,— с улыбкой заметила Ванда.

— А что ты хочешь от меня услышать? — забормотал Константин.— Ну что? Третий рейх предпочитает блондинов, при чем тут я?

— Да, правда, я об этом слышала. Но тогда отчего немцы выбрали себе в вожди брюнета-недоростка? Это ты мне можешь объяснить? Нет? Ну конечно! — заключила Ванда.— Что ж, пошли ужинать. Бедняжка Бубу, наверное, вся уже истосковалась без нас в своей скромной хижине.

Дом, унаследованный Бубу Браганс от первого мужа, представлял собою огромную ферму средиземноморского типа, выстроенную из охряно-желтого песчаника в форме буквы «М»; в центре двора, переиме-

нованного в патио, красовался бассейн со слишком голубой водой и серыми холщовыми «американскими» шезлонгами. Зато в доме громоздились друг на друга китайские ширмы, чиппендейлевские комоды, сельские «Людовики XVI», и только какая-нибудь соломенная шляпа или плетеное кресло среди этой свалки напоминали гостям о кипарисах, виноградниках, южных пейзажах и лете,— словом, обо всем, что окружало этот дом. Сегодня вечером на ужин должны были подать цыпленка — благодаря Романо, который, наполовину для развлечения, наполовину от голода, демонстрировал свои таланты цыгана и мошенника, регулярно обчищая соседние птичники. Ибо все величественные манеры Константина, все угодливо-липучие подходцы Попеску оказались бессильны — невозможно было вырвать хоть крошку еды у жадных недоверчивых крестьян. В результате Романо крал и грабил по ночам, бросая вызов древним самопалам фермеров и клыкам их собак и принося то яйца, то — правда, значительно реже — птицу, как правило, изловленную после долгого и трудного преследования в темноте. Но вот что странно: куры и прочие пернатые неизменно попадали на стол одноногими, и Романо, отлично помнивший, с какой скоростью они улепетывали от него, страшно удивлялся этому факту и даже поделился своим недоумением с другими. Спустя несколько дней Бубу Браганс вскричала в ответ на изумленные взгляды присутствующих:

— Я знаю, знаю, друзья мои, что одной ножки не хватает. Но если бы я вам сказала, для кого мы отрезаем ее на кухне, вы бы одобрили меня. И даже зааплодировали бы! — заключила она, тут же завладев второй куриной конечностью.

Надо сказать, что тут Бубу немного перехватила по части цинизма, ибо если сказанное ею подразумевало, что она кормит какого-нибудь больного ребенка, умирающего старика или беременную женщину, то через несколько дней Константин узнал правду, обнаружив, как Бубу на кухне собственноручно отхватила ножку у курицы и принялась пожирать ее, торопясь поспеть затем к общему столу. Константин немало повеселился, но никому не рассказал о своем открытии: прибережемка его на будущее, думал он, вот отличный повод для шантажа — незаменимое средство держать в руках Бубу Браганс. А впрочем, за это-то он ее и любил — за бесстыдный, свирепый цинизм. Кроме того, оккупация, как он хорошо понимал, ей очень и очень нравилась: огромное состояние Бубу в течение многих лет вынуждало ее быть расточительной, даже купаться в роскоши, а нынешние продуктовые талоны и прочие лишения обязывали ее — или скорее позволяли ей — проявлять скупость, глубоко заложенную в ее натуре. Однако, несмотря на это, Бубу всегда отличалась естественным и приятным гостеприимством.

Съемочную группу распихали на жительство по маленьким окрестным гостиничкам. В доме Бубу остановились четверо главных актеров, режиссер — Константин, ассистент по подбору натуры Романо и, конечно, продюсер УФА Попеску. Вместе с Бубу Браганс их было восемь человек, и на ужин едва хватало двух кур. Поэтому легко понять огорчение постояльцев Бубу, в особенности Романо, нагулявшего волчий аппетит после своих верховых экзерсисов, когда взорам их предстал новый гость, иначе говоря, новый едок, вдобавок — офицер вермахта, некий капитан фон Киршен, который, завидев входящих, запыленных и замученных, с молодецким видом вскочил на ноги, тогда как Бубу Браганс с сияющим взором вспорхнула и полетела им навстречу, размахивая коротенькими ручками, точно сигнальными флажками.

— Вы только угадайте, кого нам Бог послал! Или вернее, кто приехал к нам из Драгиньяна! Угадайте, кто будет с нами ужинать! Ни за что не угадаете! Это капитан фон Киршен!

— Трудновато было бы угадать,— заметил Константин,— если принять во внимание, что мы не знакомы.

— Ну вот, теперь и познакомились! — воскликнула Бубу, ничуть не

растерявшись.— Капитан фон Киршен был так любезен, что пришел поужинать вместе с нами. Не правда ли, капитан?

Каковой капитан, не имея возможности возразить, склонил голову и щелкнул каблуками, хотя, слава Богу, не воздел руку к небу и не заорал «Хайль Гитлер!», что уже было не так-то плохо, подумал Константин, несмотря на раздражение и усталость. Каждый из присутствующих, усевшись за стол, повел себя на свой лад: Романо уткнулся в тарелку, Константин стал рассеян, Бубу Браганс возбудилась до крайности, а Ванда, как всегда, принялась соблазнять гостя. Именно ему достался самый нежный взгляд, самое ласковое прикосновение руки и все то неотразимое очарование, которое исходило от нее, приводя в восторг миллионы зрителей плюс нескольких избранных. И офицер сдался без боя: он рассыпáлся в остротах и комплиментах, он пыжился и красовался вовсю, а после ужина, на балконе, где Ванда рассеянно попеняла ему на то, что он так скоро покидает их, признался, что весь следующий день проведет поблизости, на железной дороге, и будет думать только о ней.

— И вы даже не зайдете поздороваться с нами? — небрежно проронила Ванда. Она полулежала в шезлонге, откинувшись назад, и на пестром фоне тюльпанов и гладиолусов, обрамляющих окно, ее лицо светилось, точно нежная белая орхидея.

— Увы! Не могу же я спрыгнуть с поезда! — простонал капитан.— Нас отправляют на юг. Но, клянусь, я буду думать о вас, когда проеду мимо, ровно в полночь!

И он вновь пустился в бесконечные бредовые разглагольствования по поводу Гейне, Бетховена и Райнера Марии Рильке; пока Константин зевал за компанию со всеми присутствующими, а Бубу Браганс размышляла над тем, не слишком ли опасна ей Ванда как конкурентка по части обольщения мужчин. Романо лихорадочно высчитывал, сколько часов остается ему до завтрашней полуночи.

— Я не имел права сообщать вам эту информацию, дорогая Ванда Блессен,— продолжал офицер с упорством бестактного собеседника, глубоко убежденного в том, что достаточно повторить бестактность, дабы исправить ее.— Я не должен был, но, посудите сами, кому же и довериться в этой стране, если не вам, мадам Блессен, или нет, Ванда, если позволите, и не вам, Константин фон Мекк,— человеку, отвергнувшему свое американское прошлое, чтобы прийти на помощь нашей стране, и не вам, мадам Браганс,— вы принимаете нас и здесь и в Париже не как врагов, но как верных союзников.

— Ну вот что, дети мои!— воскликнула Бубу, внезапно почуяв, что разговор принимает опасный оборот,— по-моему, пора баиньки. Я хочу, чтобы вы завтра утречком были такими прекрасными, как хотелось Стендалю. Ах, Стендаль!.. я думаю, никто не любит его больше меня, ну, может быть, только Андре Жид, да и то я не уверена... А ну-ка, быстро все в кроватки! Доброй ночи, доброй ночи!

И гости скрылись в многочисленных коридорах, ведущих из огромного салона в спальни; каждый из них вынашивал свой план действий, но при этом не забыл учтиво распрощаться с другими.

Глава II

Приняв душ и побрившись, Константин смочил волосы и шею чудесной, совершенно исчезнувшей во Франции туалетной водой, которую Ванда позаботилась привезти ему из Америки; аромат этих нескольких капель из флакона тотчас одурманил его. Бережно хранимые в душе воспоминания, которые горечь и обида, бессмысленная война и неостановимое время вы́резали из контекста существования и свалили к нему в память, как старый хлам в дырявые ящики,— все эти застывшие клише, эти выцветшие почтовые открытки вдруг сложились в стройный ряд, в живой, осязаемый и больно жалящий сердце фильм его прошед-

шей жизни. Америка внезапно перестала быть абстрактным географическим понятием, которое его жажда счастья слепо отодвинула вдаль, за горизонт, и вновь превратилась в напоенный жарким солнцем и свежими водами континент, в место, где он мог жить, откуда мог быть изгнан, чтобы потом тосковать по нему, поскольку Ванда приехала из этого рая и собиралась вернуться туда, оставив его здесь. Уже то было чудом, что она пробилась к нему сквозь стальные смерчи, град бомб и опасность в свою очередь стать отверженной! Когда она появилась в особняке Браганс, закутанная в меха, несмотря на теплую погоду, в солнечных очках, во всем своем обличье голливудской дивы, и Константин сжал ее в объятиях, он задрожал от счастья и неверия в это чудо; зарывшись лицом в пышный мех роскошного манто Ванды и в ее душистые волосы, коснувшись щекой нежной напудренной щеки, а губами — гладкой и теплой шеи, он напрочь позабыл о Сансеверине — Бог с ней, с Сансевериной! Ванда, его Ванда вернулась к нему! Он потребовал, чтобы УФА пригласила ее на эту роль, ни секунды не надеясь на успех, и что же! — две недели спустя с изумлением узнал о согласии Ванды и приезде ее из Швеции, где она уже полгода ухаживала за больным отцом.

Но та же Ванда целую неделю упорно отказывалась от близости с ним, и хотя отказ этот еще не омрачил огромного счастья Константина, вызванного ее приездом, он все же начал мало-помалу раздражать его. Постучав в дверь, он вошел к Ванде, не дожидаясь ответа. Она лежала в постели и опять — в который раз! — читала свою «Пармскую обитель»; при виде его она нарочито изумленно подняла брови.

— Здравствуй,— сказал Константин,— вернее, добрый вечер. Я пришел узнать, не нужно ли тебе чего,— добавил он с сарказмом, заставившим его бывшую супругу пожать плечами.

— Да нет,— ответила Ванда устало,— мне ничего не нужно. Садись, пожалуйста.— И она указала ему на кресло у кровати. Но сама тотчас же предусмотрительно встала, прикрывая ноги, словно опасаясь этой двусмысленной ситуации, и принялась складывать и убирать разбросанные по комнате вещи; Константин машинально начал помогать ей. За свою совместную жизнь они повидали столько пароходных кают, столько гостиничных номеров, столько квартир в Нью-Йорке, Венеции или Лондоне, столько спален, где каждый из них убирал вещи другого то из любви, то из злобы, что теперь Константину казалось диким, да просто непристойным не разделить после этого с Вандой ложе. Она была его достоянием, его женой, его любовницей, его подругой. И ее отказ спать с ним представлялся теперь глупым детским капризом. Константин дал ей это понять, когда она снова улеглась в постель, тем, что развалился не в кресле, а в ногах кровати, а потом и поперек ее, почти на коленях Ванды, завладев одной подушкой и закурив сигарету, точно калиф у себя в гареме; на Ванду он не глядел.

— А тебе не кажется, что ты ведешь себя вызывающе и вульгарно? — спокойно спросила та.— Ты забыл, где находишься? Мы ведь больше не женаты, мой милый!

— Только не уверяй меня, будто ты оставила в Нью-Йорке или в Швеции свою самую большую любовь и будешь верна ей до гроба. Ты всегда жила только настоящим, моя дорогая.

— А ты всегда жил одним лишь прошлым,— отпарировала Ванда.— Сообщаю тебе, что малышка Клелия Конти — твоя Мод — влюблена в тебя, как кошка, и полностью в твоем распоряжении. А я читаю, Константин. *Я работаю и читаю!*

— Ванда, милая моя девочка, послушай,— взмолился Константин, выпрямившись и обхватив колени жены.— Это я. Это ты. Это мы, тут, вместе. Подумай хорошенько! Ты что, с ума сошла? Посмотри на меня!

Ванда с улыбкой наклонилась вперед, коснувшись губами рта Константина, и тот инстинктивно зажмурился, словно от неожиданного удара. Но лицо Ванды — молочно-белое, расплывчатое, нереальное пят-

но — отодвинулось и снова обрело прежнюю четкость. «Ох, до чего же она все-таки надменна и порочна!» — подумал он.

— Ты порочная женщина!

— Ну, это уж слишком,— отозвалась Ванда,— я порочна, потому что отказываюсь спать с тобой, так?

— Да, так,— подтвердил Константин.— Ты ведь принадлежишь мне, как и я тебе. Все это просто глупо.

— Нет, никому я не принадлежу, я даже не знаю хорошенько, кто ты на самом деле. Хороший любовник, хороший режиссер — это верно. Но что ты за человек? И зачем, почему попал в это осиное гнездо? Поверь, Константин, мне иногда становится страшно здесь, будто нас все время подстерегает какая-то опасность. А что ты думаешь об этой стране? Что ты о ней думаешь? И что делаешь здесь?

Константин по-прежнему опирался подбородком о колени Ванды, но теперь он поднял глаза и встретился с ее бледно-голубым взглядом, в котором светилась недобрая, жесткая прозорливость. Этот взгляд удивил и встревожил его: что еще затевает эта безумица?

— Ванда,— умоляюще сказал он,— прошу тебя, только не ты, только не ты. Ты — это пальмы, это Америка, это Атлантический океан и пароходы. Пароходы!.. Пожалуйста, не говори со мной больше о Европе, я и так слишком долго прожил в ней, ты понимаешь? Целых пять лет!

— Но ведь этот душка-Геббельс, кажется, без ума от тебя,— съязвила Ванда.

— Не знаю,— ответил Константин,— наплевать мне на него! Впрочем, нет, не наплевать, потому что я буду жив до тех пор, пока ему не наплевать на меня.

Наступило молчание; глядя на Константина, Ванда легонько гладила его лицо по старой привычке, по привычке, которую он помнил и любил, и теперь покорился ей, позволяя длинным нежным пальцам скользить по своей крутолобой голове и массировать каждую точку лица; оно поддавалось им, расслаблялось, вновь обретало человеческую форму. «Только руки моей жены возвращают мне человеческое лицо»,— подумал Константин...

— Ванда! — почти простонал он.— Ванда, ты права, что не хочешь меня; я жалкий кретин, в моих жилах течет не кровь, а вода, я человек с рыбьей кровью!

Ванда улыбнулась ему.

— Завтра я это проверю,— сказала она, оттолкнув его голову кончиками пальцев.— Завтра посмотрю, чего стоит твоя кровь.

Растерянный Константин очутился за дверью, в коридоре. Тут он слегка приободрился: все-таки его визит прошел не впустую, Ванда готова сдаться, она вернется к нему — может быть, из жалости, или из страха, или из сочувствия, какая разница; главное, она пообещала, а Ванда, несмотря на все свои причуды, никогда не изменяла данному слову — по крайней мере в этой области.

Горько сожалея о Ванде и ее огромной квадратной постели с тончайшими простынями, которую предоставила великой голливудской звезде Бубу Браганс, Константин лениво поплелся по коридору. Остановившись у распахнутого окна, выходящего в патио, он выглянул наружу. Бортик бассейна, облицованный белой плиткой, слабо светился в темноте; шезлонги, казалось, стояли на страже вокруг поблескивающей воды. Да, только Бубу Браганс способна воссоздать голливудскую декорацию в старом провансальском доме, подумал Константин. Но даже и луна, похоже, пыталась внести свою лепту в этот антураж: слишком круглая, слишком крупная, слишком желтая, чуть затененная с одной стороны, что делало ее похожей на недобритое лицо. Константин невольно поднес руку к собственной щеке, удивился, встретив гладкую кожу, и подосадовал на то, что целых полчаса потратил на бритье да вдобавок израсходовал столько драгоценной туалетной воды, дабы

выглядеть красавчиком, а в результате бродит по коридорам — в его-то годы! — подобно влюбленному подростку, подобно юному Вертеру. Он испустил скорбный вздох, одновременно спросив себя, для кого ломает эту комедию. «С какой стати я тут изображаю меланхолика перед самим собой, когда вполне доволен?! Завтра Ванда будет у меня в постели, и вообще мне хочется спать!» Нет, спать ему совсем не хотелось, и он заколебался, не пойти ли ему к Романо. Все-таки жаль, если все его приготовления пропадут втуне. Но бедняга Романо после целого дня верховых трудов, наверное, вконец разбит и теперь спит мертвым сном поперек кровати. Однако не столько жалость к Романо, сколько разбуженная чувственность удержали Константина от этого визита. Сегодня ему нужна была женщина, тело женщины, наслаждение с женщиной. Он вернулся к себе в спальню и, еще не успев ничего толком разглядеть, услышал льющийся из открытого окна, с окрестных холмов, оглушительный треск цикад; от неожиданности он даже приостановился, но тут заметил в своей постели дрожащую в ночной сорочке Мод Мериваль с растрепанными волосами и испуганными, как у маленькой девочки, глазами. К величайшему своему удивлению, Константин, ни секунды не думавший о ней, страшно обрадовался.

— Деточка моя,— спросил он весело,— что это ты тут делаешь?

И, сам того не замечая, прежде чем подойти к кровати, запер дверь на ключ. Нет, ему решительно везет. Одна женщина, самая желанная во всем свободном мире, будет принадлежать ему завтра; другая, самая желанная во всем нацистском мире, будет принадлежать ему через миг. Ему — внуку прусского юнкера! И этих двух женщин разделяли какие-нибудь пятьдесят метров, что, к великому стыду Константина, лишь еще больше возбуждало его. Он быстро пересек комнату, сел в ногах кровати и нежно взглянул на Мод; потом обнял ее. Каждый раз его удивляло, как он может спать с этой маленькой блондиночкой, о которой почти не думал, которую почти не желал. И каждый раз его удивлял собственный пыл; он не догадывался о том, что еда и многие часы, проведенные им в беготне на свежем воздухе, придают ему силы, Константин с давних пор привык объяснять свои редкие печали физиологическими причинами, а счастливые события — только психологическими.

— Ах ты, моя птичка! — сказал он, ласково целуя Мод в щеку.— Я тебя обожаю! Так что же ты здесь делаешь?

И он начал целовать эти белокурые волосы, этот тоненький носик, эту маленькую грудь с острым чувством жалости и нежности, со смутным, поднимающимся желанием.

— Я пробовала... но я не в силах жить без тебя! — простонала Мод ему в плечо.— Нет, больше не в силах! Ах, и смогу ли когда-нибудь? Как ты думаешь, Константин?

— Ой, не надо! — пробормотал тот.— Не надо, не говори со мной больше в вопросительной форме. Хватит с нас, деточка,— «Скрипки судьбы» уже отсняты, теперь ты — Клелия Конти.

— Ты прав,— ответила Мод серьезно.— Кстати, твой Фабрицио — настоящий олух! — добавила она перед тем, как вернуться к прежней теме.— Нет, серьезно, Константин, я пробовала соблюдать наш уговор, но как я могу?!.. То есть, я не могу.

Ясно было, что возьми Мод на себя руководство их любовными отношениями, эти последние очень быстро набрали бы скорость торнадо. Но приезд Ванды и страстная, пламенная, безответная любовь к ней, о которой Константин неустанно твердил Мод, послужили спасительным тормозом для романа с последней. В день появления Ванды Мод проявила столько истинной деликатности, достоинства и душевного благородства, что Константин был в равной мере и ошарашен и восхищен ею.

— Нет,— заявила она тогда с пылом, тем более неожиданным, что он ни о чем не просил ее,— нет, Константин! Когда ты будешь свобо-

ден — если тебе удастся освободиться,— я вечно буду рядом с тобой как любовница, если Бог того захочет, или как подруга — вечно!

Она все-таки провела с ним тогда ночь — ночь, которая должна была принести ему горестную бессонницу, а в конечном счете получилась весьма приятной. Константин, довольный приездом Ванды, разошелся и дал волю веселой похотливости, которой раньше Мод не замечала за ним — по крайней мере не в такой степени. Так что если Мод и плакала в ту ночь, то только от смеха да еще — как она утверждала — от наслаждения. Больше между ними ничего не было, если не считать мимолетных объятий в амбаре, несколькими днями позже, и взглядов — у Константина весьма целомудренных, а у Мод — умоляющих... разумеется, когда она сама того хотела...

Вопреки видимости и несмотря на то, что ставни темных окон дома были закрыты или распахнуты, никто из его обитателей еще не спал.

В комнате, некогда принадлежавшей первому мужу Бубу Браганс, ныне покойному владельцу этого жилища, нервно ходил взад-вперед капитан фон Киршен, полностью одетый.

Авансы, сделанные Бубу Браганс капитану в коридоре, когда она провожала гостя в его спальню, были более чем недвусмысленны. Киршен не отважился раздеться и теперь, пытаясь избежать предстоящей и, как он понимал, решительной атаки, лихорадочно изыскивал — и не находил — подходящих аргументов для защиты. Однако паниковал он зря. Лежа в спокойном одиночестве в своей постели, Бубу Браганс благоговейно поедала шоколадные конфеты, каким-то чудом обнаруженные днем в ночном столике мужа — человека, у которого хватило хорошего вкуса на то, чтобы любить шоколад и спрятать коробочку конфет в ящик еще до войны. Капитан фон Киршен был целиком и полностью забыт.

Чуть дальше по коридору в своих спальнях также бодрствовали двое актеров, исполнявших мужские роли — Фабрицио и Моски. Первый, юный Люсьен Марра, ощупывал перед зеркалом прыщ, который грозил перерасти в фурункул; прыщ уже побагровел и горел огнем; Люсьен впился глазами в свое отражение, хотя для молодого человека его репутации и профессии не отличался особым нарциссизмом. Что же до графа Моски, иначе говоря, Людвига Ленца, то он в сотый раз перечитывал немецкую газету, привезенную из Драгиньяна: из нее следовало, что Гамбург бомбят днем и ночью, а у Людвига Ленца был там дом, жена и двое сыновей, слишком молодых для армии, но, увы, вполне взрослых для того, чтобы погибнуть под бомбами. Людвиг Ленц тоже без устали шагал по комнате; сейчас в нем не осталось ровно ничего от благородного графа Моски, да и от красавца Людвига Ленца: это был просто пятидесятилетний мужчина со слезами на глазах, которого вряд ли признали бы его былые поклонницы.

И наконец еще дальше, чуть ли не в самом конце дома, неутомимый Попеску записывал в тетрадку, в свой тщательно ведущийся дневник: «Сегодня Роман Вилленберг, ассистент по подбору натуры, заменил Люсьена Марра в конных эпизодах. Константин фон Мекк как будто открещивается от родства с ним. Позвонил в вермахт Драгиньяна, чтобы известить их. Беседовал с весьма любезным капитаном по имени Штайнхауэр. Он обещал передать эту подробность — может быть, важную, а может быть, и нет — генералу Бремену, которого я еще не имею чести знать. Поглядим, что будет дальше. Да хранит нас Господь, и да окончится война!»

А еще чуть дальше находилась спальня Романо. Там жалюзи тоже были подняты, окна открыты, а дверь крепко заперта на ключ.

В четыре часа утра Константин учтиво сопроводил Мод до дверей ее спальни — вполне ублаготворенную или притворяющуюся таковой;

впрочем, истина его ничуть не интересовала, поскольку чувственность Мод явно уступала ее воображению...

Через два часа ему нужно было вставать, так что времени для сна оставалось не то слишком мало, не то слишком много; поэтому, пройдя через салон, где столы и стулья в полумраке походили на опрокинутые статуи или тотемы, Константин вышел на террасу. Еле теплящаяся заря еще не разогнала ночные сумерки. Стоя в халате у перил, Константин медленно, с наслаждением вдыхал знакомый, напоенный самыми разнообразными ароматами запах влажной земли, озябшей от утренней росы; в порыве охватившего его счастья он вдруг нагнулся и прильнул губами к уже потеплевшей каменной плите террасы. «Спасибо тебе, камень, и спасибо тебе, земля; спасибо вам, деревья и небо, спасибо тебе, жизнь!» — промолвил он тихо. Склоненный к полу, укрытый тенями, падающими на террасу, он был не сразу замечен человеком, который чуть поодаль перелез через низенькую садовую ограду и прокрался по аллее к дому, где и столкнулся с Константином как раз, когда тот выпрямлялся: оба от неожиданности отпрянули назад, встали в боевую стойку... И тут узнали друг друга.

— Что ты здесь делаешь в такое время? — воскликнул Константин, позабыв о людях, еще крепко спавших в доме.

Романо не ответил; вид у него был измученный, лицо бледное даже в полумраке, дыхание хриплое, точно у загнанного зверя; Константин, сам того не заметив, схватил его за плечо. Откуда он возвращался, этот парень? В их захолустье не приходилось рассчитывать ни на галантные приключения, ни на иную добычу. И к тому же, почему он шел пешком?

— Так, гулял,— вполголоса сказал наконец Романо,— никак не мог заснуть, вот и решил подышать воздухом.

— И поэтому у тебя руки и ноги ободраны в кровь, а волосы стоят торчком? — с улыбкой спросил Константин.— Только не уверяй меня, что в окру́ге нашлась красивая пастушка,— я их уже разглядел, все они стары, безобразны и беззубы.

— Нет,— ответил Романо уже более непринужденно,— конечно, нет. И потом если бы мне захотелось этого, то тут, в доме, для мужчины всего найдется с лихвой, верно?

— Кого ты имеешь в виду? — Константин все еще смеялся, но уже нехотя: его захлестнула волна любви, нежности, испуга — захлестнула и обволокла вместе с ним деревья, камни, террасу, небо и этого стоящего перед ним юношу, изнуренного, скрытного, похожего сейчас на подростка, каким он, конечно же, и был до того, как прошел через бури и ад войны.

— Романо,— сказал он,— будь осторожен, Романо! Скажи мне...— И он опять порывисто опустил руку ему на плечо — столь целомудренным, почти материнским и от того неловким жестом, что тут же остановился.

К его изумлению, Романо не вырывался, напротив, тесно прильнул к нему. Константин все так же непроизвольно обнял его правой рукой, а левой — доселе праздной и неуклюжей — стал гладить жесткий ежик волос, тонкую прямую шею мальчика. Долго стояли они так, прижавшись друг к другу, с закрытыми глазами, гладкая щека к щеке, где уже пробивалась щетина,— стояли, всем существом ощущая отсутствие желания, огромную усталость, огромное облегчение и, главное, бесспорную и взаимную убежденность в том, что их общая жизнь и началась и окончилась сейчас, в этот миг. Так по крайней мере подумал Константин, да, видимо, и Романо тоже, ибо у него вырвалось хриплое, лающее рыдание, и он, еще крепче прижавшись к своему другу, обхватил его обеими руками.

— Константин,— проговорил он,— Константин... да... я осторожен!

Заря уже заливала небо, и теперь они видели друг друга, различали черты лица, но не находили смешным это объятие в холодных рассветных ароматах: один из них недавно вышел из постели женщины,

другой — из постели ночи, и каждый знал, что ни о чем не спросит другого. Они даже не осмеливались разомкнуть руки, боясь взглянуть друг другу в глаза.

— Романо, прошу тебя, будь осторожен,— повторил Константин.— Будь осторожен, ты же знаешь, что я не хочу... что я не перенесу...

— Не беспокойся,— ответил Романо, слегка повернув голову, так что его губы коснулись шеи Константина и у того дрогнули веки.— Не беспокойся,— выдохнул он в эту знакомую и незнакомую ему кожу,— я не смог бы жить без тебя.

Отвернувшись друг от друга, они медленно разошлись и удалились каждый в свою сторону, исполненные удивления, покоя и странного удовлетворения. Константин фон Мекк никогда еще так близко не касался истинной любви. И Романо, конечно, тоже, но в его возрасте это было куда понятнее.

Глава III

На следующий день, в два часа пополудни, Константин фон Мекк, отделившись от съемочной группы, быстро зашагал один по дороге, ведущей в овраг. Он закинул голову назад; деревья и облака в небе понеслись ему навстречу. Это бездонное, прекрасное небо, угрожающе равнодушное к его существованию, казалось ему таким же роскошным и незаслуженным даром, как нынешнее счастье: он любил и был любим...

А еще у него был Стендаль и «Пармская обитель»... Константин взглянул на часы — он шагал всего минут десять: за это время техники, конечно, не успели уложить рельсы для тревелинга[1], зато актеры наверняка уже изнервничались до предела... Константин остановился, прислонился к дереву и поглядел на свою ладонь: линия жизни была совсем короткой, и это его позабавило. Он пожал плечами и, насвистывая, повернул назад. Дойдя до луга, он подошел к фургону Ванды, стукнул в дверь и вошел. Еще с порога в лицо ему ударил запах сандала, который так остро напомнил Голливуд, покой, солнце и море: когда-нибудь они все трое поселятся там и он опять мало-помалу обретет счастье мирного бытия; его перестанут мучить кошмары, он больше не увидит падающих окровавленных и посиневших тел, забудет про Швоба и Вайля. Повернувшись, чтобы уйти, он заметил на столе распечатанную телеграмму: «Отец тяжело болен тчк боимся летального исхода тчк целую мама». Константин замер на месте: глазами он стал отыскивать Ванду, словно она могла спрятаться где-то здесь, словно горе спрятало ее от него,— ведь она наверняка в отчаянии. Константину довелось однажды провести пару недель в доме своего тестя и удить вместе с ним рыбу в Балтийском море: никогда в жизни он так отчаянно не скучал, и Ванда до сих пор со смехом вспоминает его выражение лица за столом, во время ужина с их шведскими друзьями; но он знал, что Ванда нежно любит отца.

Выйдя из фургона, Константин, к великому своему изумлению, услышал смех Ванды, тот низкий грудной смех, который возбуждал в равной мере и школьников и стариков, не говоря уже о зрелых мужчинах; смех этот никогда не слабел, не затихал, а прекращался внезапно. Он подошел поближе и обнаружил Ванду в компании Мод, Людвига Ленца и Люсьена Марра; они беспечно болтали, сидя в заботливо восстановленном старинном тильбюри, за которым бдительно следил неизменный Попеску. Все пятеро встретили его приветливыми веселыми взглядами.

— А, вот и ты! — сказала Ванда.— Ты бродил по лесам? В поисках вдохновения или пастушек?

---

[1] Отъезд кинокамеры.

— О нет, только не пастушек,— возразила Мод тоном любовницы, сидящей перед законной супругой,— на них он даже и не смотрит!

Это наивно-уверенное заявление вызвало добродушную, хотя и чуточку снисходительную улыбку Ванды Блессен — в эту минуту кинозвезды с головы до ног.

— Ну и слава Богу,— сказала она,— не хватало еще искать пастушек, когда рядом с тобой такая прелестная женщина — это уж было бы настоящее хамство!

Мод поглядела на нее, разинув рот от изумления, потом смущенно завертелась и рассыпала пронзительный смешок, точно приняла слова Ванды за остроумную шутку.

— Ах, Ванда, да вы просто потешаетесь надо мной! Как будто Константина фон Мекка может интересовать дебютантка вроде меня — уверяю вас, он меня считает просто гусыней!

— Ну, это вполне возможно,— согласилась Ванда с легкой улыбочкой, извиняющей строгую проницательность ее супруга.— Ему всегда нравились перышки, особенно красивые перышки... Ты хотел поговорить со мной, Константин?

— Да, именно так! — ответил тот, безжалостно терзая свои усы.— Конечно, мне нужно с тобой поговорить. Пойдем-ка!

И, повернувшись, он широкими шагами устремился к фургону. Спотыкаясь в своем кринолине, но неизменно грациозная, Ванда последовала за ним, весьма довольная своей последней парфянской стрелой.

— Неужели это было так уж необходимо? — спросил, нахмурившись, Константин.— Бедняжка Мод...

— Бедняжка Мод просто очаровательна,— перебила его Ванда.— Но я не желаю, чтобы она разговаривала со мной тоном снисходительной жалости. Этого еще не хватало!

И она расхохоталась, от чего Константин помрачнел еще больше.

— Смеешься? — сказал он.— Не понимаю, как ты можешь веселиться — я только что был у тебя и нечаянно увидел телеграмму. Твой отец, твой бедный отец... это верно, что ему совсем плохо?

Ванда изумленно взглянула на него и легонько хлопнула себя по лбу.

— Ах, боже мой, и правда... эта телеграмма! Нет, милый, не беспокойся, это... это фальшивая телеграмма, это код.

— Код? — удивился Константин.— Какой еще код?

— Дело вот в чем,— начала Ванда, в свою очередь невольно приняв тот неискренний тон, который Константин тотчас распознал: она всегда говорила этим умильным и вместе с тем рассудительным голоском, когда лгала,— понимаешь, мой отец совершил одну биржевую операцию одновременно со мной, и поскольку сейчас из страны в страну передают только очень важные телеграммы, мы с ним условились, что «тяжелая болезнь» будет означать успех, вот и все! Теперь я богата,— добавила она, изобразив удовлетворение — столь неискренне, что любая дебютанточка на сцене театра сгорела бы со стыда от подобной фальши.

— С каких это пор ты играешь на бирже? — с недоверчивой ухмылкой осведомился Константин.— И потом, хочу тебе напомнить, что мы воюем, и биржа сейчас не действует,— бросил он злорадно.

— А в Швеции действует,— бесстыдно возразила Ванда.— Хоть и частично, но действует. Ну, короче говоря, я хорошо заработала, вот и все. Надеюсь, ты не станешь меня в этом упрекать? — враждебно спросила она и, увернувшись от руки, которую озадаченный Константин положил было ей на плечо, отошла прочь.

Слова Константина застигли ее на полдороге к тильбюри.

— Ты просто обманщица! — крикнул он ей в спину.

Ванда обернулась, лицо ее порозовело.

— А ты разве не любишь обманщиц? — крикнула она в ответ.

— Нет! — взревел Константин.

Не прошло и двух секунд, как до нее долетел голос Константина — громкий и четкий:

— Даже по ночам?

— По ночам — да. Впрочем, и днем тоже.

Он помедлил, не решаясь подойти, смутно недовольный случившимся: поистине, он здесь единственный прямой и искренний человек, и он устал от недомолвок Романо, уловок Бубу Браганс, мифоманий Мод, кривляний Попеску и вот теперь еще лжи Ванды. Но тут смех Ванды, ее грудной смех, который никогда не слабел постепенно, а смолкал вдруг, внезапно, опять привел его в благостное настроение. Она будет принадлежать ему сегодня вечером, он вновь обретет ее, и от этого сознания он почувствовал себя разом и утешенным и разочарованным: теперь ему незачем стараться обольстить Ванду. Но часом позже, когда снималась сцена прощания, где Сансеверина глядела на своего уезжающего юного племянника, на Фабрицио, которого она, сама еще того не зная, безумно любит, недовольство Константина развеялось как дым. Ванда Блессен сыграла блестяще; она была так правдива в этой сцене, так весела и одновременно трагична, что и Константин и вся съемочная группа в восторге зааплодировали ей. Ванда-Сансеверина невольно тянулась к племяннику, потом, отдернув руку, стряхивала пыль с его плаща; она раскрывала зонтик и отворачивалась к холмам, чтобы скрыть слезы; она пыталась смеяться, но смех вперемежку с рыданиями превращался в судорожный кашель, заглушенный платком. И Константин, стоя у камеры и глядя на нее, сиял от гордости и сходил с ума по Ванде; мысль о том, что сегодня же вечером он заключит ее в объятия, и мысль о том, что некогда он уже держал ее в объятиях и что она так долго принадлежала ему, казалась фантастической; он обожал Ванду, как только может мужчина обожать женщину, а режиссер — актрису, и обожание его перешло все границы, когда, снимая в конце дня последний крупный план — сцену, где она глядит вслед уезжающему юному Фабрицио, ставшему взрослым, он вдруг увидел — то есть камера увидела — новую незнакомую морщинку в уголке ее губ; это след их разлуки, решил он с нежностью и обещал себе непременно поцеловать эту морщинку тайком, позже, к исходу ночи...

Наконец немецкие истребители, с адским воем прошивавшие небо, вынудили их свернуть съемку. Сияющая Ванда пригласила всю группу на аперитив, в кафе на маленькой площади деревушки Салерн, мимо которой они всякий раз проезжали, возвращаясь домой к Бубу Браганс.

— Уже начала пропивать свои прибыли? — съязвил, ухмыльнувшись Константин, но Ванда сделала вид, что не слышит.

В это время Попеску разыскал дом почтовой служащей и, рассыпавшись перед ней в мольбах, уговорах и денежных посулах, добился того, что она провела его на почту через заднюю дверь. Дозвонившись в гестапо Драгиньяна, он попросил к телефону своего вчерашнего собеседника, хотя сильно побаивался беспокоить третий рейх информацией о верховых подвигах безвестного ассистента; однако радости и удивлению его не было предела, когда выяснилось, что она вызвала большой интерес. Ему посоветовали соблюдать крайнюю осторожность и осмотрительность ввиду опасности, какую может представлять сам Константин фон Мекк. Эта рекомендация сильно озадачила и даже обеспокоила Попеску: все-таки помимо гестапо его хозяевами в данный момент являлись УФА и означенный Константин фон Мекк. Так перед кем же ему следовало выполнять свой долг в первую очередь — перед ними или перед эсэсовцами? Разумеется, перед ними! Но СС имела на него больше прав, чем они. И инструкции, данные ему из Драгиньяна, звучали вполне определенно: доносить о малейших беспорядках и изменениях в работе съемочной группы в ожидании прибытия офицеров

парижского штаба, чтобы проконтролировать ее на месте. (Проконтролировать — что? — спрашивал себя Попеску.— Посадку на лошади Романа Вилленберга? Его кровные связи с фон Мекком?) Наконец, весьма гордый вызванным им переполохом, Попеску расстался со служащей, вручив ей царские чаевые, на которые она и не рассчитывала и которые удвоили ее желание во всем содействовать этому щедрому господину. Не может ли месье Попеску сказать, полюбопытствовала она, как великая кинозвезда мадам Блессен приняла грустные вести? Звезда звездой, а мать-то с отцом она наверное любит.

— Какие вести? — удивился Попеску.— Те, что в телеграмме?

— Да ведь пришла еще одна!

И служащая, гордясь своей осведомленностью перед важным кинодеятелем, который пока ничего не знал, доложила ему, что приняла сегодня днем другую телеграмму, передав ее затем для доставки мальчику-рассыльному: в ней Ванде сообщали о смерти отца и о похоронах, назначенных через несколько дней.

— Боже мой! — воскликнул Попеску.— Боже ты мой!

Он был одновременно и в восторге от своей причастности к семейной трагедии, и в ужасе от того, что отъезд Ванды прервет съемки.

— Пожалуйста, передайте мои соболезнования бедняжке мадам Блессен,— говорила между тем служащая.— Какой удар для нее! А ведь она еще не вернулась со съемки! Ее отец скончался нынче утром, а она даже не знает об этом! Да и поспеет ли она на похороны, при такой-то обстановке...

— Она сейчас в «Кафе де ла Пост»,— смущенно проговорил Попеску.— Я ее извещу.

— Только вы уж, ради Бога, поосторожнее,— попросила служащая умиленная волнением Попеску, поскольку не поняла ни слова из диалога между ним и драгиньянскими гестаповцами.

Но, оказавшись на площади, где царила мирная идиллия, и увидев спокойную, счастливую Ванду, Попеску, с его чувствительной душой, не нашел в себе храбрости выполнить печальную миссию. Ему очень нравилась Ванда, и сколько же волнений, сколько страхов он пережил из-за нее! Он так боялся, что эта взбалмошная кинозвезда нарушит всю налаженную работу и устроит ему «веселую» жизнь, но ничуть не бывало: Ванда оказалась изумительной актрисой и пунктуальнейшим человеком, обаятельным и добрым со всеми и во всем, до мелочей,— счастливая женщина, составившая счастье Константина фон Мекка, ибо очевидно было, что они созданы друг для друга. И Попеску искренне захотелось, чтобы Константина не смогли обвинить ни в чем, кроме неосторожности. Он скромно уселся за маленький столик в углу и заказал свой любимый аперитив — крепленое вино под названием «Возвращение с полей», где на этикетке красовалась фермерша с младенцем на одной руке и с бутылкой в другой, встречающая своего фермера, чья согбенная спина ясно указывала на то, что он сполна заслужил домашний отдых и прочие услады; вино, впрочем, было слишком притворное и самым роковым образом действовало на печень. Константин окликнул продюсера и пригласил за свой стол; перед тем как пересесть туда, Попеску хлебнул побольше «Возвращения с полей», чтобы взбодриться, а потом засыпал собеседников забавными, хоть и глупейшими анекдотами, которые сперва рассмешили одну Мод, а потом уж, на следующем этапе, и Ванду с Константином. Один Романо не смеялся — он явно думал о своем и встрепенулся лишь тогда, когда на площадь въехал на велосипеде какой-то деревенский парень, который, тренькнув звонком, поманил его к себе. Романо вскочил и извинился: его зовут сыграть партию в шары деревенские приятели, парни его возраста — того возраста, философски подумал Попеску, который сам по себе уже другая партия.

Романо исчез; вместе с ним исчезло предзакатное тепло, и голод — неотвязный спутник людей в течение последних трех лет — поднял на

ноги всех членов группы. На террасе кафе остались лишь Константин и Ванда. Они собирались вернуться на «тальбот-лаго» Константина — старенькой машине, обгонявшей тем не менее все прочие автомобили благодаря тому, что бак был полон бензина, отпускаемого ему вермахтом,— привилегия, от которой Константин не в силах был отказаться. Но у человека, пользующегося привилегиями, вдруг погрустнели глаза и голос.

— Посмотри, Ванда,— сказал он,— посмотри на эту площадь, на деревья и фонтан, на вытянутые тени, на весь этот вечерний пейзаж, исполненный покоя. Гляди хорошенько, больше у нас никогда такого не будет или, вернее, не будет у меня. Это зрелище не повторится: ведь счастье и покой — анахронизм в наше время.

Ванда протянула руку и опустила ее на ладонь Константина, которую не смогла закрыть целиком, так она была велика. И вид этой большой мужской руки — мощной и в то же время по-юношески гладкой — почему-то вдруг заставил ее сердце больно сжаться.

— Давай вернемся, ладно? Возвратимся домой,— сказала она мягко.

Глава IV

Взрыв произошел в час ночи — его услышали все, в том числе Ванда с Константином, которые не спали и тихонько переговаривались в темноте, а также Попеску, который, в противоположность своему дневному козлиному блеянью, во сне испускал ужасающий храп, подобный тигриному рыку.

За первым взрывом последовали еще три с интервалом в пятьдесят секунд, и когда обитатели дома подбежали к окнам, они успели увидеть, как бледно-серое небо сразу в нескольких местах окрасилось в кровавые цвета пожара. Захлопали двери, и в коридор высыпала целая толпа: гостей Бубу Браганс отличали от прислуги только растрепанные головы. Напуганные люди спорили, утверждая каждый свое: «Это жандармерия!.. Да нет, это в Драгиньяне, просто ветер донес сюда шум!.. Это дело рук макизаров!.. Наверняка гестапо!.. Долго это не продлится!.. Ну, теперь это на всю ночь!..» — и прочее. Посреди собравшихся, возвышаясь над толпой на целую голову, стоял Константин фон Мекк: он был облачен в красный пеньюар Ванды, едва доходивший ему до колен, и выглядел живым символом супружеской любви; одна лишь Бубу осмелилась обратить на это его внимание. Впрочем, остальные спросонок ничего и не заметили, они дрожали от страха. Война давно уже гремела где-то вдали, по крайней мере для парижан; о ней узнавали только из газет, да еще из визитов каких-нибудь немецких офицеров — вот как позавчера; редко кто пытался слушать хрипящий радиоприемник, что стоял в салоне,— почти всем, если не считать Людвига Ленца, война представлялась чем-то абстрактным, о ней было лишь известно, что она идет «где-то там», в окрестностях действуют макизары, время от времени немцы казнят каких-то отчаянных парней. Они жили своей жизнью, как бы на нейтральной территории, в счастливом неведении и безразличии киношников ко всему, что не относилось к кино: актеры — в маниакальном стремлении проникнуть в образ, режиссер — в истерическом вдохновении на съемках; словом, во всем, что способствовало изоляции этих людей от жестокой и опасной действительности, их окружавшей. Дом Бубу Браганс, мягкое лето и смех Константина надежной стеной ограждали их от войны, и вот теперь ночной взрыв разрушил эту стену.

Коридор был объят паникой, и Бубу Браганс, чье влечение к радостям жизни на сей раз взяло верх над скупостью, велела принести бутылку крепчайшей сливовой настойки для гостей и слуг, которая одних тут же успокоила, а других взбодрила. Все разошлись по комна-

там, обуреваемые самыми противоречивыми, но невысказанными чувствами. Все — за исключением Романо, которого никто не видел: похоже, только он один не проснулся от грохота взрыва и от галдежа в доме. Когда свет был погашен, Константин на цыпочках прокрался к его комнате и постучал в дверь. Ответа не последовало, и он не удивился Он был уверен, что Романо нет в доме, знал это с самого начала. Константин бесшумно вернулся в спальню Ванды, точно в спасительную гавань, и, только прильнув к ее губам, измучив ее поцелуями, ощутил прежнее спокойствие. Он вновь обрел в ее объятиях истинную жизнь, истинное счастье жить и любить; за все время их разлуки с ним, казалось, ровным счетом ничего не произошло — разве что медленное неуклонное погружение в вязкий кошмар, от которого, что бы ни случилось, ему не уйти,— а больше ничего, никакого отличия прежней Ванды от Ванды настоящей. Это ему, ему пришлось перенести пять последних лет лжи, угроз и мук совести. Это ему теперь невозможно было отрешиться от них, стряхнуть с себя их гнет...

— Я видела в коридоре массу пижам,— сказала Ванда позже,— но только не пижаму Романо. А ты?

— Да нет,— пробормотал он,— мне кажется, я его видел... ну конечно, видел.

В начале ночи они закрыли ставни, чтобы без помех насладиться любовью, потом, в момент взрыва, распахнули их и так и оставили; Ванда погасила свет, и ночь, воспрянув после переполоха, опять потихоньку забормотала на все голоса. Через час или два защебечет та, вчерашняя птаха, снова приветствуя своими причудливыми руладами новую зарю, думал Константин. И, может быть, я опять выйду на террасу и увижу, как возвращается этот юноша, злодей эдакий, цыган беспутный, бедный мой сирота.

— Нет,— выдохнул он,— нет, все-таки я его не видел.

— Очень жаль,— отчеканила Ванда, и этот холодный тон разом согнал дрему с Константина.— Это, вероятно, означает, что твой приятель Романо — один из тех негодяев, из ФСС[1], о которых говорят повсюду, не так ли?

Константин окончательно стряхнул с себя сон и насторожился.

— Почему же они негодяи?

— Милый, я так выразилась из чистой вежливости,— проворковала Ванда,— ведь они убивают твоих соотечественников, разве нет?

— Моих соотечественников? Но они убивают и своих тоже,— отрезал он.

Ванда неожиданно для него рассмеялась:

— Ну, ладно, ладно, Константин, раз уж ты настолько терпим, тебе бы следовало подумать, не взять ли этого мальчика вместе с нами в Лос-Анджелес. Иначе они его быстренько прикончат здесь, независимо от того, цыган он или не цыган, еврей или не еврей, макизар или нет. Поверь мне, он на подозрении и пропадет ни за грош.

— В Лос-Анджелес?! — воскликнул пораженный Константин.— Да ты шутишь! Меня же там линчуют на месте! Явиться в Лос-Анджелес! Мне — фон Мекку, ярому нацисту, работающему на УФА с 1937 года!

Ванда тоже приподнялась и села, прислонясь к стене; теперь она заговорила серьезно:

— А вот тут ты ошибаешься, Константин. Ты забыл, что после твоего отъезда в Голливуд приехали Карл Вернер, Таня и Эрик, Ширеры, Бунтаг, супруги Пари, Эрнсты, Поль,— все, кому ты доставал документы и помогал бежать из Германии, кого ты прятал и спасал. И, представь себе, они об этом прекрасно помнят и говорят о тебе как о герое, милый мой мальчик! А что касается твоих фильмов, сделанных для УФА, то наши продюсеры считают их наилучшей сатирой на венскую

---

[1] ФСС — Французские внутренние силы движения Сопротивления.

сентиментальщину — такой, я думаю, мы не видывали со времен Любича [1]. Чтобы не навредить тебе, их просматривают только в тесном кругу профессионалов; но, в общем, могу тебя заверить, что по возвращении ты получишь интересные предложения от любой фирмы, а друзья и спасенные устроят тебе триумфальную встречу. Поверь мне, Константин, я не шучу.

Константин, иронически усмехнувшись, пожал плечами. Он повернулся к Ванде, схватил ее за плечи.

— Ну, теперь ты понимаешь, что такое моя жизнь, Ванда? Что бы я ни натворил, все оборачивается в мою пользу, к моей выгоде. Черт побери!.. Я пять лет кряду обнимаюсь с нацистами... За это меня должны гнать отовсюду, как собаку, плевать мне в лицо! Но нет, куда там! Мне, оказывается, предстоит совершить триумфальный въезд в Голливуд, где я буду принят как спаситель евреев и угнетенных, как американский шпион в Германии, чего доброго, как двойной агент!

Ванда молча слушала его, опустив глаза, и Константин на секунду прижался щекой к ее волосам, словно жалел ее за то, что она его любит и любима таким человеком, как он.

— Вот такие дела! — произнес он с какой-то саркастической нежностью.— Но в общем-то тебе нечего стыдиться, моя дорогая. В глубине души я сопротивлялся, о да, сопротивлялся! Я даже говорил по-английски на съемочной площадке в присутствии немцев, я приветствовал Геббельса, как истый нацист, а после сообщил ему, что дождик не идет. Я насмехался над всеми этими генералами и свастиками, можешь мне поверить.

Глава V

Первые новости поступили к Бубу Браганс в восемь утра — конечно, от почтальона. Макизары взорвали состав с немецкими частями, отправлявшимися к югу: акция была проведена в довольно пустынной местности, в трех километрах от маленькой деревушки Вассьё. Случилось это в час ночи, а уже к шести утра два отряда регулярных войск вермахта прибыли из Драгиньяна и поднялись в горы, чтобы провести облаву.

Съемки в этот день были назначены в узкой долине как раз неподалеку от Вассьё, и, отправляясь туда в восемь часов, пестрый обоз киношников с грузовичками, повозками и лихтвагеном повстречал немецкий взвод, состоявший из тридцати человек; солдаты медленно спускались с холма в гробовом молчании, без обычных бодрых маршей. Оно было и к лучшему: эти гортанные песни, иногда довольно мелодичные и поначалу вызывавшие восхищение у французов, теперь приводили их в ужас. Так что молчание шедшего вразнобой небольшого отряда в зеленовато-серой форме разочаровало одного лишь Попеску.

А горестям Попеску не было конца. Ему, и без того задерганному сотрудничеством с Константином, предстояло теперь в полной мере изведать все муки продюсерства. Нынче снималась сцена, в которой на глазах у Клелии Конти пока не знакомый с ней юный Фабрицио дель Донго вынужден был защищаться от злодея Джилетти и его ножа. Клелия Конти должна бросать на красивого юношу удивленные, тревожные и притом восторженные взгляды — восторженные, но боязливые, стыдливые и застенчивые,— короче, взгляды робкой лани. Мод без труда изображала взгляд лани: глаза у нее были не круглые, коровьи, и не узкие, безумные, козьи. Беда заключалась в другом: ей катастрофически не хватало мыслительных способностей, при наличии коих не страшны ни коровьи, ни козьи, ни беззлобные овечьи глаза. Тщетно несчастный Люсьен Марра вихрем носился туда-сюда под самым ее носом, преследуемый актером, который играл Джилетти; тщетно группка статистов на заднем плане старательно изображала ужас и интерес к происходя-

---

[1] Эрнст Любич (1892—1947) — немецкий, а позднее американский кинорежиссер.

щему: камера, нацеленная на дверцу коляски, где сидела Мод, ловила лишь прелестный, но абсолютно невозмутимый профиль сонной овцы. Под саркастическими взглядами членов съемочной группы Константин испробовал все средства воздействия — мягкость, иронию, гнев, угрозы,— но, увы, безрезультатно; Люсьен Марра, он же Фабрицио, надулся, ибо ему надоело прыгать до изнеможения перед бесчувственной партнершей. Попеску исстрадался вконец: съемка длилась целых два часа, эпизод еще не был отснят — значит, денежки летели на ветер, а вместе с ними улетучивалась и его репутация. В полном отчаянии Попеску пролез в первые ряды статистов, в данный момент праздных, поскольку камера снимала главных героев, и, делая отчаянные знаки Мод Мериваль, попытался помочь ей войти в образ — так в школе зубрила подсказывает двоечнику. Он усиленно изображал всей своей пухлой физиономией то, что полагалось чувствовать сейчас юной девице: интерес, беспокойство — все, вплоть до намека на вожделение; в назидание Мод он даже устремил свои маленькие поросячьи глазки, загоревшиеся воодушевлением, на юного Люсьена Марра, который как раз завершал очередной пробег мимо коляски; заметив этот огненный взгляд, актер даже остановился, сперва напуганный, а потом возмущенный не на шутку: вызывать зевоту у партнерши и одновременно возбуждать любовь у продюсера — это уж было слишком для столь молодого и прекрасного героя. И он решительным шагом направился к режиссеру. Расставив ноги, запрокинув голову к небу, Константин обеими руками щипал и терзал свои усы; из глаз его от смеха медленно текли слезы: он имел удовольствие наблюдать урок актерского мастерства, преподанный продюсером Мод Мериваль.

— Я отлично знаю, что обезображен,— мрачно заявил Люсьен,— но это не причина для того, чтобы мадемуазель Мериваль позволяла себе игнорировать меня так... так грубо; даже мадам Блессен по-прежнему вежлива со мной и... и...

— Да о чем вы? — изумленно спросил Константин.

— Я говорю о... об этой вот штуке на лице! — взорвался Люсьен Марра, указав на злосчастный прыщ.— Что я могу поделать?! Вот результат нашего гнусного питания, всех этих эрзацев, которыми кормит нас господин Попеску... если он еще достоин называться господином!

Константина, наконец, прорвало, он захохотал как сумасшедший. С трудом объяснил он молодому актеру причины своего бурного веселья и профессиональное, более чем простительное рвение, подвигнувшее Попеску на кривляния. Все это затянуло съемку еще на четверть часа. И тогда Константин попросил юного Марра, уже пришедшего в себя, прислать к нему Мод. Она подошла в своем дорожном плаще, слегка побледнев — все-таки она побаивалась Константина,— и спросила сладеньким голоском:

— Ты на меня сердишься, да? Я так и знала!

Этот голосок, которым она обычно улещивала кретинов-преподавателей из Консерватории [1] или пыталась очаровать мужчин «У Максима», действительно привел Константина в ярость.

— Ну что ты, с чего бы мне сердиться? Ведь сейчас только десять часов, никак не больше! Мы потеряли всего лишь полдня, потому что мадемуазель изволит спать вместо того, чтобы работать как следует. Так зачем же мне на тебя сердиться?!

— Я плохо спала сегодня ночью...— начала Мод дрожащим голосом.

— Я тоже! — отрезал Константин.— Мне даже послышался взрыв.

И он свирепо уставился на Мод: в его «русском» взгляде сейчас не было и намека на «русское тепло».

— Идет война, представь себе,— продолжал Константин.— Но если всякий раз, как взрывают поезд, ты не в состоянии будешь играть, мы никогда не кончим этот фильм. Ну вот, теперь ты еще и реветь взду-

[1] Школа актерского мастерства в Париже.

мала! Успокойся,— добавил он уже мягче, видя, как Мод выпятила губки, сощурилась, сморщила нос и разом подурнела, изо всех сил стараясь «переживать» насколько можно правдоподобнее.

— Да мне не шум помешал спать,— прорыдала Мод,— не шум, а ты...

— Я? — изумился Константин.— Как это я? Я же тебе ничего не сказал, ничего не сделал... Я даже не видел тебя ночью. Да меня и в комнате-то не было!

— Вот именно! — ответила Мод, всхлипывая еще горше.— Вот именно, не было в комнате, а потом я увидела тебя в коридоре вместе с Вандой.

Константин взял было ее за руку, но она упорно не поднимала головы, чем напоминала теперь не сонную овцу, а упрямую козу.

— Да, ну и что из этого? Я был у своей жены, представь себе,— сказал он с достоинством.

Но, произнося эту фразу, он вдруг оценил ее интонацию и неуместность этого достоинства, да и весь их смехотворный диалог так поразили его, что гнев тут же бесследно испарился.

— Ладно,— сказал он,— так что будем делать? Если ты отказываешься играть всякий раз, как я ночую на стороне, мне придется искать другую Клелию Конти — и завтра же, неважно, сплю я со своей женой или с кем-нибудь еще.

— Ты можешь изменять мне сколько угодно,— заявила Мод с непредрекаемой и одновременно, по мнению Константина, абсолютно идиотской логикой.— Ты можешь изменять мне сколько угодно, но я не желаю об этом знать.

— А откуда же ты об этом узнала? — спросил он раздраженно.— Кто это тебе напел?

Мод подняла на него невинные, укоризненные глаза.

— Никто мне ничего не напел, но когда я увидела тебя в коридоре ночью в красном пеньюаре Ванды, я сразу все поняла. Я не так уж глупа, представь себе!

— Я оказался в коридоре только потому, что случился взрыв,— медленно и мягко ответил Константин.— Не думаю, что такие взрывы будут повторяться каждую ночь — по крайней мере очень надеюсь; таким образом, есть шанс, что ты не каждый раз будешь знать о моих изменах. Вот так-то. Значит, договорились? Если взрывов не будет, ты согласна сниматься?

И пока Мод сморкалась и с улыбкой кивала ему, Константин спрашивал себя: неужели он так и не разобрался в ней? Может, она вовсе не в себе или глупа, как пробка? Может, прав был Попеску, кинувшись подсказывать ей роль?

— А ты видела, как Попеску помогал тебе только что? — улыбнулся Константин.— Как он изображал Клелию Конти?

— Да-а-а,— протянула задумчиво Мод,— но знаешь, что интересно: я почему-то вижу Клелию другой. А ты? Я представляю ее более... как бы это выразиться... ну, более развратной, что ли... Как ты считаешь?

Но Константин не ответил, он широкими шагами устремился к коляске, таща за собой Мод. И там она сыграла наконец так, как требовалось: прекрасно, изысканно, убедительно; если кто-нибудь и мог в то утро соперничать в очаровании с Сансевериной, то это была Мод.

В результате утро затянулось для всех, а в особенности для Ванды, согласно плану съемок, она была готова — одета, загримирована и надушена уже к половине десятого, чтобы сыграть сцену с Моской, следующую после эпизода с Клелией в коляске. Итак, она просидела все утро в своем фургоне, раскладывая пасьянс за пасьянсом, к великому восхищению и страху Попеску, которому долгий опыт работы в кино подсказывал, что знаменитые кинозвезды не очень-то любят терять вре-

мя по вине скромных дебютанток. Наконец Ванда вышла и, смерив испуганную группу с высоты трех ступенек ледяным взглядом, остановила его на Константине.

— Ну, мы будем наконец снимать что-нибудь или нет? — осведомилась она.— В расписании как будто указано, что в половине десятого мы с Людвигом, вот в этих костюмах, должны говорить друг другу разные пустяки. Я вижу, эта перспектива уже никого не прельщает?

Ванда говорила своим знаменитым, ровным, без модуляций голосом, так медленно и едко, а главное, так неестественно спокойно, что даже самых завзятых весельчаков пробрала дрожь. Осветители — из тех, что потолще,— вдруг проявили пристальный интерес к собственным ногам, а более худые спрятались за толстых. Один лишь Константин остался стоять, где стоял, то есть лицом к лицу с Вандой. Она ткнула в его сторону кружевным зонтиком, который держала в руке.

— Ну, а ты долго собираешься мариновать здесь всех нас? Боже, до чего отвратительный день, до чего отвратительны эти съемки, а уж «Обитель» твоя — настоящая богадельня! Все пóшло, все скучно до тошноты, слышишь, Константин, это я тебе говорю! Публика заснет на твоей «Обители». И вообще, с меня хватит, я ухожу, удаляюсь в свой фургон — самое уютное место на этой съемочной площадке — и буду там играть в карты. Ну, кто тут умеет играть в джин?

И взгляд ее остановился на Романо.

— Ты,— указала она,— вот ты! Пошли со мной. Бросай свои веревки и иди за мной. Да-да, я знаю, на съемочной площадке не принято говорить о веревке, так что приглашаю всю группу на выпивку сразу после работы.

И Ванда, разъяренная, как фурия, повернулась и исчезла за дверью повозки. Романо оставил свои электрокабели, бросил на Константина смеющийся и одновременно полный покорности судьбе взгляд и, насвистывая, последовал за ней. Он не был ни удивлен, ни обеспокоен. Да и другие, откровенно говоря, ему скорее позавидовали, чем посочувствовали, особенно мужчины. Константин с улыбкой повернулся к оцепеневшему Попеску и похлопал его по плечу.

— Не паникуйте, старина. Через час, самое большее — через два у Ванды улучшится настроение. Да притом нам, кажется, уже пора обедать, разве нет? Так что прервемся-ка и за стол! А я пока проветрюсь, съезжу поглядеть на Вассьё,— объявил он всем,— должно быть, красивое местечко.

— На машине туда не добраться,— предупредил его один из осветителей.

— Ну ладно, проеду часть дороги, а дальше пройду пешком,— сказал Константин, залезая в свой «тальбот».

Глава VI

— Так ты умеешь играть в джин? — спросила Ванда, войдя в фургон.

Она закрыла ставни, и благодаря этому здесь было прохладно — сумрачно и прохладно.

— Я играю во все карточные игры,— ответил Романо, с улыбкой подняв на нее вопросительный, но спокойный взгляд.

— Мне нужно с тобой поговорить,— сказала Ванда,— подожди только, я сниму грим, парик и все эти тряпки.

Она прошла за ширму и быстро разделась там со стыдливостью, странной для актрисы и безупречно сложенной женщины. Романо успел разглядеть лишь краешек плеча и обнаженную грудь, да и то лишь потому, что хитроумно извернулся и вытянул шею. Ванда поймала этот взгляд в зеркале и нахмурилась было, но глаза Романо сияли таким неподдельным мальчишеским восхищением, что она невольно улыбнулась ему.

— Ты знаешь, что тоже хорош собой? И даже очень хорош. Я вчера сказала Константину и теперь повторю тебе: ты должен был бы потом поехать с нами в Лос-Анджелес и сделать там блестящую карьеру.

Она вышла из-за ширмы в легком бледно-голубом халате, который подчеркивал голубизну ее глаз, полулегла в свой любимый шезлонг, шлепнув ладонью по стоявшему рядом табурету; Романо послушно уселся.

— Ну, что ты об этом думаешь? — спросила она.

— Почему бы и нет,— ответил юноша,— почему бы и нет? Только бы выбраться отсюда...

— А ты не надеешься отсюда выбраться?

— Вам-то, думаю, это удастся,— сказал Романо,— вы, конечно... нет никаких оснований...

— Есть,— возразила Ванда,— основания есть.

И внезапно она устало сникла; теперь она действительно выглядела на все свои сорок лет.

— Есть основания, знаешь ли. Они ведь шныряют повсюду, и информация у них поставлена отлично. А Попеску — настоящий доносчик и, я уверена, докладывает им обо всем. Разве тебе это не известно?

Романо возмущенно привскочил с места.

— Попеску? Да Константин ни одной минуты не потерпел бы доносчика у себя в группе!

И тут же осекся.

— Ах, Константин,— улыбнулась Ванда,— да он не способен подозревать людей. А вот ты... ты уверен, что никто не подозревает тебя в связи с этим поездом?

— С поездом? С каким еще поездом? — медленно переспросил Романо, словно Ванда задала ему трудную арифметическую задачу.

Но Ванда раздраженно тряхнула головой.

— С тем самым поездом, который ты взорвал вчера ночью,— тихо пояснила она, бросив сперва настороженный взгляд на дверь,— и расписание которого узнал от фон Киршена за ужином у нашей дражайшей Бубу. Ах, как я жалею,— добавила она,— как я жалею, что вытянула из него эти сведения!

Романо пожал плечами.

— Есть о чем жалеть! Этот поезд был набит солдатами и оружием и шел на юг, чтобы помешать высадке союзников. Только не уверяйте меня, что вы нацистка,— я за вами наблюдаю со дня приезда.

— Ну, разумеется, нет,— отрезала Ванда все так же раздраженно.— Я работаю на секретную службу Ее Величества, представь себе. И сюда я приехала с заданием, и мне вовсе ни к чему такой трам-тарарам — этот взрыв, и расследование, которое он за собой повлечет. Вот почему я и жалею о том, что случилось, а все остальное тут абсолютно ни при чем. Но на тебя я, конечно, не сержусь.

Романо слегка присвистнул сквозь зубы, скорее удивленно, чем восхищенно; Ванда даже бровью не повела.

— Так, значит, вы работаете на англичан? — переспросил он.— И давно? С самого начала?

— Да,— ответила Ванда, грациозно потянувшись,— с самого начала, даже еще до начала. Да и мой отец тоже... Ну, словом, я приехала сюда с заданием и заданием куда более важным, чем твой поезд, дружок. И ты мне нужен, чтобы завершить дело. У нас произошла неприятность. Я узнала о ней из телеграммы, которую получила вчера, и теперь только ты можешь мне помочь. Мне нельзя прерывать работу, ведь я снимаюсь каждый день. Тебе придется разыскать для меня одного человека неподалеку, в ста километрах отсюда, человека, который срочно требуется в Америке, а точнее, в Аризоне; это ученый, физик. Его сопровождающие по глупой случайности попали в облаву. Они, конечно, не проговорятся, но он-то застрял там один, без них, а больше он никого в тех местах не знает. Нужно, чтобы ты или кто-нибудь из твоих

отправился за ним и доставил сюда, а тут самолет заберет его... заберет нас,— поправилась она,— потому что все это наделает шуму; так вот, самолет захватит нас четверых — его, тебя, меня и Константина, причем завтра же, ибо мы живем, можно сказать, на вулкане, мой мальчик.

Романо пристально поглядел на Ванду.

— Но почему вы доверились именно мне? — спросил он.

— Я навела справки,— ответила Ванда.— Здесь, недалеко, есть передатчик. Уж не думаешь ли ты, что я явилась бы сюда без надежной организации? Да никогда в жизни, даже ради Стендаля, даже ради Константина.

— Даже ради Константина? — переспросил Романо, с сомнением приподняв брови. Ванда пожала плечами и отвернулась.

— Ну... конечно, частично из-за него,— призналась она.— В общем, я все равно приехала бы. А теперь послушай: мы должны улететь завтра, а сегодня ночью нужно отправиться за этим человеком. Он находится в Драгиньяне. Если ты не поедешь за ним и не привезешь сюда или если попадешься и будешь арестован, значит, мы проиграли. Да и война, вероятнее всего, будет проиграна из-за этого. А если предашь нас или бросишь его на произвол судьбы, наши убьют тебя еще до того, как схватят немцы. Понял?

Романо придвинул свой табурет к шезлонгу и наклонился над Вандой. Секунд десять они спокойно смотрели друг на друга. Ванда видела темные корни волос Романо и пыталась представить его себе брюнетом, но у него и без того был достаточно решительный и жесткий вид; он выглядел старше и суровее, чем положено было в его возрасте. Двадцать три года — а характер замкнутый, беспощадный, закаленный безжалостной действительностью. Хоть единожды в жизни Константин сделал хороший выбор, недаром же он так держался за Романо; будь Ванда ревнивой, она наверняка приревновала бы его к этому мальчику, вот только она была полностью уверена в Константине, да и сам он, даже в вихре своих измен, дал ей слишком много доказательств преданной любви, чтобы она могла опасаться чего бы то ни было.

— Так ты слышал, что я сказала? Если ты возьмешься за это дело и не выполнишь его, мы убьем тебя. Не я сама, вряд ли. Но если я умру раньше, другие сделают это за меня.

— А вы уверены, что гестаповцы не опередят нас? — спокойно спросил Романо.

И Ванда вдруг смертельно устыдилась своего жестокого недомыслия: грозить убийством юноше, который и эти-то последние четыре года прожил чудом!

— Прости меня,— тихо сказала она.— Но дело крайне важное. Это самый гениальный физик в Европе. Его ждут в Америке, чтобы закончить работу над бомбой, она называется бомба «А». И если Гитлер захватит его раньше американцев, это будет гибельно для всех, для всего мира, Романо.

— Что же это за бомба «А»? — спросил тот с улыбкой.— Она что, больше теперешних? На грузовике-то ее можно увезти?

— Нет, она очень маленькая,— ответила Ванда,— но это будет самая страшная, самая разрушительная из всех бомб, какие только можно себе представить. Или, вернее, пока это даже представить себе невозможно... Никто на свете никогда не осмелится использовать ее — ни американцы, ни европейцы. Даже немцы, наверное, не решатся; словом, никто, за исключением Гитлера. Вот почему нужно, чтобы она была сделана у нас и чтобы Гитлер об этом знал.

— Ладно, я разыщу вашего физика,— сказал Романо.— Разыщу сегодня же ночью и доставлю к вам, клянусь. Но вот с завтрашним отлетом будут проблемы... Вы думаете, Константин так легко расстанется со своим фильмом?

И Романо, с усмешкой наклонившись еще ниже, положил голову на плечо Ванды.

— Знаете,— прошептал он,— если бы вы не были женой Константина и если бы вы не любили его, я...

— А ты,— прервала Ванда,— если бы ты не был другом Константина...

И оба почувствовали, как по их лицам проскользнула улыбка.

— Это мы уладим в Лос-Анджелесе,— сказала Ванда.— В тот день, когда Константин опять погонится за кем-нибудь другим, как тогда, в Мексике, мы с тобой разыграем Федру и Ипполита.

— Не знаю таких,— с сожалением отозвался Романо.

Ванда ласково погладила его по щеке.

— А жаль,— сказала она,— ну да ничего, я тебя с ними познакомлю. Всегда мечтала почитать Расина молодому человеку... особенно такому прекрасному юноше, как ты... Да, мы совсем забыли про карты, а ну-ка, тасуй!

Романо послушно взял в руки колоду.

— Так куда мне нужно ехать?

Взгляд Ванды мгновенно стал ледяным.

— Это я скажу тебе в последнюю минуту, перед самым отъездом. Эй, что за гнусные карты ты мне сдал?!

— Скажите-ка,— смеясь, спросил Романо,— вы специально устроили этот скандал? Для того, чтобы поговорить со мной?

— Да, и, как видишь, Константин этому поверил. Он всегда верит мне именно тогда, когда я валяю дурака... Ага, вот для начала хорошие пики... Скажи-ка, Романо, как тебе кажется, ты способен заговорить, если тебя прижмут покрепче? Я-то уверена, что тут же выложила бы все.

Романо расхохотался.

— Вы правы. Не стоит слишком доверять себе.

В этот день Романо, который ни разу в жизни никому не проигрывал в карты, в течение часа продул четыре партии подряд, из них две блиц-игры. Наконец он сообразил, что Ванда плутует, сделал то же самое и полностью отыгрался. Они развлекались вовсю, пока их не встревожило отсутствие Константина. Вот уже полтора часа, как он уехал в Вассьё.

Глава VII

Стремительно покинув площадку, чтобы продемонстрировать свое возмущение, Константин фон Мекк затем понемногу сбавил скорость, чтобы выглядеть солиднее; он вел машину все медленнее, то и дело чихая от пыли на крутой горной дороге, ведущей к Вассьё — деревушке, стоявшей, согласно путеводителю «Мишлен», «над пропастью», каковое обстоятельство явно не способно было заинтересовать туристов; с самого утра там, наверху, горели какие-то костры, неустанно выдыхавшие в небо густые клубы дыма. Дорога круто пошла в гору, потом сузилась до тропинки, и Константину пришлось затормозить и выйти из машины. Солнце пекло нещадно, подъем не сулил ничего приятного, и он подумал, не вернуться ли назад. Он так и поступил бы, если бы его не привлек непонятный запах — запах, который по мере приближения все усиливался и определялся: то был запах пожара, вот только в памяти Константина он ассоциировался не с мертвой тишиной, которая свинцово лежала на всем окружающем, а с возбужденными голосами, шумом хлещущей воды, топотом бегущих ног. Здесь же царил только запах, и он плохо сочетался с этой тишиной. Их странное несоответствие смутно тревожило Константина, побуждая двигаться вперед. Его влекло туда не любопытство и не проснувшееся воображение, а раздраженный дискомфорт памяти, который настойчиво подталкивал вперед, веля одолевать крутой подъем.

Табличка с надписью «Вассьё» на гребне горы ярко блестела под солнцем; пройдя мимо нее, Константин сразу же очутился в самой деревне, то есть посреди десятка ферм, на крошечной площади с подобием бакалейной лавки, высоким домом мэра слева и общественным амбаром справа; но он стоял посреди того, что вчера еще было деревней, а нынче превратилось в густо чадящие, кое-где еще тлеющие развалины. На минуту Константин окаменел, словно перед ним разверзся ад, потом шагнул к маленькой школе, сверху донизу забитой досками, явно более новыми, чем само здание. И, только подойдя поближе, он увидел, что странные черные свертки, разложенные рядком, точно бусины диковинных четок, были трупами; двенадцать или более расстрелянных людей лежали головами к стене, и их кровь уже еле сочилась сквозь обугленные лохмотья одежды. Десять из них были расположены так аккуратно, что сперва показались режиссеру фон Мекку десятком плохих статистов или, вернее, десятком статистов, уложенных так по вине плохого режиссера, который вдобавок упустил из виду остальных двух, ибо два трупа, нарушая эту кошмарную симметрию, лежали вне ряда,— похоже, люди ползли к дому, надеясь спрятаться. По крайней мере именно об этом думал Константин, пока не заметил торчащую между приколоченными досками руку,— до странности маленькую. Подойдя вплотную, он пнул ногой обгоревшие тесины, и они тотчас обрушились, рассыпались в черный прах. Солнце залило светом пробоину, а в ней — скрюченные обугленные тела, среди них много детских.

И по-прежнему ни звука вокруг, исчез даже запах гари. Птицы и дым пожарища улетели вместе с ветром, покинули Вассьё. Константин отвернулся, и его вырвало прямо на то, что лишь отдаленно напоминало человеческое тело; он отшатнулся, и его вырвало опять — теперь уже на черную, еще горячую доску; он попятился назад, словно обгорелые трупы на земле угрожали ему. Он отступал все дальше и дальше, так медленно, что чуть ли не целый час преодолевал десять метров, отделявшие его от поворота, за которым, слава Богу, уже ничего не было видно; и тут он сел, почти рухнул на низенький белый бортик дороги, не тронутый огнем, но горячий от зноя. Рядом с ним, прикрыв глаза, мирно дремала ящерица и покачивала из стороны в сторону зеленой головкой; Константин был рад, что она живая, что она шевелится. Его сотрясала ледяная дрожь, и одновременно он задыхался от жары в этом пекле; теперь он знал, теперь он понял, отчего солдаты, нынче утром спускавшиеся из Вассьё, не пели гимнов родине-матери[1].

Он встал и глянул сквозь листву вниз, в долину, туда, где ждала его группа: крошечные человечки в белых, красных, синих, зеленых нарядах проворно бегали взад-вперед среди повозок; лошади — обе, приналежащие «Фабрицио»,— горячились и гарцевали на залитом солнцем лугу. Вот только бойня у него за спиной... эти две картины никак не укладывались рядом в его сознании. Константин опять присел на камень, трясущиеся ноги не держали его. Ящерка ускользнула, пока он вставал, и теперь он чувствовал себя безумно одиноким. А главное, навсегда отрезанным от немецкой нации, от своей отчизны, от своего языка, от родных корней. Он ощутил себя вечным, безнадежным сиротой, но сиротой с ненавистью в душе — вот уж роль, которая подходила ему менее всего. И все это время, растянувшееся, чудилось ему, на долгие часы, он явственно слышал собственный голос, он громко твердил: «Нет, нет, нет, no, nè!..» — но ни разу не произнес «nein». Как беззаботно смешивал он прежде все на свете языки! Теперь никогда больше он не скажет ни «nein», ни «ja», никогда не потерпит, чтобы его величали Herr von Meck.

Константин услышал свое имя — кричали снизу, из долины,— взглянул на часы и ужаснулся: ему казалось, будто он ушел со съемки

[1] Деревня Вассьё-ан-Веркор с ее 76 жителями действительно была сожжена гитлеровцами в 1944 г.

много дней назад. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побрел на окликавший его голос — голос Романо; тот скакал к нему на лошади, загорелый, в рубашке с распахнутым воротом, с сияющими на солнце волосами; Романо мчался ему навстречу, улыбаясь, хотя не имел никакого права улыбаться, потому что здесь было безумием улыбаться, безумием и кощунством! Константин обхватил Романо поперек тела и буквально стащил его с седла. Улыбка Романо погасла, он увидал лицо Константина и теперь уже сам поддерживал его, чтобы тот не упал.

— Что с тобой? — спросил он.— Что случилось?

— Спускайся вниз,— выдохнул Константин, подавляя новый мучительный приступ рвоты,— спускайся, не ходи дальше, прошу тебя!

Романо закинул голову, он ловил воздух ноздрями, как охотничий пес; Константин ощутил, как тело его сжалось и напряглось.

— Я знаю этот запах,— ровным голосом сказал Романо.

Легко, словно играя, он извернулся и выскользнул из рук Константина, тщетно пытавшегося удержать юношу, вскочил на коня и погнал его в сторону Вассьё. Уронив руки, застыв на месте, Константин глядел ему вслед, потом бросился к машине и поехал прочь.

Он больше не мог. Нужно было подобрать кинжал — немецкий кинжал, забытый немецким солдатом и блестевший свежей сталью среди почерневших тел,— подобрать и вонзить себе в горло. А вместо этого он мчался теперь навстречу жестокой гибели, навстречу неотвратимой и ужасной каре, ибо сегодня увидел наконец то, что нельзя было видеть, что он всегда отказывался видеть, что преступно и позорно соглашался не видеть.

Глава VIII

Вернувшись с прогулки к обеденному перерыву, Константин фон Мекк объявил, что съемки на сегодня закончены: свет уже не тот,— и приказал сворачиваться. В самом деле, ветер, изменив направление, пригнал тяжелые, сумрачные тучи и вместе с ними странный, непонятный запах, взволновавший лошадей. Несколько догадок и предложений, высказанных Попеску, были встречены таким ледяным взглядом, что он тотчас прикусил язык.

Константин вновь сел за руль своего «тальбота» и повез с собой тех актеров, которые оказались порасторопнее и переоделись быстрей других. Но Ванда, опять нарядившаяся в старинный кринолин, категорически отказалась ехать в его машине. Даже речи быть не может о том, чтобы она загубила такое великолепное платье на проваленном сиденье «тальбота». Пусть в нем едут другие торопыги, она же вернется на виллу Бубу Браганс в кузове грузовика, вместе с юпитерами и операторскими кранами.

— Вы только поглядите! — воззвала она к развеселившейся группе,— поглядите на меня в этом грузовике: можно подумать, везут статую в Рим, на конкурс скульптуры. Или Марию-Антуанетту — на эшафот.

То ли Константин не расслышал, то ли он еще сердился за утреннюю сцену, но он даже не улыбнулся. Он молча отъехал, посадив рядом с собой Мод, чрезвычайно довольную, как она заявила, брезгливо морща носик, тем, что избавляется от этого кошмарного запаха; ей все чудится, будто пахнет пожаром, твердила она с видом прорицательницы.

А Ванда тем временем ехала в кузове грузовика, перешучиваясь с двумя осветителями; вдруг их заставил оглянуться стук копыт. Им понадобилась чуть ли не целая минута, чтобы узнать всадника — всклокоченного и смертельно бледного. То был Романо, но Романо с безумными расширенными глазами и мокрый, как и его лошадь, блестящая от пота и вся в пене.

— Глядите-ка, а вот и сеньор рыцарь Ферсен[1]! — весело воскликнула Ванда.

Но эта шутка, брошенная из кузова, вызвала у Романо лишь мгновенный намек на улыбку. Он безжалостно натянул узду, и конь под ним захрипел и заметался, бешено выкатив глаза и испуганно прядая ушами.

— Ваша лошадь чего-то боится,— строго сказала Ванда.— Что это с вами? А ну-ка, успокойте ее и погарцуйте, как положено элегантному кавалеру, вокруг грузовика и вашей дамы в прелестном кринолине. Когда мы будем проезжать по поселку, я при вас буду чувствовать себя не такой одинокой.

Но Романо не отвечал, он продолжал бороться с лошадью, усмиряя ее, вопреки своей привычке, силой; Ванда перегнулась к нему через борт машины.

— Да что случилось? — спросила она жестко, но даже и в жестокости этой прозвучала такая глубокая тревога за Романо, что оба осветителя разом отвернулись.

— Немцы сожгли деревню там, наверху,— ответил Романо, усмирив наконец лошадь.— Они сожгли детей и женщин всей коммуны, а мужчин расстреляли. Там все черное...— добавил он, как-то странно взмахнув рукой.

— Господи Боже! — воскликнул старший осветитель, тот, что стоял рядом с Вандой,— господи Боже... вот суки, вот сучьи дети!.. Прошу прощения,— холодно извинился он, ища глазами немцев — членов группы, но таковых рядом не оказалось.— Сволочи! Вот, значит, откуда этот запах.

И он побледнел так же, как Романо, как побледнела и Ванда. Она стояла в кузове прямая, напряженная в своем лиловом кринолине; по бокам — двое мужчин в синих спецовках, позади машины — Романо, сдерживающий рвущуюся вперед лошадь. «Странно же мы, наверное, выглядим,— рассеянно подумала она,— дикая, нелепая картина на фоне пожара, всего этого ужаса». Но ей никак не удавалось поверить, представить себе весь кошмар случившегося. Она опять обернулась, нагнулась к Романо, увидела синюю жилку, судорожно бьющуюся на его виске, другую — у горла, и поняла, что Романо — на пределе. И ее охватила горячая нежность к нему, словно он был ее сыном или совсем юным любовником; ей захотелось стиснуть ладонями его лицо и медленно, печально целовать в губы, как бы прощаясь навсегда. Но она преодолела этот порыв.

— Встретимся в доме,— сказала она.— Вам нужно будет сейчас же уехать на «тальботе». Я поговорю с Константином.

— Я его встретил там, наверху,— ответил Романо,— он это видел.

Ванда на миг прикрыла рукой глаза.

— Ох,— вздохнула она,— бедный, бедный Константин... И бедный мой Романо,— добавила она, взглянув на юношу так нежно, что тот отвернулся, ослабил поводья и, пустив лошадь в галоп, вскоре исчез из вида.

— Жалко парня,— сказал один из осветителей,— видели, он чуть не заплакал. Черт возьми, он ведь совсем еще мальчишка!

Ванда молча кивнула. Она смотрела на золотистые колосья в поле, которые ветер теребил и колыхал из стороны в сторону. Она видела фруктовые деревья, белую пыльную дорогу и мирные домики там, вдали, купающиеся в послеполуденном солнце и еще не застигнутые, не накрытые тенью облаков.

Константин пропадал где-то до самого ужина. Романо отбыл на «тальботе» «искать другое место для съемок», а оставшиеся двое мужчин до самого вечера раскладывали пасьянсы, из которых, судя по их

---

[1] Ханс Аксель граф де Ферсен (1755—1810) — шведский аристократ, влюбленный во французскую королеву Марию-Антуанетту и пытавшийся в 1791 г. организовать бегство королевской семьи из революционной Франции.

лицам, ни один не удался. Ванда рассеянно перебирала клавиши пианино, Бубу нервничала, а Мод без конца полировала ногти.

Дождя еще не было, но какие-то нервные, злые сполохи трепетали в небе, не то предвещая, не то накликая грозу, а пока что ввергнули обитателей виллы в угнетенное состояние духа, хотя никто из них — почти никто — не знал о судьбе Вассьё.

Ужин показался Константину нескончаемым. Вопреки своей обычной учтивости, он слегка сцепился с Бубу и покинул столовую, ни с кем не попрощавшись на ночь.

Дверь его спальни чуточку приотворилась с противным скрипом, который, впрочем, тут же прекратился. Константин, страстно желавший, чтобы хоть кто-нибудь нарушил его одиночество и одновременно неспособный сейчас поддержать разговор с кем бы то ни было, насторожился и замер. Дверь приоткрылась пошире, все с тем же ужасным скрипом, и Константин невольно усмехнулся: если за ним шпионят, то это грубая работа. Но вдруг створки с треском распахнулись, и в комнату влетел мохнатый вихрь — Азор, домашний пес, питавший к Константину бурную любовь и неотступно ходивший за ним по пятам, когда тот бывал на вилле. Константину мгновенно вспомнились фотографии, заполонившие страницы германских газет: Гитлер, с ласковой улыбкой на устах, сидящий между белокурой девочкой и немецкой овчаркой. Азор подбежал к Константину, облизал ему лицо и руки, потом, убедившись, что на сей раз в постели нет другого двуногого, одним прыжком взобрался туда и, нежно ворча от счастья, улегся прямо на грудь своего обожаемого друга. Да, только животные и умеют любить по-настоящему, машинально подумал Константин — именно в таких банальных выражениях, как и всякий раз, когда попадал в необычайную ситуацию; он рассеянно потрепал пса по голове.

Тот уже задремывал, прижавшись к Константину, который не решался двинуться, хотя надо было бы встать и скинуть одежду, все еще пропитанную, казалось ему, ужасным запахом Вассьё, и вымыть лицо перед зеркалом. О, как хотелось ему увидеть в этом зеркале другой лик — молодого мужчины или просто лицо мужчины — настоящего! Боже, что он сотворил с самим собой! Он покрывал преступления. Он опозорил свое имя, свою репутацию и предал доверие, которое люди еще питали к его уму и порядочности, он послужил вывеской для этой бесчеловечной власти. Он обесчестил себя, как выражались в прошлом веке и как, вероятно, это будет называться всегда. И, может быть, где-то совсем еще молодые люди говорили себе: «Если даже фон Мекк, так ненавидящий несправедливость, так любящий независимость, сотрудничает с нацистами, значит, и мы можем последовать его примеру». Да пусть хоть один-единственный человек вступил в армию с такими мыслями — ответственность и вина за это лежат на нем, на фон Мекке, рыцаре свободы. О да, еще бы, он ведь так успешно играл в свободу и независимость — при благосклонной поддержке Геббельса! Он верно определил себя вчера в разговоре с Вандой: марионетка, паяц, набитый опилками; и только в самой глубине его души таились настоящие, человеческие кровь и слезы.

В любом случае он, Константин фон Мекк, теперь человек конченый — конченый, ибо он мошенник, лгун, даже если действовал не намеренно; он погиб, умер как в собственных глазах, так и в глазах всего мира. И внезапно Константин фон Мекк — двухметровый великан весом в восемьдесят пять килограммов, Константин фон Мекк с его казацкими усами, смеющимися глазами и рыжевато-белокурой растительностью на поджаром атлетическом теле, судорожно скрючился, свернулся в комочек, как зародыш, и разрыдался — бурно, совсем по-детски, уткнувшись в подушку. Он плакал, и слезы его, струясь из глаз, текли по щекам, пропитывали усы. Он плакал так, как никогда еще в жизни

не плакал, как не помнил, чтобы ему приходилось плакать. Таких слез он не проливал даже по своему лучшему любимому другу — погибшему Майклу, даже по умершей матери, даже по Ванде, когда она покинула его всерьез и надолго, в последний раз... Он никогда и ни по ком еще так не плакал, а теперь оплакивал себя самого, свой образ, искаженный и померкший, и сознание того, что плачет он из-за себя, над собой и с такой невыносимой горечью, удваивало его стыд, его отчаяние и его рыдания.

А проснувшийся Азор лизал ему мокрые пальцы и пытался отыскать лицо, которое Константин прятал от него, стыдясь пса, словно человека.

И первым человеком, вошедшим в его спальню, оказалась Бубу Браганс. Бубу страдала массой недостатков, но имела и некоторые достоинства: одно из этих последних и побудило ее отступить в коридор, бесшумно прикрыв дверь; притом на лице ее не выразилось ни малейшего удивления. Второй к нему пришла Ванда.

Она легла рядом с Константином, она прижала его всклокоченную, вздрагивающую от рыданий голову к плечу и стала гладить ему лицо, нескончаемо долго обводя, словно вырисовывая, каждую черточку, по давней привычке, такой — она это знала — сладостной для него. Да и для нее тоже: ни у кого больше не встречала она такой кожи — гладкой, теплой, сухой. Ванде казалось, будто под этой кожей она осязает биение крови в его венах так явственно, словно видит их голубые струйки своими глазами; повсюду, где бы ни скользили ее пальцы — по контуру губ, по краешкам век, по вискам, у основания шеи,— они находили, «видели» то, что было недоступно взгляду.

— Говори со мной,— просила она шепотом, в темноте.— Говори!

Но Константин молчал, молчал, погруженный в отчаяние; он лежал, откинув голову назад и время от времени сотрясаясь от конвульсивных всхлипов, и пугавших и восхищавших Ванду,— никогда еще, с тех пор как они узнали и полюбили друг друга, она не видела его плачущим.

— Говори,— шептала она,— говори же...

— Это было невероятно,— с огромным усилием вымолвил он наконец надтреснутым, каким-то натужным голосом, хриплым и сорванным голосом человека, перенесшего неправдоподобный кошмар.— Это было невероятно — то, что я увидел,— повторил он, бросив на Ванду дикий, блуждающий взгляд, и снова уронил голову на ее плечо. Да, он плакал так впервые, но и Ванда в первый раз испытала материнское чувство защитницы, покровительницы, доселе неведомое ей в отношениях с Константином.

— Ну, успокойся, успокойся,— повторяла она, так же как он, понижая голос,— ведь не ты же сотворил все это. Ты никогда не был немцем, Константин, мой старый златогривый лев, мой бедный полукровка Константинов!

И она ощутила, как вновь рождаются в ней, просятся наружу нежные и простые, детские прозвища начала их любви, их первых встреч. Ею завладели покой, и грусть, и смутная горечь счастья.

— Как это — не был немцем? — возразил Константин.— Я ведь с ними якшался. И, может быть, побудил надеть мундир других — совсем еще мальчиков. Меня должны всюду ненавидеть, и это будет справедливо, понимаешь? Справедливо!

— Но ты никому и никогда не причинял зла, ты многих спасал,— ответила Ванда.— Я уже говорила тебе, сколько людей осталось в живых благодаря твоей помощи. Ты делал добро, а не вредил!

— Нет,— твердил он,— нет! Я отказывался видеть, что они творят зло. Я лгал себе и другим, я всегда лгал. Я прикидывался добреньким, а им позволял убивать. Но я не должен был молчать, Ванда! Мне нуж-

но было кричать во все горло, отречься от них, заставить их убить меня. Я сообщник моей родины и на сей раз обязан ответить за свои действия. Иначе нельзя, Ванда: слишком много мертвецов вокруг...

— Да какие действия?! — воскликнула она.— Это было ослепление, это было...

Но Константин не слушал ее. Наконец он говорил чистую правду, но слушал самого себя как со стороны — с интересом и любопытством, ибо правда, которую он высказывал, была не более правдивой, чем вся его остальная жизнь. Она — эта правда — вместе со всем остальным, была всего лишь удобной для него частью истины, даже если в этот миг он мучительно пытался сделать ее непереносимо страшной. Он все еще силился вонзить нож поглубже, но черный ворон цинизма уже сел к нему на плечо и насмешливо каркнул над ухом.

— Я виновен в своем молчании. Все эти три года оно должно было набатом гудеть у меня в ушах. Ванда, ты же все понимаешь! Так зачем ты расписываешь мне будущее в радужных красках, когда я вот уже три года живу в черно-белом кошмаре? Я не могу даже представить себе это будущее. Оно устарело, вышло из моды!..

Он смолк, потому что Ванда плакала. Она горько, безутешно плакала, и Константину теперь нужно было только одно — утешить ее, ибо и она плакала очень редко, а вот теперь из глаз ее текли слезы — медленные, теплые, такие несоленые, такие восхитительные на вкус. И уже другой Константин — и тот прежний, и нынешний, и всегдашний — заключил ее в объятия, умолил простить его, развеселил и утешил любовью. Но позже рассказ Ванды выслушал еще один Константин — незнакомый, чужой.

Именно этому чужому Константину рассказала она и о своем долге — доставить в Лондон немецкого ученого, и об абсолютной необходимости побега для них, всех четверых, нынче же вечером. И новый, незнакомый ей Константин рассеянно согласился на все: он без капли сожаления расставался с Сансевериной, расставался с «Пармской обителью», расставался с Европой, расставался со своей двусмысленной ролью — со всем, что составляло здесь его жизнь. И увозил с собой лишь то, что любил и почитал,— готовый ко всему, согласный со всем, так показалось Ванде.

На какой-то краткий миг у нее возникло чувство впустую принесенной жертвы: сколько раз грезила она раньше о минуте, когда откроет Константину правду и увидит в его глазах изумление, потом испуг, потом нежность и восторг; как ей хотелось, чтобы он почитал ее наконец за что-нибудь иное, нежели за красоту или актерский талант! Но нынешней ночью Константину стало не до того, он утратил способность удивляться чему бы то ни было: хорошо уже, что он согласился уехать, забыть прошлое, эти годы, каждый из которых мог оказаться для него последним.

На самом же деле Константин в своем изнеможении, гневе и отвращении к жизни, мало-помалу уступавшими место облегчению, тешился теперь лишь одним: неотвратимой опасностью предстоящего, хитроумием ходов этой запутанной игры, обманными маневрами, точно рассчитанным планом операции — словом, всем, что ему как режиссеру грело душу, погружало в знакомую атмосферу лицедейства. План Ванды и Романо был прост: она и Константин в присутствии членов группы как бы внезапно, по вдохновению решат отпраздновать вдвоем свое супружеское примирение, устроив «ужин влюбленных». Они уедут, встретятся с Оттингом и привезут его к посадочной площадке, где их будет ожидать Романо. После чего сядут в этот чертов самолет и — будь что будет! Расстреляют его в Лондоне или увенчают лаврами, Константину было совершенно безразлично. Он испытывал огромное облегчение от сознания того, что поручает свою жизнь другим, вернее, другому, неизвестному, но эта будущая жизнь сулила ему одну лишь бесконечную,

невыносимую усталость. В любом случае он обманулся, пускай же теперь другие обманываются в нем. Так оно и положено.

Ну а пока что следовало выяснить отношения с этим цыганом, вернувшимся поздно вечером на его «тальботе», с цыганом, который солгал ему, скрыл от него правду. Да, нужно было объясниться с Романо. Ванда уже крепко спала, измученная любовью, растрепанная и прекрасная. Константин размашистыми шагами дошел до комнаты Романо и широким драматическим жестом распахнул дверь, но увидел всего лишь полумрак, подслеповатую желтую лампочку и — в скудном ее свете — своего любимого, своего друга, распростертого на постели; полунагой, едва прикрытый углом простыни, он лежал в бессильной, почти непристойной позе, закинув голову так, словно уже был мертв. Под этой загорелой тугой юной кожей Константину почудилось начало разложения; безнадежное одиночество таилось в этой лучезарной красоте, нетронутая чистота сияла из бездны этого разврата. Невыносимо, мучительно было думать о том, что генерал Бремен в Париже сумел за двадцать тысяч франков обладать этим телом, что сам он, Константин, мог так или иначе посягнуть на непорочность этого лица. Константин склонился и медленно опустил голову на плечо Романо, потом лег рядом — спокойно, как лег бы брат. Он не испытывал желания, или, вернее, желание его было столь огромно, что потеряло остроту плотского влечения; сейчас он любил в Романо нечто иное, чем любовь, нечто иное, чем дружба, нечто иное, чем наслаждение; он любил кого-то, кто был им самим и кого он совсем не знал. И Константин медленно погрузился в волны сна, проникнутый благословенным забытьем и забвением всего, под сладостный благовест дремоты, который он и слышал, и не слышал.

Эпилог

Рабочий день прошел весьма удачно — по крайней мере Попеску считал именно так. Тем сильнее он изумился, когда голос драгиньянского капитана грубо вывел его из эйфории.

— Вы что, совсем идиот? — орал немец на другом конце провода.— Куда? Когда? Почему вы не позвонили мне в ту же секунду? Надо же быть таким кретином!.. Я получил точные инструкции...

Он так оглушительно вопил в эбонитовую трубку, которую держал несчастный Попеску, зашедший позвонить в кафе, что тот прикрыл ее ладонью и испуганно оглянулся. Но страх его оказался напрасен: в зале не было ни души. Посетители выбежали за порог и глядели в сторону домика, затерянного среди виноградников, где только что прогремел выстрел. Говорили, что немцы запеленговали передатчик, и в дом ворвался взвод эсэсовцев. Попеску, разумеется, не дано было узнать, что радист работал на Ванду. В любом случае это ничего не меняло: она и Константин уже уехали ужинать в «Дворянскую усадьбу» — одну из типичных провинциальных подделок под «старинную таверну» не то для важных господ, не то для всякого сброда. Так или иначе, а радист пустил себе пулю в голову при первом же выстреле эсэсовцев.

Попеску со смесью ужаса, гордости и беспокойства услышал от капитана, что от его сведений зависят действия взвода СС, срочно вызванного из Вара. Ему было приказано следить за каждым шагом Романо, дождаться возвращения Константина и Ванды и незамедлительно донести о появлении любого нового лица в доме Бубу Браганс. Помимо этого он должен был позвонить еще раз в девять часов и сообщить последние новости, приобретавшие, казалось, государственную важность.

Прибыв в таверну, расположенную при замке, Константин и Ванда уселись за стол, заказали аперитивы и стали увлеченно осушать бокал за бокалом, как вдруг Ванда капризно заявила, что здесь все от-

вратительно, что сам Константин отвратителен и что она не собирается проводить тут вечер, а Константин, если ему угодно, может оставаться. Она вихрем вылетела за дверь, провожаемая взглядами оторопевших посетителей и огорченных официантов; Константин последовал за ней (по крайней мере все это потом можно будет проверить). Они сели в машину и поехали на ферму, где скрывался Оттинг, который при виде их даже не раскрыл рта. Посадочная площадка находилась в нескольких километрах от фермы, и они беспрепятственно доехали до нее к десяти часам; самолет должен был прилететь максимум через час.

К несчастью, ужин в доме Бубу Браганс кончился уже в девять; трапеза эта, в отсутствие знаменитой пары, прошла более чем мрачно, хотя Мод пыталась оживить ее сладеньким щебетом; ей помогал Людвиг Ленц, который, на сей раз стряхнув с себя меланхолию, пустился в воспоминания о Лазурном береге, где его в семилетнем возрасте учили плавать брассом; зато фурункул злосчастного первого любовника оказался стойким, и Бубу Браганс начала подумывать, что поистине Константин капризный, но незаменимый в обществе гость. Ну а Попеску не спускал глаз с Романо, который заметил это и понял, что ему не ускользнуть от бдительного ока соглядатая, иначе он рискует привести гестаповцев прямо к своим друзьям. Впрочем, он всегда знал, что спастись ему не суждено. Значит, остается одно: как можно дольше отвлекать внимание Попеску и эсэсовцев, чтобы самолет успел сесть и взлететь. В десять часов он решил вызвать огонь на себя и подошел к Попеску, который, безмятежно глядя из окна в сад, размышлял, не предложить ли Романо партию в шахматы. Романо схватил его за локоть, развернул на сто восемьдесят градусов, дал жестокую пощечину и обозвал предателем, нацистом, фашистским прихвостнем, точно камнями побивая продюсера этими и прочими оскорблениями, вслед за чем подтащил его к телефону. И дрожащий Попеску, сам не зная, что делает и говорит, доложил в гестапо: Роман Вилленберг, работающий ассистентом у фон Мекка, действительно сражается в Сопротивлении, но он, Попеску, не выпустит его из рук; что же касается самого фон Мекка и Ванды, они недавно звонили и меньше чем через час собираются вернуться домой. Изумленная Бубу, ошеломленная Мод и оба потерявших дар речи актера смотрели на эту сцену так, словно им показывали плохой фильм — плохо задуманный, плохо смонтированный, с плохим сюжетом, с плохими актерами, с плохим сценарием. Да и Романо почудилось то же самое.

Эсэсовцы приехали десять минут спустя, и свет фар, безжалостно заливший дом и сад, утвердил Романо в его предчувствиях. Теперь нужно было продержаться час, самое большее полтора, и заговорить как можно позже, а там кончено. И Константина он больше не увидит, с этим тоже было кончено.

В десять вечера Ванда поняла, что Романо не придет, а в десять двадцать, когда английский самолет мягко сел на луг и два сигнальных костра, разведенных макизарами, уже агонизировали во тьме, понял это и Константин. Добежав до люка, он помог подняться в самолет Оттингу, затем Ванде, а сам остался снаружи, глядя на них снизу; вихрь, поднятый пропеллером, трепал его гриву, глаза блестели,— как у дикого кота, подумала Ванда.

— Ну, иди же! — позвала она.

— А Романо?..— И Константин указал назад, на перелесок за полем, откуда должен был появиться, но не появился Романо.

— Господин фон Мекк,— сказал Оттинг, высунувшись из люка,— господин фон Мекк, вы, надеюсь, не собираетесь остаться здесь из-за этого мелкого террориста, да вдобавок явного педераста, этого мальчишки с крашеными волосами? Или собираетесь?

Ванда поспешно тронула Оттинга за колено, но Константин уже вдвинулся в кабину и пристально глянул Оттингу в глаза.

— Этот мелкий террорист и вдобавок явный педераст,— ответил он,— даст себя убить, для того, чтобы вы, вот вы смогли потом единым махом убить миллионы людей, вам понятно? Он очень скоро погибнет из-за вас, господин доктор Оттинг...

Наступила пауза — если можно так выразиться, пронзительная пауза, настолько стремительно и оглушающе громко вращались пропеллеры, настолько сильно пилоту хотелось взлететь, настолько всем не терпелось увидеть, как он взлетит, настолько явственно ощущал Константин, что он словно врастает в землю, теряя способность двинуться и уйти и даже не зная, не понимая почему.

— Константин,— сказала Ванда,— умоляю тебя, поднимайся. Поднимайся же! Я не смогу жить без тебя, Константин... Иди сюда!..

Но Константин качнул головой.

— Не могу,— сказал он. И тогда Оттинг, которого слова Константина ожгли, как пощечина, заставили отшатнуться, опять наклонился к нему. У него было лицо аскета, некрасивое, почти уродливое лицо альбиноса, но в этот миг оно осветилось благородным сочувствием.

— Я прошу у вас прощения, господин фон Мекк,— сказал он.— Я не знал, что это был такой близкий друг...

— Я тоже,— ответил Константин. И, сделав шаг назад, он махнул рукой. Самолет словно ждал именно этого жеста: он помчался вперед, оторвался от земли и, взмыв над лесом, исчез в ночном небе. В последнее мгновение Константину почудилось, будто он видит слезы, залившие лицо Ванды, как дождь, как ливневый дождь, как ливень слез, и безумное, острое сожаление о ее теле, голосе, глазах, нежности больно пронзило его с головы до ног. Шатаясь, побрел он к лесу, забрался в свой «тальбот», поехал. Он ничего больше не понимал, не помнил, не видел — разве что эту нескончаемую дорогу, по которой, слегка виляя, мчалась его машина; он спешил, он торопился вернуться... к чему?.. неизвестно, но неостановимо рвался выполнить свой долг. Хотя бы теперь Константин фон Мекк знал наконец, что ему нужно свершить, пусть впереди его ждало самое худшее.

Он пронесся по засыпанной гравием аллее, громко хлопнул дверцей машины и сам же непроизвольно вытянулся по стойке «смирно», глядя на суету ординарцев, солдат, эсэсовцев и на блестящие дула винтовок в темноте сада. «Бедняжка Бубу!» — подумал он машинально и быстрым, упругим, четким шагом военного взошел по ступеням крыльца, куда сотни раз взбегал весело, как мальчишка,— взбегал вместе с Романо. Распахнув дверь, он одним движением руки отстранил скрещенные перед ним штыки часовых, подчинившихся этому повелительному жесту, которому добавили внушительности его огненная грива, рыжие усы и зеленые глаза. Пересекая просторный салон, он краем глаза заметил растерянную, растерзанную, растрепанную, всю в синяках Бубу Браганс: брошенная в кресло, в бесстыдной позе — на сей раз не по своей воле,— она тем не менее с бесстрашной дерзостью подмигнула ему и хрипло, как старая ворона, выкрикнула: «Хелло, Константин!» Не остановившись, Константин стремительно дошел до кабинета, где — он знал — творилось самое страшное. Он толкнул дверь, и солдаты, охраняющие ее, невольно расступились при виде его белокурой грозной головы.

Константин гаркнул: «Хайль Гитлер!», вошел и, задвинув дверной засов, прислонился спиной к створке. Кабинет был погружен в полумрак; одна лишь настольная лампа на кронштейне, направленная в центр комнаты, безжалостным светом заливала стул, к которому было привязано то, что осталось от Романо. Он сидел, уронив голову на грудь, и Константин сперва увидел только белокурые крашеные пряди с явственно черными корнями — казалось, они успели отрасти с утра на добрый сантиметр. Рядом стояли двое немецких солдат в уже забрызганных кровью рубашках; дальше, у стола, расположились двое офицеров в безупречных мундирах — улыбающиеся, с сигаретами в зу-

бах; фуражки их лежали на столе, по другую сторону которого жалкий, нелепый, как заблудившийся турист, в своих шортах и сандалиях дрожал зеленый от страха Попеску. Заслышав шум в дверях, один из офицеров схватился было за кобуру, но Константин шагнул в конус света, и под дулом его большого черного пистолета немец так и замер с протянутой рукой. Константин глядел на бессильно сникшие плечи и спину Романо. Тот чуть приподнял голову, и Константин увидел неописуемо страшное лицо; мутный, бессмысленный от боли взгляд с трудом нашел его, узнал — и в нем слабо блеснуло что-то похожее на любовь, великую и вечную, бессмертную любовь; в этих глазах светились мольба, и благодарность, и немой приказ, и нежность, и еще что-то такое, что Константин всю жизнь жаждал увидеть в чьем-нибудь обращенном к нему взоре. И тогда он направил дуло пистолета на шею Романо — юную, гладкую, смуглую шею, к которой накануне лишь на миг прижался губами, не зная, что ему следовало бы ночь за ночью бодрствовать, любуясь, наслаждаясь, упиваясь этой нежной кожей, отыскивая жадным ртом и находя под ней неровный пульс самой любви. Константин выстрелил в самую середину шеи, в сонную артерию; брызнувшая фонтаном кровь залила обезображенное побоями лицо, голова медленно опустилась на грудь, свесились вниз белокурые пряди с черными корнями. Взвыли офицеры и солдаты, выкрикивая хриплые ругательства, но весь этот шум перекрыл нечеловеческий, заячий крик Попеску, простершего вперед руки, как будто он надеялся ладонями отгородиться от мстительных пуль Константина, словно у того еще осталось время и желание мстить, словно он еще помнил, что такое месть, словно он еще не забыл, кто такой Попеску.

За спиной Константина рухнула дверь, сорванная с петель; он испугался, что его опередят, и так резко сунул дуло пистолета в рот, что мушкой больно расцарапал себе верхнюю губу. Ощущение было неприятное. «И черт с ним!..» — еще успел он подумать, но тут оглушительный взрыв вдребезги разнес его череп; эха от него он уже не услышал.

■

КНУТ ГАМСУН

С норвежского

Новеллы

Победительница

Я работал в Чикаго кондуктором. Вначале на линии Халстед; это была конка, она ходила от центра города и прямо до скотного рынка. Выходя в ночную смену, на этой линии мы никогда не чувствовали себя в безопасности, уж очень подозрителен был люд, что ездил здесь по ночам. Стрелять нам запрещалось, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть, не то трамвайной компании пришлось бы выплачивать компенсацию; у меня даже не было пистолета, так что полагался я только на удачу. Конечно, совсем безоружным я не был: в любой момент мог выхватить рукоятку тормоза, а уж эта штука меня бы не подвела. Хорошо это или плохо, но воспользоваться ей мне пришлось только однажды.

Предрождественские ночи 1886 года я провел в трамвае без особых происшествий. Только однажды в вагон ввалилась толпа ирландцев со скотного рынка, аж платформа просела. Уже пьяные, они пили еще, жутко орали какие-то песни и явно не собирались платить, хотя вагон уже тронулся. Целый год по утрам и вечерам они отдавали компании свои кровные пять центов, вопили они, а теперь Рождество, и потому платить они не намерены. Может, они были отчасти правы, но разрешить им бесплатный проезд я все же не мог, так как опасался «шпионов», нанимаемых компанией следить, как кондуктор выполняет свои обязанности. В вагон вошел полицейский, констебль постоял минутку, пробормотал себе под нос что-то про Рождество, понюхал воздух и вышел, слишком тесно ему показалось. Кому как не мне было знать, что одного слова констебля было бы достаточно, чтобы все пассажиры вынули свои пятицентовики, но я промолчал. «Почему ты нас не заложил?» — спросил один. «Решил, что это ни к чему,— ответил я.— Ведь я имею дело с джентльменами». Кто-то попытался поднять меня на смех, но другие поддержали меня и к тому же заплатили за всех.

К следующему Рождеству меня перевели на линию Коттедж. Перемена была разительная. Теперь я обслуживал состав из двух, иногда трех вагонов, их приводил в движение кабель, проложенный под землей. Публика в этом районе жила утонченная, их пятицентовики я собирал в перчатках. Зато здесь было спокойно, а к обитателям вилл я вскоре потерял интерес.

Но под Рождество 1887 года опять случилось небольшое происшествие.

В сочельник — я работал тогда в утреннюю смену — мы ехали к центру. Вошел господин и сразу обратился ко мне с каким-то вопросом;

когда я обходил вагон, он дождался меня на задней площадке, где мое обычное место, и снова заговорил. На вид ему было около тридцати, бледный, с усами, очень элегантно одет, но без пальто, хотя погода стояла холодная.

— Я выскочил из дома в чем был,— сказал он.— Хотел непременно опередить жену.

— Рождественский подарок,— высказал я предположение.

— Вот именно,— ответил он и улыбнулся.

Но улыбка вышла странной, будто гримаса или ухмылка искривила рот.

— Сколько вы зарабатываете? — спросил он.

В стране янки этот вопрос не вызывает удивления, и я назвал точную цифру.

— Хотите заработать десять долларов? — спросил он.

Я хотел.

Он достал портмоне и протянул мне купюру. Сказал, что мне он доверяет.

— Что я должен сделать? — спросил я.

Он попросил посмотреть мой график движения и сказал:

— Сегодня вы работаете восемь часов?

— Да.

— Во время одной из ваших сегодняшних поездок мне понадобится ваша помощь. На перекрестке с Монро-стрит мы будем переезжать люк, ведущий к подземному кабелю. Я подниму крышку и спущусь вниз.

— Вам жить надоело?

— Не совсем. Но я хочу произвести такое впечатление.

— Ах, вот как.

— Вы остановите трамвай и будете вытаскивать меня из колодца, хотя я буду отчаянно сопротивляться.

— Непременно.

— Благодарю. Кстати, я вовсе не сумасшедший, как вам может показаться. Я устраиваю этот спектакль для моей жены, она должна увидеть своими глазами, что я хочу умереть.

— Так, стало быть, ваша жена тоже поедет на этом трамвае?

— Да, она будет сидеть на «грипе».

Я поежился. The grip — так называется в Америке кабинка вагоновожатого, где он стоя управляет трамваем, это место со всех сторон открыто ветрам, и прогулка там зимой вряд ли могла доставить кому-то удовольствие.

— Она поедет на «грипе»,— повторил мужчина.— Так она обещала в письме своему любовнику, и если она поедет сегодня, это будет для него сигналом, что она придет. Я прочитал в письме.

— Хорошо. Но я должен предупредить вас, что с крышкой люка придется поторопиться. Иначе на нас наедет другой состав. У нас интервал три минуты.

— Это мне известно,— ответил господин.— Когда я подойду, крышка будет уже приоткрыта. Она и сейчас уже приоткрыта.

— И еще один вопрос: как вы узнаете, на каком трамвае поедет ваша жена?

— Мне сообщат об этом по телефону. Мои агенты следят за каждым ее шагом. Она будет в коричневой шубке, вы легко узнаете ее, она очень красивая. Если ей станет плохо, помогите ей добраться до аптеки на углу Монро-стрит.

Я спросил:

— С моим вагоновожатым вы тоже договорились?

— Да,— ответил он.— И заплатил ему столько же. Но мне бы не хотелось, чтобы вы обсуждали эту историю и зубоскалили. Лучше не говорите ему ни слова.

— Не сомневайтесь.

— Когда трамвай подъедет к Монро-стрит, вы перейдете в кабину вагоновожатого и будете внимательно следить. Заметив меня, вы дадите сигнал остановиться. Вагоновожатый поможет вам вытащить меня из люка, хотя я буду сопротивляться и кричать, что хочу умереть.

Я немного подумал и сказал:

— Сдается мне, что вы могли бы сберечь ваши денежки и никого из нас не посвящать в то, что вы задумали. Спустились бы себе в люк, и все тут.

— Ах, боже праведный! — воскликнул господин.— Но ведь вагоновожатый мог бы меня не заметить! Что было бы, если бы он меня не заметил! И никто не заметил!

— Вы правы.

Мы поговорили еще о том о сем; он доехал до конечной станции, а когда трамвай повернул, то поехал с нами обратно.

На углу Монро-стрит он сказал:

— Вон в ту аптеку вы доставите мою жену, если ей станет плохо.

И соскочил с подножки...

Я стал богаче на десять долларов; слава Богу, бывают же в жизни счастливые дни! Всю зиму я проходил, привязывая к спине и груди толстый слой газет, чтобы хоть как-то спастись от ветра; при каждом моем движении раздавался хруст, что очень меня смущало, а приятели не упускали случая подшутить надо мной. Теперь же я смогу купить чудесный кожаный жилет, совершенно непродуваемый. И когда в следующий раз приятели станут пихать меня в спину, чтобы услышать так забавляющий их хруст, я больше не доставлю им такого удовольствия...

Мы съездили два, съездили три раза в город; ничего. Когда в четвертый раз я собирался выйти на станции Коттедж, вошла молодая дама и села на «грипе». На ней была коричневая шубка. Когда я подошел к ней, чтобы получить плату за проезд, она доверчиво посмотрела на меня. Совсем юное существо, очень красивая, с невинными синими глазами. Бедняжка, какой ужас ей придется пережить сегодня, думал я, но, видно, она оступилась, и теперь последует наказание. Бережно отнести ее в аптеку доставит мне сущее удовольствие.

Мы катились к центру города. Я заметил со своей площадки, что вагоновожатый шепчется с юной дамой. Ну, что интересного он мог ей сказать? Ему вообще запрещено говорить с пассажирами во время работы. Но, к моему удивлению, молодая женщина пересела на одно сиденье поближе к тому месту, где вагоновожатый крутил своими рычагами, а он внимательно слушал, что она ему говорит.

Все дальше катимся мы к центру, останавливаемся, берем пассажиров, опять останавливаемся, и пассажиры выходят; все идет своим чередом. Монро-стрит уже близко. Я думаю: безумец, а местечко выбрал себе с умом. Перекресток этот тихий, спуститься в колодец никто не помешает. А дальше я думаю, что мне не раз приходилось видеть, как обслуживающий персонал нашей компании спускается в такие люки и приводит в порядок все, что может там, в подземелье, выйти из строя. Но если кто задержится в люке и состав на него случайно налетит, то это — как пить дать — несчастного укоротит; от «грипа» к кабелю тянется якорь, так что башку непременно оторвет.

Когда до Монро-стрит оставался один квартал, я пошел на «грип». Вагоновожатый и молодая дама молчали. Я только напоследок заметил, как вагоновожатый кивнул, словно соглашаясь с чем-то, после чего он, уставившись в одну точку, смотрел только вперед и мчался на бешеной скорости. У нас тогда еще длинный Пат был вагоновожатым, ирландец.

«Slack here a bit!» — сказал я ему, как мы это обычно говорим. Это означает: сбавь скорость. Там, куда мы неслись, я как раз увидел черную точку, похожую на человеческую голову, торчащую из-под земли.

Потом я посмотрел на молодую женщину, ее взгляд был прикован к той же точке, она сидела, судорожно вцепившись в сиденье. «Одна

мысль о каком-то возможном происшествии уже взволновала ее! — думал я.— Что же будет с ней, когда она увидит, что это ее собственный муж и он хочет покончить с собой!»

Но длинный Пат не сбросил скорость. Я крикнул ему, что в колодце человек — никакого впечатления. Теперь голова была уже отчетливо видна, этот безумец стоял в колодце лицом к нам. Тогда я выхватил свисток и выдал оглушительный сигнал к остановке; Пат не снижал скорости, через несколько секунд не миновать беды. Я забил в колокол, потом выскочил на переднюю площадку и схватился за рукоятку тормоза. Но было поздно; прежде чем остановиться, трамвай с визгом пронесся над люком.

Я спрыгнул на землю, я был потрясен, но помнил отчетливо, что должен кого-то спасать, а тот будет сопротивляться. И тут же опять вернулся на «грип» и вообще много суетился. Вагоновожатый, казалось, был тоже в шоке и задавал бессмысленные вопросы — был ли в колодце человек и как это могло произойти, что он не остановил трамвай. Молодая женщина кричала: «Ужасно! Ужасно!» В лице ее не было ни кровинки, и она все так же судорожно цеплялась за сиденье. Но она не потеряла сознание и вскоре спустилась с «грипа» и ушла.

Собралась толпа, голову несчастного нашли под задним вагоном, туловище осталось в колодце, якорь зацепился за подбородок и срезал голову. Мы убрали тело с путей, подошедший полицейский отнес его в сторону. Констебль записал все имена, а что касается меня, то все пассажиры могли засвидетельствовать, что я звонил и свистел и под конец я-то и затормозил. Доложить о происшествии в контору должны были эксперты нашей компании.

Длинный Пат попросил у меня нож. Я понял его по-своему и сказал, что на сегодня нам хватит происшествий. Тогда длинный Пат улыбнулся и показал мне свой пистолет; нож ему нужен совсем не для забавы. Получив нож, он простился со мной, объяснив, что работать здесь он больше не может; ему тяжело говорить об этом, но довести состав до конечной станции придется мне, там мне дадут другого вагоновожатого. И он объяснил мне, что я должен делать дальше. С ножом мне придется проститься, сказал он,— он пойдет поищет глухую подворотню и срежет там свои форменные пуговицы.

С тем и ушел.

Мне ничего не оставалось, как добираться до станции самому; за мной скопилось несколько составов, ожидавших, чтобы я поскорее освободил путь. И поскольку кое-какой опыт вождения у меня все же был, то добрался я до станции без приключений.

В один из вечеров перед Новым годом я бесцельно бродил по городу. Подойдя к железнодорожному вокзалу, решил заглянуть внутрь — оживление, царившее там, меня чем-то привлекало. Я вышел на перрон и увидел поезд, который вот-вот должен был тронуться. Вдруг кто-то окликнул меня по имени, улыбающийся человек стоял на ступеньках вагона и звал меня. Это был длинный Пат. Я не сразу узнал его; он был элегантно одет и к тому же расстался со своей роскошной бородой.

У меня вырвался возглас удивления.

— Тсс, ты что шумишь? И кстати, чем закончилась та история? — спросил Пат.

— Нас допрашивали,— ответил я.— Тебя разыскивают.

Пат сказал:

— Я уезжаю на Запад. Что мне здесь делать? Семь-восемь долларов в неделю, из них четыре уходит на жизнь. Хочу купить землю и стать фермером. Как ты понимаешь, деньги у меня есть. Захочешь присоединиться, найдется и для тебя фруктовая плантация где-нибудь в районе Фриско.

— Я не могу поехать,— ответил я.

— Пока не забыл, вот твой нож. Спасибо, выручил. Но знаешь, служба в трамвайной компании ничего тебе не даст. Я проработал три года, но так и не вырвался бы, если б не тот случай.

Раздался свисток.

— Ну, прощай,— сказал Пат.— Да, кстати, сколько заплатил тебе тот несчастный?

— Десять долларов.

— И мне столько же. В общем-то, заплатил он неплохо. Но жена лучше.

— Жена?

— Ну да, его молодая жена. Она заключила со мной небольшую сделку. Тысчонка-другая не имели для нее значения, уж очень ей хотелось разделаться с мужем. Вот на эти деньги я и собираюсь изменить свою жизнь к лучшему.

Дама из Тиволи

Эта история произошла летом, когда в Тиволи выступал с концертом Парижский хор. Я прогулялся к Дворцовому холму, а дойдя до вершины, повернул обратно и направился к Тиволи.

Чтобы послушать Парижский хор, вокруг собралась огромная толпа, я тоже пристроился где-то сбоку.

Я встретил приятеля, с которым мы начали негромко переговариваться, тем временем изнутри послышалось пение — его доносил до нас ветер. Неожиданно я почувствовал тревогу, нервная дрожь охватила меня, я невольно отстранился и отвечал приятелю невпопад. На какой-то момент спокойствие вернулось ко мне, но потом снова накатила эта необъяснимая дрожь.

Тут мой приятель спросил:

— Что это за дама смотрит на тебя?

Я тотчас обернулся. Прямо за моей спиной стояла женщина, ее удивительные, голубые с поволокой глаза не мигая разглядывали меня в упор.

— Понятия не имею,— ответил я.

Меня это разозлило. Глаза неотрывно следили за мной, я чувствовал, как затылок мой горит, и это было особенно неприятно,— в него словно бы вонзились два холодных металлических штыря и безжалостно буравили меня насквозь.

В том нервозном состоянии, в котором я находился, терпеть и дальше этот взгляд становилось невыносимо. Обернувшись еще раз и убедившись, что мы действительно не знакомы с этой дамой, я выбрался из толпы и отправился восвояси.

Несколько дней спустя я сидел с моим знакомым, молодым лейтенантом, на скамейке около университета прямо напротив часов. Мы развлекались тем, что разглядывали молодых людей, вышедших на прогулку.

И вдруг в толпе я заметил пару холодных с поволокой глаз, нацеленных прямо на нас, и тотчас узнал молодую даму из Тиволи. Ее взгляд был устремлен в нашу сторону, она проходила мимо, и лейтенант поинтересовался, не знаю ли я, кто это.

— Не имею понятия,— ответил я.

— Но с кем-то из нас она, очевидно, знакома,— сказал он и встал,— может быть, со мной.

А дама тем временем села на соседнюю скамейку. Мы сделали шаг в ее сторону, я подергал лейтенанта за рукав, уговаривая его пройти мимо.

— Не говори ерунды! — сказал он.— Мы обязательно с ней поздороваемся.

— Вот как,— только и сказал я и поплелся за ним.

Он поздоровался и представился.

— Разрешите присесть? — Не дождавшись ответа, он сел.

Он что-то говорил ей, она отвечала любезно, но рассеянно, вскоре мой приятель уже играл ее зонтиком, который как-то незаметно оказался у него в руках. Я же стоял рядом и, наблюдая за происходящим, чувствовал себя неловко, не зная, как себя вести. Мимо проходил мальчик с корзиной цветов. Лейтенант, который слыл специалистом по части хорошего тона, тут же окликнул его и купил несколько роз.

Не будет ли ему позволено приколоть одну из них на грудь прелестной дамы? После слабых отговорок ему было позволено. Мой приятель хорош собой, и меня нисколько не удивляло, что она принимала его ухаживанья.

— Но ведь роза помята! — неожиданно воскликнула она, вытащила цветок из петлицы и стала в ужасе разглядывать его. Потом отшвырнула его от себя подальше и добавила тихо: — Она похожа на мертвого ребенка.

Последние ее слова я передаю, может быть, не вполне точно, но этот ее жест я помню во всех подробностях.

Лейтенант предложил прогуляться в Королевский парк. По дороге ни с того ни с сего дама стала рассказывать нам о каком-то ребенке, который теперь уже похоронен. Все это время мы с приятелем не проронили ни слова. Потом она заговорила про Гаустад[1] и про то, как, должно быть, тяжко страдают люди, оказавшиеся там, если они не сумасшедшие.

— Да,— сказал лейтенант,— но, к счастью, такого в наши дни не случается.

— Увы, именно такое случилось с матерью того младенца,— ответила женщина.

Лейтенант улыбнулся.

— Черт побери,— сказал он.

У нее был приятный голос, и говорила она как образованная женщина, но я обратил внимание, что она излишне напряжена, близка к истерике — глаза ее лихорадочно блестели. Что касается остального, на мой взгляд, с ней все было в порядке. Однако следить за неожиданными поворотами ее мысли, перескакивающей с одного предмета на другой, мне показалось утомительно, я терял нить разговора, она мне наскучила, и я распрощался. Я видел, что они шли в глубь парка, но ни разу не обернулся и не знаю, куда они направились потом.

Прошла неделя. Однажды вечером, прогуливаясь по улице Карла Юхана, я снова повстречал даму из Тиволи. Заметив друг друга, мы оба невольно замедлили шаг, и я не успел даже ничего сообразить, как уже шел рядом с ней.

Мы говорили о каких-то пустяках и не спеша брели по тротуару. Она мне назвала свою фамилию — это была известная в Кристиании[2] семья — и спросила мою. Я не успел ответить, как она положила мне руку на плечо и сказала:

— А впрочем, не утруждайте себя, я и так знаю.

— Да,— ответил я,— мой друг лейтенант всегда так услужлив. Интересно, как же он представил меня?

Но ее мысли уже куда-то унеслись, она показала в сторону Тиволи и воскликнула:

— Смотрите!

Человек на велосипеде взмывал в воздух и падал вниз, в море горящих факелов. Аттракцион назывался «штопор».

— Подойдем поближе? — спросил я.

— Давайте найдем скамейку,— ответила она.

---

[1] В городке Гаустад находится известная в Норвегии психиатрическая клиника. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Так с 1624 по 1924 год назывался Осло.

Я последовал за ней, мы пошли по Драмменсвейен и дальше в парк, где она выбрала самое укромное место. Мы сели.

Я попытался завязать разговор, но тщетно, она остановила меня вкрадчивым, умоляющим жестом: не буду ли я так любезен немного помолчать? Охотно! — подумал я и замолчал. Я молчал почти полчаса, затаив дыхание и не привлекая к себе внимания. Она сидела неподвижно, в темноте светились белки ее глаз, и я видел, что она все время искоса поглядывает на меня. И под конец я почти испугался этого пронзительного, безумного взгляда и уже был готов встать и уйти, но побоpол себя и только поднял руку к груди, чтобы достать часы.

— Уже десять,— сказал я.

Никакого ответа. Ее глаза неотрывно смотрели на меня. И вдруг она спросила меня, даже бровью не поведя:

— Хватит ли вам мужества откопать труп ребенка?

Это неприятно поразило меня. Сомнений не оставалось, что передо мной — сумасшедшая, но одновременно проснулось любопытство и нежелание расставаться с ней. И потому я сказал, не отводя от нее взгляда:

— Труп ребенка? А почему бы и нет? Нет ничего проще, я вам помогу.

— Видите ли, дитя похоронено заживо,— сказала она,— а мне очень хочется взглянуть на него еще раз.

— Ну разумеется,— ответил я.— Мы просто обязаны раскопать ваше дитя.

Я внимательно следил за ней. Она опять напряглась.

— Почему вы решили, что это мое дитя? — спросила она.— Я вам этого не говорила, я только сказала, что знакома с его матерью. Сейчас я вам все расскажу.

И это существо, которое в иных случаях было не способно вести связную беседу, принялось рассказывать длинную историю, загадочную историю, которая произвела на меня глубокое впечатление. Она говорила живо и непосредственно, очень проникновенно, в ее рассказе не было недомолвок и неувязок, и мне больше не приходило в голову, что она не в своем уме.

Молодая женщина — она ни разу не обмолвилась, что рассказывает о себе,— некоторое время тому назад познакомилась с господином, к которому вскоре привязалась всем сердцем и с кем потом тайно обручилась. Они часто встречались — открыто в городе или тайком, по углам, в условленный час они приходили друг к другу, то он приходил к ней, то она — к нему, иногда они встречались в темноте на той самой скамейке, на которой теперь сидели мы. Они совсем потеряли голову, и, естественно, в один прекрасный день дома узнали, в каком барышня положении. Послали за домашним доктором — она назвала фамилию одного из наших известнейших практикующих врачей — и по его рекомендации бедняжку отправили в провинцию, на попечение местной акушерки.

Время шло, родился ребенок. Их домашний доктор из Кристиании тоже случайно оказался в этом городке, и не успела молодая мать прийти в себя, как ей сказали, что ребенок умер. Он родился мертвым? Нет, он прожил несколько дней.

Но все дело в том, что ребенок не умер. Несколько дней ребенка к матери не приносили и только в день похорон принесли в гробу. А он не был мертв, я вам точно говорю, он был жив, и щечки румяные, и пальчики на левой руке шевелились. Пока мать рыдала, ребенка забрали и похоронили. Всем заправлял доктор на пару с акушеркой.

Время шло. Едва бедняжка встала на ноги, она уехала домой в столицу, еще не вполне оправившись. Там она рассказала подругам о своем пребывании в провинции, и поскольку мысль о родном дитяти не давала ей покоя, она не скрыла своих опасений, что ребенка похоронили

заживо. Девушка страдала и мучилась, дома ею гнушались, и в довершение всех бед исчез ее возлюбленный, его нигде не было.

Однажды у ворот их дома остановилась коляска, ее позвали прокатиться. Она села, коляска понеслась, и кучер привез ее... в Гаустад. Там ее встретил их домашний доктор. Зачем ее привезли в психиатрическую больницу? Неужели она и впрямь сошла с ума? Или просто кто-то испугался, что она слишком афиширует эту историю с ребенком?

Время шло, в Гаустаде для нее нашлось дело — играть для больных на пианино. Никаких отклонений у нее не обнаружили, кроме, может быть, чрезмерной апатии и вялости. Ее убеждали, что надо укреплять волю, быть тверже. Не правда ли, смешно, что они сами настраивали ее на то, чтобы она разоблачила их преступление против ее же ребенка! Но у нее не хватило духу. И вот она страдает и мучается, и ни один человек в мире не может ей помочь. «Может быть, вам удастся?» — спросила она меня.

Ее рассказ показался мне чересчур романтичным, но я чувствовал сердцем, что сама она в него верит. Столько доброты и тепла было в ее словах, что это меня убедило — она не могла лгать, по крайней мере в чем-то ее история должна соответствовать истине: может быть, у нее и в самом деле был когда-то ребенок. Может быть, она болела и ослабла настолько, что смерть ребенка прошла мимо ее сознания, а в какой-то лихорадочный момент в голову пришла мысль, что ребенка загубили. Поэтому я спросил:

— Дитя похоронено здесь?

— Нет, его похоронили там, где я лежала в клинике,— ответила она.

— Значит, это был ваш ребенок? — тотчас переспросил я.

На это она ничего не ответила, только мельком взглянула на меня, как-то испуганно и настороженно.

— Разумеется, я помогу вам,— сказал я тихо.— Когда приступим?

— Завтра,— живо отозвалась она,— завтра же, мой милый!

— Хорошо.

И мы договорились встретиться завтра вечером, часов в семь, перед отходом поезда.

Я пришел на вокзал и, преисполненный решимости, ждал назначенного срока с тем, чтобы исполнить свое обещание. Пробило семь часов, она все не шла. Поезд тронулся, я остался стоять и ждал, я ждал до восьми часов, она все не появлялась. И в тот самый момент, когда я совсем уже было решил отправиться домой, она пришла, да таким быстрым шагом, что это скорее напоминало бег, и прямиком подошла ко мне. Не обращая внимания на стоявших рядом людей и даже не поздоровавшись, она сказала громко и внятно:

— Видите ли, вчера вечером я вас обманывала, вы, разумеется, понимаете, что я пошутила.

— Разумеется,— ответил я, смущаясь оттого, что моя собеседница говорит так громко,— разумеется, я понимаю.

— Правда? — воскликнула она.— Но ведь вы могли бы отнестись к этому вполне серьезно, и тогда — прости меня, Господи!

— Но что вы совершили такое, что Господь должен вас прощать?

— Ах, пойдемте,— сказала она и потянула меня за рукав.— И больше ни слова об этом, прошу вас.

— Как хотите,— ответил я,— я к вашим услугам.

Мы пошли по улице Русенкранц мимо Тиволи, пересекли Драмменсвейен и свернули в парк; я следовал за ней беспрекословно. Мы сели на нашу старую скамейку и говорили опять о разных пустяках; ее мысли, как всегда, совершали головокружительные скачки, но мы не скучали. Она даже смеялась и спела какую-то песенку.

В десять часов она встала и попросила меня проводить ее. Я предложил ей свою руку, скорее в шутку, чем всерьез.

— Я не смею,— ответила она и посмотрела на меня без тени улыбки.

Мы подошли к Тиволи и прислушались — оттуда доносился шум. Человек-«штопор» опять взмывал в небо. Моя спутница вначале очень испугалась за него и так вцепилась в меня, словно это ей угрожала опасность свалиться с высоты, затем ее вдруг охватило буйное веселье. Вдруг он свалится — и улетит за забор! Или вдруг приземлится на чей-нибудь столик, прямо в пивную кружку! Воображая эту сцену, она хохотала до слез.

Все в том же прекрасном настроении мы пошли домой, она опять что-то напевала. В темном переулке, у подъезда, к которому вело несколько черных железных ступеней, она вдруг остановилась и в ужасе отпрянула. Я встал рядом, не зная, что и подумать. Она показала на нижнюю ступеньку и хриплым голосом пояснила:

— Точь-в-точь как маленький гробик.

Тут я, признаться, рассердился. Я пожал плечами и произнес:

— Опять вы за свое!

Она посмотрела на меня. И медленно, очень медленно ее глаза наполнились влагой; из окон первого этажа пробивался свет, и я увидел, что губы ее дрожат. В отчаянье она заламывала руки. Но уже в следующее мгновение она шагнула вперед и проговорила:

— Милый, дорогой мой, будьте ко мне снисходительны!

— Разумеется,— ответил я. И мы пошли дальше. У дверей своего дома она неожиданно взяла меня за руку и пожелала на прощание спокойной ночи.

Прошло несколько недель, и я ни разу не виделся с этой странной дамой. Я злился на себя за свою доверчивость и мало-помалу пришел к выводу, что она обманывала меня. Пусть так, решил я, но больше я на эту удочку не попадусь.

Однажды вечером я сидел в театре и смотрел «Союз молодежи»[1]. Во втором акте меня вдруг охватило беспокойство, что-то вокруг меня было такое, что определенно действовало мне на нервы; такое же неприятное ощущение я испытывал в прошлый раз во время концерта Парижского хора в Тиволи. Я быстро обернулся — и точно: среди сидевших в зале я обнаружил уже знакомую мне даму с устремленным на меня воспаленным взором.

Я готов был сквозь землю провалиться, я ввинчивался в кресло, изо всех сил следил за героем комедии — Даниелем Хейре, но меня не покидало неприятное ощущение оттого, что пара немигающих колючих глаз впилась в мой затылок. Я встал и вышел из зала, не дождавшись конца спектакля.

Несколько месяцев меня не было в городе. И когда я вернулся обратно, никакой дамы из Тиволи словно никогда не существовало, я даже ни разу не вспомнил ее. Она исчезла из моего сознания так же неожиданно, как возникла.

И вот недавно вечером был сильный туман, я гулял по Торвгатен между Общественной столовой и аптекой «Слон». Я с интересом наблюдал, как окутанные туманом прохожие наталкиваются друг на друга. Уже около четверти часа я провел так, фланируя взад и вперед по этому кварталу, и подумал про себя: последний раз дойду до аптеки и домой. Пробило одиннадцать. Я подошел к аптеке. В светлом круге от ближайшего фонаря я увидел, что прямо на меня идет человек. Я немного посторонился — человек шагнул туда же; я метнулся обратно,

[1] «Союз молодежи» — комедия Г. Ибсена.

резко влево, чтобы избежать столкновения,— и увидел, что на меня сквозь туман смотрят не мигая знакомые глаза.

— Дама из Тиволи! — прошептал я, каменея.

С застывшим взглядом, с искаженным до неузнаваемости лицом она подошла ко мне вплотную, в одной руке у нее болталась муфта. Так прошло целое мгновение.

— Ребенок был *мой!* — словно стараясь меня в чем-то убедить, произнесла она, повернулась и исчезла в тумане.

Перевод Е. АЛЕКСЕЕВОЙ

Голос жизни

Писатель Г. рассказывает:

У гавани в Копенгагене есть бульвар, который называется Вестерволь,— бульвар новый, довольно пустынный. Там мало домов, мало фонарей, да и людей почти нет. Даже сейчас, летом, редко встретишь прохожих.

Вот что приключилось со мной вчера на этой улице.

Я не спеша прогуливался взад-вперед, навстречу мне шла дама. Кроме нас, кажется, на улице никого не было. И хотя фонари горели, в темноте я не смог разглядеть ее лица. Очевидно, заурядная ночная бабочка, подумал я и прошествовал мимо.

В конце бульвара я повернул обратно. Она тоже направилась обратно, и мы снова встретились. Может, ждет кого-нибудь, подумал я, интересно, кого же. И я снова прошел мимо.

Когда мы столкнулись в третий раз, я приподнял шляпу и обратился к ней:

— Добрый вечер! Вы, очевидно, ждете кого-нибудь?

Она вздрогнула. Нет... А впрочем, да, она ждет...

Что ж, может быть, она не против, чтобы я разделил ее общество, пока не появится тот, кого она ждет?

Спасибо, она не против. К тому же, если уж честно, она никого не ждет, а просто прогуливается, ведь здесь так тихо и спокойно.

Мы шли рядом, говорили о каких-то пустяках; я хотел взять ее под руку.

Она вежливо отказалась.

Сказать по правде, гулять там было не бог весть каким развлечением, а я так и не смог разглядеть ее в темноте. Я чиркнул спичкой, чтобы взглянуть на часы; вспышка на мгновение озарила ее лицо.

— Половина десятого,— сказал я.

Она поежилась, словно ей было холодно. Это был подходящий момент, и я спросил:

— Вам холодно, может, зайдем куда-нибудь что-нибудь выпить? В «Тиволи»? В «Националь»?

— Я не могу никуда идти, вы же видите,— ответила она.

Я обратил внимание, что на ней длинная траурная вуаль.

Я извинился, что в темноте не разглядел. И тут я вдруг почему-то решил, что она — не просто искательница ночных приключений.

— Возьмите меня под руку,— предложил я.— Вам будет теплее.

На этот раз она согласилась.

Мы прошлись несколько раз по бульвару. Она спросила, который час.

— Десять,— сказал я.— Где вы живете?

— На Гаммель Конгевай.

Я остановился. Остановилась и она.

— Позвольте мне проводить вас до подъезда? — спросил я.

— Нет, лучше не надо,— ответила она.— Пожалуй, не стоит... Вы живете на Бредгаде?

— Откуда вы знаете? — спросил я удивленно.

— Я знаю вас,— ответила она.

Мы молча брели по освещенным улицам. Она прибавила шагу, ее длинная вуаль развевалась на ветру. Она сказала:

— Пойдемте быстрее.

У подъезда на Гаммель Конгевай она повернулась ко мне, чтобы поблагодарить. Я открыл дверь, она не спеша вошла в дом, я плечом поддержал дверь и вошел вслед за ней. Тут она сама взяла меня под руку. Никто из нас не произнес ни слова.

Мы поднялись на третий этаж и остановились. Она отперла дверь в переднюю, затем еще одну дверь, снова взяла меня под руку. Мы вошли в какую-то комнату; я слышал, как на стене тикали часы. Вдруг она на мгновение остановилась, обняла меня и быстро, горячо поцеловала.

— Садитесь,— сказала она.— Вот сюда, на диван. А я зажгу свет.

Я озирался с любопытством. Я оказался в довольно просторной, со вкусом обставленной гостиной, из нее двери вели в смежные комнаты. Я никак не мог понять, где и в чьем обществе я нахожусь.

— Как уютно! Вы здесь живете?

— Да, это мой дом,— ответила она.

— Ваш дом? Вы живете с вашими родителями?

Она улыбнулась.

— О нет, я — взрослая женщина. Можете в этом убедиться.

Она скинула пальто и вуаль.

— Убедились? — сказала она и обняла меня горячо и нежно.

Ей было примерно от двадцати двух до двадцати четырех лет, на правой руке она носила кольцо — знак того, что она действительно замужняя женщина. Красивой я ее не назвал бы, она была веснушчатая и почти безбровая. Но жизнь била в ней ключом, а рот, пожалуй, был красив.

Я хотел спросить, как ее зовут, кто ее муж, если он есть, хотел узнать, где я нахожусь, но стоило мне только открыть рот, как она укрощала мое любопытство поцелуями.

— Меня зовут Эллен,— сказала она.— Хотите что-нибудь выпить? Я только позвоню. А вы пройдите в спальню.

Я вошел в спальню, туда проникал свет из гостиной. Я различил две постели. Эллен позвонила и велела подать вина. Я услышал, как горничная принесла вино и удалилась. Чуть погодя Эллен вошла в спальню и остановилась на пороге. Я сделал шаг навстречу ей, она вскрикнула и кинулась ко мне.

Все это случилось вчера вечером.

Что еще произошло вчера? Произошло еще вот что.

Когда я проснулся, уже рассвело. Дневной свет проникал в комнату из-за спущенных штор. Эллен не спала, она горько вздохнула и улыбнулась мне. Руки у нее были белые и бархатистые, грудь высокая. Я шепнул ей что-то, и наши губы слились в долгом нежном поцелуе. Утро превращалось в день.

Через пару часов я был уже на ногах. Эллен одевалась. И вдруг случилось нечто такое, от чего я до сих пор не могу опомниться — это было как страшное видение. Я стоял подле умывальника, а Эллен вышла в соседнюю комнату, и когда она открывала двери, я обернулся и посмотрел ей вслед. Меня обдал ледяной воздух — окна там были распахнуты. Посередине комнаты стоял длинный стол, на нем лежал покойник. Он возлежал в гробу, в белых одеждах, седобородый. Его худые колени под саваном походили на сжатые в ярости кулаки. Желтый лик внушал ужас. Вся эта сцена предстала мне в дневном свете. Я отвернулся, не в силах вымолвить ни слова.

Когда Эллен вернулась, я был уже одет и собирался уходить. Я не мог ответить на ее объятия. Она, тоже одетая, решила проводить меня до дверей. Мы шли рядом, я словно онемел. У подъезда она прижалась к стене, чтобы никто не смог ее заметить, и прошептала:

— Пока.
— До завтра? — спросил я, глядя на нее в упор.
— Нет, только не завтра.
— Почему же?
— Милый, завтра я должна быть на похоронах одного родственника. Ну вот, теперь ты знаешь.
— Тогда послезавтра?
— Да, послезавтра. Приходи сюда, я встречу тебя у подъезда. Прощай.

Я ушел...

Так кто же она? А покойник? Как он сжимал кулаки и какая ужасная гримаса мелькнула в уголках его губ! Послезавтра она будет ждать меня — стоит ли мне снова встретиться с ней?

Я направился прямиком в кафе «Бернина» и попросил адресную книгу: нашел Гаммель Конгевай и по номеру дома выяснил ее имя. Я подождал еще немного и, когда принесли утренние газеты, кинулся изучать траурные извещения. В начале колонки жирным шрифтом было набрано: «Мой муж скончался сегодня после продолжительной болезни, 53 лет от роду». Объявление было датировано позавчерашним днем.

Я долго сидел и размышлял. Они женятся, она моложе его на тридцать лет, потом он заболевает продолжительной болезнью, и вот его уже нет.

А юная вдова свободна.

Перевод К. МУРАДЯН

Александр и Леонарда

Была в наших краях протока Глимма. И жил в наших же краях цыган по имени Александр. С Александром мне довелось как-то беседовать в крепости Акерсхюс, куда его заточили за разбой. Недавно я прочел в газете, что опасный преступник умер, не вынес душной тюремной камеры. А мне он поведал о том, как однажды погубил девушку... Сегодня я размышлял об этой истории и в смятении начал рассказывать ее с середины. Лучше начать с самого начала.

В Нурланне много рыбаков, зажиточных и победнее. Зажиточный рыбак — могущественный человек в здешних краях, у него кошельковый невод для ловли сельди, своя пристань и дом — полная чаша. Он ходит в просторной одежде добротной ткани, отчего кажется еще более внушительным,— признак того, что в еде он себе не отказывает. Он с легким сердцем платит налоги — священнику и всем остальным, а на Рождество покупает целую бочку спиртного. Его усадьба всегда на виду, дом обшит досками и выкрашен в красный цвет, а оконные рамы и дверь — в белый. Его сыновей и дочерей сразу узнаешь в церкви по нарядной одежде.

Однажды на пристани вот такого рыбака Енса Олаи появился большой цыганский табор. Было это ранней весной. Цыгане приплыли на своей лодке, их вожак — старый Александр по прозвищу Перекати-поле был настоящий богатырь, ростом в три аршина. С лодки сошел также молодой парень лет двадцати и прямиком направился к дому Енса Олаи попрошайничать. Это был молодой Александр. Случилось это все в моем детстве. Мы, дети, узнали Александра, он играл с нами несколько лет назад, тогда он был младше и мы менялись с ним блестящими пуговицами и разными железными штуковинами.

Енс Олаи, человек гордый и степенный, никому ничем обязан не был, потому велел цыганам убираться восвояси; но Александр, дерзкий и бесстрашный, уступать не хотел.

— Ты можешь получить работу,— произнес Енс Олаи.
— Какую работу?

— Будешь чинить котлы и кастрюли. Кроме того, помогать по хозяйству моей жене и дочери, когда мы, мужчины, уйдем в море.

Александр пошел к лодке посоветоваться со своими соплеменниками. Вернувшись, он сообщил почтенному Енсу Олаи, что согласен поступить к нему на службу. Он, видно, сговорился со своим отцом — в этой усадьбе есть чем разжиться.

Прошло немного времени, Енс Олаи и его сыновья ушли в море, в усадьбе остались только его жена и дочь Леонарда. Ей было всего двадцать лет.

Молодой Александр вел себя вполне пристойно. Он взялся приглядывать за коровами и лошадьми, лечил их от разных напастей. Вскоре жена рыбака начала выказывать ему свое особое расположение, хотя ей было уже под сорок. Но цыган отшучивался, говоря, что в отцовской лодке у него осталась возлюбленная и ни о ком другом он не помышляет. Раздосадованная жена рыбака начала шпионить за дочерью, боялась, как бы у той чего не вышло с цыганом. Едва успел сойти снег, земля немного оттаяла, и она стала посылать Александра копать торф на болоте, подальше от дома. С болота, где он смиренно отбывал свою повинность, доносились его непонятные песни. Он был рослый и могучий, этот язычник. Леонарда разговаривала с ним редко.

Леонарда разговаривала с ним редко, он вообще для нее мало что значил, она не забывала, ее отец — сам Енс Олаи. Но весна — опасное время, и когда стало по-настоящему тепло, глаза у Александра засияли, как звезды, и, проходя мимо Леонарды, он старался ненароком задеть ее. Из ее сундука каким-то непостижимым образом стали пропадать вещи, хотя замок на нем был исправный. Оказалось, что у него отстает дно, и Леонарда обвинила во всем Александра.

— Да не крал я ничего у тебя,— сказал он.— Но обещаю тебе, все будет снова на месте, только не закрывай вечером дверь в свою спальню...

Она взглянула на него и произнесла:

— А не лучше ли завтра тебе убраться подобру-поздорову из нашего дома?

Но уж что-то, а просить цыган умеет, его алые губы, смуглая кожа и глаза могут обольстить кого угодно. Да и в любовных уловках он непревзойден.

Как-то раз Леонарда сидела во дворе и вязала, а Александр, проходя мимо, произнес:

— Позволь мне все-таки остаться на торфяном болоте. Я буду стараться, и ни одной дерзости ты от меня не услышишь.

Она взглянула на него и почувствовала, как эти слова прямо пронзили ее. Он снял картуз, она обратила внимание, что у него густая копна волос и красивый алый рот. Леонарда ответила:

— Ну да ладно.

Она склонилась над вязанием, щеки ее пылали.

Цыган соображал, что делал, когда униженно просил молодую девушку разрешить ему остаться на торфяном болоте. Просто хотел польстить ей, ведь он прекрасно знал, что всем распоряжается не она, а ее мать.

Дни шли.

Сын местного столяра Конрад был в отъезде, обучался ремеслу отца. Выучился в городе и стал искусным мастером. Жил он на другом берегу Глиммы, и туда отправлялся всякий, кому нужен был сундук особенно тонкой работы. Однажды Леонарда отправилась к Конраду, а Александр перевез ее на ту сторону.

Она засиделась у юного Конрада, вела беседу о новом сундуке, который приехала заказать, да и о многом другом, ведь они знали друг друга с детства. Потеряв терпение, Александр подошел к дому столяра и заглянул в окно. Но тут же отпрянул и, разъяренный, бросился в дом.

Все трое уставились друг на друга. Цыган был похож на скакуна с развевающейся гривой и раздувающимися ноздрями.

— Ну ладно, иду, иду,— сказала Леонарда, чтобы успокоить его.

Мужчины смерили друг друга взглядом, оба были молоды. Александр пошарил за поясом, но ножа при нем не оказалось, и взгляд его погас. Цыган беспомощен без оружия, но если при нем нож, он смел и безрассуден, даже убить может.

Это была их первая встреча.

Через неделю столяр Конрад доставил сундук в дом знатного рыбака. Сундук был слажен на совесть, и замок на нем был новый, хитроумный. Но как только Леонарда начала перекладывать в него добро, она обнаружила в старом сундуке пропавшие вещи в целости и сохранности.

— Опять ты,— упрекнула она цыгана.

— Нет, это не я,— сказал цыган и снова солгал, так, по привычке.

Столяр зачастил к Леонарде, она угощала его кофе. Но цыган умудрялся улучить момент и плюнуть в кофейник.

Когда столяр возвращался домой, он шел за ним тенью по пятам.

Мужчины мерили друг друга взглядом, а Александр нащупывал нож.

— Ты зря суетишься, цыган. Сегодня она дала мне слово.

Александр вспыхнул и выхватил нож. Но столяр успел вскочить в лодку и оттолкнуться от берега и, оказавшись в полной безопасности в нескольких саженях от берега, крикнул, что донесет на бродягу властям.

Дни шли.

Старый Александр по прозвищу Перекати-поле снова причалил на своей лодке, чтобы забрать сына, но молодой Александр не захотел возвращаться и стал просить, чтобы ему разрешили закончить службу, как было договорено. Отцу он наплел, что еще много чего наворует в усадьбе, и цыганская лодка отплыла без Александра.

Однажды молодой Александр сказал Леонарде:

— Уже ласточки прилетели. Не пойти ли нам с тобой на пристань, прикажи мне привести в порядок бочки и снасти, ведь скоро путина.

Леонарда еще не совсем понимала, каков цыганский нрав, и потому насмешливо скривилась и сказала:

— Ну что ж, пойдем.

Но на этот раз ее насмешка не была суровой, а его двусмысленные слова не возмутили ее. Она видела, что любовь цыгана становится все горячей.

Не успели они подойти к пристани, как Александр обнял ее и стал целовать в губы.

— Ты спятил,— произнесла она, высвобождаясь из его объятий, едва не задохнувшись, щеки ее пылали.

— Ну так что, уходить мне завтра со двора?

На сей раз Леонарда ответила ему кротко:

— Смотря как ты будешь себя вести.

— Впредь это больше не повторится.

Слова своего он не сдержал. Он все время задевал ее и приставал со своими нежностями.

И постепенно сердце Леонарды начало уступать смуглому язычнику.

Она уже не задирала нос, не кичилась. Хотя и не сразу ему удалось подступиться к ней, но потом взгляд ее становился томным и нежным в его присутствии. Все это случилось в ту пору, когда распускается листва и над Нурланном стоят удивительно светлые ночи. Наконец однажды, на торфяном болоте, она подошла к нему совсем близко — он стоял посредине, а ведь она могла поставить узелок с едой, как и раньше, у края болота. Но ей хотелось подойти к нему поближе.

Мать с ума сходила от ревности и делала все, чтобы дочь как можно скорее вышла замуж за столяра. Леонарда не возражала. Но

она была в каком-то радостном опьянении и мало думала о предстоящей свадьбе. Этот бродяга Александр стоял посреди болота и копал торф, а она подходила к нему совсем близко, так притягивала ее к себе его молодость и красота. Бывали дни, когда она не вспоминала о столяре Конраде, и нельзя сказать, что это были тоскливые для нее дни.

Поздней весной рыбак с сыновьями возвратились домой, началась весенняя страда, и помощь цыгана тоже была нелишней. Но к Иванову дню он должен был уйти насовсем. Теперь ему стало трудно встречаться с Леонардой наедине, по наущению столяра за ним следили и братья. Да и к тому же любовь вообще прихотлива, она гаснет, если не встречает препятствий, и молодой цыган стал надоедать Леонарде. Она начала готовиться к свадьбе с Конрадом.

Александр сказал:

— Знай, если столяр появится здесь хоть раз, я убью его.

Но Леонарде цыган уже порядком поднадоел, и она произнесла с насмешкой:

— Да что ты говоришь! А если два, что ты сделаешь?

На Иванов день в доме столяра устраивались танцы, и Леонарда тоже собиралась туда. В тот же самый вечер Александр должен был оставить дом рыбака.

Леонарда попросила Александра:

— На прощание перевези меня на тот берег.

— Зачем тебе туда?

— Это тебя не касается.

Александр собирался покинуть усадьбу. Сложил пожитки в узелок и сказал:

— Я готов.

Они спустились к протоке и сели в лодку. Глимма разлилась, так что плыть стало опасно.

Налегая на весла, Александр спросил:

— Ты выйдешь за него?

— Да,— ответила она.

— Это не я крал твои вещи,— сказал он.— Это твоя мать.

Она долго смотрела на него, а потом вспылила:

— Вздор!

— Она хотела поссорить нас, но я знал, куда она спрятала их, и выкрал их для тебя.

— Врешь ты все,— сказала Леонарда, ведь она и впрямь не поверила ему.

Цыган продолжал грести, он совершенно обезумел.

— Я не причинил тебе никакого зла,— проговорил он наконец.— Если бы ты захотела, я бы образумился, бросил бродяжничать.

— А мне-то что,— сказала она, желая поддразнить его.— Куда это ты гребешь? Нас несет на скалу.

Лодка продолжала плыть по воле волн.

Она вскрикнула.

Он с силой взмахнул веслом, как бы повинуясь ей, и оно сломалось.

Теперь они были полностью во власти стихии.

— Ты нарочно сломал весло,— сказала она, впервые по-настоящему рассердившись.

Он ответил:

— Ясное дело, нарочно. Живой ты не сойдешь на берег.

Вслед за этим раздался пронзительный крик, лодку прибило к скале и ударило об нее. Цыган успел вскарабкаться на скалу. Он видел, как Леонарду несколько раз перевернуло, а потом волны подхватили ее и потащили головой вперед. И водоворот увлек ее прямо на дно.

Их заметили с берега, и цыгана сняли со скалы.

Молодого Александра совсем не в чем было упрекнуть. Просто вес-

ло у него сломалось, а сам он ни в чем не виноват, несчастный случай, да и только.

Эту историю я услышал из уст самого Александра, который был заточен в крепость Акерсхюс за разбой.

Перевод ЭЛЕОНОРЫ ПАНКРАТОВОЙ

Тяжелые дни

Бывают тяжелые дни.

Еще с вечера чувствуется приближение этого удивительно неприятного состояния. Происходят необъяснимые события, неведомые силы вторгаются в жизнь.

Вечером вы возвращаетесь домой. Темно. Пройден большой путь, вы многое передумали, мечтали и, конечно, страдали. И вот оно начинается. Открывая дверь, придется перепробовать все ключи, пока не отыщется нужный. Потом обнаружится, что именно в этот раз хозяйка забыла подлить в лампу керосина и придется довольствоваться двумя жалкими свечами. На сон грядущий по привычке вы возьмете в руки книгу и обнаружите, что страницы не разрезаны и придется вылезать из-под одеяла и искать нож, но стоит только улечься окончательно, как станет совершенно ясно, что сон пропал и наступит время раздумий. На несколько часов.

Но когда вы задуете свечи и начнете погружаться в сон, домой вернется сосед, живущий за перегородкой. И вы опять проснетесь. И будете мучиться в темноте и ворочаться в слепой злобе — но сна не будет ни в одном глазу. Нахлынут неприятные воспоминания. Несмотря на слабеющую память, в этот момент вспомнится совершенно отчетливо ваш скверный поступок и несправедливые слова, обидевшие кого-то, и скудоумный ответ, когда на большее вы оказались не способны. От стыда запылают щеки, в груди заклокочет нечто нечленораздельное.

И сон пропал.

Вы схватите спички, чтобы снова зажечь свечу, и все будете чиркать, чиркать не тем концом. Чертыхаться, и пытаться успокоиться, и бесконечно мучиться одним вопросом: за что злые духи терзают именно вас? Уснуть удастся лишь поздно ночью, и тогда придут сны.

Ах, я видел во сне, как я бежал по широкой равнине и множество разъяренных быков гнались за мной. Я бежал, бежал, и мне казалось, что я мастер по бегу. Несмотря на это, расстояние между нами все сокращалось, и в конце концов самый острый из всех бычьих рогов, что мне когда-либо доводилось видеть, преспокойно пронзил меня. Как в масло вошел. И я бы непременно испустил дух на этом самом месте, если бы не проснулся.

Наутро голова никуда не годится. От дурных снов и нескончаемых мыслей ощущение ужасное. Но сила воли и упрямое желание действовать заставляют подняться. Примерно в час дня вам непременно надо хотя бы мельком увидеться на улице с одним человеком, без этой малости просто не обойтись. Страх опоздать в хорошо знакомое вам заведение, откуда вы намерены вести наблюдение, мгновенно выталкивает из постели и заставляет поднять шторы. За окном светит солнце, гуляют взрослые и дети, ради такого случая не грех достать новый сюртук. Но стоит его надеть, тут же обнаруживается масса недостатков: там не хватает кармана, здесь — пуговицы, и вообще это не то, что просторный старый сюртук, от которого одно удовольствие. И в довершение всего — часы, которые вы хотели сунуть в предназначенный для них кармашек, грохнулись на пол, поскольку новый карман почему-то оказался на целый дюйм ниже старого и на привычном месте прорези не нашлось. Чуя беду, я поднимаю часы, прислушиваюсь, осторожно потряхиваю их,

часы издают несколько умирающих тиканий и останавливаются навсегда.

О, этот злой рок!

Где-то надо завтракать, и это значит, что поездки на трамвае не избежать. Шляпу придется снять, если ваш рост близок к человеческому. Лучшая шляпа, купленная у Холма, очень скоро будет напоминать обломки кораблекрушения, если образ жизни и род деятельности заставляют ее хозяина пользоваться трамваем.

И еще с одним, очень неприятным обстоятельством приходится сталкиваться в нашей стране прямо на подножке трамвая. Я имею в виду, что на подножках стоят дамы. Особенно по воскресеньям. Мужчины, а среди них есть курящие, вынуждены выбрасывать сигары и проходить в вагон потому, что появились здесь чуть позже, чем дамы, занявшие это место для себя и *не курящие*. Теперь это наша национальная «героическая» черта. В результате повального увлечения спортом. Служанки, молодые дамы, конторские служащие, дочери богатых папаш едва ли могут рассчитывать на успех, если они не в состоянии удержаться на подножке движущегося трамвая. Пассажиры входят и выходят, толкают стоящих дам, прижимаются к ним и едва не срывают с них юбки, но наши отважные соотечественницы не сдают своих позиций. Вагон может быть почти пуст, или уж во всяком случае там будет полно свободных мест, но наши девушки эти места не займут, спасибо, их место на подножке. Вряд ли где-то в другой стране увидишь такую нелепость да еще возведенную в норму,— такого нет даже в Америке, где все женщины «героические»...

В то утро подножку занимали дамы. Два скромных курильщика оттеснены в угол.

Кафе «Гранд». Закрыто. Почему закрыт «Гранд»? А что, если попробовать с другого входа? Увы, «Гранд» действительно закрыт.

Можно пойти в «Логен». Закрыто. Хе-хе, странно как-то. Следующая попытка — «Тиволи». Тоже закрыто. Ха-ха-ха, смешно до чертиков. Такой смех напал, что прямо с ног валит, хоть садись тут же на ступеньки. Может быть, это борцы за трезвость ввели чрезвычайное положение, вы вспоминаете, как однажды были закрыты все магазины винной монополии; и с именем Господа и пастора Лунде на устах отправляетесь к Хелене Хансен, той, что торгует деликатесами. У Хелены Хансен тоже закрыто. Вы обращаетесь к симпатичному прохожему: почему сегодня нигде на свете нельзя позавтракать? И слышите в ответ:

— Сегодня праздник!

Браво! Браво! Одинокий мужчина, лишенный домашнего очага и домашней пищи, обречен вкушать завтрак только после полудня — в будни для него делается исключение. Браво!

Несчастный садится на скамейку прямо напротив университетских часов и ждет — ждать ему придется долго — своего праздничного завтрака.

И пока он ждет, странное чувство охватывает его, будто рядом сидит кто-то и тоже чего-то ждет. Их теперь двое, он сам и кто-то еще, это тот самый, злой рок.

И снова «Гранд». Кафе открылось, можно войти, сейчас принесут поесть и кофе. Но о том, чтобы почитать газету, не может быть и речи. Все газеты разобраны посетителями, которые пришли чуть раньше. Это значит, что с половины первого можно будет начать высматривать того человека, который не появится здесь раньше часа. От нервозности, от

очевидной нелепицы происходящего делается больно. Бедняга вглядывается в лица, протирает очки и снова таращит глаза.

И продолжаются чудовищные злоключения — только ему покажется, что промелькнул тот самый, кого он так упорно ждет, так дорогу загораживает такси или трамвай, и он вынужден начинать поиски сначала. Каждый раз одно и то же. В такой день человек никогда не найдет то, что ищет. Он будет ежесекундно вскакивать со стула, вставать на цыпочки и даже выбегать на улицу, только бы не упустить того, кого он так надеялся встретить.

И все-таки упустит. Увы, как ни пялил он глаза, как ни торчал на цыпочках битых полтора часа, все напрасно. В два часа он сдается.

Все это время добрые друзья окружают его вниманием. О, эти милые, добрые друзья! Вначале подходит один и спрашивает разрешения присесть. На это всегда отвечают «пожалуйста». Скрепя сердце. Вам расскажут про летнюю жару, про Грецию, про новое постановление коммунального управления. И обязательно зададут вопрос, который, начиная с марта, все задают друг другу:

— Куда ты поедешь летом?

А я не знаю, куда я поеду летом. Представления не имею. Но я хочу, чтобы меня оставили в покое.

Потом подойдет другой мой хороший друг. Этот сядет, не спросив разрешения.

— Вассос...— начнет он.

— Ну что Вассос,— перебью я.— Великий человек, просто дьвол. Подумаешь, хочет расстрелять каждого двадцать пятого. Единственное, что меня интересует, правда ли он в состоянии подавить восстание на Кубе.

— Боже праведный, ты все путаешь,— скажет мой добрый друг.— Это Вейлер подавляет восстание. А Смоленский...

— Не говори мне о Смоленском! — кричу я.— Слышать о нем не желаю, это тот еще тип.

— Что тебе известно о нем?

— Все откроется на процессе о вторжении в Трансвааль.

И тогда мой относительно хороший друг, посмотрев на меня, спросит:

— Где ты был сегодня ночью?

Я оставлю моих друзей беседовать дальше друг с другом, а сам вернусь к своим наблюдениям. Я нервничаю вдвойне, и это дважды нелепо, потому что теперь-то я знаю наверняка, что человек, которого я так ждал, не придет. Лариса, Домокос, Андиса и Фессалия — звенят у меня в ушах названия, перебираемые этими типами, моими друзьями. Мне больно. Я думаю: вот я же никогда не подсаживаюсь в кафе за столики к моим знакомым, если меня не приглашают, почему же я сам не могу рассчитывать на покой, оставляя в покое других? Я зову официанта и расплачиваюсь.

И тогда мой друг — тот, что из этих двоих мне ближе, мой действительно добрый, сердечный друг,— спрашивает меня:

— Куда ты поедешь летом?

Может быть, это луна виновата? Ведь этот таинственный кусок латуни, висящий на небосклоне, обладает непостижимой силой, но достаточной для того, чтобы оказывать значительное влияние на происходящее на нашей земле. Эзотерическое излучение, туман бесшумно стискивают душу.

Путь домой лежит через Туллинлёккен. Какой роскошный пустырь прямо посреди города! Ни ручейка, ни кустика — только велосипедисты, дети и кучи песка.

Но сколько народа может здесь собраться послушать великого оратора! За этой литературой будущее. Настанет время — и ежегодные

сборники поэзии для домохозяек выйдут из моды, а писатели вроде Хамфри Уорд [1] опустошат наши кошельки, и наше долготерпение иссякнет: может быть, тогда народ вновь обретет вкус к речам на площади, восторжествует человек и его живое слово. В чем состоит задача литературы? Воздействовать, взывать к чувствам, обнадеживать, оплодотворять, гармонизировать. И что может лучше выполнить эту задачу, чем вовремя сказанное сильное слово сильного человека? Народная поэзия, уличная поэзия, возрожденная греческая культура.

Но в уединении, в тишине пребывает мастер, только ему откроется истина, он сочиняет свои прекрасные саги. Многое в этой жизни зрело его око, и ничто человеческое ему не чуждо. Он пытается выразить невыразимое. Он только приподнимает занавес — и открывается картина, молвит слово — и вязкая трясина человеческих душ вспыхивает, как от удара молнии.

Поэзия для немногих, для избранных, их не более двадцати.

Может ли человек качаться в кресле-качалке, положив ноги на другое точно такое же кресло? Попробуйте, это совсем не сложно. Но в тяжелый день это исключено, кресло выскользнет из-под ног. Сидя в кресле-качалке, вы будете поминутно ощущать, как то кресло, в которое вы упираетесь ногами, все дальше и дальше уходит куда-то, а пол до того гладкий, что не за что зацепиться. Вы растянетесь, как пружина, до предела, но все-таки носок соскользнет, и придется вставать и на полусогнутых, онемевших ногах ковылять за отъехавшим креслом. Но теперь с ним не совладать. Поскольку кресло уперлось в стену. Как будто бревно или даже камень. Мое кресло до сих пор так стоит, и ни с места — будто вспоминает, как славно оно потрудилось в молодости.

А вы плывете дальше.

Есть люди, привыкшие измерять комнату шагами — семь шагов туда, семь обратно. Так вот. В тяжелый день обратно выходит восемь. Как же так? И в итоге каждый раз приходится разворачиваться на пятке и ходить кругами. На двадцатый раз закружится голова. На двадцать первый станет противен запах собственной сигары; придется сесть, уставившись в одну точку. За неимением другого придется разглядывать вывески на противоположной стороне улицы.

«Пряжа и кожаные изделия». Хорошо. «Ох,— и правда «ох!»,— отничьи», «Охотничьи шерст...» Ах, вот в чем дело: «Охотничьи шерстяные рубашки». А сейчас жара. Дальше, над какой-то витриной навес в ярко-красную полоску, под ним скрывается очень интересная вывеска, но я вижу лишь несколько букв — «...ацитор». Мне не будет покоя, пока я не выясню, как зовут этого человека. Для этого я спущусь вниз, подойду к вывеске и прочитаю: «Антрацитор». Ну, конечно, это название печей.

В эту жару не хватает только пышущей жаром печи.

Вернувшись домой, вы снимаете лорнет и ложитесь на диван, в предвкушении сна. После такой ночи необходимо отдохнуть.

Но и тут вас что-то отвлекает.

Рядом всегда находится что-то, что можно сосчитать, и в этой ситуации каждый неизбежно примется считать. Итак, на обоях по одной стене разместилось сто восемьдесят фигурок. Это легко сосчитать. Лепная розетка на потолке состоит из пятнадцати больших гребешков и тридцати поменьше, это тоже очень легко. Затем ваше внимание привлекут шторы.

Шторы двойные, с необыкновенно затейливым рисунком. В каждом квадрате сотни полторы дырочек, а сколько их, таких квадратов! От счета в глазах двоится, потом троится, потом уже рябит от этих дыро-

---

[1] Мэри Хамфри Уорд (1851—1920) — английская писательница, автор популярных романов «Мисс Бредертон» и «Роберт Элсмер».

чек, вы вскакиваете с дивана и бежите к шторе и тычете в нее пальцем, чтобы не ошибиться. Примерно через час совершенно без сил вы падаете на диван.

Если на этот раз вам повезет, и вы заснете, и проспите, скажем, минут пять, то с поразительной вероятностью можно предсказать следующее: жилец из комнаты, расположенной прямо над вами, все это время тихо сидел и играл каким-нибудь предметом, например связкой ключей. Неожиданно ему пришло в голову, что человек, живущий под ним, устав считать дырочки, наверное, уже лег спать; он поднимет тяжелую связку ключей на достаточную от пола высоту и — просто выронит их. Живущий этажом ниже — проснется.

Стоит забыться лишь на десять минут, в дверь непременно кто-нибудь позвонит — из добрых друзей. И вот уже хозяйка торопится открыть дверь: «Да, конечно, он дома, проходите!» И исключительно хороший друг переступает порог.

Лишь к вечеру сознание пробуждается окончательно и приходит аппетит. На часях пять, обеденное время кончилось. Можно было бы обойтись холодными закусками. Но холодные закуски не подают раньше шести Остается смириться.

Время до шести тянется страшно медленно, но настает момент, когда можно отправиться в кафе все с тем же:

— Официант!

Официант кивает, но удаляется в другом направлении.

С этим тоже приходится смириться, проходит еще минут пять. Времени достаточно, чтобы встать и подойти к газетной стойке. Можно выбирать между «Берлингске тиденде» [1] и журналом «Панч», одинаково скучными. Я беру и читаю то и другое.

— Официант!

Официант подходит.

— Холодные закуски, пожалуйста.

Сейчас он все принесет.

Опять «Берлингске тиденде», стараюсь не пропустить ни одно из замечательных объявлений. Потом «Панч», в котором можно долго разглядывать карикатуры, одну глупее другой.

— Официант!

Появляется другой официант.

— Я просил принести холодные закуски десять минут назад.

Сейчас все будет.

Вы вздыхаете и откидываетесь на спинку кресла. Идиотские карикатуры! Чувствуется влияние Босха. Если у человека небольшой живот, ему рисуют живот огромный, если у человека редкие волосы — его рисуют лысым, заметят у человека длинный сюртук, рисуют сюртук со шлейфом. У королевы Виктории было два подбородка, ей рисовали четыре. Жалкое искусство, лишенное интеллекта, бездушное и грубое, как его поклонники, скучное и плоское, оно строится на преувеличении и от преувеличения разрушается. Неужто и впрямь так смешно и забавно смотреть на уродцев?

После обеда их можно лицезреть на улице. Один беспалый, другой косолапый, у третьего отваливается нос. Вот где карикатуры! Эти убогие примешиваются к людям средь бела дня; в лучах солнца они отталкивающе безобразны. Вечно путаются под ногами, уговаривают купить цветы, крутят шарманку и протягивают шляпу; с утра до вечера стучат по мостовой их подкованные костыли.

Что поделаешь? В Спарте физически неполноценных людей интернировали...

Но не эти нелепые людишки доставляют вам наибольшие страдания в тяжелые дни. Есть вещи глубже и серьезнее. Кто-то идет за вами по следу, эта внешняя сила почему-то преследует именно вас. Дух зла

---

[1] Название норвежской газеты.

разливается в воздухе, струится по мостовой. Хочется куда-то скрыться, и вы идете дальше, поеживаясь и втянув голову в плечи от смутных предчувствий. Но на этом ваши злоключения не кончаются.

Неожиданно из подворотни выскакивает человек и начинает маячить прямо перед носом. Вы идете с ним в одном темпе — и нет сил обогнать, и отстать невозможно. Видеть постоянно эту спину и этот затылок противно, раздражение переходит в такую психическую пытку, что, разозлившись, через шагов пять-шесть вы обгоняете этого человека. Думаете таким образом от него отделаться? Нет и нет. Теперь он идет за вами по пятам, разглядывает вашу спину и громко дышит. На этот раз вам придется резко свернуть за угол, чтобы на улице Кристиана Августа приняться изучать номер ближайшего дома, пока этот тип, ваш мучитель, не пройдет мимо.

Но после ужина что-то опять не сидится дома. И придется снова выходить на улицу и думать, мечтать и страдать до самой ночи.

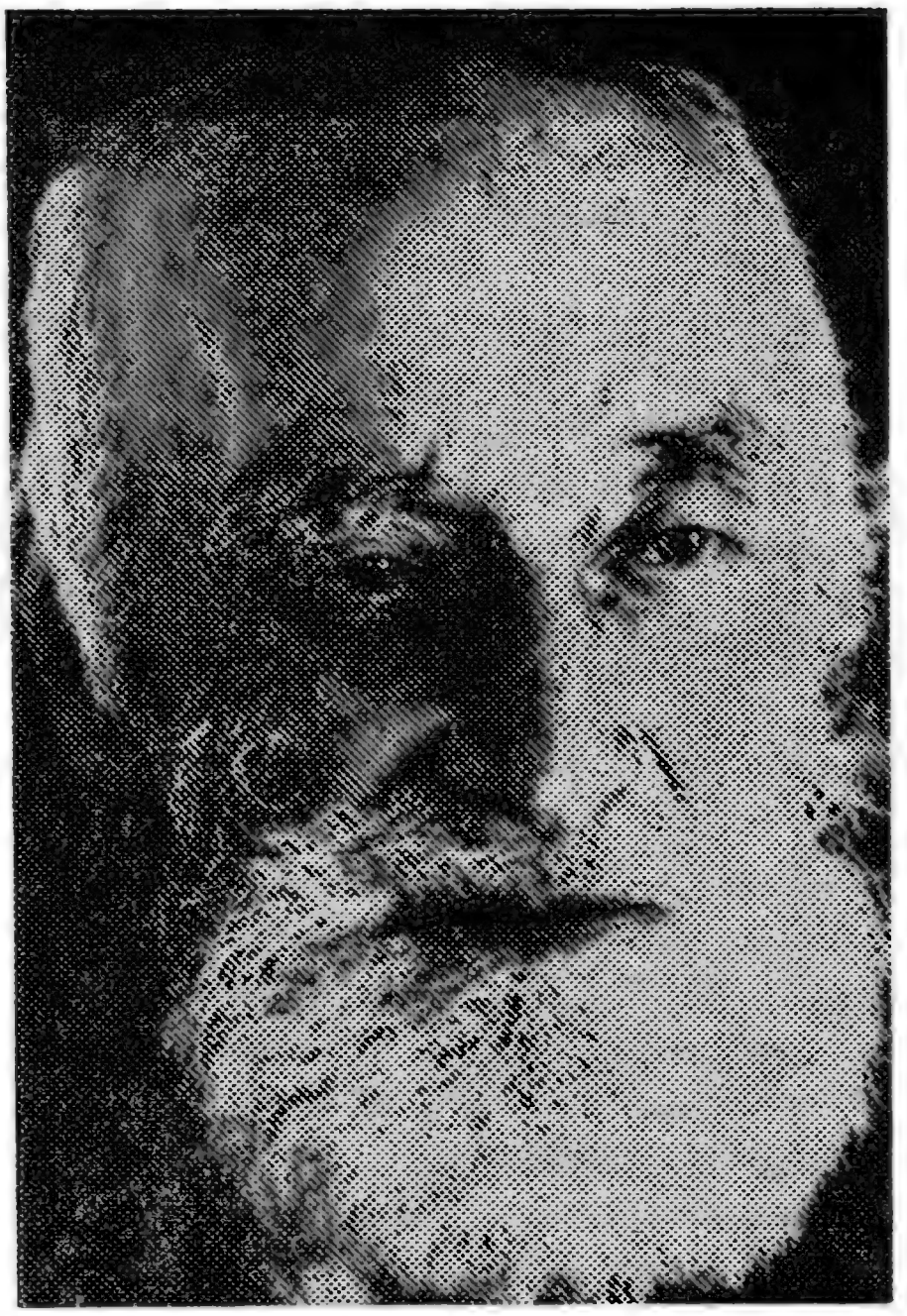
Может быть, это все же луна влияет? Может быть, древние персы и иудеи с их благоговением перед сомнамбулами были не так уж неправы? Впрочем, наши крестьяне тоже относились к луне почтительно, советовались с ней, начиная полевые работы, отправляясь в долгое и опасное путешествие и даже осенью, забивая скотину. Почему? Унаследованный инстинкт? По рассказам моряков в экваториальных водах люди особенно подвержены влиянию луны. Одного молодого парня нашли лежащим на палубе, с перекошенным судорогой ртом и с застывшим взглядом, устремленным к полной луне. Другой лежал с запрокинутой головой, парализованный на одну сторону — именно этой стороной он был обращен к небу. Проходит несколько месяцев, прежде чем эти люди возвращаются к нормальной жизни.

Дикие народы совершают в честь луны жертвоприношения, чтобы умилостивить ее. Американские индейцы из племени тлинкитов во время лунных затмений предаются трауру. Они считают, что их добрый друг заблудился, выбегают из хижин, поют песни и кричат, чтобы привлечь внимание луны и помочь ей найти правильный путь.

А в это время луна плывет по небосклону, большая и круглая и непостижимая, в окружении других планет. А люди на земле испытывают страшные муки, и пытаются отыскать причину, и мучаются опять, и, не находя объяснения, выдумывают всякую чепуху.

Но время от времени каждый из нас переживает свои тяжелые дни.

Перевод Е. АЛЕКСЕЕВОЙ



На заросших тропинках

Фрагменты книги

Год 1945-й.

26 мая начальник полицейского участка Арендала явился в Нёрхолм и объявил, что берет мою жену и меня под домашний арест — на тридцать дней. Я предупрежден не был. По его требованию жена отдала ему мое огнестрельное оружие. Потом уже я письменно уведомил его, что у меня есть еще два больших пистолета, привезенных с последней олимпиады в Париже, он может забрать их когда угодно. Я написал также, что домашний арест, вероятно, не следует понимать буквально, ведь у меня большая усадьба, которая требует присмотра.

Спустя какое-то время приехал помощник ленсмана [1] из Эйде и забрал пистолеты.

14 июня меня увезли из дома в гримстадскую больницу; жену мою за несколько дней до того отправили в женскую тюрьму в Арендале. Так что присматривать за усадьбой я уже больше не мог...

В больнице молоденькая медсестра спросила меня, не хочу ли я лечь — дело в том, что «Афтенпостен» сообщила, будто здоровье мое «пошатнулось и я нуждаюсь в уходе». Благослови вас Бог, дитя, сказал я, в вашу больницу не поступало человека здоровее, я всего-навсего глух! Наверное, она приняла это за бахвальство. Она не поддержала разговор. Да, не захотела со мной разговаривать. И пока я находился в больнице, так же вели себя, хранили молчание все медсестры. Единственным исключением была старшая сестра, сестра Мария.

Я брожу по территории больницы. На холме — старое здание, внизу — новое, собственно больница. Я живу на холме, в одиночестве, второй этаж занимают три молоденькие медсестры, больше в доме — никого.

Я хожу и смотрю. Вокруг много дубов, но много было и вырублено в свое время — пни выбросили дикие побеги, которым не стать деревьями. К западу во множестве разбросаны мелкие хутора.

Полицейский, доставивший меня сюда, предупредил, что я не должен выходить «за порог этой комнаты». Видимо, это тоже не следует понимать буквально, но мне хочется быть послушным и примерным арестантом, и я не рискую отойти даже на расстояние брошенного камня. Странно — никогда, ни в одной стране мне не приходилось иметь дело с полицией, а ведь я пространствовал-таки по свету, да, мне довелось ступить на четыре материка из пяти, и вот в столь преклонные годы я арестован. Что ж, если этому суждено было случиться, то именно сейчас, пока я еще не умер.

---

[1] Ленсман — пристав, начальник полиции в сельской местности.

23 июня меня отвезли к следователю.

Он встретил меня посмеиваясь:

— Выходит, у вас есть еще деньги, кроме тех, которые вы указали?

Я несколько опешил. И сказал, глядя на него: — Я деньги в чулке не держу.

— Да-да, но...

Я указал, что мое состояние — это около двадцати пяти тысяч наличными, двести акций «Гюльдендала» и усадьба Нёрхолм. Все это так. Ну, а как насчет авторских прав?

Если следователь может мне что-нибудь сообщить об этом, я буду весьма обязан. Судя по всему, сейчас моя писательская судьба складывается не очень удачно.

Боже, как я его разочаровал! И как разочаровал всех, кто надеялся покопаться в моем «огромном состоянии». Однако суть не в этом. Мое состояние велико, даже слишком. И я не намерен забирать его с собой на тот свет.

Допрос был пристойным, правда, он ничего и не решал. На многие из вопросов следователя я отвечал уклончиво, дабы не очень раздражать этого благожелательного господина. Следователь Стабель одержим ненавистью к Германии и верует — а вера его с горчичное зерно [1] — в благородное и неотъемлемое право союзников уничтожить и стереть с лица земли немецкую нацию. К тому, что опубликовано из материалов допроса, я добавлю еще несколько подробностей.

Он спросил меня, что я думаю о национал-социалистическом обществе, с членами которого встречался здесь, в Гримстаде.

Я ответил, что в этом обществе были люди много лучше меня. Но умолчал о том, что там было не менее четырех врачей,— чтобы не привлекать его внимания к какой-нибудь одной категории.

В целом получалось, что я чересчур хорош, чтобы участвовать в нацистском заговоре.

Там были и судьи, сказал я.

Да, к сожалению. А как я отношусь к злодеяниям немцев в Норвегии, о которых стало теперь известно?

Поскольку начальник полиции запретил мне читать газеты, я ничего об этом не знаю.

Вы не знали об убийствах, терроре, пытках?

Нет. До меня доходили смутные слухи перед моим арестом.

Ну, этот тип Тербовен, получавший приказы непосредственно от Гитлера, мучил и изничтожал норвежцев на протяжении пяти лет. Слава Богу, мы выстояли — не чета вам. Как, по-вашему, немцы — культурный народ?

Я не ответил.

Он повторил вопрос.

Я посмотрел на него и ничего не сказал.

Будь я начальником полиции, я бы разрешил вам читать все газеты. Ваше дело откладывается до 22 сентября.

Ко мне заходит господин в сером летнем костюме, кивает — и молчит. Он, верно, полагает, что я его знаю, но это не так. Потом он, кажется, пробормотал, что он доктор, и назвал свое имя. Я не слышу и вынужден переспросить: Эриксен? Но я знаю только одного доктора Эриксена, и насколько мне известно, он арестован. Незнакомец что-то ищет в бумажнике, по-видимому, визитную карточку но, не найдя, оставляет поиски. Так мы друг против друга и стоим.

— Вам что-то от меня нужно? — спрашиваю.

Он качает головой, и я понимаю, он хотел лишь поприветствовать меня.

---

[1] «...истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Евангелие от Матфея, 17, 20).

Я благодарю. Это очень любезно с его стороны. Ведь в данное время я по большей части общаюсь с полицией, я же заключенный, понимаете? Изменник родины...

— Как вам тут живется? — спрашивает он.

— Превосходно.

Вскоре он уходит. Он был очень любезен, но слишком уж тихо говорил.

Жизнь течет почти без перемен. Поднимается в гору старик, везет на ручной тележке гроб, следом идет его старуха и подталкивает тележку. За время моего здесь пребывания эти двое приходят сюда с гробом уже второй раз; кто-то умер в больнице нынешней ночью, и тело переносят в сарай на холме, где оно останется, пока его не предадут земле. Тихо и мирно, ничего особенного. Старик развязывает веревку, берется за изголовье и тащит. Жена подталкивает. Гроб послушно скользит по полу.

Не вы ли оставили здесь охотничий нож? — спрашиваю я.

Охотничий нож? — очевидно, повторяет он, потому что ощупывает себя. А потом качает головой.

За этим следует поток слов, старик выспрашивает, что за нож, да как он выглядел. Я поворачиваюсь и иду своей дорогой, словно бы спохватившись, что меня ждут дела.

Так оно и есть. Я действительно не провожу время в праздности. Как и все теперь, я вынужден что ни день штопать носки и латать протершийся на локтях свитер. К этому прибавляется еще такое множество мелких дел, что не хочется и упоминать: надо застелить постель, выкурить утреннюю сигару, перебить мух. Надо укрепить ножку стола, которая постоянно выпадает, и вбить в стену гвоздь для шляпы — я уже нашел подходящий камень вместо молотка. Наконец, хорошо бы еще ответить на письмо, которое пришло с месяц назад, но я не люблю писать письма и оставляю его без ответа.

На все не хватает сил.

Об окружающем мире я могу рассказать и того меньше. Это голый холм без единой клумбы. Почти всегда дует резкий, пронизывающий ветер. Но неподалеку лес, где над головою порхают птицы, а по земле ползают всякие твари. О, мир прекрасен и здесь, и мы должны испытывать глубокую благодарность за то, что все еще живем в нем. Здесь богаты красками даже камень и вереск, у здешних папоротников необыкновенные узоры, а язык мой до сих пор помнит вкус найденного мною сладкокорня.

Над холмом пролетает самолет, внося некоторое оживление. Ниже по склону пасутся на привязи две коровы. Но мне жаль их, я вижу, как они нетерпеливо мычат, потому что не поены и их не перегоняют на другое место.

В положенные часы мне приносят еду. Одна из трех молоденьких медсестер ставит на стол поднос, поворачивается на каблуках и уходит. Большое спасибо! — кричу я вслед. Нет, три медсестры не меняют тактику своего поведения. Наверное, им трудновато подняться на холм, не расплескав кофе и суп. Не знаю. Но все проливается на поднос. Так мне и надо, я это заслужил. Вначале, когда я попал сюда, я пытался объяснить им, что я никого не убил, ничего не украл, не поджег дом, но это не произвело на них впечатления, только нагнало скуку. Теперь я с объяснениями покончил: не из-за чего поднимать шум. Пусть проливается суп, пусть проливается кофе, это пережить можно. Но вот я выуживаю из лужи на подносе письмо, вскрытое и вновь запечатанное (в таком виде его переслала полиция). Может быть, это вырезка из шведской газеты. Или какая-нибудь милая датская актриса шлет мне привет. Выудив письмо из лужи, я сушу его на солнце. Это пережить можно. Жаль только, что три медсестры, все три молодые и красивые, так дурно воспитаны.

Ландвикский дом для престарелых, Гримстад
23 июля 1946 года

Господину генеральному прокурору,
Осло

Я сомневался, стоит ли мне писать это письмо. Ведь оно ничего не даст. Да и в мои столь преклонные годы можно было найти другое, более подобающее занятие. Я вижу свое оправдание в том, что пишу не для настоящего — я пишу для того человека, которому, быть может, доведется прочесть это, когда нас уже не будет. А еще я пишу для наших внуков.

После нескольких переездов в течение прошлого лета меня поместили 15 октября в психиатрическую клинику в Осло. На каком основании — остается загадкой, и не только для меня. Официальное наименование этого заведения — «для нервно- и душевнобольных». Но ни к тем, ни к другим я не относился. Я был старым и глухим, но вполне здоровым и бодрым, когда меня отторгли от нормальной жизни и работы и заточили туда. Возможно, господину генеральному прокурору когда-нибудь зададут вопрос, почему он действовал столь необдуманно и допустил в отношении меня такое самоуправство. Вы могли вызвать меня к себе и побеседовать со мной — Вы этого не сделали. Вы даже не удосужились запастись медицинским заключением, где бы говорилось о необходимости поместить меня в клинику. Местный врач обследовал меня десять минут — «очень бегло», как он выразился. Вероятно, он отметил «чуть повышенное давление», вероятно, упомянул о кровоизлиянии в мозг. Но разве давление — повод для проверки психического состояния? Разве кровоизлияние в мозг, которое ни малейшим образом не отразилось на моей психике,— повод для помещения в клинику? Людей с кровоизлиянием в мозг немало, артериосклероз — не такое уж редкое и из ряда вон выходящее заболевание. Я знаю человека, который перенес кровоизлияние в мозг и тем не менее защитил целых две докторских диссертации. Он уверяет, что кровоизлияние на нем никак не сказалось.

Я допускаю, что мое имя незнакомо господину генеральному прокурору. Однако Вы могли обратиться за сведениями туда, где их можно получить. Кто-нибудь Вам да рассказал бы, что я не так уж безызвестен в мире психологии, что за свою очень долгую писательскую жизнь я создал не одну сотню персонажей, которые и внешне, и внутренне походят на людей из плоти и крови — каждым состоянием и движением души, в мечтах и поступках. Вы не искали обо мне этих сведений. Вы передали меня, так сказать, не глядя в некую клинику, некоему профессору, который также ничего обо мне не знал. Он явился во всеоружии знаний, почерпнутых из учебников и ученых трудов, которые он вызубрил наизусть и по которым сдавал экзамены, но тут крылось кое-что еще. Если генеральный прокурор был неосведомлен, то уж профессору, с его познаниями следовало тотчас же отпустить меня. Он должен был понимать, что вопрос абсолютно вне его компетенции.

Да и вообще — к чему все это должно было привести? К тому, чтобы объявить меня сумасшедшим, а значит, неспособным отвечать за свои поступки? Не эту ли любезность хотел оказать мне господин генеральный прокурор? В таком случае Вы не приняли в расчет меня. Уже с самого начала, на допросе 23 июня, я признал себя ответственным за свои действия и с тех пор не переставал отстаивать эту точку зрения. В глубине души я был убежден, что, если бы мог говорить свободно, суд склонился бы к моему оправданию... Я знал, что я невиновен, глух и невиновен, я бы успешно выдержал экзамен, устроенный мне государственным обвинителем, если бы всего-навсего рассказал бóльшую часть того, что было на самом деле.

Но все свелось на нет тем обстоятельством, что я оказался в неволе и месяц за месяцем терпел принуждение, насилие, запреты, пытку, инквизицию. Я отдаю себе отчет в том, что клиника может заручиться прекрасными отзывами, где будет сказано нечто противоположное.

Пусть. Не все мы в равной степени впечатлительны... Но что касается меня, я предпочел бы десять раз отбыть заключение, закованный в кандалы, в обычной тюрьме, чем подвергнуться пытке совместного пребывания с этими более или менее душевнобольными в психиатрической клинике.

Однако пребывание мое там затянулось.

Узника не до́лжно щадить. Профессор спрашивал, а я отвечал; я писал и писал, потому что я глух, я старался ответить на все вопросы. Писал при плохом свете, падавшем из тусклого плафона высоко под потолком,— это были самые темные месяцы в году; по мере того как шло время, я замечал, что зрение мое слабеет, но я писал — для того, чтобы знание и наука не споткнулись на мне...

Когда на каком-то отрезке времени я решил, что уже виден конец, профессор заставил меня пройти нечто, что он назвал судебной экспертизой. Это оказалось не чем иным, как повторением пройденного. Те же в точности вопросы, которые он задавал мне и на которые я отвечал месяцами. Ни разу не изменилась их тональность, ни разу не был использован новый прием — никакой разницы, которая бы показала, что мы работаем вглубь. Ничего. Единственно, это оттягивало время, оттягивало на недели и месяцы.

Когда я вновь позволил себе углядеть конец, профессору переслали три моих письма, за которые я должен был теперь держать ответ. Письма были пятидесятилетней (!) давности и не содержали ничего, что могло бы дурно характеризовать меня; напротив, там рассказывалось, как скверно обошлась со мной полиция... И опять мне пришлось заняться писаниной, потому что я глух. Все это не представляло уже никакого интереса ни для живых, ни для мертвых — давнишний случай послужил поводом еще немного меня помучить. Я и на этот раз все преодолел, но последние недели продержался исключительно за счет внутренних ресурсов. Когда меня отыскал мой друг и забрал оттуда, я был как желе.

Ну и что же из всего этого вышло?.. Следователь привлекает заранее подобранных психиатров. Меня возят туда и обратно через всю страну под охраной полиции. Рекомендуется посещение иностранцев; им должны показать зверя, который содержится взаперти. Потрачены четыре месяца, чтобы наклеить ярлык на каждое мое мыслимое душевное состояние... И вот наконец приговор: *я не являюсь и никогда не был душевнобольным, но мое психическое здоровье пошатнулось.*

К сожалению, это так. И оно резко пошатнулось именно в результате моего пребывания в психиатрической клинике.

К этому причастны два специалиста, но один держался — или его держали — в отдалении. Я виделся с директором клиники дважды, каждый раз минут по пятнадцать, он производил впечатление человека приветливого и несамонадеянного, разговор у нас получился. Правда, он допустил промах, ткнув мне в нос отчет о моем визите к Гитлеру, в ходе которого я якобы высказывался против евреев. Я и по сей день еще не познакомился с этим отчетом, не говоря уже о том, чтобы признать его достоверность. Как я мог позволить себе выпады против евреев? У меня среди них было немало добрых друзей, и друзья эти были мне очень преданы. Не будет ли директор так любезен поизучать собрание моих сочинений: интересно, найдет ли он там выпады против евреев.

Когда я писал — критически — о втором специалисте, профессоре, я, разумеется, не преследовал цель поставить под сомнение его способности. Для этого у меня нет оснований. Безусловно, он знает свое дело, то есть он знает *свое* дело. Я утверждаю лишь, что его дело не имеет ко мне никакого отношения...

Господин генеральный прокурор! Обнародовав приговор, вынесенный мне этими специалистами, Вы одновременно заявили, что прекращаете разбирательство моего дела и не будете передавать его в суд.

Прошу прощения, но Вы опять действовали за моей спиной. Вы не подумали о том, что я могу быть не удовлетворен данным решением,

Вы запамятовали, что и в ходе следствия и позднее я неизменно признавал себя ответственным за свои действия и что я ожидал решения суда. Ваше неожиданное вмешательство привело к тому, что я очутился между небом и землей, а решение по моему делу так и не было вынесено. Снова половинчатость. Вы полагали, что тем самым окажете мне услугу, но это не так, и я думаю, кое-кто со мной согласится. Я был до недавнего времени не так уж безызвестен в Норвегии, да и во всем мире, и меня не устраивает перспектива провести остаток своих дней в качестве амнистированного Вами лица, не отвечающего за свои поступки.

Вы, господин генеральный прокурор, выбили из моих рук оружие.

...Чем обернется прекращение расследования и Ваш отказ от передачи моего дела в суд?.. Вы используете меня как подопытного кролика в Вашей весьма своеобразной судебной практике... И, наконец, как быть с муками моего четырехмесячного пребывания в клиникеI Должен ли я принять их от Вас даром? Или же эта кара — *аванс* на будущее, добавление к тому, что воспоследует?

Будь у меня свобода действий, я передал бы дело в суд присяжных на предмет моего оправдания. Это не такая уж туманная идея, как Вам может показаться. Я бы употребил остатки моего «пошатнувшегося психического здоровья» на то, чтобы дать оценку известным материалам, а после — призвать суд рассмотреть мое дело по справедливости, и только по справедливости.

Однако я отказался от этого плана, я потерял надежду. Даже в случае положительного исхода я предвижу закручивание гаек общественного мнения. Я снова стану подопытным кроликом.

С почтением

Проходит лето. Сам я не замечаю особой разницы от смены времен года, они уже не чередуются, как раньше месяц за месяцем, время стало вневременьем — и я не воспринимаю лето.

Но здесь у нас кое-какие перемены. Я пишу не книгу, даже не дневник, Боже меня избави, я многое опускаю, делая большие отступы, и не веду счет происходящим событиям. Однако же, что-то из окружающего мира в меня да просачивается. Наша прежняя управляющая уехала, ее место заняла другая... Наш старый дом для престарелых сильно обветшал, и мы намереваемся строить новый.

Это не пустяки. По себе и другим старикам я вижу, у нас появилась серьезная тема для шамканья: у нас, двадцати — тридцати человек, обитающих под одной крышей, будет баня, прачечная, больница, пекарня, птичник, дровяной сарай и прочие надворные постройки. Прежде мы и знать не знали о подобных роскошествах, и воображение наше разыгрывается, как во времена юности. Кое-кто пытается отстоять старый дом, нам не так уж и плохо жилось здесь, и потом — разве мы тут не для того, чтобы умереть? Ну, разумеется. Только напоследок нам действительно стоит взять от жизни все, что возможно. Разве мы не должны идти в ногу со временем, не должны приспособиться к более современным условиям? Дайте только переселиться, и мы напоследок прекрасно успеем освоиться с новшествами и умрем с сигаретой в зубах.

Конечно, мы умрем. Но не в сей же миг, как сказал Августин.

Я покупаю шнурки. Они слишком длинные, я трижды обматываю их вокруг ноги, но это меня не смущает. На обратном пути вижу человека, который отстраивает на горе дом. Глаза бы не глядели, как он кроет крышу — кладет новую поверх старой, которую оставил как есть, и выходит у него криво. Или это мне так кажется отсюда, с дороги? Человек этот был на строительных работах в Америке, стало быть, он знает, что делает. Пойти и выяснить, кто же из нас ошибается, я не в

силах. Я был способен на такое в прошлом году, до того как попал в руки докторов.

Я долго раздумывал над тем, чтобы к осени починить галоши. Они служат мне с первой мировой войны, но подошвы у них еще крепкие, вот только правая галоша порвалась и то и дело соскакивает с ноги. Она досаждала мне годами, а теперь с ней и вовсе нет сладу — я начал о нее спотыкаться и приношу ее домой в руках. Эта галоша — мой крест. Я сшил было рваные края прочной шерстяной ниткой, но все без толку, она рвется дальше, по швам. Ничего не попишешь. А галоши были отличные, я носил их во многих странах, даже когда правая порвалась, они сопровождали меня и в Вену, и в нашумевшей поездке к Гитлеру. И если я их не выбросил, это не только потому, что мои ботинки пропускали воду. Тут одно связано с другим. Вот я и подвязал мою галошу шнурком.

Раз, два, три, четыре... вот так я сижу и делаю заметки... не для чего-то, а для себя, по старой привычке. Я выбираю негромкие слова. Я — кран, откуда капает: раз, два, три, четыре...

В глубине заброшенного сада, который примыкает к соседнему дому, стоит елочка, но что мне до нее? Поэтому я почти и не гляжу в ту сторону. Конечно же, ей суждено захиреть и погибнуть. Она такая красивая и маленькая, с метр, не больше, и стройная, как свечка. Но рядом кряжистый тополь, он застит ей свет, и оглаживает ее день и ночь по макушке своими ветками, и ни на минуту не оставляет ее в покое. Не стой она у меня на пути — но другого пути нет, и не будь такой беззащитной... но это меня не касается. И поскольку мне нет до нее дела, я подбираюсь к ней темными осенними вечерами и обрываю тополиные листья и ветки, чтобы ночь она провела спокойно. Нередко утром я обнаруживаю новые листья и ветки, а дотянуться до них не могу. Я присмотрел ящик себе под ноги, только во всех окнах свет, и собака подает голос. Почему бы не пойти среди бела дня и раз и навсегда не разделаться с листвой и ветками? В прошлом году я бы так и поступил. Но я был не здесь, а на принудительном обследовании.

До чего все нелепо!

Я подстерег соседа, поздоровался с ним и говорю: вам нужно спилить у тополя ветки и спасти вон ту маленькую елочку! Он не отвечает, наверное, прочел в газете, что меня проверяли на предмет психической полноценности. Мне жалко эту елочку, говорю я. Он бросает взгляд на распахнутое окно, криво улыбается и уходит.

От ничегонеделания, чтобы скоротать время, темными осенними вечерами я по-прежнему обрываю понемножку листья и ветки, но до верха не дотягиваюсь, и ветер колышет новую листву и новые ветки. Это безнадежно.

Однажды утром я вижу человека с топором и пилой, который обрубает на тополе все ветки, сверху донизу. Только какое мне до этого дело? Судя по всему, он получил указания; он обрубает ветки и на других больших лиственных деревьях...

Быть может, кто-то сидел у окна, и слышал мой разговор с соседом несколько дней назад, и видел его кривую усмешку. Я думаю, жена.

Как бы то ни было, лишь весной по верхушке будет видно, жива ли еще елочка. Долго ждать.

Господи, благослови все, что не есть привычная речь человеческая, которая нам внятна. Молчание тоже благословенно у Господа.

В войну я замечал иногда, глядя на других: сейчас стреляют. А пушек не слышал, может быть, потому, что они были слишком далеко. Я извлек пользу из своей глухоты, но когда дело доходило до выстрелов из пистолетов и охотничьих ружей, тут, по правде говоря, глухота служила мне плохую службу. Стуки, пусть и слабые, я все еще слышу, даже тихий стук в дверь костяшками пальцев, но я совсем не разбираю связную речь. Для меня она — как непрерывное жужжание. Со мной так давно не вступали в разговоры, что я и сам разучился говорить; я жил одиноко, видеть и раньше хорошо видел, но не слышал... Теперь я и вижу уже не так хорошо, а это похуже глухоты. Еще в январе мне обещали прислать ручную лупу, сейчас уже весна, но я до сих пор ее не получил.

Слава Богу, хоть пришла весна!

Я прохожу мимо елочки, что стоит в снегу. Я прохожу мимо, ни на мгновенье не задерживаясь перед теми самыми окнами, и говорю себе, что нет, рано еще смотреть на елку, иди, не останавливайся! Хотя, конечно, уже в марте любому было видно, что верхушка живая.

Через тридцать лет она превратится в высокую ель...

Перевод НОРЫ КИЯМОВОЙ

О нашей публикации

Несомненно, Кнут Гамсун — одна из самых ярких, сложных и одновременно самых загадочных фигур в литературе нашего столетия. «Славой и позором Норвегии» называют его соотечественники, которые вновь и вновь решают для себя мучительный вопрос об отношении к гениальному писателю, запятнавшему себя поддержкой тоталитарного режима, о его подлинном месте в норвежской и европейской культуре.

Кнут Гамсун вобрал в себя и пережил многие иллюзии и заблуждения века. На его долю выпала зловещая роль апологета Гитлера, ставшего, увы, его ложным кумиром. В сознании писателя идея сверхчеловека причудливо переплелась с тезисом о внеисторическом гуманизме немецкой культуры, а также с англофобией и антиамериканизмом. Время все поставило на свои места, и пророческими оказались слова поэта Нурдаля Грига, сказанные еще в 1936 году: «...Гамсун отдал реакции главное, что у него было: свое имя. А мы сохраним те сокровища, которые он подарил миру».

Новеллы, с которыми вы познакомились, знаменуют начало блистательного творческого пути писателя. Автобиографическая новелла «Тяжелые дни» публикуется у нас впервые. Остальные четыре существовали до сих пор в старых переводах конца прошлого и начала нынешнего века, порой анонимных, случайных, с искажениями, неточностями и даже значительными пропусками.

Книга «На заросших тропинках», отрывки из которой мы предложили вашему вниманию,— последняя вспышка таланта художника. Сделанные в период с мая 1945-го по июнь 1948 года — в связи с арестом, судебным процессом, пребыванием в доме престарелых и психиатрической клинике,— эти дневниковые записи открывают нам внутренний мир писателя, дают возможность соприкоснуться с его духовной сущностью.

ЭЛЕОНОРА ПАНКРАТОВА

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ

Роза и корона

ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Перевод с английского ЕВГЕНИИ ГАСКО

Действующие лица:

Мистер Кремен
Миссис Рид
Перси Рендл
Айви Рендл
Матушка Пек
Гарри Тулли
Незнакомец

Действие происходит в северо-восточной части Лондона в кабачке «Роза и корона». Ранняя осень. Вечер.

На сцене — кабачок в бедном квартале северо-восточной части Лондона. Если спектакль с декорациями, то на сцене — мрачная, унылая комната с занавешенным окном и выцветшими рекламами на стенах. На заднем плане в центре дверь (ею пользуются) — простая одинарная или обычная двустворчатая. Бара с напитками нет, но предполагается, что он на авансцене, то есть на четвертой, невидимой стене. Зато через всю сцену тянется крепко сколоченная стойка бара длиной около двенадцати футов. Хозяина на сцене нет, хотя предполагается, что он есть, актеры делают вид, что берут у него напитки и расплачиваются; но если режиссеру захочется, чтобы в руках актеров были кружки — и так будет лучше,— стойку надо сделать помассивней и на ее задней части, невидимой зрителям, прикрепить полки, с которых актеры будут незаметно брать кружки.

В принципе декорации не нужны, достаточно грязновато-серых занавесей вместо стен, двери на заднике и стойки бара.

Освещение довольно сильное, но кажется, что в кабачке темно.

Занавес поднимается, сцена пуста, почти сразу появляется Кремен. Средних лет, сердитый мужчина, грузный, потрепанного вида. Может курить дешевую трубочку. В руке у него — вечерняя газета. Как и прочие персонажи, он делает вид, что заказывает выпивку и т. д., проделывает все это тщательно, так как именно он первый создает иллюзию присутствия хозяина — Фреда.

Кремен *(раздраженно, возле стойки)*. Фред, добрый вечер, если, конечно, для тебя этот вечер добрый... Пинту темного... *(Смотрит в газету, потом делает вид, что берет пиво и расплачивается, пододвигает к себе кружку. Снова с подозрением всматривается в газету.)* Что? Нет, Чарли я давно не видел и не очень-то жажду... Он наводит на меня тоску... да, Фред, зарабатывать в наши дни совсем непросто. Вот если б мне достать двухдюймовые трубы... Да что говорить... Ну, где твое пенистое? *(Кремен усаживается в правом углу кабачка, мрачно изучает газету.)* Разбились два самолета. Чему удивляться? Помяните мое слово, они далеко не последние. И с машинами будет не лучше. Вот увидите. Мерзкое убийство и больше ничего, мерзкое убийство. А все потому, что никаких мер предосторожности... *(Воображаемый Фред пытается рассказать Кремену какую-то историю.)* Если ты о букмекере, который приехал с вдовой в Донкастер, то я уже слышал.

Кремен снова склоняется над газетой. Входит миссис Рид. Худая пожилая женщина со скорбным лицом, но очень говорливая.

Миссис Рид. Добрый вечер, Фред. Добрый вечер, мистер Кремен.

Мистер Кремен *(резко)*. Здрасьте.

Мистер Рид *(хозяину)*. Кружечку портера, Фред, покрепче. Ирландского, если есть. Я так устала, ну просто вымоталась, даже есть ничего не могу — душа не принимает, вот только каплю портера. Вчера вечером была у сестры, у той, что замужем за художником-декоратором, у него прекрасное дело — по крайней мере было когда-то прекрасное; и она угощала нас жареными пирожками — такие чудные, вкусные,— но только я съела несколько, внутри все загорелось, и тяжесть в животе такая, точно свинца налили. *(Теперь миссис Рид якобы берет пиво и платит за него. Она прерывает свой рассказ, потому что мистер Кремен неодобрительно уставился на нее и фырчит. Она тоже бросает на него сердитый взгляд.)* Что значит это ваше фр-р-р?

Кремен *(с горечью)*. А то, что у меня полно неприятностей и без ваших пирожков, и без вашего живота...

Миссис Рид *(величаво)*. Ну если уж на то пошло, мистер Кремен, у меня тоже куча неприятностей — вы, например, до сих пор не поставили мне новую трубу под раковиной...

Кремен *(возмущенно)*. Я вам уже сто раз повторял, миссис Рид, не могу я поставить новую трубу, пока ее у меня не будет. Теперь понятно?

Миссис Рид *(с большим сомнением)*. Понятно?

Кремен *(раздраженно)*. Целый день мне приходится спорить с такими, как вы...

Миссис Рид. Только не со мной. У меня есть дела поважнее...

Кремен. Я сказал: «С такими, как вы». И когда у меня вечером, вроде как сегодня, выдается свободных полчаса, мне хочется просто отдохнуть, ясно? Не могу же я вам поставить новую трубу, когда у меня нет новой трубы? Так?

Миссис Рид *(мрачно)*. Не знаю. Знаю только, что моей соседке миссис Фергюсон сделали новую ванную комнату, двойные двери из тиса и все такое...

Кремен. Она не моя клиентка...

Миссис Рид. Да нет, тут все ясно. Шьется с темными типами. Каждые пять минут завивается и бегает в бар «Белая лошадь» пропустить стаканчик виски и подцепить кого-нибудь... Я о ней слышала...

Кремен *(сердито, пытаясь читать)*. А я не слышал и не хочу слышать.

Продолжает читать. Миссис Рид возмущенно смотрит на него, потом сникает. По всему видно, что хозяина сейчас в кабачке нет. Миссис Рид снова пытается завести беседу.

Миссис Рид. Читали, одна женщина с Мосли-террас отравилась газом из-за того, что ее муж продал пианино, а на вырученные деньги играл на собачьих бегах. *(Кремен, не глядя на миссис Рид, ворчит что-то себе под нос. Миссис Рид, понимая, что ей не разговорить Кремена, смолкает, и тут входят Перси и Айви Рендл. Молодая супружеская пара. Он высокий, худой, пессимист. Она маленькая, хрупкая, стеснительная, немного задумчивая. Миссис Рид смотрит на них с интересом, потом принимается настойчиво звать хозяина.)* Фред! Фред!

Миссис Рид и Рендлы провожают взглядом вошедшего Фреда.

Перси *(как будто отвечая Фреду)*. По-моему, вечер не такой уж добрый.

Айви *(тонким голоском)*. Похолодало.

Перси. Что будешь пить, Айви? Темное, светлое?

Айви. Наверное, светлое, Перси.

Перси *(Фреду)*. Полпинты темного и полпинты светлого. *(Делает вид, что берет кружки и платит за пиво. Айви и миссис Рид обмениваются робкими грустными улыбками.)* На, держи, Айви. Только пей, а не потягивай.

Айви *(обращаясь к миссис Рид)*. Он говорит это мне каждый раз, а я все равно не пью, а потягиваю. И вообще, мне не очень-то нравится пиво — я пью его только за компанию с Перси, а вот что бы я выпила с удовольствием — так это рюмочку портвейна.

Перси *(с печальной усмешкой)*. Ох уж этот мне портвейн!

Миссис Рид. Я и сама не прочь пропустить иногда рюмочку-другую, но цены! Да и не всегда достанешь.

Айви. Точно.

Перси. В наши дни с портвейном не густо.

Кремен *(раздраженно)*. Кругом портвейна залейся, места знать надо.

Миссис Рид *(агрессивно)*. Неужели? Вот это новость!

Перси. И для меня тоже.

Кремен. Портвейн-то есть, только это не портвейн, а моча. Сейчас почти все моча. *(Снова утыкается в газету.)*

Миссис Рид *(обращаясь к Айви)*. Кажется, я вас видела в зеленной лавке на углу у Магби?

Айви. Возможно. Правда, я только недавно стала ходить к нему.

Миссис Рид *(зловеще)*. Будьте с ним начеку.

Перси. Ну, что я тебе говорил, Айви?

Айви. Да, Перси. *(К миссис Рид.)* Муж сказал мне то же самое. «Будь с ним начеку»,— говорит.

Миссис Рид. Со мной у него эти штучки не пройдут — он уже это понял.

Кремен *(агрессивно взглянув на миссис Рид)*. Какие-такие штучки?

Миссис Рид. Не важно какие. Я говорю не с вами, мистер Кремен. *(К Айви.)* Будьте с ним начеку.

Кремен *(раздраженно)*. А вы слыхали, есть такой закон о клевете?

Миссис Рид. Будет вам. Никто тут не клевещет.

Айви *(встревоженно)*. Я ведь ничего не сказала, правда? Правда, Перси?

Кремен. Я не говорю про вас. Но она сказала. Он сказал. А я говорю, что есть такой закон о клевете. Я сам торговец и владелец лавки...

Миссис Рид. Точно. И все они из одной шайки, поверьте мне на слово.

Перси *(мрачно)*. Ничуть этому не удивлюсь.

Айви *(испуганным шепотом)*. Замолчи, Перси.

Перси. С какой стати?

Миссис Рид. Почему это?

Перси. Этот... м-м... господин говорит, что он торговец и владелец лавки. А я и моя жена — покупатели, я ничего больше не сказал. В былые времена покупатели чего-то стоили.

Миссис Рид. Да, тогда к ним не относились как к ничтожествам.

Кремен *(довольно резко)*. Никто ни к кому не относится как к ничтожеству, разве что некоторые и есть эти самые ничтожества.

Миссис Рид. Это кто ж это? Да это ж оскорбление, оскорбление личности, разве я такое заслужила?.. Ничтожество! Если б вы исправили мою раковину, как я вас просила...

Кремен *(обрывая ее)*. Опять та же песня. Ну что я говорил! Покупатели! Они же ничего не хотят слушать, ну ничего. Вы что думаете, трубы у меня растут на огороде, точно ревень?

Айви *(задумчиво)*. Я этот ревень в рот не беру. И никогда не брала.

Кремен *(в отчаянии)*. А я и не прошу.

Перси. Тут он прав. Ревень не имеет никакого отношения к нашему спору, Айви. Всегда прошу тебя — не отвлекайся.

Миссис Рид. Ну зачем это? Споры! Споры! В наши дни все только и делают, что спорят.

Айви. Я то же самое говорю Перси.

Кремен сердито качает головой, громко фыркает и снова утыкается в газету. Миссис Рид корчит ему рожи, к удовольствию Айви. Айви хихикает, но тут же умолкает.

Миссис Рид. У меня то же самое с помидорами.

Айви. Правда?

Миссис Рид. Когда как найдет. То сижу и целый день ем их в свое удовольствие, а назавтра глаза б мои на них не глядели. И это с каких пор. Вечно неприятности с желудком — очень уж нежный.

Айви. У сестры моего мужа то же самое, правда, Перси?

Перси. У Дорис это с детства. Удовольствие маленькое, а?

Миссис Рид. Удовольствие? Не смешите. Да если я сейчас увижу помидор, я к нему не притронусь.

Кремен. Не волнуйтесь, не увидите.

Миссис Рид *(не обращая на него внимания)*. Вот что я вам скажу: если спросите меня сейчас, стоит жить на свете или не стоит, знаете, что я отвечу? Нет, не стоит. Честное слово, так и скажу.

Айви. Перси тоже иногда так говорит. Правда, Перси?

Перси. Бывает. Я не из тех, кто ничего не видит и ни о чем не думает. И все это меня, как говорит Айви, убивает. Да, да. Убивает.

Кремен *(угрюмо)*. Если это вас убивает сейчас, что же с вами будет в моем возрасте? Вы же только вступаете в жизнь. Вот подождите!

Перси. Да, может, мне не лучше вашего. Чего тут ждать?

Кремен *(еще угрюмее)*. Вы сами увидите. Подождите, будете спину гнуть, все на вас орать станут, а денежки, что вы заработали, отбирать у вас будет ваша семейка, а тут еще волосы выпадают, крошатся зубы, да в придачу варикозные вены и радикулит...

Айви *(гордо)*. У Перси очень ответственная работа на складе, и потом ему приходится содержать свою мать, и еще у него жуткие головные боли. Правда, Перси?

Перси. Жуткие. По-другому и не назовешь. Жуткие. И лекарства не помогают. И так всю жизнь.

Миссис Рид *(вздыхая)*. Не одно, так другое.

Айви. Точно. Длинная-предлинная дорога и ни одного поворота...

Кремен. А если б были? Куда б они вас завели?

Перси *(с достоинством)*. Моя жена просто высказала свою мысль. И не надо ее подкалывать.

Миссис Рид. Не обращайте на него внимания. Он сегодня встал не с той ноги.

Кремен. А вы что, видели?

Миссис Рид. Опять, если хотите знать, незаслуженное оскорбление.

Перси. Верно. Это не по-джентльменски.

Кремен *(с отвращением)*. Ну прямо тошнит.

Он утыкается в газету. Остальные угрюмо молчат. Входит матушка Пек. Неопрятная, по всему видно, что со скверным характером. Медленно продвигается по комнате, миссис Рид внимательно следит за ней.

Миссис Рид. А я-то думала, у Фреда Нортона приличное заведение.

Матушка Пек *(подходит к стойке бара)*. Это вы мне, миссис, как вас там?

Миссис Рид *(с достоинством)*. Нет. Не вам. Я обращаюсь вот к этой даме.

Матушка Пек *(насмешливо)*. Ах, к этой даме — понятно. Прекрасная погода, правда? Только вот рано уже темнеет. Бр-р-р! *(Хлопает по стойке бара и кричит.)* Эй, как тебя там! Фред! *(Следит за тем, как Фред якобы подходит к стойке, ухмыляется.)* Ну удели хоть немного внимания старухе, старухе, которая вдоволь хлебнула горя. Налей мне кружечку темного и капни туда джина, да побольше... Брось, не может быть, чтоб у тебя не было джина... Не волнуйтесь, долго я сегодня не засижусь — больше чем на одну кружку мне все равно не наскрести, а навряд ли кто из вас меня угостит.

Миссис Рид. Когда вас в тот раз угостили, вы угодили в участок.

Кремен *(злобно)*. И это было не в первый раз.

Матушка Пек. Уж они-то никогда не напиваются и не безобразничают. Денег жалеют — даже для себя. Недаром его зовут Кремен, не человек — кремень. И папаша ее был не лучше.

Кремен. Послушайте...

Судя по всему, хозяин тоже протестует, матушка Пек, забрав свою кружку, слушает его.

Матушка Пек *(хозяину)*. Ладно, Фред. Больше ни слова, обещаю. Буду паинькой. *(Выпивает пиво, делает это с видимым удовольствием.)* Я безмозглая старуха, всех близких похоронила, да и сама одной ногой в могиле. *(Айви болезненно морщится.)* И тебя, дорогуша, это ждет, и ты тоже, если, конечно, доживешь до моих лет. *(Все угрюмо молчат.)* А я пришла сюда повеселиться. Чего это с вами со всеми? Молодые, здоровые, сильные, а?

Перси *(с достоинством)*. У нас неприятностей не меньше, чем у вас. Кстати, мы только что говорили о них.

Айви *(предостерегающе)*. Перси!

Матушка Пек. Перси! Так у Перси тоже есть маленькие неприятности, а? Бедняга Перси!

Перси. Ладно, мамаша. Хватит.

Матушка Пек. Мамаша! Послушай, Перси, я похоронила пятерых мужчин: двух мужей и трех сыновей — они бы запросто съели тебя на завтрак с потрохами, а потом еще потребовали бы рыбы. Можешь спросить мистера Кремена — он-то знает. *(Смотрит на Кремена, который уткнулся в газету.)* Ну, чего там пишут?

Кремен *(ворчливо)*. Как всегда, куча мерзких новостей.

Матушка Пек. Представляю. Только меня ихние новости не волнуют, меня мои волнуют. *(К Айви.)* А ты, голубушка, что скажешь?

Айви. Вы правы.

Матушка Пек. Права? На спор, тебе не так уж хлопотно с этим твоим Перси, ну разве что он не всегда вытирает начисто свои ботинки, когда заходит в дом. Когда я была как ты, я была замужем за сержантом, морским пехотинцем, и стоило ему появиться дома, что-то обязательно случалось, не одно, так другое, не тут, так там, и я знала: в доме мужчина. *(С грустью облокачивается на стойку бара, говорит почти что сама с собой.)* О Господи, что толку говорить? Никто уже ничего не понимает, всем на все наплевать. Да и с какой стати? Старая матушка Пек! Ей уже давно пора покоиться в земле, там, где все ее родичи. *(Поворачивается к остальным.)* Ваши беды! Подождите, вы еще состаритесь и будете одиноки, и никому-то не нужны, и что ни ночь, то бессонница, и все кости ноют и ноют! *(Почти бормочет себе под нос.)* И вот приходишь сюда повеселиться, пропустить кружечку пива — думаешь, все как прежде,— и что застаешь: кучу хмурых, нудных болванов. Господи, твоя правда! Уж лучше сдохнуть и покончить со всем этим.

Угрюмое молчание. И вдруг стремительно входит Гарри Тулли. Он может быть любого возраста — от тридцати пяти до пятидесяти лет, не шикарно, но прилично одет; крепкий, веселый, общительный парень.

Гарри. Всем добрый вечер! На дворе сегодня сыровато, но так приятно пахнет осенью. Она всегда напоминает мне мои молодые годы. Почему — и сам не знаю. Добрый вечер, мистер Кремен. Как дела?

Кремен. Добрый вечер. А дела мои, как и все в наше время,— дрянь!

Гарри. Ну, ну! Не так уж они скверны. Я-то знаю. Как поживаете, миссис Рид?

Миссис Рид. Неважно. Желудок замучил.

Гарри. Да, приятного мало. Но выглядите вы лучше. А где Фред?

Матушка Пек *(вдруг оживившись)*. А я тебя знаю — ты Гарри Тулли.

Гарри. Точно. А я знаю вас, матушка Пек. Пришли повеселиться?

Матушка Пек. Какое, к черту, веселье. У них тут такая тоска, будто на том свете куда лучше, чем на этом.

Гарри. Ладно, матушка Пек, давай-ка выпьем по одной.

Матушка Пек. Вот это парень. Только ты не уходи сразу.

Гарри. А я и не собираюсь, я же только пришел. Ну, матушка Пек, гляди веселей и расскажи-ка мне пару смешных историй, из тех, что тебе порассказал мистер Кремен.

Матушка Пек. Кто? Он? Да если он и знает хоть одну, ее из него клещами не вытянешь. Гарри, а это Перси.

Гарри. Как поживаете, Перси? А это ваша жена?

Айви *(смущенно)*. Да.

Гарри. Рад познакомиться с вами. Эй, Фред! Не томи посетителей! *(Следит за якобы вошедшим Фредом.)* Как дела, Фред? ...Отлично! Бывает, конечно, лучше, но бывает и в сто раз хуже. Вспомни ту ночку, когда все мы рванули под стойку бара. Или ту, другую, когда мы выносили из задней двери магазина Мэти, его жену и ребятишек... Сравнить с теми днями — так сейчас просто рай. Ладно, Фред, налей мне пинту, пополам того и другого и маленькую темного с джином для матушки Пек... Давай, давай, Фред, я думаю, для матушки Пек у тебя найдется капля джина... Вот это дело. А миссис Перси? Кружечку для молодой, а? Вы не возражаете, Перси?

Перси. Нет, конечно. А ты что будешь пить, Айви?

Айви *(застенчиво)*. У Фреда ведь нет портвейна, или найдется рюмочка?

Гарри. Само собой. У него припрятан портвейн, верно, Фред?.. Вот и отлично! Ну, сядем, друзья, и разгоним печаль. Да, матушка Пек?

Матушка Пек. Славный ты парень, Гарри.

Гарри. Это только кажется. Как вы думаете, миссис Рид? Наслышаны небось обо мне?

Кремен *(мрачно)*. Если она не слышала, то я слышал.

Матушка Пек. Да кто когда верил водопроводчикам?

Гарри. О-о! Матушка Пек, вы вступили вне очереди, это вам даром не пройдет. Добрая старушка Пек! Ну, теперь все на месте. Спасибо тебе, Фред. *(Делает вид, что берет кружку и рюмку, передает их матушке Пек и Айви, платит за них, потом берет свою кружку.)* Ладно, Фред, можешь идти. Знаю, тебя ждут в другом зале.

Все провожают взглядом уходящего Фреда, потом Гарри поднимает кружку, следом за ним матушка Пек и Айви.

Матушка Пек. Всех тебе благ, мальчик мой!

Гарри. И вам тоже, матушка Пек!

Айви *(смущенно)*. Всех благ!

Гарри *(очень сердечно)*. И вам того же, дорогая, авось Господь ниспошлет нам долгие годы жизни.

В то время, как они пьют, тихо входит Незнакомец. В нем нет ничего необыкновенного, и все же выглядит он не совсем обычно. Средних лет, полноватый мужчина, гладко выбрит, бледный, одет в темное. Никто не обращает на него внимания, он останавливается в глубине сцены.

Кремен. Для чего?

Гарри. Что значит — для чего?

Кремен. Я хочу спросить: для чего вы хотите долго жить?

Гарри. А, понятно. Ну, так просто принято говорить. Хотя я бы не отказался. Знаете, наслаждаться жизнью...

Матушка Пек. Не говорите этим людям про наслаждение жизнью. Они даже не поймут, о чем вы говорите.

Миссис Рид. А как раз перед его приходом вы с ума сходили — говорили, что лучше б вам умереть.

Матушка Пек. Да, говорила. И ты бы сказала, будь ты на моем месте. А вот ты, например, уже мертвая, только еще про это не знаешь.

Гарри. Слушай, матушка Пек. Миссис Рид человек совсем неплохой, и вообще, мы все тут друзья. Да, знаете, меня сегодня здорово насмешили...

Кремен *(вмешиваясь, почти сердито)*. Минутку, Гарри Тулли. Прежде чем вы расскажете эту веселую историю, я хочу, чтоб вы ответили лично мне на один вопрос.

Гарри *(весело)*. Валяйте. Согласен.

Кремен. Отчего это вы такой веселый?

Гарри. А отчего это вы такой мрачный?

Кремен. Могу сказать, хотите?

Гарри. Нет, слышал и не раз.

Кремен *(снова почти сердито)*. Вам ведь живется ничуть не лучше, чем остальным. В таком же болоте, как и все мы. Если дела у вас идут вроде моих, я удивляюсь...

Гарри. И я удивляюсь.

Перси. Я читал статью в одном журнале — это как-то связано с железами...

Айви *(с удивлением)*. Перси, зачем ты так грубо?

Перси. Не грубо, а научно. Железы.

Гарри. Я в этом не разбираюсь. Я журналов не читаю. Но знаю одно: раз мы живы-здоровы, уже хорошо.

Перси. Да, но куда ведут такие рассуждения?

Кремен. Никуда. Он не знает, о чем говорит.

Незнакомец *(вежливо, выступая вперед)*. Простите.

Говорит он спокойно, извиняющимся и в то же время повелительным тоном. Все пристально смотрят на него.

Кремен. В чем дело?

Незнакомец. Простите, что прервал вас, но я здесь, видите ли, по делу, и боюсь, мне пора уже приступить к нему, если вы не против.

Гарри. Конечно. Вы к хозяину, к Фреду?

Незнакомец. Да нет вроде. Меня вполне устроит один из вас. Да, пожалуй, это будет один из вас.

Кремен. Если вы хотите нам что-нибудь продать, на меня не рассчитывайте. Знаю я эти штучки.

Незнакомец. Нет, нет. Я не собираюсь ничего продавать.

Внимательно смотрит на всех. Айви крепко сжимает руку Перси.

Айви *(шепотом)*. Мне страшно.

Перси *(неуверенно)*. Ну что ты, Айви. *(Собрав все свое мужество, пристально глядит на незнакомца.)* Так в чем, собственно, дело? Никто ведь вас сюда не приглашал.

Незнакомец. Да, действительно. Но не забывайте, это не частный дом.

Гарри. Конечно. У вас такие же права, как у всех нас. Так что, если хотите что сказать, выкладывайте, приятель.

Незнакомец. Я и сам хотел это сделать, если помните, когда извинился за то, что прервал вас. Теперь я объясню...

Миссис Рид *(резко обрывая его)*. Мне ничего объяснять не надо. Не понимаю, зачем вы нас беспокоите — обычно в подобных заведениях этого не допускают. Пойду за хозяином.

Незнакомец *(все еще извиняющимся тоном)*. Боюсь, это невозможно. Мы должны покончить с нашим делом до возвращения Фреда.

Миссис Рид. Не дурите. Он сейчас же придет. *(Хлопает рукой по стойке бара и оборачивается позвать Фреда. Застывает в изумлении — слова застревают у нее в горле. Рукой она указывает туда, откуда мог бы вернуться Фред.)* Смотрите, тут все замуровано или уж не знаю что...

С изумлением смотрит на стену, Айви издает испуганный крик.

Айви. Мраморная плита. Как на кладбище...

Вцепляется в Перси.

Кремен *(он дальше всех от замурованного выхода)*. Бросьте, не может быть.

Гарри *(спокойно)*. И все же.

Все оборачиваются, в упор смотрят на Незнакомца, тот в ответ смущенно улыбается.

Матушка Пек. Я сразу подумала, какой-то ты странный.

Незнакомец. Ну, матушка Пек..

Матушка Пек *(резко его обрывая)*. Кто тебе сказал, как меня зовут?

Незнакомец. Я всех вас знаю по имени. Обязан — такая профессия. *(Указывает на каждого и называет по имени.)* Эдвард Кремен. Гарри Тулли. Перси Рендл. Айви Рендл. Берта Рид. Катлин Пек, известная всем как матушка Пек. Так, а?

Айви *(торопливо)*. Перси, пойдем.

Перси. Подожди минуту, сейчас пойдем.

Незнакомец *(с извиняющейся улыбкой)*. Уйти вам нельзя, пока я не закончу свое дело.

Кремен. Я уйду, когда захочу.

Незнакомец. Не думаю.

Матушка Пек. Знаете, кто он? Сыщик.

Гарри. Да нет. В чем все-таки дело?

Незнакомец. Все очень просто. Что ни день, люди умирают, верно? Но каждый день — разное количество, а нам надо поддерживать средний уровень. Наверняка вам интересно, как это делается. Кто выбирает тех, кому предстоит умереть. Частенько говорят: «Смерть пришла в этот дом» или «Смерть поразила этого человека», но яснее ясного, что смерть не может все это сделать сама. Должна быть какая-то организация, как в любом деле. Короче говоря, я ответственный за второй квартал северо-восточного района Лондона. *(Показывает две большие с черной каймой карточки, передает их остальным, те пристально их изучают, передают дальше, затем с немым вопросом взирают на незнакомца. Тот плавно, хотя и несколько смущенно продолжает.)* Сегодня для моего квартала норма была одиннадцать, за утро — это, несомненно, лучшее время — прошло восемь, днем я выбрал еще двоих; правда, с мальчуганом оказалось не так-то просто — чудный малыш, ему только минуло четыре,— и я, потеряв голову, решил, что на сегодня все. Возвращаюсь домой и вдруг вспоминаю, что на одного просчитался, и вот я здесь. Конечно, я мог бы выбрать одного из вас обычным путем, но я подумал: а что, если для разнообразия, в виде приятного исключения — вы, несомненно, оцените его — позволить вам самим выбрать этого одного?

Айви *(задыхаясь)*. Умереть — сегодня вечером?!

Незнакомец. Именно так. Не забывайте, все вы рано или поздно умрете. Не то что кто-то умрет, а кто-то и нет, это было бы ужасно. Просто, если один из вас решится на это вне очереди, он окажет услугу и мне, и вам.

Кремен. Не верю ни единому вашему слову, но с меня достаточно — я ухожу.

Незнакомец. Я уже сказал: никто не уйдет, пока я не сделаю свое дело.

Кремен. Попробуйте задержите меня.

Незнакомец. Попробуйте уйдите. Не обладай я властью, я не справился бы с подобной работой. Но я пытался облегчить вашу участь, так что вам не в чем меня упрекнуть. Правда, мне пришлось перекрыть выход в другой зал, нам никто не должен мешать.

Кремен. Входная дверь не закрыта — через нее я и выйду.

Направляется к двери и вдруг, вскрикнув, замирает, извивается, корчится от боли.

Кремен *(стеная)*. Проклятая спина. Шагу не могу ступить.

Незнакомец. Поражается самое слабое место. Мы ведь все знаем, разумеется. Может, еще кто-нибудь хочет попробовать, чтобы потом не терять время?

Миссис Рид *(отчаянно, с дрожью в голосе)*. Да, я иду.

Незнакомец *(холодно)*. Думаю, у вас начнутся боли в желудке. Попытайтесь.

Миссис Рид бежит к двери, но в трех-четырех шагах от нее резко останавливается, словно от удара в живот, тоже вскрикивает от боли и сгибается почти пополам. Эту маленькую сцену не следует переигрывать.

Матушка Пек *(бормочет)*. Черт побери! Может, он не дьявол, но все, что он говорит, чистая правда.

Кремен угрюмо возвращается на свое место, дрожащей рукой берет кружку пива, допивает ее. Миссис Рид, тихонько постанывая, тоже возвращается на свое место. Все не сводят глаз с Незнакомца.

Незнакомец. Вот так. Ну, так кто же?

Кремен. Ладно, это просто.

Трагическим жестом указывает на матушку Пек.

Матушка Пек *(в ужасе)*. Кто — я?!

Кремен. Да, вы. *(Оборачивается к Незнакомцу.)* Как раз перед вашим приходом и перед тем, как Гарри Тулли угостил ее еще одной кружкой пива, она жаловалась, какая она старая, одинокая, и сказала, что лучше б ей умереть и покончить со всем этим...

Перси. Точно. Я тоже слышал.

Матушка Пек *(возмущенно)*. Эх, вы, накинулись на бедную старуху — я в жизни никому худого не сделала; я не виновата, что денег у меня только на одну кружку пива да сболтнула лишнее...

Миссис Рид *(прерывая)*. Но мы слышали: вы сказали, что у вас никого не осталось и вам давно пора покоиться в земле...

Матушка Пек *(в бешенстве прерывая ее)*. Давайте, давайте! Я порола всякую чушь, а вы-то? Вечно жалуетесь на ваш ужасный желудок и никогда ничему не радуетесь. Хотела бы знать, для чего вы-то живете?

Миссис Рид *(сердито)*. Я на двадцать лет моложе вас, и вы сами сказали, что одной ногой уже в могиле...

Матушка Пек. Да, но другая-то у меня пока живехонька и еще хоть куда, и лягнуть ею можно...

Гарри. Стоп, матушка Пек, так дело не пойдет. Зачем кипятиться?

Матушка Пек *(почти плача)*. Ладно, Гарри, ты хороший парень. Не разрешай только им нападать на меня — бедная старуха тридцать лет не была у священника, не заходила даже в церковь — разве

она готова к смерти? *(Незнакомцу.)* Это должно случиться сегодня вечером, а?

Незнакомец *(важно смотрит на часы)*. Да, сегодня вечером, и поскорее. Я могу дать вам еще четверть часа, не больше. А потом придет он и уведет одного из вас.

Перси *(напряженно)*. Кто это он?

Незнакомец. Можете в это не вникать. Один из моих руководителей. У нас большая организация.

Перси *(напряженно)*. Понятно. Да...

Айви *(торопливо)*. Перси, не вмешивайся.

Перси. Я только хотел сказать, что выбирать надо из этих троих.

Указывает на матушку Пек, миссис Рид и Кремена.

Миссис Рид. Чего это вы?

Кремен. Я хотел сказать то же самое. Кто говорил, что жить на свете не стоит?

Перси *(торопливо)*. Она сказала — миссис Рид. Она сказала, если ее бы спросили, она бы ответила, что жить на свете не стоит...

Миссис Рид *(обрывая)*. А ваша жена тут же добавила, что вы всегда говорите то же самое...

Айви *(в отчаянии)*. Я не говорила «всегда», я сказала «иногда», честное слово.

Кремен. Он сказал, это его убивает. Мы все это слышали.

Айви *(в отчаянии)*. Это он только так говорит. Я же его знаю. И потом он молодой, и мы только поженились, и у нас теперь такая милая квартирка...

Кремен. Не похоже, чтоб это его особо радовало.

Айви. Да нет, его радует, правда — это он только так говорит. *(С неожиданной для робкого человека смелостью.)* Вы сказали гораздо худшее: подождите, вот состаритесь...

Кремен. Это я только так говорю. У меня дело. Обязанности. И если я вдруг отправлюсь на тот свет, окружающим это доставит немало хлопот. Другое дело — вы, молодые. Избавитесь от лишних неприятностей, и только.

Перси. А почему бы вам не избавиться от этих неприятностей?

Кремен. Думайте что говорите.

Миссис Рид. Он-то подумал. А вот вы, Тед Кремен, вы невыносимы — ворчите, ворчите, ворчите...

Кремен *(почти кричит)*. Да, я ворчу, и хочу ворчать еще долго — ясно?

Миссис Рид. Ну, вы не один такой. Что ж, придется отправиться туда матушке Пек. У нее уже ничего не осталось на этом свете, ради чего стоило бы жить...

Матушка Пек *(почти кричит)*. Не осталось? Да у меня столько, сколько у тебя, эгоистка, мерзкая кошелка, никогда и не было!

Незнакомец *(неожиданно властно)*. Тихо! *(Сразу воцаряется полная тишина. Все смотрят на незнакомца.)* Вы меня разочаровали. Знай я, что разразится такая недостойная, вздорная сцена, я бы придумал что-нибудь иное. Я думал, один из вас легко пойдет на это.

Кремен *(угрюмо)*. И как вам в голову взбрела такая чушь?!

Миссис Рид. Правда, с чего это?

Незнакомец. Короткая же у вас память.

Смотрит на всех серьезно и властно, потом рукой описывает большой круг против часовой стрелки. Движение это сопровождается скрежетом — будто кто-то заводит гигантские часы.

Гарри. Что вы делаете?

Незнакомец. Вернул время вспять. А теперь послушайте самих себя.

Последующая сцена играется точно как в первый раз, но актеры ведут себя так, словно они под гипнозом.

Гарри *(как и прежде)*. ...авось Господь ниспошлет нам долгие годы жизни.

Кремен. Для чего?

Гарри. Что значит — для чего?

Кремен. Я хочу спросить: для чего вы хотите долго жить?

Гарри. А, понятно. Ну, так просто принято говорить. Хотя я бы не отказался. Знаете, наслаждаться жизнью...

Матушка Пек. Не говорите этим людям про наслаждение жизнью. Они даже не поймут, о чем вы говорите.

Миссис Рид. А как раз перед его приходом вы с ума сходили — говорили, что лучше б вам умереть.

Матушка Пек. Да, говорила. И ты бы сказала, будь ты на моем месте. А вот ты, например, уже мертвая, только еще про это не знаешь.

Гарри. Слушай, матушка Пек. Миссис Рид человек совсем неплохой, и вообще, мы все тут друзья. Да, знаете, меня сегодня здорово насмешили...

Кремен *(вмешиваясь, почти сердито)*. Минутку, Гарри Тулли. Прежде чем вы расскажете эту веселую историю, я хочу, чтоб вы ответили лично мне на один вопрос.

Гарри *(весело)*. Валяйте. Согласен.

Кремен. Отчего вы такой веселый?

Гарри. А отчего вы такой мрачный?

Кремен. Могу сказать. Хотите?

Гарри. Нет, слышал и не раз.

Кремен *(снова почти сердито)*. Вам ведь живется ничуть не лучше, чем остальным. В таком же болоте, как и все мы. Если дела у вас идут вроде моих, я удивляюсь...

Гарри. И я удивляюсь.

Перси. Я читал статью в одном журнале — это как-то связано с железами...

Айви *(пораженно)*. Перси, зачем ты так грубо?

Перси. Не грубо, а научно. Железы.

Гарри. Я в этом не разбираюсь. Я журналов не читаю. Но знаю одно: раз мы живы-здоровы, уже хорошо.

Перси. Да, но куда ведут такие рассуждения?

Кремен. Никуда. Он не знает, о чем говорит.

Незнакомец. Простите! И тут вошел я. Ну, слышали, что вы говорили? *(Внимательно смотрит на всех, потом на часы.)* Даю вам еще пять минут. А потом, если вы не решите, кому идти, выберу я сам.

Айви *(смело)*. Он прав. Все мы хороши, кроме мистера Тулли. Что мы говорили? Как будто нам все равно, живы мы или мертвы. *(Она мгновенье колеблется, затем взволнованно смотрит на незнакомца.)* А можно вместо одного отправиться двоим? Я хочу сказать, если мы вместе с Перси, я не против...

Перси *(возмущенно)*. Постой, Айви! На что ты нас толкаешь?

Незнакомец. Двоим нельзя. Только одному.

Миссис Рид *(испуганно)*. Не смотрите на меня так.

Гарри *(незнакомцу)*. Ладно. Хватит спорить.

Айви *(изумленно)*. Хотите сказать, что пойдете вы?..

Гарри. Да. А почему бы не я?

Айви. Но вы же единственный...

Гарри. Знаю. Но что из того? Я наслаждался жизнью... а мы все когда-нибудь умрем...

Айви *(протестующе)*. Это несправедливо...

Перси. Замолчи, Айви.

Айви *(твердо)*. Не замолчу. Послушайте, это несправедливо, чтобы шел именно он. Нет, Перси, я буду стыдиться этого всю жизнь...

Гарри *(улыбаясь Айви)*. Ладно. Не стоит, Айви. И гляди веселей, и его тоже немножко развесели. А теперь посмотри на НЕГО.

Все смотрят на Незнакомца, он весело улыбается.

Гарри. Он получил то, что хотел, и думаю, с самого начала знал, что это буду я.

Айви. Это правда?

Незнакомец. Минуту. *(Достает из внутреннего кармана маленький белый телефон, начинает говорить.)* Да, сэр. Второй квартал, северо-восточный район Лондона, слушаю, сэр. Полный комплект, сэр. Да, сэр, хорошо. Гарри Тулли. *(Убирает телефон, улыбается Айви и Гарри.)* Да, прекрасно понимал, кто это будет. Раз вы боитесь Жизни, вы не живете по-настоящему и потому не любите Жизни. Но это не значит, что вы хотите умереть. Смерти вы боитесь еще больше. Вот я и подумал: раз Гарри наслаждался жизнью, он-то и решится отправиться со мной.

Айви. А я говорю: это несправедливо. И мне стыдно, и если б не надо было заботиться о Перси...

Гарри. И думать не смей, Айви. Ты еще сделаешь из него мужчину. *(Оглядывается вокруг.)* Мистер Кремен, миссис Рид, постарайтесь, чтоб наш приятель вас больше не подслушивал...

Кремен. Меня в жизни сюда теперь не заманишь.

Незнакомец *(мрачно)*. Вы даже не представляете, в каких местах я бываю.

Гарри. А вы, матушка Пек, следите за собой...

Матушка Пек *(бормочет)*. Благослови тебя Господь, Гарри. Я всегда говорила, ты хороший парень...

Гарри. Перси, заботься о жене. Тебе повезло. Она стоит десятерых таких, как ты...

Айви *(смущенно)*. Что вы. Но спасибо, что сказали ему это. Я никогда не забуду вас, никогда, никогда...

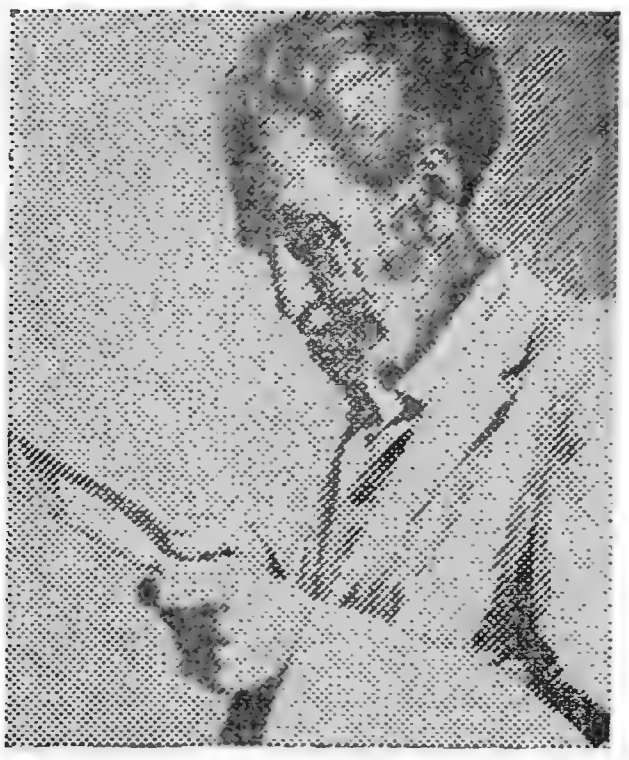
Быстро целует его, а потом с тихим плачем прислоняется к плечу Перси. Тот, словно защищая, обнимает ее, вызывающе глядя на остальных.

Гарри. Правильно, парень. Так и держись. *(Смотрит на Незнакомца.)* Ну, думаю, мы уже готовы к большому прыжку. Прощай, «Роза и корона», прощай, старушка.

Незнакомец *(серьезно)*. И если жизнь — роза, то смерть — корона. *(Смотрит в тот угол, где должен быть вход в другой зал; голос его крепнет.)* Полный порядок, сэр.

Все, не отрываясь, смотрят в угол, а потом все, кроме Гарри, который остается у стойки, и, конечно, Незнакомца — он в глубине сцены,— в испуге отступают. Свет следует усилить и направить прямо на Гарри; он тоже испуган появлением чего-то или кого-то. И вдруг испуг его проходит, он начинает улыбаться, будто видит старого друга. Потом медленно кивает головой, остальные стоят за ним, все еще напуганные и потрясенные.

Незнакомец кивает и улыбается. Занавес медленно опускается.



Из классики XX века

ЭЗРА ПАУНД

Из стихов 1908–1912 годов

С английского

Чино

Кампанья, 1309 г., пустынная дорога

Довольно! В трех городах я пел прелестниц,
Но всюду все одно и то же,
И вот хочу я солнце петь.

Губы, слова — и вот ты в ловушке,
Грезы, слова, они словно яхонты,
Странные ковы древней богини,
Во́роны, ночи, прельщенья.
Да полно, есть ли они?
Стали теперь средостением песен.

Губы, грезы, глаза, и ночь на исходе.
Ты снова в пути —
Их больше нет.
Разнежась в башнях наших мелодий,
Дамы в душевном разброде
Грезят о нас
И вздыхая рекут: «О, если бы Чино,
Страстный Чино, чей прищур лукав,
Резвый Чино, чей смех проворен,
Чьи насмешки остры, чьи быстры объятия,
Нежный и самый сильный из шатии,
Что извечной стезею под солнцем бредет,
О, если бы Чино-Лютнист был тут!»

И дважды, и трижды талдычит молва,
Словно нехотя перебирая слова:
— Чино? — Часом, не Чино Польнези ли,
Сладкопевца, поминаете вы?
— Когда-то и к нам захаживал он.
Бойкий малый, да только...
(Побродяжки, они на одно лицо!)
— Да чтоб он сдох! Да свои ли песни
Поет он или чужие вовсе?
А у вас, синьор, как в городе дела?
— А дела, синьор, как сажа бела.

Статью А. Зверева о жизненном и творческом пути Эзры Паунда см. на стр. 221.

[1] Чино да Пистойя (ок. 1270 — ок. 1336 гг.) — итальянский поэт, учился с Данте в Болонье, прославился как «первый поэт любви». *(Здесь и далее прим. перев.)*

— А с которых-то пор я помню, синьор,
Лишь Безземельного Чино,
О беспощадный Рок!

В трех городах я женщин пел,
Но всюду все одно и то же.
И вот хочу я солнце петь.
...ах!.. их глаза, как правило, се́ры,
Но мне все равно, солнце хочу я петь одно.

«По́лло [1], тазик оловянный,
Слава Зевсова щита,
Шустрый блеск твой заправляет
В синем небе неспроста!

По́лло, смех твой, зов к отрадам,
Станет нашей вандерлид [2],
И твоим лучистым взглядом
Будет путь дождям закрыт!

Путь нетореный, блаженный
К солнцу в сад искать я буду...
. . . . . .
В трех городах я пел прелестниц.
Но все одно и то же всюду.

Петь я стану белых птиц
В синих водах неба,
Облака, эти брызги небесного моря».

De Aegypto [3]

Я, именно я — тот, кто знает пути
Чрез небеса, и дыханье небес есть моя плоть.

Я лицезрел Владетельницу Жизни,
Я, именно я, чей лёт ласточек выше.

Серо-зеленое, развевалось
Ее на ветру одеянье.

Я, именно я — тот, кто знает пути
Чрез небеса, и дыханье небес есть моя плоть.

Manus animam pinxit [4].
Перо в моей руке.

Дабы приемлемое слово начертать...
Уста — дабы пропеть чистейшую из песен.

---

[1] Имеется в виду Аполлон.
[2] От немецкого «Wanderlied» — «песня странника».
[3] О Египте *(лат.)*.
[4] Рука нарисовала душу *(лат.)*.

У кого уста таковы,
Что примут песню Лотоса из Кум?

Я, именно я — тот, кто знает пути
Чрез небеса, и дыханье небес есть моя плоть.

Я — пламя, что вздымается на солнце,
Я, именно я, чей лёт ласточек выше.

Месяц у меня на лбу,
Ветры под моими устами.

Месяц — большая жемчужина в водах сапфирных,
Пальцы мои холодят бегущие воды.

Я, именно я — тот, кто знает пути
Чрез небеса, и дыханье небес есть моя плоть.

Так зовет тебя Гвидо[1]

«Оставлю Лаппо я и Данте тоже[2].
В путь! Лишь с тобой хочу я мчаться в море!
О страсти не болтай, шарманки пошлой хватит!
Ладья — моя, твои на ней товары.
Земле слепой не снился подвиг ярый,
На коий звал ты и зову днесь я.

В путь! Я тебя видал в тисках мечты твоей.
В путь! Я постиг души твоей законы.
Жизнь вся как есть — вот море, всех людей
Потоки слиты как алтарные пламёна,
В путь! Знаешь странствий зуд? Ладья — моя!»

Баллада о Благом Сотоварище

Ее поет Симон Зилот в некий час после Распятия

Ах, ужели пропал наш наиблагой
Из-за виселицы и попов?
Он до страсти любил моряков-смельчаков,
Паруса и гребни валов.

Как с толпою пришли брать Мужа Мужей,
Он улыбкою встретил врагов:
«Прочь ступайте,— сказал Сотоварищ Благой,—
Не проклясть бы мне ваших сынов!»

Он нас прочь отослал сквозь скрещенья пик,
Но разил его смех беглецов.
«Что ж меня не нашли, как бродил я один
По проулкам?» — сказал он, суров.

---

[1] Навеяно сонетом Данте «Guido vorrei...» *(Прим. автора.)*

[2] В сонете, указанном Паундом, Данте хотел отправиться в плавание вместе с поэтом Гвидо Кавальканти, его дамой Монной Ванной и поэтом Лаппо Джанни.

Добрым красным вином мы почтили его
На последнем из всех пиров,
Сотоварищ Благой не попом-каплуном
Был, а мóлодцем из молодцов.

Я видал, как он гнал много дюжин людей,
Помавая связкой снурков,
Ибо храм святой приспособили те
Для казны и торговых рядов.

Знаю, в книгу они ему путь преградят,
Сеть сплетая зловредных ков.
Сотоварищ Благой был не книжным червём,
А важнейшим из моряков.

Счесть, что пойман в силок Сотоварищ Благой,
Могут только глупцы из глупцов.
«Отправляюсь на празднество,— молвил Благой,—
И на смертную муку готов».

«Вы видали, как мертвых я воскрешал,
Как целил я хромых и слепцов.
Но увидите то, что все превзойдет:
Смерть храбрейшего из храбрецов».

Божьим Сыном был Сотоварищ Благой,
Звал он братьями всех дружков.
Я видал, как он тыщи людей устрашил,
Я видал его в лапах врагов.

Не кричал он, как рвали ногти ему
В теплой пене кровавых ручьев,
Небо красными псами взвывало ввысú —
Не исторг он ни стонов, ни слов.

Я видал, как он тыщи людей устрашил
На холмах галилейских краев.
Все завыли, как он между нами прошел,
Взор был темен его и суров,

Словно море, которое в путь не спешит
Под кнутом своевольных ветров,
Словно Генисаретского озера гладь,
Что смирил он при помощи слов.

Был Владыкой людей Сотоварищ Благой,
Был он другом морей и ветров.
Счесть, что жизни лишен Сотоварищ Благой,
Могут только шуты из шутов.

Я видал, как он ел из медовых сот
Под гвоздями катов-глупцов.

К собственному лицу в зеркале

О странное лицо в стекле!
О гнусная компания! О воинство небесное!
О шут мой, грустью обуянный!
Что скажете в ответ? Вы, мириада,
Ты, что бурлишь, лицедействуешь, сходишь со сцены,
Кривляешься, обличаешь, на ложь отвечаешь ложью.
Я? Я? Я?
А кто же вы?

Н.-Й.

Мой Город-Дева, о возлюбленная, белая! О стройная,
Внимай! Меня послушай — душу я в тебя вдохну.
Внемли прилежно тростнику, склони свой слух!

Я понимаю, что сошла с ума
В объятиях людского миллиона, от сутолоки злого.
Не дева перед вами.
И не сыграть на тростнике, возьмись он у меня.

Мой Город-Дева, о возлюбленная сердца,
Ты дева, чьи еще не ви́дны груди,
Ты стройная, как сребролиственный тростник!
Склони свой слух, внемли мне!
Вдохну в тебя я душу,
И жить ты будешь вечно.

Картина[1]

Читать могу я по глазам умершей этой дамы,
Поскольку здесь была любовь, и не затем, чтоб сгинуть.
И здесь желанье — от него не отцелуешься.
Читать могу я по глазам умершей этой дамы.

О Джакопо дель Селлайо

Сей муж познал о потайных путях любви;
Изобразить не зная, никому не удается.
И вот она ушла, та, что была его Кипридой,
А вы все здесь, кто для меня суть Острова.

И здесь осталось то, что длится в ходе жизни:
Глаза сей мертвой дамы говорят.

---

[1] «Венера, откинувшаяся назад»! Джакопо дель Селлайо (1442—1493). *(Прим. автора.)*

Сад

En robe de parade
Samain [1]

Как моток рыхлого шелка, прижатый ветром к стене,
Жмется она к перилам вдоль по дорожке Кенсингтонского сада,
И постепенно она умирает
от какой-то эмоциональной анемии.

А вокруг царит кутерьма
Грязных, ядреных, неуничтожимых отпрысков бедноты.
Они унаследуют землю.

В ней обозначен тупик породы.
Изыск и избыток в скуке ее сквозят.
Ей бы, пожалуй, хотелось, чтоб кто-нибудь с нею заговорил,
Она почти испугалась,
что именно я совершу сию неучтивость.

Поручение

Ступайте, песни мои, к одиноким и недовольным,
Ступайте также к пораженным неврозами,
ступайте к рабам обстоятельств,
Снесите им мое презрение к тем, кто их притесняет.
Ступайте огромной волною холодной воды,
Снесите презренье мое к тем, кто их притесняет.

Разоблачите бессознательное притеснение,
Разоблачите тиранию лишенных творческого дара,
Разоблачите любые оковы.
Ступайте к буржуазке, умирающей от хандры,
Ступайте к женщинам пригородов.
Ступайте к постыдно преданным мужу,
Ступайте к тем, чей крах сокрыт от взоров,
Ступайте к несчастливым в браке,
Ступайте к купленной жене,
Ступайте к жене-недвижимости.

Ступайте к тем, чье вожделенье утонченно,
Ступайте к тем, чьи утонченные желанья обузданы,
Ступайте, как порча, насланная на уныние мира;
Ступайте, выставив против тоски острие,
Натяните тончайшие нити,
Принесите уверенность водорослям и щупальцам душ.

Ступайте, лучась дружелюбьем,
Ступайте, разя откровенностью.
Жадно ищите новое добро и новое зло,
Воюйте против любых форм притеснения.
Ступайте к тем, кто возрастом утучнен,
К тем, кто утратил интерес к жизни.

---

[1] В парадном платье. Самен *(франц.)*. Цитата из стихотворения французского поэта из круга символистов Альбера Самена (1858—1900).

Ступайте к подросткам, чахнущим в недрах семьи,—
О, как чудовищно
Смотреть на три поколенья под одною крышей!
Вспоминаешь дерево со свежими побегами,
На котором видны сгнившие, сломанные ветви.

Ступайте прочь и презрите мненье других,
Ступайте и воюйте против растительного раболепства
перед кровью,
Воюйте против любых форм собственности.

Договор

Я заключаю с тобой договор, Уолт Уитмен,—
Слишком долго питал я к тебе отвращенье.
Я прихожу к тебе подросшим ребенком,
У которого отец был упрям, как осел.
Я достаточно повзрослел, чтоб с тобой подружиться.
Это ты вскрыл новый мир,
Ныне время пришло гранить.
Сок и корень у нас одинаковы,
Наведем же между нами мосты.

Танцорка

Глядя на «Брак в Кане Галилейской» [1]

Темноокая,
О женщина моих сновидений,
В сандалиях цвета слоновой кости,
Нет тебе равных среди танцорок,
Нет таких же проворных ног.

Я не нашел тебя под сенью шатров,
В чересполосице света и мрака.
Я не нашел тебя у струй ключа,
Средь женщин с кувшинами на голове.

Руки твои словно свежие ветви под тонкой корой,
Лицо как река в огоньках.

Плечи твои белы, как миндаль,
Как блестящий миндаль, с которого кожицу сняли.
Не евнухам поручают тебя сторожить
И не медным засовам.

Бирюза в золотой оправе и серебро
Украшают приют твоего отдохновенья.
Бурый наряд, на котором златыми нитями
Выткан узор, ты вкруг стана сбираешь в складки,
О Натат-Иканайе, «Древо-у-Брега-Речного».

---

[1] По-видимому, имеется в виду знаменитая картина Паоло Веронезе, хранящаяся в Лувре.

Как ручеек меж стеблей тростника,
Руки твои снуют по мне.
Пальцы твои — поток с корочкой льда.

Девы твои белы, как галька;
Их музыка вкруг тебя так и вьется.

Нет тебе равных среди танцорок,
Нет таких же проворных ног.

Семейство Миллвинов

Маленькие Миллвины пришли на Русский балет.
Зеленовато-сиреневые души маленьких Миллвинов
Улеглись на спинки кресел,
Как и многочисленные боа за ненадобностью.

Бурлящая, недисциплинированная толпа
Студентов, обучающихся искусствам,—
Суровая депутация «Слейда»[1]
Проходила перед ними.

С приподнятыми плечами, со скрещенными
Руками в форме огромных футуристических иксов,
Студенчество в приподнятом настроении,
В экстазе любовалось красотами «Клеопатры».

И маленькие Миллвины тоже смотрели на такие вещи;
Широко открытыми, анемичными глазами
Они рассматривали особенности конфигураций.

Посему обратим внимание на этот факт,
Ибо он заслуживает фиксации на бумаге.

Приход войны: Актеон[2]

Образ Леты,
        и поля,
Полные смутного света,
        но с золотыми прожилками,
Серые скалы,
        а под ними
Море,
Жестче гранита,
        неспокойное, неизбывное;
Очертания в вышине,
        в чьих движеньях чуешь бога,
Ощущенье опасности;
        и вдруг кто-то сказал:
«Там Актеон!»
        Актеон в златых наголенниках!

---

[1] Престижная художественная школа в Лондоне.
[2] В греческой мифологии — страстный охотник; был превращен Артемидой в оленя и растерзан собственными собаками.

Над долинами сладостными,
Над застывшим ликом сизого поля,
Неспокойное, неуследимое
Шевеление толп древних народов,
Безмолвный кортеж.

Перевод АЛЕКСЕЯ ПАРИНА

Близ Перигора

От переводчика

Стихотворение Эзры Паунда имеет в виду события жизни одного из самых известных провансальских трубадуров Бертрана де Борна (умер в 1215 году). Владея землями, расположенными на границе Лимузена и Перигора, эн Бертран («эн» — господин, то же, что в испанском «дон») был вовлечен в междоусобицы всех рангов, от родственных до государственных. Способствовала этому и его страстная натура, темперамент бойца, ум стратега и интригана. Захватив доставшийся на двоих с братом замок Аутафорт (Альтафорт, Отфорт), затем уступив его более сильному противнику; взяв в противоборстве между английской и французской короной сторону Молодого Короля Генриха, побуждая его к войне против отца, Старого Короля, и брата, Ричарда Львиное Сердце, а затем сдавшись Ричарду и немедля начав призывать его к нападению на Старого Короля, барон Бертран де Борн получил в истории клеймо «зачинщика раздоров» и как таковой был помещен Дантом в 8-й круг Ада.

Поэзию Бертрана де Борна принято делить на четко обособленные гражданскую и любовную. Конкретность и заземленность его политических и военных песен сродни тем, которыми пленяет катулловская лирика. Кансоны же о любви, при всем их индивидуальном своеобразии, в большей степени следуют куртуазным канонам. Пружина стихотворения Паунда, сжимаясь-разжимаясь, преобразует энергию любовной поэзии де Борна в гражданскую и гражданской в любовную: в воспевании дамы поэт прячет замысел военного союза, в политическом выпаде против врага — любовь к даме.

Чтобы не мешать удовольствию от чтения стихов, не станем снабжать примечаниями имя каждого из трубадуров, баронов и их поместий, упоминаемых в тексте. Заметим лишь, что «магнит» в стихах Бертрана де Борна — это сеньяль, то есть условное имя, под которым скрывался адресат песни трубадура, иногда его возлюбленная, иногда друг, иногда сам поэт (Магнитом называли друг друга Бертран де Борн и Фолькет Марсельский); что Маэнт, которой Бертран посвятил лучшие свои песни, в частности кансону о «составной даме», то есть собравшей все прелести соперниц, была, по некоторым источникам, сестрою короля Ричарда; и что Папьоль — это жонглер Бертрана, то есть профессиональный певец, исполнявший его песни. Имена собственные Паунд дает как в провансальской, так и во французской транскрипции.

A Perigord, pres del muralh
Tan que i puosch'om gitar ab malh [1]

Вы, подобрав в пыли сердца,
Секреты их раскрыли, Чино,
Ведь так? Тогда, мессир, меж строк читая Юк Сен-Сирка [2],
Разгадку дайте байки, вам известной.

---

[1] Дрот метнуть в Перигоре до врат
Хватит сил мне под тяжестью лат. *(ст. прованс.)* *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Юк Сен-Сирк (умер в 1253 г.) — трубадур; составитель жизнеописаний трубадуров и комментариев к их песням.

Бертран оставил славную кансону:
«Маэнт, я вас люблю, я вами изгнан.
Монфортский голос, грива леди Агнес,
Стан Бель-Мираль и горло виконтессы,
Сложись они все вместе, вас не стоят...»
Прикиньте-ка, запев кансону эту,
Что — где жила Маэнт? да в Монтаньяке,
В Шале другая, третья же в Мальморте
Под Бривом — и у каждой дамы замок,
И очень крепкий.

О, легко ли это?
Двор в Монтаньяке Тайриран держал,
И всем, что в Перигоре властью было,
Был зять его, и добрый сей союз
Сглотнул всю землю, чтоб потом владеть столетья ею,
А наш-то Эн Бертран был в Альтафорте,
Ось колеса, раздоров возбудитель,
Застигнут Дантом в крайней луже ада
Как торс безглавый с «лампой-головой»:
Ведь разделенье множит разделенье,
И он, кто разжигать стал распрю брата с братом
И шел за старым королем английским,
Зажат в ту пытку «за противоход».
А как жилось бы вам, с соседями впритык —
Брив, Пуатье и Рошкуарт невзятый,
Простертые, как пальцы хрупкой кисти;
А вы на продувном бугре ладони —
Не выступ, не Фуа в разливе рек,
Но кряж огромный с редким сосняком,
В мошну его попавший — и пропавший:
Четверка круглых башен — дурней-братцев.
Что выбрать, кроме безнадежных шахмат
И старых свар?
«Заложим замки, лорды!
Пускай евреи платят!»
И величье
Той сцены (может, и небывшей!) —
Разбитый наконец,
Пред хмурым старым королем:
«Ваш сын — с тех пор, как мертв он,
Мой ум и доблесть — паутина, вспышкой
Сметенная тоски. Творите суд».

Возьмем же дело в целом, чтоб распутать.
Любил он даму в замке Монтаньяк?
Иль он нуждался в этом замке с фланга?
Прочтем, как долго сюзерены Перигора,
Клан Талейранов, там распоряжались; то не вымысел
минутный.
Так что ж, Маэнт черства? Иль в план проникла?

А как он мысль о новом плел альянсе!
Шале — высóко, вровень с тополями.
Внизу уперлись камни в мыс долины,
Где воды нижней Дроны полны лилий.
Рошкуарт, коль не сильней его, то равен —
Край шпоры, что в утес отвесный врезан,
Мальморт же тайно властвует над Бривом,
А Борн, сума закрытая, крольчатник,

Зал в подземелье с дюжиной дверей
И пёнышки антенн — дороги щупать
И нюхать транспорт, в Перигор идущий.
Крепка фаланга, фронт несокрушим,
До крепости Маэнт миль десять добрых —
Весь фланг его: что мог он без нее?
А вся дорога на Кагор, в Тулузу?
Что без нее он делал бы?

«Папьоль,
Марш напрямик: пой — Аньес, Цимбелин.
Есть горло, так? Есть, ах, две ручки белых.
Есть ранних роз садовые шпалеры
А сердце мне сплошь оплела любовь.
Где я, пришедший с составною лестью,—
Какая дверь открыта комплиментам?»
А что они к Маэнт полуревнуют,
То вот ловушка — натравить всю ревность
Их на нее; и в них ее возвысить.

Да как хотите речь его толкуйте,
Но узел, первый узел, все ж в Маэнт?

Любовный стих? Иль о войне он пел?
Иль дал хитро с жонглерских губ утечь он
Интриге и свободно просочиться
Наверх и близ и внутрь и вне страны,
Ведь он искусный мастер и стратег?
(Пел Сент-Лейдьер подобно Полиньяку,
Строфой не той же, но лежащей рядом.)
О, прецеденты есть, обычай давний —
Петь про одно, а песня про другое,
Et albirar ab lor bordon —»[1]
Знал это граф Фуа. А Сир Бертран?
Маэнт, Маэнт, и та же вновь Маэнт —
Или война, политика, доспехи?

II

Прочь факты. Смотрим вымысел. Пред нами
Отфорт, светелка в башне, Эн Бертран,
Закат, в лучах рдяных тесьма дороги,
На юге Монтаньяк; склонясь к столу,
Он чиркает, клянет сквозь зубы; слева
Полосками пергамент: бывший в деле,
Скоблёный, тертый, в *al* и *ochaisos*[2].
По рифмам судя, тощий тип он? Желчный?
С растрепанной бородкой рыжей?
Зеленый глаз кошачий — к Монтаньяку.

А пущенный им в свет певец «магнитный»!
Петляющий позадь Обтера, но поющий
Под сводами Шале;
У мшистого ствола следящий слепо
В Рошкуарте, в зной, за ястребом над логом;
Своей под вечер очереди ждущий,

---

[1] И оценить их копье=И оценить их строку *(ст. прованс.)*
[2] Иначе (и) причина *(ст. прованс.)*

В мечтах об Аэлис, любимой сердцем и душой...
Застать полу-одну: Монфортских нет,
Но смуглой, безмятежной, ненавистной гостьей
Испорчен весь визит, а нового ждать год.
Немного, да?
Продвинем же его. «По всем дворам пройдите,
Магнит мой»,— гнул Бертран.

Пришли мы в Вентадур
В разгар любовных игр, он тянет песню,
Никто не слышит, только Арримон Люк Д'Эспаро —
Никто не слышит ничего, лишь благодатный звук похвал.
Монфорт,— Сир Арримон сгибает палец,—
Рошкуарт, Шале... кто дальше?.. славный тактик!..
Мальморт; план вскрыт; снестись со Львиным Сердцем:
Пакт, выкурен де Борн, стволы близ замка
Повалены, скот выбит!
Иль этого никто не видит, и процветал Бертран?

А десять лет спустя, а может, двадцать
Арнальд[1] и Ричард в поле под Шалюсом:
Тень круглых башен над походным станом,
Дрожат палатки, коновязь вдали
В укрытье, фиолетовая ночь,
Дым костерков трещащих, знаменосцы,
На знамени ленивый леопард,
Блестит кольчуга тускло, оружейник
Жжет факел над броней.

В тишайшем месте
Они, опять в разбор скандалов старых
Пустившись, слышат вдруг, что мертв де Борн
(Нам с этим слухом жить шесть сотен лет).
Умрет назавтра Ричард — пусть сейчас
Он *trobar clus*[2] обсудит с Даниэлем.
А «мастер лучший», выбрав песню друга,
Завидует, оплакивает стиль,
Хулит талант свой...— Это как хотите.
Потом они беседуют о мертвом.
Плантагенет: «Любил ли он ее?»
Арнальд: «Любил ли вашу он сестру?
Да. Восхвалял. Но в некотором смысле
Писал хвалу, чтоб показать, что он
Горд быть близ вас, что он был вами принят.

Вы знали, кто он».
«Знали, кто он,— вы».
«Я лишь артист, вы мастер двух ремесел,
С рожденья с ним».
«Что знаем о друзьях мы?»
«Сказать: он видел бой — сказать: любил!»
«Сказать: любил — найти ли ключ к загадке?»
Конец беседе. Ричард утром выйдет,
Свою стрелу получит сквозь забрало,
Простит стрелка, умрет,

---

[1] Арнальд (Арнаут) Даниэль — знаменитый трубадур, которого Данте устами Гвидо Гвиницелли назвал «лучшим мастером родного слова».
[2] Темный стиль *(ст. прованс.)*.

Спор кончит наш. Арнальд же кончит
«Нетленной славой», как гласит апокриф,—
И это все. Пока не скажет Данте:
Я видел, и сейчас перед очами
Безглавый торс, шагавший и, держа
За мертвые власы главу, светивший,
Как лампой, ею, стонущей: «Увы мне!
Я рвал родство — разорваны глава
И сердце, я две части существа».

Вернемся к Эн Бертрану?

III

Ed eran due in uno, ed uno in due.
Inferno, XXVIII, 125 [1]

Смущенная весна, и вдоль Овзера
В зеленой смальте лютики и маки
Нас выше встали; мы ту реку знали,
И наши два коня прошили пойму;
Луг заливной в конвое тополей
С дней знали юных, когда небо нежит.
Плеск мощных крыл плыл в сумерках над нами,
И мощные колеса высей
Влекли нас вместе... вознося... и порознь...
Должны б мы, веря, слить уста и руки,
Вверх, вверх и без сомнений... вдруг контрвыпад:
«С чего меня вы любите? Навеки ль?
Я — что трава, я не могу любить вас».
Или: «Люби́те, я люблю, люблю вас,
Ваш ненавидя ум, не *вас,* ваш дух и руки».

Итак, разрыв последний, Тайриран!

Там, в замке Тайрирана, взаперти,
Она, чей весь язык и слух — лишь руки;
Ушла — нетронутой, недостижимой!
Она, что не жила б — не будь другого,
Не говорила — если б не с другим,
А прочее в ней — переменный сдвиг.
Разбитый сноп зеркал...!

Перевод АНАТОЛИЯ НАЙМАНА

---

[1] И было два в одном, и в двух — один.
Ад, XXVIII, 125 *(итал.)*.

А. ЗВЕРЕВ

«ДЕРЕВЕНСКИЙ УМНИК»

К портрету Эзры Паунда

У Паунда всегда были очень тяжелые отношения с родной страной.

Тридцать семь лет он прожил в эмиграции, хотя и сохраняя американское гражданство. Последнее обстоятельство имело для него скверные последствия. Когда в мае 1945 года после капитуляции Италии его арестовали за участие в пропагандистских передачах римского радио, дело, вернее всего, кончилось бы двумя-тремя годами тюрьмы, будь он, подобно остальным приверженцам Муссолини, подданным марионеточной республики Сало, созданной диктатором незадолго до падения. Как американец, Паунд, однако, получил обвинение в государственной измене. Оно грозило смертным приговором.

Дело слушал вашингтонский суд. На родину Паунда везли под охраной четырех офицеров ФБР, очистив от пассажиров целый салон в самолете. Шестидесятилетнему поэту льстило такое внимание. До этого он полгода провел среди насильников и мародеров в лагере, наспех построенном под Пизой. Его одиночку — «клетку для горилл», как он ее назвал,— специально укрепили решетками из стальных прутьев: инструкции требовали ни в коем случае не допустить ни побега, ни самоубийства. Круглосуточно сменяли один другого часовые. Раскаленный сарай под открытым небом, слепящий свет прожекторов по ночам — так для него начиналась тюремная глава. В уважение былых заслуг Паунду разрешили иметь при себе две книги. Он взял издание Конфуция и китайский словарь.

Они понадобились Паунду для продолжения работы над эпической поэмой, которой он был занят уже четверть века с лишним. В лагере были написаны «Пизанские песни» — лучшая ее часть. Репутация Паунда как выдающегося поэта была этим циклом исповедальных стихотворений подтверждена — впрочем, никто ее и не оспаривал уже с 10-х годов.

Однако его общественную репутацию спасти было невозможно.

Об уготованной ему участи Паунд словно и не догадывался. Новостей ему не сообщали, он не знал ни о Хиросиме, ни о том, что война кончилась, и решил, что в Вашингтон его везут, поскольку госдепартаменту нужны люди, изучавшие японскую культуру. Уже военные психиатры, обследовавшие Паунда в лагере, заподозрили у него душевное расстройство.

Родина встретила его ненавистью. В нью-йоркских киосках продавался свежеотпечатанный памфлет «Черный знак предательства»: Паунда сравнивали с комендантом Освенцима и требовали безотлагательной казни. Коммунистический журнал «Нью мэссиз» наперед обличал продажный суд в попытке сохранить жизнь «фашистской гиене». Только что прославившийся молодой драматург заявил в интервью, что Паунд «хуже Гитлера и превзошел Геббельса своим коварством». Это слова Артура Миллера.

Среди шумных возмущений и заклинаний никто не услышал ни Хемингуэя, ни Элиота, считавших, что место Паунда не на скамье подсудимых, а в палате умалишенных. Оба брались аргументировать свой вывод разбором того, что он писал в фашистских газетах и говорил перед римским микрофоном.

Армейская контрразведка предоставила записи этих передач, и обвинение в измене сразу сделалось труднодоказуемым. Видимо, и начальство, и цензоры в Риме неважно знали английский язык, а об идеях и пристрастиях Паунда имели самое смутное представление, попросту прельстившись его именем. Выступления Паунда в программе «Американский час» не могли иметь никакого разлагающего эффекта, потому что это двадцатиминутный путаный монолог, в котором трудно разобраться не то что на слух, а перечитав десятки раз. Там все переме-

шано: агитация за всемирную денежную реформу, упреки Джойсу, не в меру эзотеричному в последней своей книге, патологический антисемитизм, грубые оскорбления по адресу Рузвельта и Черчилля, максимы конфуцианской этики, перевранные отрывки из статей Селина, ставшего коллаборационистом. Статьи самого Паунда, печатавшиеся во второсортных итальянских изданиях, выглядят точно таким же коллажем, заставляющим вспомнить опыты автоматического письма, которыми занимались сюрреалисты, веря, что сумятица подсознания, зафиксированная на бумаге, позволяет понять человека лучше, чем его логически оформленные высказывания.

Не поддавшись нажиму экзальтированных искателей возмездия, судья Лоуз изучил все эти материалы и назначил медицинскую экспертизу. Четыре врача признали, что Паунд страдает маниакальным психозом, освобождающим от юридической ответственности. Прямо из суда он был доставлен в госпиталь Св. Елизаветы. Это мрачное учреждение он покинет только двенадцать с лишним лет спустя.

Скандал постепенно пошел на убыль. Правда, присуждение Паунду весной 1949 года престижной Боллингенской премии за «Пизанские песни» всколыхнуло новые волны негодования. Даже московское радио прокомментировало это событие — в том духе, что о деградации космополитской и декадентской американской лжекультуры свидетельствует неспособность найти более пристойного лауреата, чем фашист и психопат Паунд.

Но за него проголосовали восемь членов жюри из тринадцати, включая Элиота, Одена, Лоуэлла — цвет тогдашней англоязычной поэзии. А когда составители антологии «Поэтические шедевры» исключили из нее стихи Паунда, Оден тут же снял свою подборку и пригрозил прекратить дальнейшее сотрудничество с издателями. Мотивы были понятны: запрет на имена и произведения по причинам, не касающимся литературы, слишком напоминал практику диктаторских режимов.

Меж тем Оден вовсе не относился к поклонникам Паунда. Как и Роберт Фрост, более всех других сделавший для освобождения Паунда из лечебницы в 1958 году. Фрост вообще считал паундовское влияние губительным для поэзии. Но такие соображения оказывались не столь важны перед лицом того факта, что крупного поэта, сколь бы одиозным ни сделалось его имя, отлучают от поэзии из-за его политических взглядов и объявляют сумасшедшим, хотя по-настоящему доказать этого так и не смогли. По крайней мере в том, что Паунд писал, находясь на положении душевнобольного, следов безумия ничуть не больше, чем в его предвоенных стихах и статьях, которые многих повергали в шок, но никому не казались бредом.

Из собственного печального опыта недавних лет нам хорошо известны сюжеты с психушками для диссидентов, и все-таки прямые аналогии тут вряд ли уместны. Паунда с юности отличала, мягко говоря, эксцентричность высказываний и поведения, а в том, что в годы войны — когда он, отказавшись вернуться в США, очутился по другую сторону фронта — эта эксцентричность заметно усилилась, сомневаться не приходится. Он явно не ориентировался в создавшемся положении и не понимал, перед какой опасностью стоит. Обвинение в измене было для него полной неожиданностью: он полагал, что, обрушиваясь из Рима на Рузвельта, просто пользуется законным правом каждого американского гражданина критиковать собственное правительство. Совершенно искренне он думал, что вашингтонские бонзы нуждаются в его познаниях и услугах. Просил отправить его к Макартуру, командовавшему оккупационными силами в Японии: тот ведь невежда в конфуцианстве, а без Конфуция с японцами ни о чем не договоришься. Затем предложил властям идею еще более фантастическую: он берется за несколько месяцев выучить грузинский и, встретившись со Сталиным, объяснить генералиссимусу преимущества американской конституции на его родном языке.

В больнице он как-то сразу обмяк, оравнодушел и с безучастием наблюдал за попытками друзей вызволить его из заточения. Было ясно, что дело это нескорое и что из Америки, во всяком случае, Паунда не выпустят. А такая перспектива его более всего и угнетала. Своему адвокату он без тени иронии заявил, что для тех, кому выезд из Америки закрыт, бедлам — самое подходящее место обитания. И было бы оно вполне сносным, если бы не телевизор, работавший до позднего вечера. Достаточно взглянуть на экран, и картины американской будничности вызывают спазм отвращения.

Адвокат был удивлен и обижен. Видимо, он мало читал Паунда. Отвращение к американской цивилизации в ее наиболее типовых и характерных формах — один из самых устойчивых мотивов его поэзии, его публицистики. Еще в 1912 году Паунд опубликовал трактат «Patria mia», и о родине там сказано, что она воплощает все вульгарное, безвкусное, плоское, антихудожественное, всю меркантильность и грубую утилитарность, ставшие знамением нашего века. Уже итальянским заглавием своей книжки Паунд давал понять, что не желает иметь с собственным отечеством ничего общего.

Такой образ Америки сохраняется у Паунда неизменным, как бы ни менялся он сам. Врачи из Св. Елизаветы были правы, советуя суду не чинить препятствий его новой эмиграции. По прибытии в Неаполь через месяц после освобождения Паунд прямо на пароходе объявил встречавшим его итальянским журналистам, что «вся Америка — сплошная психиатричка». И повторял это потом много раз.

Среди собравшихся в порту интервьюеров были люди, знавшие Паунда еще по временам Муссолини. Сгорбленный старец в пропотевшей рубашке и джинсах мало напоминал им щеголеватого, подтянутого «иль синьоре поэта», которого однажды принял у себя на пьяцца Венеция сам диктатор. Однако Паунд заговорил, и выяснилось, что он все тот же, прежний: так называемая демократия — это империя ростовщиков семитского происхождения; газовые камеры были излишеством, но еврей-

ство надо сокрушать беспощадно; Дуче был истинным романтиком и героем, проигравшим лишь из-за неравенства сил. Позируя перед камерой, Паунд вскинул дрожащую старческую руку в фашистском приветствии...

Как не вспомнить Гамлета: есть, действительно есть своя логика, своя система и в безумии.

Самое любопытное, что при всем одержимом неприятии Америки Паунд оставался законченным американцем — и не только по крови, а по психологии, по характеру мышления, по воплотившемуся в нем человеческому типу. Это отмечали все знавшие его близко.

Что касается крови, в роду Паунда были китобои, пионеры, бродячие торговцы, владельцы придорожных трактиров, даже профессиональные конокрады — генеалогия удивительная для человека, прославившегося отменным знанием таких изысканных материй, как культ любви у трубадуров и образность поэтов Древнего Китая. В Филадельфии, где отец Паунда был служащим монетного двора, никто слыхом не слыхал ни о Бертране де Борне, ни тем более о Ду Фу или создателях старинных японских пьес в стиле «но».

А в городишке Крофордсвилл, штат Индиана, где молодой Паунд одно время состоял преподавателем романских языков, он выглядел среди сослуживцев по местному колледжу белой вороной, поскольку биография Вийона интересовала его намного больше, чем футбол. Крофордсвилл очень гордился своей футбольной командой. Она однажды побила гарвардскую, бессменных чемпионов студенческой лиги. Кроме того, Крофордсвилл почитал себя литературным центром, поскольку здесь окончил свои дни генерал Лью Уоллес, сочинивший исторический боевик под названием «Бен Гур». Этот опус, густо нашпигованный битвами, пирами и возвышенными страстями поставленных на котурны героев, теперь забыт, но в начале века пользовался немыслимой популярностью. И, возможно, укрепил убеждение Паунда, что Америка способна ценить только поставщиков пошлости, а «серьезному художнику» здесь навсегда определен жребий чужака и изгоя.

«Серьезный художник» для Паунда не просто ходовое определение, а в некотором смысле эстетическая категория, потому что так названа одна из его программных статей. Написанная в 1913-м, она касается нравственной природы творчества. На взгляд Паунда, ни содержание, ни характер изображения вовсе не являются тут факторами существенными — решает только качество. «Настоящее искусство, сколь бы «аморальным» оно ни казалось, всегда остается абсолютно нравственным... Настоящее искусство просто не способно быть аморальным. Под настоящим искусством я подразумеваю такое, которое дает правдивое свидетельство, причем добиваясь, чтобы была достигнута наибольшая точность».

Это писалось уже в Лондоне, где Паунд быстро завоевывал репутацию лидера всего англоязычного авангарда, однако американские истоки таких воззрений не укрылись от наиболее вдумчивых комментаторов: от Олдингтона, затем от Джойса. Оба были немалым обязаны Паунду в своей литературной судьбе. Однако не поддались слепому обожанию.

Джойс, которого Паунд со всей страстью пропагандировал и защищал, когда публикация первых глав «Улисса» привела к закрытию журнала «Литл ревью», а оскорбившиеся ханжи на всех углах трубили о кощунстве, до конца жизни сохранил благодарность своему отважному заступнику и не раз ее выражал публично. Но все-таки однажды он заметил: «Как странно, что моя «волшебная флейта» понадобилась Паунду, собиравшему свой оркестр,— ведь там одни литавры и барабаны».

Как всегда у Джойса, истинный смысл надо добывать, расшифровывая метафоры, но в данном случае это нетрудно сделать. Джойсу претило, что Паунд требовал от искусства прямой пользы, состоявшей в наивозможной точности добываемых им свидетельств о жизни. Ни полутона, ни многосложность образов, ни своего рода «игра в бисер», делающая культуру самоценной или, во всяком случае, автономной от политических и социальных надобностей эпохи, «серьезному художнику», на этот взгляд, не подобали. Писателю вменялось в обязанность «дело делать», как говаривал профессор Серебряков в «Дяде Ване». Искусство должно было отправлять определенную функцию, «сохраняя язык действенным... иначе говоря, точным, или же чистым» от произвольных деформаций, способных создать пропасть между словом и понятием, которое оно призвано было бы выражать.

Не говоря этого прямо, Джойс отверг подобный подход как плоско-функциональный и прагматический — чисто американский по духу. Со своей точки зрения он был прав, хотя и не оценил реальной важности программы «точного слова» во времена, когда истинной болезнью века стало выветривание смысла, превращающее обесценившиеся слова в фетиши, за которыми нет ничего, кроме мистификации понятий,— причем важнейших, таких как демократия, справедливость, прогресс и многие другие.

Встречавшаяся с Паундом в Париже и сразу его невзлюбившая Гертруда Стайн лишний раз подтвердила свойственную ей злую наблюдательность, когда в автобиографии назвала его «деревенским умником, который объяснит все на свете тем, кто из деревни никогда не выезжал». Стайн не первая пыталась уличить Паунда в довольно поверхностном знании французской литературы, равно как античности и романского средневековья — упреки не слишком основательные, когда их адресуют не филологу-специалисту, а поэту. Впрочем, именно Стайн распознала определяющую черту его личности — и опять-таки вполне американскую: Паунд просто не допускал мысли, что могут оставаться недоступные и непосильные для него области культуры. Поразительная уверенность как в собственном даровании, так и в своем значении, соединяясь с рано обозначившейся нетерпимостью к чужому мнению и вкусу, осталась у него непоколебимой до конца дней.

Этим очень многое объясняется в его

биографии. Наследие Паунда — десятки книг, однако как поэт он обеспечил себе место в истории литературы несколькими небольшими сборниками начальной поры творчества и буквально считанными страницами из своего главного произведения «Cantos», которому отдал более полувека, так его и не закончив. Упорство, с каким Паунд продолжал писать эту колоссальную по размаху и чем дальше, тем более бесформенную эпическую поэму, вызывало недоумение даже таких преданных его друзей, как Элиот. Кто деликатно, а кто довольно бесцеремонно, они говорили Паунду, что он напрасно потревожил тени Гомера и Данте, поскольку ни «Одиссея», ни «Божественная комедия» в наш век невозможны, да и нет у него таланта истинного эпика.

С каждым новым выпуском «Cantos» становилось все яснее, что получается просто нагромождение бессвязных фрагментов, что поэзия исчезает, уступая место сухим пересказам увлекавших автора философских и политологических доктрин, что смысл написанного почти всегда предельно темен и недоступен никому, кроме самого поэта. Но Паунда не останавливала никакая критика. В итоге получился том почти в восемьсот страниц, изначально обреченный, выражаясь по-блоковски, «стать достояньем доцента и критиков тощих кормить». И наградой за труды оказался некий хрестоматийный образец хаоса и герметизма, неисчерпаемый материал для интерпретаций в каком угодно методологическом ключе, но только не поэзия, как бы расширительно ни понимать это слово.

Меж тем вклад молодого Паунда именно в англоязычную поэзию велик: без осуществленных им преобразований да и без собственной его лирики она была бы вовсе не той, какой мы ее знаем. Памятуя об этом, легко понять досаду того же Элиота, и Джойса, и Хемингуэя, и еще многих, прошедших паундовскую выучку,— мэтр у них на глазах губил в себе художника, однако сделать было ничего нельзя.

Паунду при всей его литературной одаренности одной поэзии было недостаточно. Его вечно захватывали идеи и планы, оборачивавшиеся пустой тратой сил. Он написал две оперы, совершенно мертворожденные, что не помешало ему какое-то время подписываться «поэт и композитор». Он на долгие годы ушел в экономические штудии, неохотно от них отрываясь даже ради «Cantos», и написал серию трактатов о социальном кредите, заполненных на удивление эфемерными прожектами искоренения «власти ростовщиков». С неукротимым пылом он в пространной книге пытался доказать недоказуемое — что Муссолини является продолжателем Томаса Джефферсона, создателя американской конституции, представлявшей собой апофеоз демократии.

Все эти стремительно друг друга сменявшие увлечения вызывали и скепсис, и горечь у людей, хорошо к нему расположенных или испытывавших благодарность за то, что Паунд для них сделал. А сделал он многое и для многих. Он выпестовал и отшлифовал талант Элиота, помог Джойсу, ободрил начинавшего безвестного Фроста, поддержал Хемингуэя в годы нищей парижской молодости. Десятки лет он за кого-то хлопотал, затевая новые журналы и антологии, а в собственных статьях отстаивая идеи, на которых взросло целое поэтическое поколение. Диктаторские замашки, правда, не раз приводили его к тяжелым конфликтам с собственными протеже, которые, став на ноги, стремились избавиться от этой слишком тесной опеки. Однако на их место тут же являлись другие, и даже больничная палата Паунда стала своего рода меккой для послевоенной американской поэзии, а потом, когда он угасал в Рапалло, к нему продолжали ездить начинающие писатели, используя любую возможность, чтобы добраться до генуэзских берегов.

С первого шага в литературе Паунд чувствовал себя лидером, и эта ситуация, которая была бы тягостной или по меньшей мере обременительной для большинства, его не только устраивала, а казалась естественной. «Деревенский умник» всегда должен сидеть во главе стола.

Надо сказать, что Паунд неизменно считал себя американцем, посмеиваясь над теми, кто, подобно Элиоту, пытался отречься от собственных корней. Даже в 1939 году, когда в последний свой перед войной приезд на родину Паунд просто-таки наслаждался, оскорбляя все ее установления, он, однако же, не забывал добавить: «Мне незачем пытаться встать на американскую точку зрения... Разве я не американец? Конечно, американец и проклинаю страну в ее нынешнем состоянии».

Откуда же такая стойкая, несмягчающаяся ненависть? Тут время разобраться в смысле двух понятий, являющихся в лексиконе Паунда, должно быть, самыми частыми по употреблению. Первое из них — «ростовщичество». Второе — «культура».

По сути дела, они, конечно, стояли для Паунда совсем рядом, хотя и отрицая одно другое. «Ростовщичество» — паундовская метафора, призванная передать порядок вещей в современном мире. Среди немногих выразительных и сильных фрагментов «Cantos», пожалуй, особенно выделяется раздел 45: в нем о «ростовщичестве» сказаны слова по-настоящему гневные и уничижительные. Оно — грех против природы, потому что извратило естественные отношения, насаждая свой принцип «все на продажу». Оно убивает творческую энергию, принуждая каждого по отдельности и людское сообщество в целом поклоняться молоху бесчувственного практицизма. Оно разрушило великую гармонию мироздания, покончило с радостью труда, глумливо надругалось над священным представлением о высшей ценности индивидуума, сделав род человеческий покорным стадом не отличимых друг от друга рабов, которые день и ночь вращают жернова адских мельниц индустрии.

Русскому читателю в этом фрагменте неожиданно отзовется молодой Маяковский: та же самая непримиримость, та же мощная вспышка гнева, навеявшего образы размашистые, почти космические и насквозь пропитанные одной тональностью — негодование, возмущение, отрицание. Когда

напишут книгу о том, как в наш век искусство враждовало с духом буржуазности, этот раздел «Cantos», безусловно, займет в ней одно из центральных мест — антагонизм, которым проникнуты такие отношения, последовательнее и откровеннее не выразил, пожалуй, никто.

Отчего же, воюя с «ростовщичеством», Паунд сделал главной мишенью свою родину? Здесь тоже напомнила о себе его американская сущность. Продираясь через сбивчивые пассажи той части «Cantos», где речь идет о первых президентах США — Джефферсоне, Джоне Адамсе, убеждаешься, что Паунд остался среди тех, для кого исходные принципы американского общественного устройства: свобода личности, стремящейся к счастью, ее неотъемлемые права, ее обязанности в демократически организованном социуме — сохранили абсолютное значение, а не стали пустыми словами и предметом иронии, которая питается слишком хорошим знанием реальностей. В отличие от насмешников Паунд считал, что Америка и могла, и должна была стать той страной, какая рисовалась энтузиастическому, наивному, неискушенному взору основоположников ее государственности. А контраст между идеалами и буднями общества, двинувшегося куда более замысловатыми, неровными, драматическими путями, стимулировал у Паунда пафос обличителя, не признающего никаких оговорок в своем выводе, что Америка капитулировала перед «ростовщичеством» и совершила предательство, принеся в жертву собственное историческое предназначение.

За это она расплатилась немощью и уродством своей культуры. Вопреки всем очевидностям, Паунд категорически отрицал, что американской культуре мир обязан какими бы то ни было обретениями. Напрасно было бы напоминать ему о Мелвилле, По, Твене; Уитмена он тоже признавал с большими оговорками. Логика краеугольной для Паунда мысли заставляла предельно несправедливо оценивать все созданное американским гением. И получалось, что стараниями американцев человечество обогатилось замечательными пылепоглотителями, зубными протезами, консервированным томатным супом, а настоящей культуры их цивилизация создать не в состоянии по своему существу.

Подобные воззрения не так уж оригинальны. Примерно лет за двадцать до первых статей Паунда то же самое писал о духовной жизни Америки Кнут Гамсун, еще раньше схожие мысли высказал Диккенс, да и не он один. Но то были европейцы, не сомневавшиеся, что сами-то они не только причастны высокой культуре, но и владеют всеми ее тайнами. Паунд думал по-другому.

Американское культурное ничтожество для него было лишь наиболее острым проявлением общего кризиса культуры, отметившего его эпоху. Культуру предстояло пересоздавать, возвращая ей живое дыхание. Это становилось делом первостепенной важности, потому что лишь культура была если не защитой, то относительно надежным прибежищем от растлевающего духа «ростовщичества». Оно же повинно — и даже более всего — в том, что принизило, почти искоренило творческое воображение и сделало все накопленные за века художественные сокровища мертвым капиталом. Современный человек не способен осознать себя наследником, восприемником, продолжателем великих культурных традиций, которые уходят в толщу времени. А если исчезает ощущение преемственности, живая жизнь культуры прерывается и личность становится просто пылью, гонимой холодными ветрами истории, перед которой она беспомощна.

Вот этот строй мыслей привел Паунда к заключению, что его долг художника состоит в том, чтобы восстановить целостность и живое значение культуры, вернув из небытия огромные ее пласты, которые оставались достоянием одних лишь ненавистных ему «филологов», а должны были стать достоянием всех. И тогда обнаружится, что культура отнюдь не теоретически, а в самом прямом и буквальном смысле является жизнестроительным фактором, перед которым вынуждено отступить даже «ростовщичество» при всей своей мощи.

За редким исключением современники отнеслись к этой программе как к чистой воды утопии, но в ней было немало плодотворного. Убедил в этом сам Паунд — своим поэтическим творчеством.

Впоследствии один из критиков высказал мысль парадоксальную и глубоко верную по существу: Паунд замечателен тем, что выучился и других научил творчески осваивать уже созданное — преимущественно поэтами античности и средневековья. И в самом деле, главным художественным принципом Паунда была, если угодно, имитация, однако очень своеобразная. Она означала не подражание, а вживание в далекий эстетический мир, будь то старинные японские хокку, лирика трубадуров или «новый сладостный стиль» Гвидо Кавальканти. «Ладья — моя, твои на ней товары»,— сказано в стихотворении, обращенном к Гвидо, и там же о собственной заслуге Паунд говорит без аффектации, но с гордостью: «Я постиг души твоей законы». Это вот постижение и было для него в поэзии самым трудным. Но и самым важным.

Предполагалось некое путешествие назад во времени, пока давно ушедшая эпоха со всеми особенностями ее мышления, психологии, вкусов, языка и даже бытового обихода не становилась для современного поэта родной стихией — намного более родной, чем пошлая обыденность окружающего. И при этом самым решительным образом отвергались любые фантазии на исторические темы, которым любили предаваться романтики, томившиеся филистерством и ничтожеством своего времени. Требование точности, ясности, достоверности, для Паунда первостепенное в силу не одних лишь эстетических причин, и в данном случае сохраняло строгую обязательность. Вот отчего, не прислушиваясь к упрекам в том, что его тексты загромождены ученостью, мертвой для рядового читателя, он уснащал свои строки цитатами то по-латыни, то на провансальском, пересыпал их именами, способными что-то сказать разве одним эрудитам, и воссоздавал события, о которых упоминает не всякий энциклопедический справочник. Для тех, кем он хотел

стать,— для Бертрана де Борна или Арнальда Даниэля, соперничавшего с Бертраном в славе первого менестреля, для того же Гвидо — и эти имена, и события были полны живого значения. Такими же они оказывались для Паунда.

На его языке этот способ проникновения в реальность, отделенную от нас столетиями, назывался созданием «маски». Задача считалась решенной, если личность самого поэта переставала распознаваться вообще и являлся фрагмент-реконструкция, абсолютно неотличимый от подлинника. Лучший сборник Паунда так и озаглавлен — «Маски»; он выходил несколько раз, приняв свой окончательный вид в издании 1926 года, и в нем все сложнее становилось отличить оригинальные стихи от «подражаний» и просто переводов. Подобное стирание граней между созиданием и переложением органично для эстетики Паунда. «Великий век литературы,— писал он в 1917 году,— это, видимо, всегда великий век переводов... в которых не воссоздается язык былых поэтов, но устанавливается смысл сказанного ими... Настоящего поэта нельзя перевести, если в позднейшую эпоху не явится равный ему и не создаст на собственном языке стилистику, достойную сравнения с оригиналом... Тем самым он вернет нам далекую красоту и будет сотворена новая».

Для искусства поэтического перевода такие идеи и сам опыт Паунда как творческого интерпретатора Ли Бо, трубадуров, Проперция, Вийона имели без преувеличения революционный смысл. Но суть его экспериментов выходила далеко за рамки перевода и вообще проблем стилистики стиха. Переводами в точном значении слова его версии не являлись уже по той причине, что они чаще всего выполнены верлибром, а верлибр — изобретение нашей эпохи и несет в себе ви́дение мира, характерное для современности. Паунд это, разумеется, прекрасно знал и выбрал верлибр оттого, что основной задачей было для него как раз сведение воедино предельно тщательно реконструированной поэтической гаммы тех же трубадуров или старых итальянских лириков с мирочувствованием человека XX столетия, проступающим в самой ритмике этих строф, словно бы и вправду извлеченных из векового забвения. На древних пергаментах-палимпсестах просвечивают следы много раз стиравшихся, соскабливавшихся надписей, и за строками, которые мы читаем, напоминают о себе другие, исчезнувшие. Паунд создавал своего рода палимпсест наоборот — с едва уловимым, но обязательным присутствием сегодняшнего, новейшего текста.

Он был обязателен, этот текст, или, вернее, контекст, потому что Паунд, странствуя по эпохам, оставался личностью своего века. И в его глазах сама способность или невозможность проникнуться устремлениями, верованиями, чувствами, вообще духовностью совершенно иного времени была самым безошибочным свидетельством реального состояния культуры, когда катаклизмами XX века оказались разорваны живые связи текущего с минувшим, понятия обесценились, а слова потеряли смысл. «Маска» для того и создавалась, чтобы попытаться эти связи восстановить, вернув содержательность и слову и понятию — насколько такое по силам современному человеку, в самом себе распознающему черты кризиса культуры. А вместе с тем «маска» становилась признанием глубины кризиса, которым оказался охвачен весь спектр духовной жизни.

Иногда — не так уж, впрочем, часто — Паунд обращается к изображению кризиса впрямую, без античных или средневековых опосредований. В годы первой мировой войны он написал цикл, которому дано позаимствованное у Флобера заглавие «Moeurs contemporaines» — «Современные нравы». Идея «маски» использована и здесь, но «маска» намного легче узнаваема, чем обычно, потому что намного ближе к нам во времени: денди, ранний декадент, шаловливое дитя светских гостиных, отчасти Оскар Уайльд, отчасти Жюль Лафорг. Это его глазами мы видим маленьких буржуазок Миллвин на спектакле гастролирующего по Европе дягилевского балета и с ним прогуливаемся по Кенсингтонскому саду, где мотком рыхлого шелка жмется к перилам чахоточная городская природа, сливающаяся с образом женщины, которая умирает от эмоциональной анемии. Нью-Йорк, скрытый за аббревиатурой в заглавии одноименного стихотворения, увиден теми же глазами сквозь «маску»: бездыханный Город-Дева, где нет жизни, пусть улицы кишат миллионами людей.

Из всего написанного Паундом эти экспрессионистские пастиши пользовались наибольшей популярностью, пародийно отозвавшейся у Генри Миллера в «Тропике Рака»:[1] Ван Норден, знакомясь с девицами, читает им из старой паундовской книжки, и они легче расстаются с невинностью. Миллер считал Паунда поэтом не в меру ученым, безжизненным и снобистским — не без причин, хотя такие оценки больше говорят о самом Миллере. Как о самом Олдингтоне больше говорит ироничный, на грани шаржа портрет Паунда, в «Смерти героя», изображенного под именем мистера Апджона, любителя пряных разговоров и, по всей видимости, девственника в свои сорок лет.

И тот и другой персонаж навеяны образом Паунда, встающим из цикла «Современные нравы», но это вовсе не весь Паунд. И даже не самый характерный. Стихи, впрямую обращенные к современности, читались, разумеется, гораздо охотнее, чем прованса́льские реконструкции или «вийонелли», однако именно последние, а также вариации на темы Проперция и другие, составившие сборник «Старый Китай» (1915) — у нас он известен по переложениям А. Кистяковского[2],— обеспечили Паунду признание в качестве «серьезного художника», каким он всегда хотел стать.

С дистанции десятилетий очевидно, что «маска» была концепцией новаторской и глубоко повлиявшей на искусство поэзии. По меньшей мере в странах английского языка. Из сказанного, конечно, не следует, что все иные способы общения поэзии с минувшим после опытов Паунда сделались архаичными. Вспомним драму Блока «Роза и Крест», созданную почти одновремен-

[1] См. «ИЛ», 1990, № 7, 8.
[2] См. Восток — Запад. Сб. 2. М., 1984.

но с провансальскими «масками» Паунда. Она нескрываемо аллегорична, от начала до конца условна и по стилистике, и по характеру исторической живописи, в ней есть некая чрезмерная изысканность, отличавшая доцветающий символизм. Но есть и пронзительное ощущение надвигающейся катастрофы, которую Блок предчувствовал, как никто из современников: «Всюду беда и утраты, что тебя ждет впереди? Ставь же свой парус косматый, меть свои крепкие латы знаком креста на груди».

Рядом с Блоком «Близ Перигора» может показаться стихотворением сухим, безличным, холодно-рациональным. И все-таки оно по-своему замечательно — уже хотя бы финальной метафорой: «Разбитый сноп зеркал». Ведь это не только поэтический образ, это целое представление о том, какой воспринимает историю современный человек и как она отражается в его сознании: фрагментами, лишившимися связи, отблесками, наложившимися на множество других отблесков, осколочными подробностями, которые противятся попыткам сочленения в единство. Все это донесено у Паунда, а меж тем само стихотворение менее всего фрагментарно. В нем есть и композиционный центр — воображаемый спор Арнальда с Ричардом о давно умершем Бертране, вправду ли тот любил Маэнт,— и четкое чередование двух тем: любовь, война,— пока они не сливаются в законченном образе мира трубадуров, где оба начала равноправны. Есть тонкая вязь факта и вымысла, все время сменяющих друг друга. Есть выразительность, вытеснившая ту изобразительность, которая неизменно доминировала в поэзии на исторические сюжеты. Удивительно, что сам Паунд считал «Близ Перигора» неудачей. Пожалуй, столь полно собственные художественные идеи он не осуществил почти нигде.

Для русской поэзии эти идеи все еще новы, непривычны, хотя, постигая поэтику Иосифа Бродского, можно удостовериться, что они вовсе не так чужеродны нашей музе, как могло бы показаться. Инстинктивно, без оглядки на Паунда, вовсе тогда у нас не известного, что-то родственное ему нашли, например, обэриуты, особенно Александр Введенский, тоже неподражаемый творец «масок», только сугубо иронических, подобно «маске» приятеля Данте Чино да Пистойя в раннем — еще 1907 году — паундовском стихотворении. Предание изображает Чино страстным обожателем прекрасного пола, растратившим свои таланты в погоне за любовными радостями. Слишком поздно он понял, что поэзия вознаграждает наслаждением превыше всех любовных утех, но из-под его пера уже выходят лишь шутовские строки вроде венчающего стихотворение гимна Солнцу — «По́лло, тазик оловянный...». Принцип «маски» тогда еще не был сформулирован Паундом, но сам опыт удался ему необыкновенно: и стилистическое разноголосие, и несколькими штрихами очерченный характер, и необходимое по средневековому канону «поучение», которое под пером современного поэта может быть только пародийным.

Тот же пародийный элемент существен и в «Балладе о Благом Сотоварище», написанной через два года после «Чино». Это редкий у Паунда случай использования правильного рифмованного стиха и балладной образности, которая снимает помпезность, достаточно заурядную в стихах на сюжеты из священной истории. Образ Христа, увиденного как бы одним из рядовых свидетелей Голгофы, даже для вольнодумного английского общества начала века выглядел слишком неканоничным, и лондонские издатели отвергали «Балладу» один за другим.

Установить литературный источник, к которому восходит эта ранняя «маска», легко — Уайльд, «Баллада Редингской тюрьмы». Однако тональность, по сравнению с Уайльдом, иная, лишенная трагизма. Она непочтительна к многовековой традиции, требовавшей патетики и высоких метафор, которые приличествуют таким темам. А у Паунда Распятый показан просто «мо́лодцем из молодцов», как Его, по мысли Паунда, должно было воспринимать народное сознание две тысячи лет тому назад. Может быть, впервые у Паунда заговорила среда, к которой, собственно, он и сам принадлежал, при всей своей европейской образованности оставшись потомком квакеров из штата Айдахо с их простой и крепкой моралью, с их безошибочным чувством справедливости.

«Я сочинил замечательные стихи, которые поймут все и каждый»,— писал он отцу, закончив свою «Балладу». Апрель 1909 года. А через несколько лет Паунд откажет составителям антологии новых поэтов, хотевшим ее перепечатать: она, на его переменившийся взгляд, «не выражает истинно современной тенденции». И в дальнейшем постарается не включать ее в свои книги избранного — естественно: уж очень она расходилась с тем, что и как писал Паунд в 20-е и 30-е годы. На фоне его тогдашних увлечений «Баллада о Благом Сотоварище», с ее демократичностью и простотой, выглядела настоящим анахронизмом.

Поначалу эти новые увлечения коснулись главным образом поэтики. Паунда захватила концепция, получившая у него название «идеограмматического метода». Случайно ему попали в руки неизданные работы американского китаиста Э. Феноллозы, где доказывалось, что иероглиф содержит в себе зерно художественного образа, построенного специфически, поскольку он является «живой стенограммой процессов природы». Любая отвлеченная мысль выражается иероглифом при помощи опознаваемых вещей, которые запечатлевает рисунок, заменяющий букву. И оттого, писал Феноллоза, иероглифы становятся «идеальным языком».

Паунд пошел дальше. Два иероглифа, помещенные рядом, сказано в его статье 1915 года, «не просто создают третье понятие, выражаемое с их помощью, но выявляют некое фундаментальное соотношение между понятиями, зафиксированными каждым из них». Самое главное, что при этом нет абстрагирования от предметного мира: в иероглифах видны какие-то реалии жизни, и, стало быть, понятие, обозначенное ими, устанавливает некую связь между такими реалиями, недоступную рационалистическому мышлению.

Постижение подобных связей — вот суть «идеограмматического метода». А сфера его приложения — разумеется, поэзия. Она ведь вообще основана на принципе ассоциаций. Но прежде этот принцип не был в ней выявлен и осуществлен вполне свободно. Оставалась, считаясь высшей, задача сопряжения ассоциаций в смысловом единстве, которое подчинено идеям, добытым логическим путем. С этой ложной необходимостью новый метод покончит. Он предоставит поэзии простор для ее собственного ассоциативного языка, который намного точнее — и, значит, намного достовернее,— чем язык идеологии. Ведь идеология оперирует отвлеченностями, тогда как поэзия, опираясь на «идеограммы», остается на почве действительных фактов, которые она способна зафиксировать в их истинных соотношениях.

Востоковеды быстро обнаружили в этой теории массу натяжек, а первые попытки практически ее использовать вызвали крайне язвительные комментарии. «Деревенский умник», похоже, был посрамлен. Однако Паунд не принадлежал к тем, кого могли смутить мнения сведущих людей. Он не ввязался в полемику со специалистами, а, переписав первые три песни «Cantos», окончательно поверил, что нашел философский камень. И на протяжении десятилетий, каких потребовал его титанический, хотя обреченный замысел, «метод» оставался для Паунда абсолютной истиной во всем, что касалось поэзии. Крайняя затемненность смысла его книги-левиафана, способной иной раз поразить очень свежей ассоциацией или действительно ярким образом, но лишенной даже относительной целостности,— таков был творческий результат.

Вскоре, однако, выяснилось, что значением абсолютной истины тот же «метод» обладает для Паунда отнюдь не в одной лишь эстетике. Она вообще отодвинулась у Паунда на второй план уже к середине 20-х годов. А на первый вышла идеология. Та презираемая им идеология, которую он с энтузиазмом неофита и самоуверенностью американского провинциала решил исправить раз и навсегда, прибегнув к «идеограммам» вместо заведомо неточных, да что там — просто от начала до конца лживых построений теоретизирующего ума.

Эти старания, увенчанные печальным итогом, не говоря уж о том, что они надолго отвлекли Паунда от поэзии, казались необъяснимыми людям, высоко ценившим его художественный дар. Говорили, что роковую роль в судьбе Паунда сыграл переезд в Италию, где он жил с 1924 года, и сближение с тамошними теоретиками фашистской ориентации. Доля правды в таких суждениях была, однако частное принималось за основное. С теми, кому отводилась роль идейных вдохновителей, подчинявшихся непосредственно Дуче, Паунд практически не соприкасался. По крайней мере заметного влияния на его позицию они не оказывали.

Позиция вдохновлялась упорной страстью Паунда к «точному слову», заставлявшей подозревать демагогию буквально повсюду, да еще в его прожектерстве. Повергая в изумление профессионалов, он при помощи «идеограмм» анализировал категории экономики и воображал, будто введение каких-то купонов за труд разом покончит со всеми финансовыми сложностями. Определив, что Конфуций придумал идеальные формы общественного устройства, Паунд совершенно серьезно предлагал их воссоздать, не отступая от заветов ни на йоту, словно бы два с лишним тысячелетия, минувших с эпохи китайского мыслителя, существенно ничего не изменили в мире.

Но за такого рода эксцентричностью, оставшейся свойством Паунда, и, пожалуй, его одного, проступала тенденция, характерная для тогдашнего общественного сознания в целом. Ее называют «сдвигом вправо», подразумевая нарастающий скепсис в отношении ценностей либерально-гуманистического характера,— он-то и побуждал с одобрением взирать на Гитлера, на Муссолини, покончивших с лицемерной болтовней о прогрессе и взявшихся перекраивать ветхие европейские порядки твердыми, сильными руками. Впрочем, то же самое разочарование в традиционных ценностях, которыми так дорожила европейская культура со времен Монтеня и Эразма, не менее стремительно порождало и другой сдвиг — «влево», к наспех усвоенному марксизму, если не прямо к сталинским его версиям, принимаемым с восторгом, который нам теперь представляется неизвинительным.

В тогдашних идейных баталиях позиции «правых» и «левых» представали, конечно, антагонистичными. Но между ними была, в сущности, родовая общность. И та и другая питались радикальной неудовлетворенностью настоящим. И ту и другую отличала готовность поступаться эфемерностями вроде прав и свобод, если так требовалось «для пользы дела» — для обновления одряхлевшей западной цивилизации, для торжества «пролетарского гуманизма», для решительной победы над «ростовщичеством». Поэтому не стоит удивляться, что Бернард Шоу высказывался о Муссолини столь же позитивно, как потом о Сталине. Или тому, что для Паунда «истинную, действующую аристократию нашего времени» составляли «русские большевики и итальянские фашисты... Они лучше всех, потому что обладают по-настоящему практичным подходом к жизни, умеют смотреть вперед и полны энергии».

Как ни дико звучит для нас это высказывание, оно вполне в духе времени, к которому относится,— 1931 год. Правда, вскоре паундовский «большевизм» испарился: Э. Э. Каммингс, другой американский поэт, побывав в СССР, удостоверился, что никаких триумфов свободной личности там не предвидится, и убедил в этом своих читателей. Но сталинскую политическую стратегию Паунд и в дальнейшем считал образцово верной. И если не советская система, так личность Сталина сохраняла для него притягательность. А Муссолини вообще казался ему титаном, каких не бывало с эпохи Возрождения. Ведь он пробудил от оцепенения Италию, сделал ее мировой державой, взамен либеральных словес потребовал дел, построил сильную экономику и еще более сильную армию, создал здоровую этику, здоровую культуру. Он отверг химеры вроде «демократии для всех», насаждая

диктатуру партии и вождя, без чего не построить эффективно функционирующее общество. Подавляя, как того и требует великая его задача, всякое сопротивление, он твердым курсом повел свою страну к сияющим высотам. Он — высшее воплощение гениальности в сегодняшнем мире.

До чего все это похоже на славословия Отцу народов, которые по доброй воле или в силу таким образом ими понятой политической необходимости слагали Барбюс и Фейхтвангер, до чего паундовские гимны Муссолини напоминают апологетику сталинского казарменного социализма, пышно расцветавшую на Западе в канун второй мировой войны. Понятно, что политические интенции тут были полярно противоположными, но побудительный фактор оставался тем же самым. В тоталитаризме, каким бы знаменем он ни прикрывался, пытались отыскать противовес реальным или кажущимся слабостям либеральной демократии. А результатом неизменно становился идейный крах и творческое оскудение, более или менее явное.

Что касается Паунда, у него оно было очевидным для всех, кроме горстки фанатичных приверженцев, которых, однако, тоже оттолкнули от мэтра если не теоретические его выкладки, так безудержные антисемитские поношения в статьях, передачах и «шутливых» стихах наподобие «Жидовского чарльстона». Как публицист Паунд не то что не равновелик самому себе, он просто отрицает репутацию «серьезного художника», завоеванную поэтическими книгами раннего периода. А поэзия, создававшаяся в итальянские его годы, признавалась поэзией лишь в силу инерции сложившихся мнений о Паунде. Один из рецензентов очередного выпуска «Cantos» в частном письме простодушно признавался, что не понимает в них ни слова, но будет хвалить, уважая статус автора.

«Деревенский умник», однако, не ведал сомнений, что творит величайшее произведение современности, хотя с готовностью от него отрывался ради более насущных задач. Выступления по римскому радио были его собственной инициативой, а обращения к Дуче с очень практичными рекомендациями вроде обобществления всей валюты сыпались одно за другим. Даже перед самым концом, когда его кумира вместе с любовницей повесили бойцы Сопротивления, Паунд еще петушился у себя в Рапалло и выдумывал потрясающие планы послевоенного переустройства Европы, отводя в нем главную роль кремлевскому горцу. За этим занятием его и застали два хмурых, небритых партизана с автоматами наизготовку. Паунда неприятно шокировало, что первое слово, от них услышанное, было «traittore» — «предатель».

По возвращении в Италию ему достало сил написать несколько новых разделов «Cantos», по смыслу еще более темных, чем предшествующие,— а также продефилировать однажды на параде неофашистов, облачившись в форму, какой, не будучи членом партии при Муссолини, он никогда прежде не надевал.

Затем настало молчание.

Нельзя сказать, что Паунд сделался затворником. Периодически он выбирался то в Америку, то в Лондон, присутствовал на поэтических фестивалях, записывал собственные чтения. Дом его остался открыт для всех желавших побеседовать о ремесле поэта. Но разговоры о себе Паунд обрывал на полуслове. Видимо, для него это была слишком больная тема.

Лишь изредка из него удавалось выжать какую-то оценку им самим созданного, и всякий раз она была критической, покаянной. Он сожалел о собственном антисемитизме. О самонадеянности, категоричности своих суждений — политических и даже эстетических. О чрезмерном пристрастии к «идеограммам». Об испепеляющей ненависти к Америке.

Один из последних поэтических набросков Паунда содержит фразу, которая кажется невозможной по всему духу его творчества: «Пусть любящие мне простят все сделанное мной».

Дело, конечно, сводилось не к тому, чтобы прощать Паунда в буквальном смысле. О каком непрощении могла идти речь для тех, кто общался с этим глубоким стариком, наблюдая его такой тусклый и печальный закат?

Но амнистировать идеи, которым он служил, погубив себя, наверное, невозможно даже сейчас, когда прошло почти двадцать лет после его смерти.

ВОЛЬФГАНГ КРАУС

В РОЛИ ПРЕДТЕЧИ

Австрийская культура в силовом поле европейских культурных течений

Предлагаемое читателю эссе принадлежит перу известного австрийского культуролога и литературного критика Вольфганга Крауса. Человек необычайно широкой, поистине классической гуманитарной эрудиции, Краус вот уже четверть века направляет свои усилия на постижение роли культуры и интеллигенции в современном мире. Мир этот расшатан, загипнотизирован памятью о прошлых катастрофах и страхом перед возможностью катастроф грядущих; до самого последнего времени он давал мало простора для обнадеживающих гороскопов и много — для обескураживающих. В этой ситуации Краус, вполне досконально осведомленный об «ощущении неуюта» в современной культуре, предпочел все-таки не поддаваться катастрофическим настроениям и сделал ставку на веру в положительные возможности человеческого духа,— как сказал бы его великий соотечественник Музиль, «повел игру на повышение». Продолжая добрые старые традиции европейского гуманизма и просветительства, укрепленные еще и неколебимой христианской этикой, Краус постоянно ищет «измерение надежды». Красноречивы подзаголовки его основных книг: «Пятое сословие» (1966) — «Новый подъем интеллигенции на Западе и Востоке»; «Тихие революционеры» (1970) — «Очертания завтрашнего общества»; «Обманувшие кумиры» (1978) — «Утрата и возвращение идеалов»; «Возвращение индивидуальности» (1980) — «Попытки ее спасения в век бюрократии»; «Следы рая» (1988) — «Об идеалах».

Анализируя состояние современной культуры, Вольфганг Краус не ограничивается ее западной частью. Он прекрасно знает культуру стран Восточной Европы, в том числе русскую культуру XIX—XX веков — в гораздо большем объеме, чем обычно принято у западной интеллигенции. Многолетний президент литературного общества, он неутомимо трудится во имя наведения мостов между Западом и Востоком Европы. Его скромная резиденция в особняке Вильчек в центре Вены часто — во время симпозиумов, встреч, литературных чтений — выглядит рабочим штабом европейской интеллигенции.

В публикуемом ниже эссе эти общие установки проявляются достаточно отчетливо. Нашему сегодняшнему читателю будет, вероятно, интересно осознать, что общеевропейский и мировой взлет австрийского духа в XX столетии внешне парадоксальным образом связан с распадом многонациональной Австро-Венгерской империи. По мнению Крауса, историческое крушение многоязычного конгломерата отнюдь не повлекло за собой автоматически увядание национального духа; напротив, оно одарило этот дух острым сознанием преходящести всех абсолютов, возводимых на фундаменте авторитарной силы, и незыблемости исконных нравственных оснований человеческого бытия. Не то чтобы опыт того конгломерата прошел для австрийской культуры бесследно и тем более — с отрицательным результатом; нет, в ее исторической памяти сохранились и активно действуют поныне элементы соседских национальных культур, славянские и венгерские гены взаимодействуют с генами германскими и романскими. И это не механическое взаимодействие: из него рождается тот мудрый — и неоценимый в наше время — дух открытости и терпимости, которым проникнуты и рассуждения самого Крауса.

Опыт австрийского духа благотворен, он вселяет надежду.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

Как-то в нашей беседе о мировой литературе и о роли Запада и Востока венгерский романист Тибор Дери заметил: «Есть, видите ли, своего рода высший свет культуры, жизнь которого протекает между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Кто живет восточнее, вряд ли в него попадет». Слова эти верны до сих пор, хотя положение немецкоязычной культуры всегда было достаточно выгодным.

© Wolfgang Kraus, 1990

Не стоит забывать, сколь важен политический вес страны для мирового значения ее культуры. Например, русским писателям, деятелям искусства, несмотря на их «восточность», выпадала лучшая доля (во всяком случае временами), чем представителям так называемых «малых языков». Русская литература и музыка находили, по крайней мере начиная с XIX века, все больший отклик в европейской культуре не только потому, что Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев,

Чехов, Пастернак, Солженицын — великие писатели, а Чайковский, Мусоргский, Шостакович — несравненные композиторы. Дело еще и в том, что они открыли миру чувства, мысли, наконец, политическое положение той страны, которая в мировой истории значила очень много, оставаясь в то же время, в сущности, неизвестной.

Область немецкоязычной культуры в ее первоначальной раздробленности и в позднейшем единстве — за вычетом маленькой Швейцарии — в двух государствах, Германской империи и Австро-Венгерской монархии, постоянно привлекала внимание Европы. Но если Гёте, Шиллер, Гёльдерлин, Новалис, Эйхендорф, немецкие классики и романтики очень быстро вызвали сильный интерес за пределами своего языка, то эпоха международного увлечения дунайской монархией наступила не сразу.

Парадоксальным образом великий культурный подъем начался здесь одновременно с политическим распадом. Пока Париж и Лондон с их высшим светом литературы, искусств, техники, блистая колониальной роскошью, жили в ожидании, казалось, еще большего богатства и могущества в будущем, в монархии четырех народов уже вышли наружу силы надвигающегося распада. Огромные напряжения, противоречия, контрасты оказались удивительно плодотворными для культуры.

Можно долго обсуждать вопрос, всегда ли эпохи культурного расцвета совпадают с политическим упадком, однако ясно: в дунайской монархии дело обстояло именно так, и вся Европа этот феномен заметила. Культура, возникшая из кризиса, краха, все более близкого хаоса (а ощущение его становилось все отчетливее),— как раз такая культура и должна была взволновать, даже захватить жителей остальной Европы. В искусстве, прежде всего в литературе, внутренние и внешние явления распада, их психологические и политические механизмы, идеологические иллюзии и гедонистические грезы превращались в предмет изучения, более того — эстетического наслаждения.

Время, сколь бы трагично оно ни было, работало на австрийскую культуру: вскоре национальный подъем в колониях начал разрывать великие колониальные империи Франции и Англии; Голландия, Бельгия, Испания, Португалия практически потеряли заморские владения, вернувшись в пределы своих сравнительно небольших метрополий. Национальные меньшинства создали неимоверные проблемы. Глубокий психологический кризис личности, убыль власти, политического значения, материального богатства, защищенности — таинственным образом повторялся австрийский пример. Австрия неожиданно оказалась в роли предтечи. Не только порядок, установленный аристократией и церковью, но и буржуазное общество повсюду попало в тяжелый кризис, связанный с конфликтом поколений, политической неразберихой, с революционными движениями, одновременно спасительными и разрушительными. Все это, с соответствующими вариациями, словно подражало австрийским событиям.

И когда (после успешной, слава Богу, войны против Гитлера) побежденные немецкие государства, за исключением ГДР, стали демократическими, ФРГ и маленькая Австрия, прежде считавшаяся нежизнеспособной, пережили удивительный взлет — интерес культурного мира вновь обратился к этим странам. Здешние книги, спектакли, психология, философия, наука вызвали новый всплеск интереса. Литературные и политические споры времен дунайской монархии и уцелевшей от нее немецкоязычной Австрии превратились в наглядное пособие по гибели, которая теперь все сильнее походила на чудесное превращение, и буквально воспламеняли воображение интеллектуалов. Тем временем союзники, победившие во второй мировой войне, начали враждовать в войне холодной, и над будущим нависла угроза глобальной атомной катастрофы. Темы «Последние дни человечества» или «Австрия как опытная станция конца света» (обе из Карла Крауса) стали актуальны как никогда...

Еще в драмах Артура Шницлера «Дальняя страна» и «Анатоль», Гофмансталя — «Трудный», «Письмо Хандо», в книге Музиля «Человек без свойств» [1], в «Лунатиках» Германа Броха и прежде всего — в великих романах Кафки «Процесс» и «Замок» [2], в его рассказах «Превращение» и «В исправительной колонии» [3] культурный мир Европы усмотрел собственные проблемы, собственную утрату ценностей, пропасть бессмыслицы перед надвигающейся черной стеной апокалипсиса. Те, кто потерял религиозную веру, просвещенческую самоуверенность, надежду на технический прогресс, узнавали себя в персонажах Кафки, Музиля, Шницлера, Германа Броха и Элиаса Канетти [4].

Осознание наступившего распада и близкой катастрофы пробудило в Австрии энергию и побудило ее к отчаянным поискам противоядия. Многие видели в том времени лишь страстное отрицание всех и вся. Суждение нередко высказываемое и сегодня. Но с ростом временно́й дистанции все ясней становилось, что речь шла вовсе не о маниакальном демонтаже или фанатичном сносе, но о необходимом вскрытии фундамента, на котором снова будет можно строить.

В психоанализе Зигмунда Фрейда видели систематическое разрушение морали, но он имел в виду вывести на свет силы, реально господствующие в человеке, и вызвать к жизни серьезные этические усилия, энергию сублимации, осознания, окультуривания. Выводы Венского кружка, достигнутые эмпирической философией Морица Шлика, Отто Нейрата, которую подготовил Эрнст Мах, а развил Людвиг Витгенштейн, не были отрицанием этических норм. Они скорее вносили ясность по поводу идеологических иллюзий, ясность, оказавшуюся столь нужной при разоблачении коммунистического и национал-социалистического бреда. Труд Карла Поппера «Открытое общество и его враги» — плод того же точного мышления. При этом в посмертно вышедших работах Людвига Витгенштейна видно, как математическая точность силлогизмов удивительным образом подводит к неуязвимой религиозности.

---

[1] Отрывок из романа опубликован в «ИЛ», 1983, № 9. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[2] См. «ИЛ», 1988, № 1—3.

[3] Опубликованы в «ИЛ», 1964, № 1.

[4] См. о нем ст. Д. Затонского «Нобелевская премия полвека спустя» («ИЛ», 1988, № 7).

И «Чистое учение о праве» Ханса Кельзена не валило столпы одряхлевшего культурного государства, но воздвигало новые, так как прежние давно подточила моральная эрозия и погубило уютное лицемерие. Введя понятие предельной прибыли, Карл Менгер сформулировал новую стоимостную теорию хозяйственного процесса, но этим он не отрицал былые ценности западного мира, а отделял относительное от неоспоримого. Людвиг Мизес и Фридрих Хайек закрепили его подход. Что в ту пору выглядело чудовищным святотатством, оказалось спасением прочных ценностей — и одновременно прокладывало путь будущему развитию. Йозефу Шумпетеру с его мечтой об ответственности интеллектуалов уже нечего было опровергать, и поэтому он не встречал сопротивления. И «гештальт-теория» Кристиана Эренфельса, направленная против абсолютного и выдвигающая на первый план всю совокупность воспринятой и в какой-то мере востребованной «гештальт-ситуации», в свое время вызывала шок, просто впервые сформулировав сегодняшнюю очевидность.

Хотя работа Венской школы истории искусств (в частности, тезис Макса Дворжака об истории искусств как истории духа) служила поначалу развенчанию святынь, но ее конечные следствия оказались совсем иными: она явилась отправной точкой для Ханса Зедльмайера, а Эрнст Гомбрих в своих книгах, переведенных на многие языки и имевших огромный успех, расширил кругозор Венской школы, заговорив о красоте и истине. Кто в то время мог предвидеть подобные результаты?

Позвольте мне указать на одну особенность культуры Австро-Венгрии, которая кажется мне характерной и для сегодняшней Австрии: новое очень часто выступает сперва в форме отрицания. Критика, и как раз агрессивная критика, была изложницей, давшей затем форму уже собственно позитивному содержанию. Имеет место своего рода «косвенная эстетика» и «косвенная этика».

Публике доставалась нелегкая задача — к таким она не привыкла. Решить задачу помогло само течение времени. В чем и состоит причина столь позднего признания столь многих австрийских писателей, философов, психологов. «Ключ», нужный для расшифровки и правильного восприятия негативных и почти обманчивых знаков, труднее всего найти именно современникам.

Кто поймет эту «косвенную эстетику и этику», тот увидит в «Процессе», «Замке», «Превращении» Франца Кафки — наряду с трагедией пассивности и нерешительности — отчаянный призыв к действию и осмыслению. Тогда в виртуозных полемических тирадах Карла Крауса станет заметна бьющаяся в каждой жилке энергия поисков чистоты, порядочности, правды и человечности. Это же можно сказать и об Эдене фон Хорвате[5], и совсем не в последнюю очередь о Томасе Бернхарде[6].

И с такой точки зрения Эрнст Мах, Мориц Шлик, Карл Менгер, Людвиг Витгенштейн, не говоря уже о Зигмунде Фрейде, вовсе не разрушители, а настоящие моралисты. Их критика разрушала, так сказать, «старое платье короля», за которым обнаруживалась пустота. Критика в форме отрицания, словно изложница (прибегнем снова к этому образу), заполнялась потом колокольной бронзой нового времени.

Искушение пойти по следам, оставленным в будущем австрийской культурой, слишком велико, но, не поддаваясь этому соблазну, буду предельно лаконичным. При этом немецкоязычную культуру дунайской монархии и демократической Австрии я буду рассматривать вкупе. О Зигмунде Фрейде уже говорилось, но я не успел сказать ни о социальной психологии личности Альфреда Адлера, ни о психоаналитической эстетике Отто Ранка, ни о придуманной Якобом Леви-Морено групповой психологии, ни о «логотерапии» Виктора Франкля.

Влияние Франца Кафки на мировую литературу достигло дантовских и гётевских степеней — и не прекращается.

Среди нобелевских лауреатов немало австрийцев. Странно, однако, что нашим первым лауреатом по литературе стал Элиас Канетти (я отношу его к австрийцам, столь тесно его творчество связано с Веной, что, впрочем, он и сам не раз подчеркивал). Нобелевской премии не получили ни Рильке, ни Кафка, ни Шницлер, ни Брох. Зато множество ученых и врачей: Карл Ландштейнер, открывший группы крови, психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг, Эрвин Шрёдингер, пионер в изучении атома, физики Вольфганг Паули и Франц Виктор Гесс. Конрад Лоренц, один из основателей этологии, и Карл Фриш были австрийцами.

В Вене родилась Лиза Мейтнер, да и Эдвард Теллер появился на свет подданным кайзера Франца Иосифа. А если вспомнить о вещи лишь отчасти мирной, то есть о «фольксвагене», сослужившем службу во второй мировой, то он — создание Фердинанда Порше, в свое время тоже подданного дунайской монархии.

Социолог искусства Арнольд Хаузер, приобретший позже международную известность, и Бела Балаш были одними из первых историографов кино, подошедших к фильму как к произведению искусства. Уже несколько раз упоминавшегося Карла Крауса можно с уверенностью назвать родоначальником столь важного ныне жанра, как газетная критика. Кстати, писал он и о неизобретенном еще телевидении, называя его телескопией.

На изящных японских камерах вы видите схематичные изображения человечков и цветов с понятным смыслом, а в километровых коридорах и на дверях аэропортов — условные знаки-указатели, однако не все знают, что ими мы обязаны гениальной идее Отто Нейрата, методу пиктографии, который в 1934 году получил имя «изотипия». Нейрат и его сотрудники составили сотни таблиц с более чем двумя тысячами символов, предрекая им неограниченное применение — что и сбылось! Язык образов должен был облегчить людям взаимопонимание, объединить их, уничтожить вавилонское разделение языков. Отто Нейрат справедливо считал, что приближает давнюю мечту человечества.

[5] См. о нем ст. Ю. Архипова «Возвращение Эдена фон Хорвата» («ИЛ», 1978, № 4).

[6] См. о нем ст. Д. Затонского («ИЛ», 1983, № 11).

Добавив, что лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зутнер была одной из зачинательниц не только движения в защиту мира, но и женской эмансипации в тогдашнем евро-американском мире, я окажусь уже недалеко от шутки: «и швейную машинку придумали тоже они». А между тем это чистая правда: ее изобрел венский портной Йозеф Мадершпергер. Патент затерялся в извилистых бюрократических лабиринтах кайзера Франца Иосифа, и изобретатель сошел совершенно нищим в могилу на одном из венских кладбищ.

Судьба Йозефа Ресселя, изобретателя гребного винта, сложилась счастливее, хотя и он вследствие запрета австрийских ведомств не сумел подтвердить свой приоритет. Не повезло и Роберту Либену — он изобрел усилитель, благодаря которому стало возможным существование радио, но умер, не дожив до огромного успеха своего изобретения. Только Виктор Каплан еще успел застать начало триумфального шествия турбины Каплана.

Вообще Австрия была своего рода экзотическим аквариумом изобретателей и утопистов. Судьба их идей иногда просто поражает. Мечта Теодора Герцля о «еврейском государстве» осуществилась и до сих пор дает работу всемирной истории. Герцль был в первую очередь популярным фельетонистом, автором комедий и редактором отдела фельетонов в «Нойе фрайе прессе», но он же организовал шесть Всемирных еврейских конгрессов. Журналист Теодор Герцка написал утопию «Свободная земля. Картина будущего общества», а инженер Йозеф Поппер-Линкеус — толстенную книгу «Всеобщее производство пищи как решение социального вопроса», от дерзости которых побледнели бы многие.

Это подводит еще к одному принципиальному замечанию об особенностях австрийской культуры: ее ключевую проблему составляет разлад видимости и бытия, сна и действительности, фантазии и осуществимости, игры и реальности. Поэтому, видимо, Вена и была театральным городом еще со времен средневековья, а Австрия — театральной страной, и вершины этой линии приходятся на барокко и эпоху Макса Райнхардта. Впрямую это высказали Гофмансталь в «Прологе» к книге «Анатоль» и Шницлер в «Зеленом какаду». У Шницлера читаем: «Быть... играть, неужели вы так точно знаете разницу, шевалье?» И: «Действительность переходит в игру, игра — в действительность». Я могу привести и слова Томаса Бернхарда из его известного романа «Рубка леса», где герой говорит: «Я у них не взаправду и не в действительности... я только разыгрывал свое присутствие в их доме... Перед ними я всегда во всем притворялся... всю свою жизнь я только играл и разыгрывал». Это диагноз крайне опасного состояния; если вспомнить тягу Адольфа Гитлера к театральности, к массовым действам, ораторским выходам, постановкам вроде мюнхенского партсъезда, то здесь обозначится критический пункт австрийской ментальности: фантазии могут обернуться политическим безумием, даже преступлениями. Рильке, Фрейд, Кафка, Герцль, Гитлер и многие другие отмечают вершины и пропасти австрийской психологии.

У Гофмансталя в «Эдипе и сфинксе» есть такое место: «Мне снилось слишком многое. / Отрежь мне эти сны ножом, колдун...» Неудивительно, что основополагающий труд Зигмунда Фрейда назывался «Толкование сновидений» и вышел в Вене, где людей посещали сновидения столь опасные и коварные. Круг начинает замыкаться.

Но прежде чем он замкнется в моем эссе, я бы хотел еще раз приоткрыть окно, выходящее в историю и в зарубежье. Моя тема — «Австрийская культура в силовом поле европейских культурных течений». Это силовое поле насыщено мощными и нередко модными токами. Они влияли и на дунайскую монархию, и на позднейшую Австрию: широко распахнул дверь на Запад, наверное, Герман Бар. Вена пылко откликнулась на французский декаданс и импрессионизм. Венский «югендстиль» немыслим без Парижа и «арт-деко». Шницлер и Гофмансталь усердно спорили с пьесами парижской сцены. Очень важный ранний период Зигмунд Фрейд провел в парижской клинике Шарите у Шарко, где изучал истерию. Гофмансталь был связан с Габриеле Д'Аннунцио. Луиджи Пиранделло, безусловно, находился под влиянием Шницлера, чей «Зеленый какаду» — первая пьеса театра абсурда — вышел в 1899 году, то есть за двадцать два года до «Шести персонажей в поисках автора».

Влияние Фрейда и Шницлера на Итало Звево и Джойса — в Триесте — подробно документировано.

Воздействие Шопенгауэра и Ницше на Зигмунда Фрейда, Шницлера, Гофмансталя и весь духовный процесс в дунайской монархии было, разумеется, огромным, но скоро произошли существенные перемены. Сочинения великих русских писателей — Достоевского, Толстого, Тургенева — нашли среди австро-венгерских интеллигентов страстных читателей. Сцена с Раскольниковым и следователем из «Преступления и наказания» — словно эмбрион «Процесса» Кафки. При этом в «Процессе» нет ничего эпигонского, это гениальная новаторская вещь.

Литературный экспрессионизм, конечно же, в большой мере вырос на территории дунайской монархии: к экспрессионистам с полным правом причисляют Кафку, раннего Франца Верфеля, и Густава Мейринка, и Георга Тракля[7]. Они внесли значительный вклад в это литературное течение. Экспрессионистами были в числе прочих и Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Альфред Кубин.

Несомненно влияние французов на молодого Климта, которого позже вдохновляли византийские мозаики, прежде всего равеннские. Издавна для нас играла заметную роль географическая близость к Константинополю — Вена лежит почти точно посередине линии, соединяющей Париж и город на Босфоре. Даже двойной орел с двухголовым разворотом на Запад и Восток изначально был имперской эмблемой Константинополя, кроме королевско-кайзеровской монархии ее использовала только российская. «Золотой Климт», в общем, теснее связан

---

[7] Стихи Г. Тракля с предисловием С. Аверинцева опубликованы в «ИЛ», 1989, № 11.

с Юстинианом и Феодорой, чем с французским импрессионизмом...

Стоит указать на еще одну поучительную особенность австрийской культуры. В XIX веке Вена была прежде всего музыкальным городом, что совершенно очевидно, если вспомнить Гайдна, Бетховена, Шуберта, Иоганна Штрауса, Брамса, Брукнера. Конец же прошлого века вызвал к жизни множество газет, толстых и иллюстрированных журналов, периодическую печать с быстро растущими тиражами и огромной властью — ее чары были прямо-таки колдовскими, и ценность писаного и печатного слова резко повысилась. Все больше талантов, главным образом из восходящих социальных слоев, обращались к занятиям словесностью. У Карла Крауса можно многое почерпнуть о тогдашней газетной мании со всеми попутными извращениями. Словесный бум глубоко затронул литературную жизнь. Вена медленно превращалась из города музыки в литературный город.

Эти восходящие слои в немалой степени формировались из еврейских семей и евреев — пришельцев с окраин империи. Не в последнюю очередь именно еврейские круги следует благодарить за то, что здесь привилась любовь к музыке, были оценены такие музыкальные гении, как Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Антон фон Веберн, за расцвет изобразительного искусства — вспомните хотя бы культурную жизнь в доме Витгенштейнов. И все же в еврейской традиции господствовало писаное слово. Сознательное развитие еврейского ребенка начиналось с Ветхого Завета и священных книг, об этом подробно пишет Манес Шпербер в «Божьем водоносе». Еврейская традиция сыграла важнейшую роль в том, что центр творческой активности переместился в литературу: очень быстро появились в изобилии не только выдающиеся таланты, но и многочисленные увлеченные почитатели книг, журналов, газет, театра. Игнание евреев из Австрии и их уничтожение сильнее всего потрясли культуру Австрии нашего века...

Говоря о культуре дунайской монархии и сменившей ее Австрии, нельзя забывать, что речь идет о культуре, сосредоточенной в Вене, то есть о городской, столичной, открытой многим языкам и влияниям. В Вене развивались, росли, смешивались течения из разных частей монархии: из Лемберга, Черновиц, Германштадта, Триеста, разумеется — из Праги и Будапешта. Так продолжалось вплоть до 1938 года. После войны даже железный занавес не смог помешать определенному притоку интеллигенции из этих регионов, что видно на примере Мило Дора, Дёрдя Шебештьена [8], Павла Когоута [9], Ладислава Мнячко [10] и множества профессоров, эмигрировавших в австрийские университеты из бывших государств — преемников Австро-Венгрии.

Сегодня можно сказать, что, несмотря на семь опустошительных лет под Гитлером, несмотря на истребление стольких еврейских семей, несмотря на преждевременную гибель стольких юношей на фронтах, несмотря на все эти катастрофы, подросшее поколение писателей, художников, интеллектуалов восприняло и продолжило непрерывную австрийскую культурную традицию. Я уже упоминал о Хандке, Бернхарде, Рансмайре, могу назвать в живописи Фрица Вотрубу, Альфреда Грдличку, Альберта Париса Гютерсло, Фриденсрайха Хундертвассера, Эрнста Фукса, Арнульфа Райнера, в архитектуре — Ханса Голляйна, Густава Пайхля, Вильгельма Хольцбауэра, в музыке — Готфрида фон Айнема, Фридриха Церху, Романа Хаубенштока-Рамати, Дёрдя Лигети.

Моя тема требует и ответа на вопрос: что произошло в Австрии с такими культурными и духовными течениями, как сюрреализм, футуризм, дадаизм, соцреализм и, после второй мировой войны, экзистенциализм (в христианском и атеистическом вариантах), структурализм, Франкфуртская школа, поп-арт, оп-арт, неоструктурализм, постмодернизм?

Почти все эти течения или пришли из Парижа, или тесно с ним связаны. Исключение составляет экзистенциализм, берущий начало от Хайдеггера и Ясперса, правда, потом — после войны — его влиятельными представителями стали французы Габриель Марсель и Жан-Поль Сартр в Париже.

Австрия держится от них как бы в стороне. Возможно, из-за ощущения, что импульсы ко многим из этих течений исходили — прямо или косвенно — из Вены: достаточно вспомнить хотя бы Фрейда, без которого бы не было сюрреализма, что ясно и из манифестов и писем Андре Бретона, Сальвадора Дали. Поппер выступил с концепцией «критического рационализма», распространившейся по всему миру. Постмодернизм зачастую вызывает лишь улыбку у тех, кто вырос среди зданий венского «историзма» и ежедневно проходит по Рингштрассе.

Вероятно, из-за давней и окрепшей автономии австрийская культура — при всей открытости — обрела прочные внутренние связи, преемственность. Например, для современных писателей Карл Краус, Элиас Канетти, Эден фон Хорват, Гуго фон Гофмансталь, Франц Кафка остаются авторитетами, а теперь есть еще Петер Хандке и Томас Бернхард, перешедшие в разряд отцов. Эти внутренние связи богаты контрастами, родство пестро, разнообразно и неуживчиво — так и тянет погрузиться во все это с головой. Отпечаток этой культуры необычайно прочен, даже в тех австрийцах, которые временами или постоянно живут за границей.

Приведу одно историческое сравнение, которое внешне уводит нас в прошлое, а на самом деле — в будущее. Я уже давно заметил поразительное сходство между Веной и городом, воспринявшим и переплавившим в древности влияния множества народов и их культур — эллинистической Александрией. Этот город разделял с Веной не только многоязычие, но, как и она, долгое время недооценивался: мол, Александрия — это упадок, закат, гибель культуры. Еще три или четыре десятилетия назад и венскую культуру многие считали культурой распада, а классику и романтизм связывали с Веймаром, Иеной, Берлином — как когда-то с Афи-

---

[8] См. о нем ст. Д. Затонского в «ИЛ», 1983, № 10.

[9] Пьеса П. Когоута «Такая любовь» опубликована в «ИЛ», 1957, № 12.

[10] См. о нем ст. А. Карельского в «ИЛ», 1965, № 4.

нами. Естественно, французская, немецкая, английская классика, английский реализм, романтизм Парижа, Лондона, Германии продолжают считаться вершинами.

Постепенно выяснялось, однако, что ключевые фигуры современной культуры в значительной мере вышли именно из страны, которая будто бы не имела будущего: Франц Кафка, Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер, Артур Шницлер, Карл Краус, Роберт Музиль, Герман Брох, Людвиг Витгенштейн, Карл Поппер, Эрнст Гомбрих, Йозеф Шумпетер, Фридрих Хайек, Конрад Лоренц, Виктор Франкль и многие другие. Становилось все яснее, что речь шла просто о новом будущем.

В будто бы умиравшей Александрии жили Плотин, Ориген, Климент, Филон, там составлена Септуагинта, античность переплавлялась в формирующееся христианство. Накопленные наукой знания уже не позволяют усматривать в Александрии конец какой-то культуры. Этот конец имел место в Афинах, Спарте, Коринфе, в Александрии же из старой традиции, после ее грандиозных превращений, возник новый культурный мир — христианский. По-моему, сходным образом обстоят дела и с Веной: здесь переплавились старые европейские традиции. Здесь открылся проем в будущее. Есть и другое сходство: куда бы александрийцев ни заносила эмиграция — в Рим ли, в Эфес, а позже в Византию,— они повсюду распространяли александрийскую закваску.

Позволю себе повторить: культурные течения Европы постоянно воспринимались в Австрии и в гомеопатических дозах испытывались. Часто они давали толчок оригинальному и далеко от них уходившему творчеству. Но главный поток возник начиная с 80-х годов прошлого века из собственных источников. Главным местом действия стала Вена — и ныне вокруг нее группируются новые культурные силы.

Перевод с немецкого Г. ДАШЕВСКОГО

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Глава из книги «60-е. Мир советского человека»

От авторов

Когда в 1984 году мы начали работать над этой книгой, 60-е годы казались замкнутым, завершенным историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя.

Перестройка, конечно, смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой 60-х. Более того, в 60-х мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций. Поэтому, надеемся, новый этап советской жизни сделал историю лишь более актуальной.

Прежде чем представить книгу на суд читателя, нам хотелось бы указать на несколько обстоятельств.

Эта книга посвящена не истории первой оттепели, которую принято датировать 1956—1964 годами, а эпохе 60-х, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году XXII съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировала особый тип «шестидесятника», личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.

Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу 60-х, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи.

Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени — прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны, критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой стороны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и модифицируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними «детьми оттепели», часто относимся к 60-м некритично. Что ж, наши заблуждения — тоже характерная примета времени.

Еще один важный вопрос: — кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем?

Не пытаясь охарактеризовать все слои населения страны, мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологическая мода. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованной в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков «толстых» журналов.

В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги, тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность наконец трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, 60-е по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью.

Березовые пальмы. Европа

Когда говорят, что 60-е были ренессансом, не очень понятно — ренессансом чего.

Беспрестанное стремление выстроить историю по восходящей вынуждает всегда опираться на предшественников — золотой век, античность, новгородскую вольницу. Судить по прецеденту проще, даже если прецедент отчаянно сопротивляется.

Термин «ренессанс» предусматривает возрождение чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что именно? Когда? И почему?

© 1989 by Ardis Publishers

От ответов зависел облик эпохи, которая звала вперед, но при этом все время оглядывалась. Потому что пафос ее выражала память.

Хрущев разрешил стране вспоминать еще на XX съезде. Когда после XXII съезда ему поверили — шлюзы открылись и началась пора мемуаров.

Новости тогда искали не в свежих газетах, а в стенографических отчетах 30-летней давности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и Ягода. История предстала страшной, запутанной авантюрой, но в распоряжении тех, кто следил за ее развитием, наконец, оказалась последняя страница.

Эпилог, подписанный Хрущевым, придавал советской истории видимость завершенности. Россия — между Лениным и Хрущевым — казалась законченным эпизодом, как наполеоновская империя или гитлеровская Германия.

Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они формируют настоящее, придумывая миф о прошлом.

От того, что возрождал ренессанс 60-х, зависело, каким он будет. Отчетливее всех это понимали старые писатели, которые однажды уже пережили коренную ломку общества.

Среди множества мемуарных томов в 60-е вышли «Жили-были» Шкловского, «Повесть о жизни» Паустовского, «Трава забвения» Катаева и самая главная — «Люди, годы, жизнь» Эренбурга.

Главная не потому, что самая лучшая, и не потому, что самая правдивая. Мемуары Эренбурга были программой строительства новой советской культуры. И именно так ее восприняли враги и друзья.

На сегодняшний взгляд сталинская культура кажется странным, даже загадочным феноменом. Противоречивый клубок, составленный из Маяковского, музыкальной классики, академической живописи, натуралистического театра. В этом легко увидеть хаос.

На самом деле устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль — сталинский классицизм, по недоразумению названный соцреализмом. Его твердая нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях — от эпитета до архитектуры.

Сейчас это искусство воспринимается как пародия, но современники освежали своим живым соучастием его старые, но прочные каноны. Враги народа, война, Сталин — все это придавало жизни отчетливый героический фон. На этом фоне не таким уж идиотом выглядел несгибаемый секретарь райкома. Он входил в древнюю поэтическую систему — Аякс, Ахилл, Гектор...

Ярким примером стилистической мощи может, и даже должна, служить повесть Эренбурга «Оттепель». Написанное в 1954 году и переведенное на множество языков (в том числе — финский, телугу, иврит), это произведение вряд ли справедливо оценено современниками. По сути, и свои и зарубежные читатели удовлетворились одним названием — «Оттепель». Это слово, как «спутник», вошло в политический словарь и стало обозначать историческую веху. К нему, в зависимости от взглядов, подбирали синонимы — «слякоть» или «весна».

Но все же кроме заголовка Эренбург написал и текст, очень характерный, даже символический. Автор, не выходя за рамки классицизма, попытался по-новому эксплуатировать его идейную сущность. Герои Эренбурга вдохновлены конфликтом долга с чувством не в меньшей степени, чем персонажи Корнеля. Если конфликта нет, они мужественно борются, чтобы его создать.

«Моя жизнь — завод»,— говорит отрицательный персонаж. «Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо» [1],— вторит ему положительный. И теперешнему читателю не так-то просто разобраться, где — кто, потому что классицистская поэтика всех объединила своей стихией.

Не важно, что происходит в повести, не важно, какие монологи произносят ее герои. Существенно лишь то, что хочет сказать автор. Потому что классицизм — это всегда аллегория, которая с разной степенью остроумия обличает определенный (узкий) круг пороков и воспевает определенный (еще более узкий) набор добродетелей.

В данном случае автор говорит, что любовь — не помеха повышению производительности труда. Или еще короче — объявляет, что наступила оттепель. То есть, цитирует название повести.

Именно триумфальный успех этой книги Эренбурга показывает, до чего прочным был стилевой стержень сталинской культуры. И как мало зависели результаты от намерений автора. Если сегодня нам кажется, что «Оттепель» — одна из худших книг советской литературы, то тогдашний читатель относил ее к бесспорным шедеврам.

«Оттепель» — последний аккорд гармонического искусства 50-х. Она завершала этот этап, но даже не намекала, куда идти дальше.

Чтобы ренессанс 60-х состоялся, советской культуре нужно было открыть своих антиков. И она их нашла.

Культура сталинской эпохи существовала в стилевом вакууме. Когда ее границы стали рушиться, на растерявшегося зрителя и читателя обрушилась западная культура разных эпох и направлений. Моне, Кафка, Сартр, Пикассо — все они предстали современниками, модернистами, агрессорами.

Разностилевую западную мешанину объединяло одно качество — она была отличной от норм советской культуры. Отличной — значит лучше. Или хуже. Но не равной. Ее надо было приспособить к советскому обществу, врастить в контекст правильной идеологии. Или — выкорчевать.

Спор об отношении к западному влиянию стал войной за ценности мировой цивилизации. Речь шла уже не о направлении или школе, а об историческом месте России на карте человечества. Грубо говоря, где проходит граница Европы — по Уралу или по Карпатам?

«По Уралу!» — заявил Илья Эренбург и написал «Люди, годы, жизнь».

Сам Эренбург был мифом — советский европеец. Этот ненормальный симбиоз создавал вокруг его личности особое поле напряженности. Как апостол Павел, с кото-

рым его часто сравнивали, Эренбург принадлежал двум мирам.

В 60-е эта раздвоенность позволила ему стать пророком. Эренбург мечтал присоединить Советскую Россию к европейской цивилизации.

Автор «Оттепели», завершивший классицистский период советской культуры, он открывал ее следующий этап в не менее аллегорическом ключе. Только теперь олицетворения пороков и добродетелей носили имена прославленных писателей, художников, ученых.

Аллегории нужны для того, чтобы обиняком высказать мысль, которая и так очевидна. Вряд ли есть хоть одна басня, с моралью которой кто-нибудь спорил. А читают их только ради примеров — ворона и лиса, козел и капуста, мартышка и очки.

То, что хотел сказать и сказал Эренбург, очень просто: Россия — часть Европы. Вклад ее в создание европейской культуры огромен. Это — ручей, река, пусть даже водопад, но вливается российский поток все же в общее море, море мира и красоты. Нет никаких препон между востоком и западом Европы, кроме тех, которые устроили неумные люди по обе стороны границы.

Тут нет ничего нового, ничего особенного, ничего крамольного. Более того, утверждать обратное означало бы противоречить всей советской идеологии. И все же Эренбургу потребовалось полторы тысячи страниц, чтобы доказать этот тезис. Тезис все же оказался крамольным.

В своих мемуарах Эренбург принципиально не делает различия между советским и несоветским, между русским и нерусским. Его герои перемешаны самым причудливым образом. Бальмонт, Пикассо, Есенин, Модильяни, Ленин, Эйнштейн. Поэты, художники, политики. Россия, Франция, эмиграция...

Все в этой грандиозной панораме должно служить концепции единого мира, в котором лишь талант и стиль различают людей и идеи.

Главный герой книги — сам Эренбург. Для него, космополита, обжившего глобус, земля есть братство художников, преобразующих лоскутную карту в единую империю искусства. Ну, что может разделять такие замечательные народы? Пустяки. «Их разделяют не мысли, а слова, не чувства, а форма выражения этих чувств: нравы, детали быта» [2].

Эренбург страстно доказывал, что русские не хуже и не лучше Запада — просто потому, что русские и есть Запад. С наслаждением он перечисляет русские имена парижских художников, не забывает упомянуть славянских жен иностранцев. Ему дорого, что Бабель говорит по-французски, что Алексей Толстой разбирается в тонких винах, что Мейерхольд и Эйзенштейн покорили Европу. Когда он пишет, что «парижане считали советское искусство наиболее передовым» [3], то имеет в виду не российский приоритет, а торжество искусства без границ. Как его любимое бургундское, творчество разливается по бутылкам разной формы и цвета, но вино от этого не становится другим.

«Мы — это они! Они — это мы!» — кричал Эренбург на разных языках, в разных странах, в разное время. Советская история интерпретировала эти слова в зависимости от ситуации. Иногда, как призыв к мировой революции, иногда как «убей немца», иногда как «безродный космополитизм».

В 1961 году эта концепция вылилась у Эренбурга в формулу: «Береза может быть дороже пальмы, но не выше ее» [4].

На самом деле, тогда советская общественность была уверена, что пальма выше. Прошло совсем немного лет, и та же общественность решила, что выше все-таки береза. В этих ботанических спорах определялась историософская модель России.

Для читателей-современников книга «Люди, годы, жизнь» была энциклопедией. Эренбург открыл для поколения 60-х, что СССР не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и пространстве. «История изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой» [5],— писал Эренбург и с наслаждением строил эти мостики. Не только западная, но и русская культура ждала своего второго открытия. И Эренбург азартно открывал. Волошин, Цветаева, Мандельштам, Андрей Белый, Ремизов, Мейерхольд и множество других вошли в сознание советского общества из энциклопедии Эренбурга, которая была существенно полней Большой Советской.

Вдруг оказалось, что темным сталинистским векам предшествовал другой мир. Красочный, великолепный, веселый, ослепительный, как Атлантида.

Так начался ренессанс.

Эренбург распоряжался богатствами мировой культуры с тем произволом, который позволяет первооткрывателю давать имена новым землям. (Потом, конечно, это ему припомнили — и избирательность памяти, и снисходительные нотки, и прекрасно освоенную, даже воспетую «науку молчания». Но не сразу.) Впрочем, Эренбург и не настаивал на объективности своих мемуаров. Он создавал программу, а программа по определению обязана быть тенденциозной. Ключевым моментом этого построения была, конечно, революция.

В космополитической утопии Эренбурга социализм нельзя было обойти. Но его можно было пристроить.

Эренбургу это сделать было проще, чем другим: он знал, что такое капитализм.

В начале 60-х такое знание было уникальным. Запад был дальше Луны, но в отличие от Луны о нем сохранились страшные предания сталинских времен. Потом стало известно, что предания эти ложны. Один миф рухнул, другой еще не успели построить.

Как раз этим и занялся Эренбург: «Я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта...» [6]

Но что ненавидят поэты больше всего? Деньги. Толпу. Пошлость. Буржуев.

«Может быть, русские первые низвергнут власть денег» [7],— говорит французский поэт молодому Эренбургу. И действительно низвергли — подтверждает старый Эренбург всей книгой.

Революция уничтожила вечную зависимость творца от буржуя, говорит он. Она сломала преграды, мешавшие свободному развитию личности. Расчистила путь к все-

мирному братству художников, раскрепостила фантазию, разрушила художественные рамки, дала народу искусство. И все это потому, что революция отменила деньги.

На Западе есть свобода, но и есть собственность. Буржуям не нужно искусство, им нужен комфорт. Поэтому только богема достойна представлять древнюю европейскую цивилизацию. Только нищие творцы, освобожденные от приобретательских инстинктов, могут вести человечество к духовным вершинам.

В Советском Союзе народ освободили от собственности в государственном масштабе. «Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда у них не было такого творческого горения» [8].

Конечно, революция, уничтожив одни преграды, построила другие, тоже внушительные. Но Эренбург никогда не забывает главного — денег-то нет. Поэтому «будущее, конечно, принадлежит Советскому Союзу» [9], вслед за героем «Оттепели» повторяют многочисленные персонажи эренбурговских мемуаров.

Такая трактовка советской истории очень подходила духу времени — она и создавала этот дух. Чтобы оправдать революцию, нужна была глобальная позитивная идея. Пусть даже выраженная в негативной форме. Эренбург предложил актуальную концепцию, оправдывающую все жертвы.

В его интерпретации коммунизм освобождает человечество от антипоэтического мироощущения. Аристократы духа могут быть голодными, измученными — даже мертвыми! — но они не опустятся до унизительной зависимости от рынка. А если опустятся, значит, это неправильные аристократы.

Революцию, объясненную таким образом, можно было уже приспособить и к борьбе со Сталиным, и к войне с мещанством. К тому же, она не мешала воссоединению с Европой. Младший брат бунтует против старшего, но семья-то одна. Причем если у нас культ личности, то у них «культ благополучия». У нас он кончился, у них — нет. Мирное соревнование переходит к мирному сосуществованию, открывающему путь к горнему царству духа.

Не зря Эренбург так сочувственно цитирует слова Брюсова о том, что «социалистическая культура будет отличаться от капиталистической культуры так же сильно, как христианский Рим от Рима Августа» [10]. Христианский Рим ведь тоже в теории отменял деньги и границы. За это уже стоило бороться.

В своих мемуарах Эренбург сумел срастить социализм со свободой, Россию с Европой, поэзию с революцией. Во всяком случае, так казалось читателям 60-х. Неудивительно, что критикам это не понравилось.

Уже в 63-м году они вышли по горячим следам первой половины мемуаров. «Автор «Люди, годы, жизнь» выдвигает на первый план искусство модернизма в различных видах...», «У автора есть пафос объяснения западных модернистских направлений в их связях с западной действительностью. Но в мемуарах нет пафоса объяснения нового русского искусства». И главное — «У Эренбурга ничего не остается от национальной самостоятельности» [11].

То, как хорошо критик понял Эренбурга, показательно. Значит, программный характер мемуаров был очевиден для тогдашнего читателя. Спор сразу же перешел к сущности этой программы, а не к деталям ее выражения.

На протяжении 1500 страниц Эренбург строил последовательный миф из своей жизни, стремясь собственным примером обосновать возможность жить гражданином мира, не отказываясь от красного паспорта, совместить коммунизм с гуманизмом, сохранить мораль дореволюционного интеллекта, не нарушая советские законы.

В ответ «Литературная газета» ему справедливо указала на недопустимость ухода «от самых волнующих, злободневных вопросов: о партийности и народности...» [12]

С партийностью Эренбург еще попробовал разобраться во второй половине своей жизни и своих мемуарах. С народностью за него разобралась эпоха.

В начале 60-х космополитическая мечта Эренбурга окрылила советскую культуру. Открытие подлинных шедевров советского искусства, его триумфы 40-летней давности придавали значительность еще кучей новой волне. Ренессанс смотрит в прошлое, даже чужое, без зависти, только с восхищением. Ему нужны образцы. Он любит почтительное сравнение. Французская живопись, итальянское кино, американская проза — все это придавало смысл жизни, насыщало советскую культуру новыми революционными формами. Заново открывало истинный реализм, который был так чужд теократическому соцреализму сталинского общества.

И тут выясняется, что и отсталая Россия внесла свой вклад в строительство этого праздника жизни. Причем Россия левая, революционная, наша. Красная нить, которую Эренбург протаскивал чуть ли не от Радищева в 60-е годы, стала путеводной. Нужно было только очистить традиционную, интеллигентскую, протестантскую культуру от позора пресмыкательства. Очистить — и строить дальше.

Новая жизнь должна была стать разнообразной, веселой, духовной и честной. То есть, такой — по мнению 60-х,— какой ее видели декабристы, Чехов, Маяковский. Она должна вести вперед, не боясь оглядываться в темное прошлое. Идея прогресса всегда предусматривает, что прошлое хуже настоящего. Но если и в прошлом были такие блистательные минуты, какие описывал Эренбург, то каким же ослепительным будет будущее?

Этого не знал никто, но догадки строили многие. Не зря публицист тех лет радостно восклицал: «Несчастливых — к ответу». «У нас в стране сейчас такая праздничная обстановка. Как же можно позволить себе жить серо, скучно или быть несчастным? Общество потребует от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, чтобы страсти кипели и мышцы играли» [13].

Бодрый интернациональный дух, который так хотел привить Эренбург советской культуре, отнюдь не развратил ее декадентскими настроениями, как опасались тогда ретрограды. Напротив, он помог ей встать на ноги после тяжелых унижений сталинских лет.

Но, очнувшись, культура эта резко свернула в сторону. Как только она осмотре-

лась. тут же выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни, про заветы предков. Если партийность еще можно было обвести вокруг пальца, то народность — никогда.

Вскоре оказалось: то, что предлагал Эренбург, нужно было немногим, но мешало почти всем. И когда после недолгой международной эйфории страна в этом разобралась, Россия уверенно отвернулась от Европы.

Один ренессанс сменился другим. На этот раз путь лежал не вовне государственных границ, а в глубь их, к смутным, но дорогим истокам.

«Модернизм народу не понять. Ни свой, ни чужой»,— сурово говорили вчерашние поклонники Бергмана. «Не нужен нам берег турецкий»,— вторили им недавние открыватели верлибра. «Родина у человека одна»,— сквозь слезы повторяли нетрезвые люди, враз забывшие вкус коктейлей.

Поздние 60-е отвергали открытия ранних с тем пылом, который позволил американскому путеводителю сделать сакраментальный вывод: «Для русских «родина и народ» означает то же, что для англосакса — «свобода и демократия» [14].

Метафора революции. Куба

До 60-х страна как-то обходилась без соседей. Во всяком случае, они существовали ирреально — как тени за запотевшим стеклом, волнуя и тревожа. В 60-е окно приоткрылось.

Капитализм, выйдя из газетных клише, воплотился во вполне конкретных плащах «болонья», жевательной резинке, шариковых ручках.

Буржуазная культура — многолетнее пугало пропагандистов — явилась лентами Феллини, страницами Сэлинджера, гитарами «битлов».

И самое поразительное — с Запада повеяло романтикой революции, у нас давно очерствевшей за чиновничьим столом. Так причудливо складывалась судьба России, что даже величайшее событие в своей истории — революцию — страна получила в 60-е обратно в виде импорта с маленького острова в Карибском море. Как всматривается старик в детские фотографии, бережно отмечая сходство, лелея знакомые черты, краснея, хмурясь, гордясь, так 60-е жадно всматривались в кубинские дела, творящиеся совсем в другом полушарии.

До Фиделя никакой Кубы для русского человека не было. Короткое, ничем не примечательное имя терялось среди куда более роскошных названий Вальпараисо, Ориноко, Антофагаста. В Западном полушарии была Америка — то есть Соединенные Штаты,— это точно. Остальное растворялось в кофейном аромате, голосе Лолиты Торрес, восторженном щебетанье футбольных кличек: Пеле, Диди, Вава.

Латинская Америка ворочалась под толщей расстояний и чуждых культур, потрясая своими редкими явлениями, как появляется на водной поверхности громада кита. Так выходили к Западу великие монументалисты: Ривера, Сикейрос, Ороско. Так потом отодвинули усталых европейцев мощные книги Маркеса, Фуэнтеса, Астуриаса.

На подступах к 60-м Латинская Америка удивила мир и социальным произведением — Кубинской революцией. Привыкший к суете банановых республик в духе О. Генри, Запад вначале так же несерьезно отнесся и к переменам на вест-индском острове.

Появление Фиделя Кастро в качестве нового правителя Кубы ничем особенно не удивило. Он сделал несколько обязательных заявлений о счастье народа, походя обругал империализм США и СССР [15], что было принято в среде стран, ищущих «третий путь» развития. Кастро отмежевался от коммунистов [16] — и это было в порядке вещей, так как сахар у Кубы покупала Америка. Три четверти стоимости экспорта составлял сахар, половину посевов занимал сахар, от сахара зависела жизнь. Кто мог тогда, зимой 1959 года, когда очередной кубинский властитель обещал кубинцам сладкую жизнь, предвидеть, что не пройдет и двух лет, как желтоватый тростниковый сахар поплывет в обратную сторону — в Советский Союз. Правительство Эйзенхауэра благосклонно приняло визит Кастро в Штаты, не догадываясь — как и он сам, впрочем,— что через год-два кубинский премьер будет обниматься с Микояном, Хрущевым и Евтушенко, а немного позже весь земной шар повиснет на волоске, протянутом от этого острова, который весь целиком поместился бы в одном штате Пенсильвания.

Советский Союз и сам мог бы разместить Кубу в Таджикской ССР. Известно о ней было ничтожно мало, это уже потом, как водится, выяснилось, что у Кубы с Россией давние связи. Что еще в середине XVIII века там побывал просветитель и чуть ли не революционер Федор Каржавин. Ничего очень лестного он про тамошних жителей не написал, отметил, что облик их «показывает задумчивость и уныние. Они по чрезвычайной своей лености почти ничем убеждены быть не могут к оказанию услуги Европейцу... Паче всего надобно остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому что мщению не знают пределов» [17].

За два века народ Кубы преобразовался, хотя склонности к мщению не утратил. Наблюдавший за кубинскими делами российский человек, переживший опыт своих революций и войн, это качество никогда не считал излишним. Правда, в 60-е слова «ненависть» и «возмездие» несколько увяли, утратив свою былую романтическую привлекательность. Вслух названное, в полный рост изображенное с партийной трибуны, жуткое недавнее прошлое удерживало от радикальных призывов. В моде был гуманизм, но лишь немногие заметили деловитый энтузиазм Фиделя Кастро. «Мы намерены как можно скорее покончить с расстрелами, чтобы затем всю свою энергию отдать созидательному труду. Я постоянно тороплю трибуналы, чтобы уже в марте мы могли объявить, что значительное число военных преступников примерно наказано, а остальные будут осуждены на каторжные работы.... Расстреливать — это справедливо, но не это основная задача революции» [18].

Может быть, советские люди были благодарны Фиделю уже за то, что он отнес расстрел к числу второстепенных задач? И потом — как же без расстрелов вообще? К месту и не к месту свобода трактовалась как осознанная необходимость. В одной из самых модных пьес 60-х, поставленной в «Современнике», наркомы голосуют за декрет о терроре.

«Луначарский. Самое трудное для коммуниста — быть жестоким. Сколько клятв о беспощадной мести мы дали у братских могил! И все же не поднималась рука. Но сейчас чаша переполнена. Рука должна подняться».

«Ногин. Я смотрю на Дзержинского — мука, а не работа. Ему легче себе приговор подписать, чем другому, и все-таки подписывает...»

А когда наркомы обсуждают судьбу стрелявшей в Ленина Фанни Каплан, гениальную юридическую формулировку произносит женщина:

«Коллонтай. По окончании следствия — расстрелять» [19].

Выходило, что расстреливать надо. За это были даже такие кумиры 60-х, как Луначарский, Чичерин, Красин. Страна заново изучала революцию, мучительно стараясь понять — как вышло, что так легко и искренне начатое дело перешло в угрюмый кровавый обман.

Очень соблазнительно было счесть, что какой-то сбой, ошибка, искажение произошли по пути; что вначале все и задумано и даже сделано было правильно и хорошо; что, во всяком случае, благие намерения, переполнявшие революционеров, были честны и поэтичны. Это естественно, и ненормальным был бы иной подход к своему историческому опыту: как если бы человек выражал недовольство не изъянами развития, а самим фактом своего рождения.

Тому, что революция была актом чистым и творческим, подтверждения находили: небитые козыри литературы и искусства. Самый авангардный поэт 60-х, Вознесенский, казался воплощением Маяковского, репутацию которого не испортила даже похвала Сталина. В Театре на Таганке с аншлагом шли «Десять дней, которые потрясли мир». Из забвения извлекались имена Хлебникова, Татлина, Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие Платонова, проза которого по глубинной мощи выдерживала сравнения только с явлениями природы.

Тогда, в 60-е, зарубежный русский исследователь писал: «В поэзию Цветаевой революция вплелась добавочной хроматической нитью, дополняющей взволнованность и сложность ее словесного рисунка. Мандельштаму революция открыла путь к творческому хаосу псевдоклассической оды, Хлебникову — к простоте разговорного языка, Пастернаку — к непочатому источнику метафорического материала — повседневности. Каждый из них по-своему улавливал свойства вынесенной на поверхность языковой руды взорванного революцией российского космоса» [20].

Смерть, казни, расстрелы признавались ужасным, но — не безоговорочно. В конце концов, рождение и смерть неминуемо тесно связаны, а революция — это именно тяжкий процесс родов. Чего? Да чего угодно: страны, народа, нового искусства. Ощущение великих перемен заставляло не так пристально всматриваться в темные оттенки общего яркого спектра. Наблюдательный Джон Рид в дни октября 1917 года заглянул в кино. «Шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств» [21]. Точно так же молодого большевика поражала суета вокруг смерти старухи-процентщицы у Достоевского: о чем, собственно, беспокоиться? [22]

Революция — дело творческое, а ведь романисту ничего не стоит зарезать персонажа или живописцу взмахом кисти убрать фигуру. Коллективное творчество революции, через край бьющее гиперболами, метафорами, гротеском, приносило своих — живых — персонажей в жертву жанру [23].

Инструментом искусства 60-е поверяли революцию, проводя экскурсы в прошлое, перенося исторические события и лица в настоящее. И тут жизнь предложила еще одну метафору, теперь уже не временную, а пространственную — Кубу.

Появился полигон, на котором можно было переиграть собственное прошлое. Полигон, существующий в настоящем, пусть и в таком отдаленно-неведомом — в ином полушарии. Это была поистине «чудесная реальность» [24], как назвал латиноамериканское бытие кубинец Алехо Карпентьер.

На этом «сюрреалистическом континенте» [25] все было волшебно, и волшебной казалась издали Куба. Тут сотрясались в древних плясках дагомейских культов негры, тут на десятки метров раскидывали кроны папайи и сейбы, тут спускался к самой земле Южный Крест, «когда Ягуар подходит к воде, чтобы напиться, а Крокодил протягивает рыло свое из воды, дабы Ягуара поймать...» [26]

Ничего, что на Кубе давно нет никаких ягуаров — остались одни грызуны,— экзотика Нового Света неистребима. Земля, дышащая мифами, должна производить нечто грандиозное. И революция на Кубе стала ярким событием для советского человека 60-х: мощный творческий импульс социального переворота связался с романтической притягательностью дальних морей.

Страна бросилась к энциклопедиям и картам, портреты Фиделя и Че висели в домах. Все знали слова лихой песни барбудос:

Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Песня летит над планетой, звеня.
Куба, любовь моя!

Слишком многое в сознании работало на популярность Кубинской революции в СССР. Простота и красота испанского языка завораживала русских: нашему идеалистическому сознанию вовсе не мешало, что оперное сочетание «лос кальчетинес амарильос» означает «оранжевые носки».

Язык напоминал о самом романтическом периоде советской истории — Испанской войне. И как тогда все знали «Но пасаран!», так теперь в тамбовском колхозе был известен лозунг «Патриа о муэрте!».

К Кубе имел отношение главный русский писатель 60-х — Хемингуэй.

Даже Дон Кихот оказался как бы кубинцем. Тот Дон Кихот, сходство с которым старательно приписывалось в театре и кино обновленным 60-ми героям революции — сухощавым ленинцам с острой бородкой.

Очень хотелось в те годы верить, что Кубинскую революцию делают интеллигенты — как и нашу. Те исполненные доброты и суровой нежности люди, которых затем безжалостно истребили мрачные, малограмотные злодеи с кавказским акцентом. На Кубе это не должно было повториться.

Лихорадочно велись поиски параллелей: остров Куба — Республика Советов как остров в кольце врагов; наши футболисты — их абстракционисты; наш Маяковский — их плакаты, которые «очень напоминали наши РОСТА»[27]; мы создавали революционную науку историю — они завели себе новую географию[28]; мы боролись с махизмом — они с мухализмом[29]; у нас кухарка собиралась управлять государством — у них «мальчик озабочен, как министр»[30]. И, совсем уже мешая все на свете, писал Евтушенко:

Но чтоб не пугал я века
и мне потом не каяться,
здесь, на стене у рыбака,
Хрущев, Христос и Кастро![31]

Расположившиеся, как два разбойника по сторонам Спасителя, бородатый кубинский партизан и лысый советский премьер сливались воедино — в революционном порыве преобразования общества. Вновь и вновь Советский Союз 60-х проводил по трем направлениям испытание истинности своего исторического пути.

— в прошлом — методом искусства: пьесами, фильмами, книгами о революции;
— в настоящем своем — хрущевскими реформами;
— в настоящем чужом — руками Фиделя и его барбудос.

Кубинская революция легко стала *метафорой революции* Октябрьской, потому что сам по себе революционный переворот подчиняется законам искусства и диалектики. Один поэт — поэма, много поэтов — революция.

Поэтический характер кубинских событий был налицо: прежде всего в изумляющем беспорядке и анархии. Еще во время своей первой попытки — 26 июля 1953 года — бойцы Кастро умудрились ясным утром заблудиться на городских улицах и провалить атаку на казармы Монкада. В ноябре 56-го 82 человека во главе с Фиделем отплыли из Мексики на шхуне «Гранма» и прибыли вовсе не туда, куда намеревались. В результате 70 из 82 были убиты или взяты в плен.

Такое может не удивить только русских революционеров, которые утром 7 ноября 1917 года захватили военное министерство, не проверив чердак, где весь день держал связь по радио с Зимним дворцом и всеми фронтами офицер, который «узнав, что Зимний пал, надел фуражку и спокойно покинул здание»[32].

Три поколения распевают песню про матроса-партизана Железняка, чье воинское умение вызывает священный трепет. «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону...»[33] От Одессы до Херсона — даже по прямой, через море — 150 км.

Самое интересное при этом, что все-таки и Гавана, и Одесса с Херсоном, и Зимний дворец захвачены и покорены. Значит, дело в чем-то ином? Значит, прав свидетель революции Максимилиан Волошин:

В анархии — все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя,—
Стальной нарез и маточник орудий.
. . . . . .
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволье, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

И еще — чтобы было понятно, что же это за люди, которые способны творить такую историю:

Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством,
Марксизм — догматикой,
Партийность — аскетизмом.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии[34].

Комплекс дон-кихотского своеволия и безрассудства, «необычайность великого этого безумия»[35], печать истовости и истинности — в деятелях революции. Дантон, Сен-Жюст, Троцкий, Кастро... Они ниспровергали — это в первую очередь. Но и творили. Вот здесь вопрос — что? Что в результате создали созидатели революции?

Вот какое примечательное свидетельство оставил Алехо Карпентьер, вспоминая слова кубинского поэта Рубена Мартинеса. «— Новое искусство? — говорил он.— Новая поэзия? Новая живопись? Хорошо. Но... А может, лучше для начала поговорить о Новом Человеке? Куда девают они Нового Человека, когда утверждают эти новые ценности, которые станут действительно новыми лишь тогда, когда приведут к освобождению нового человека, обновленного новым порядком вещей?»[36]

К тому времени, когда кастровские партизаны спустились с двухкилометровых высот Сьерра-Маэстры, чтобы править Кубой, такой Новый Человек уже существовал на Земле, следовало только взять с него пример. Это был советский человек.

Поэтический пафос революции, оставляя потомкам шедевры литературы и живописи, затеняет сам себя — то есть тот социальный феномен, который, быть может, долговечнее и, уж конечно, неповторимее произведений искусства. Это та самая толпа, масса, то «интеллектуальное мулатство»[37], которого так брезгливо сторонятся революционные эстеты, не замечая, что сами активно творят эту новую толпу, Нового Человека.

Когда марксистские историки отмечают среди главнейших завоеваний революции отмену частной собственности, они поспешно переходят к более интересным идеологическим материям. Однако — в точности по Марксу — именно этим обобществлением имущества начинается, заканчивается и исчерпывается грандиозная победа социалистической революции[38].

Отмена частной собственности, лишив человека самой идеи «своего» и тем уравняв с окружающими, точно так же лишенными «своего», в конечном счете повлекла

за собой полное изменение структуры человека — психической и, можно сказать, биологической [39]. Исполнились грезы Платона, утопистов и лондонского мечтателя Уэллса о коллективном разуме. Уэллс нелепо и жалко ловил Ленина на несоответствии Марксу и прочих мелочах, только однажды высказав догадку, достойную фантаста и пророка: «Большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа... Чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию» [40].

В те же годы другой оказавшийся в России англосакс с Лениным не полемизировал, а записывал в книжечку его вещие слова: «Если социализм может быть осуществлен только тогда, когда это позволит умственное развитие всего народа, тогда мы не увидим социализма даже и через пятьсот лет...» [41]

Вождь Октябрьской революции вступил в заочную дискуссию с английским писателем и, конечно же, победил, доказав, что незачем сперва менять психологию, а потом строить — все можно делать одновременно.

Сам коллективистский характер революционного творчества (один поэт — поэма, много поэтов — революция) предполагал обобществление не только орудий труда и предметов потребления, но и идей, помыслов, надежд. Это полное растворение личности в мифологизированной общественной структуре, обладающей полноценными и убедительными ответами на любые вопросы, сильнее всего отражено в книгах Андрея Платонова.

Можно сказать, что коллективизм подавляет личность. А можно сказать — трансформирует в нечто качественно иное. Отмена частной собственности и ее последствия произвели действие, противоположное ходу западной эллинско-христианской цивилизации. Столь схожие заповеди Морального кодекса строителя коммунизма и Священного писания имеют существеннейшее различие: христианство апеллирует к личности, социализм — к коллективу.

При этом совершенно для советского общества не важно, что революционные аскеты ушли в прошлое. Не важно, что в советской стране за десятки лет появился мощный потребительский слой. Все это несущественно: даже самому ученому медведю все-таки проще ходить на четвереньках. И советский человек даже если не уступает старухе место в трамвае, то твердо знает, что сделать это должен — потому что убежден в том, что имеет к этой старухе какое-то невнятное, но вполне определенное отношение. Это нечто вроде голоса крови, племенного чутья, и нелепо сводить все к боязни общественного осуждения. Ведь осуждать будут те, кто с тобой одной крови, и именно поэтому осудят.

Способность осуждать и способность обороняться от осуждения присущи человеку, как любая из физиологических потребностей. Но заметим: осуждать и защищаться куда удобнее сообща. Удивительно, как быстро это понимает человек, если предоставить ему такую возможность: «Достаточно доктору призвать к тому, чтобы зрители не оставляли у себя мячей, ибо нужно экономить валюту, которую тратят на мячи, как это выполняют все. И даже когда мяч выбивают на улицу, его возвращают. Когда наш народ был таким?» [42]

Фидель Кастро сам поражен тем, о чем рассказывает. И как верно, что он, блестящий пропагандист, выбирает такую незначительную деталь с бейсбольными мячами. Мячи, место в трамвае, кто не с нами — тот против нас. Это все жизнь, будни, быт.

Оказалось, что реальный социализм отвечает естественному чувству самосохранения и человек готов отдать свою частную собственность на вещи и мысли за коллективную безопасность, за круговую поруку общего дела, за ощущение причастности.

Только миф разом дает исчерпывающий ответ на все вопросы. И лишенный «своего» человек вознаграждается комфортом жизни в мифологизированном обществе. Практический социализм, уравняв каждого с ему подобными, определил бытие любого члена общества сразу во всех областях и аспектах. В новом, советском обществе человек рождается в рубашке по мерке — так что он уже по поговорке счастливее остальных людей на Земле. Такому человеку гораздо легче жить, потому что он всегда точно знает, как относиться к первичности материи и покрою пиджака, к свободе воли и белому стиху, к математическим абстракциям и абстрактной скульптуре, к вопросам пола и цвету потолка, к химере совести и вкусу соуса.

Успех Фиделя Кастро, оказавшегося не эфемерным диктатором, к каким привыкли в Латинской Америке, а стабильным лидером устойчивой социальной системы, объясняется прежде всего тем, что он пошел по легкому пути. По проверенному и испытанному Советским Союзом пути коллективного мифологизированного сознания.

Надо сказать, Кастро пришел к этому не сразу — что неудивительно в том хаосе, который царил на Кубе (во многом благодаря ему самому). Захватив власть 1 января 1959 года, Фидель только 16 апреля 1961 года объявил Кубинскую революцию социалистической. Этому активно содействовали американцы, на чьем фоне Советский Союз выглядел заботливым другом страны. Экономические санкции США против Кубы — а в противовес визит Микояна, обещавшего 100-миллионный кредит. Американская поддержка отрядов кубинских эмигрантов — а в противовес советская военная помощь Фиделю [43]. И наконец, в апреле 61-го — сражение на Плайя-Хирон.

Там, в бухте Кочинос (по-русски — в заливе Свиней), проиграл Запад и победил СССР, хотя и сражались кубинцы с кубинцами. Врангель снова был сброшен в море, несмотря на Антанту.

Но если взять шире: одержал верх Новый Человек, созданный революцией — непобедимый, как многоголовая гидра, как Вьетнам, как коллективный муравьиный разум, которому не страшно усекновение отставных частей.

Тогда Куба стала совсем советской. В пивных расшифровывали ее имя: Коммунизм у Берегов Америки. Фиделя звали Федей. А главное — 60-е взяли Кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами. Стране мешали бюрократы и чиновники — им противодействовали немного-

словные деловитые коммунисты Западного полушария [44]. Недобитые сталинисты зажимали новое искусство — Фидель нес абстракционизм в массы [45]. Наши лидеры угрюмо бубнили по бумажке — их молодые майоры выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном «Дружба народов» — из Гаваны пришла идея Нового Арбата. Журналы «Огонек» и «Крокодил» попрекали молодежь за волосатость — у них даже премьер был с бородой [46].

Но главным врагом всех революций — Октябрьской, Кубинской и 60-х — было мещанство. Идея стяжательства била по самому святому — идее равенства. Так что с мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо. Проявляя мещанскую по сути узколобость, изничтожали мещан, тасуя их мерзкие аксессуары (абажур, граммофон, сервант) по фельетонам, стихам, карикатурам, вне зависимости от эпох и условий.

Призывали на помощь великого пролетария Горького: «Если Человек похитит огонь с небес — Мещанин освещает этим огнем свою спальню... Человек исследует жизнь звука — Мещанин делает для своего развлечения граммофон...» [47]

Воскрешали революционный очищающий порыв, которому противостояла жалкая контрреволюция: «Каминская заводит граммофон, звучит пошленькая шансонетка» [48].

Импульсивные кубинцы даже жизнь отдавали борьбе с вредной звукозаписью.

И вот, туда ворвавшись с револьвером,
у шансонетки вырвав микрофон... [49]

Кубинская революция становилась метафорой не только Октябрьской, но уже и ее современной реинкарнации — либеральной, оттепельной революции 60-х. Битва у Плайя-Хирон произошла в тот же памятный 61-й год, который отмечен победами: XXII съездом, Программой КПСС, полетами Гагарина и Титова, денежной реформой, «Бабьим Яром» Евтушенко, «Звездным билетом» Аксенова... Это было начало, прекраснейшее из всех начал — молодость.

Уже следующий, 62-й год, связал Кубу с никому не нужной угрозой войны, которая пробивалась сквозь официальные заявления СССР — между строк, сквозь радиоглушилки — западными «голосами». Между 22 и 28 октября мир был на грани ядерной катастрофы. Но Кеннеди оказался не таким уж мягкотелым либералом, и советские ракеты уплыли с Кубы, а советские газеты прославили мудрость партии, благополучно разрешившей Карибский кризис.

Кризис зато наступил в восприятии Кубы советским человеком. Уже утомлял их бородатый задор, в пивных уже объясняли, что «мы всех их кормим». Выяснилось, что своей свеклы достаточно и на сахар, и на самогон, а вот хлеба стало явно не хватать. На мотив «Куба, любовь моя» зазвучали совсем другие слова:

Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты на хер!

А еще позже, с затуханием революции 60-х, потускнели и образы 17-го года, и кубинские образцы. Импортный революционный пыл — как любой импорт — оказался явлением временным, преходящим. Разумеется, не в кубинцах тут дело. Просто идея чистоты революции сперва была подвергнута сомнению, а затем и вовсе дискредитирована. Причинно-следственная логика истории утверждала, что революционер неизбежно превращается в чиновника, как неизбежно старение и нельзя удержать молодость. Так приравнял перо к штыку Маяковский. Так остался без последователей Андрей Платонов — единственный, кто не только уловил формообразующее значение революции, но и проник в ее сутеобразующую глубину.

Фидель продолжал быть Фиделем: водил джип, не брил бороды, говорил без бумажки. Но это уже были частные кубинские дела, совсем в другом полушарии.

Перевернутый айсберг. Америка

Каждая страна ввозила в Россию свои культурные ценности. И никого не смущала специфика этого импорта. В 60-е Польша, например, поставляла в СССР абстракционизм. Италия — кино и «болоньи». Бразилия — футбол. Франция — песни и пикантное свободомыслие.

Но гигантская могучая Америка выпадала из этого списка. Она была слишком чужой и слишком далекой, чтобы сосредоточиться на двух-трех пустяках. Как и во времена Колумба, Америка была землей возможностей. 60-е видели в ней реализацию государственных и человеческих потенций. Они ее не знали, но в нее верили. Огромная, еще неоткрытая страна целиком помещалась в радостном подтексте советского сознания [50].

После смерти Сталина две сверхдержавы шли навстречу друг другу в стремительном темпе.

1955 — начинает выходить пустой, но ослепительно прекрасный журнал «Америка». Утонченный Ленинград наслаждается премьерой «Порги и Бесс».

1957 — живые американцы гуляют на Московском фестивале.

1958 — Никсон посещает Россию.

1959 — Хрущев триумфально влетает в Вашингтон на ТУ-114. («Наше радио начинает свою работу с передачи уроков гимнастики, американское телевидение — с передачи уроков русского языка» [51].)

Выставка достижений США в Москве (о, длинные, как миноносцы, машины цвета «брызги бургундского»!).

1962 — «Великолепная семерка» на советских экранах.

1963 — убийство Кеннеди ощущается в России национальной трагедией (фрезеровщик харьковского завода «Поршень» с горечью пишет: «Сообщило Би-би-си: / убит Кеннеди в такси...»).

Друзьями советского народа становятся Рокуэлл Кент и Ван Клиберн. Тройню называли в честь космонавтов — Юрий, Герман, Джон. Культовой книгой опять становятся путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со стола советского человека не сходил дар Нового Света — кукуруза.

В 60-е Америка вошла в каждый советский дом. Американец — герой каждого анекдота. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущева. И главная цель советского общества — коммунизм — недостижима, пока СССР не обгонит США.

И все же по-настоящему Америку в России представлял человек, который там толком не жил. Который откровенно предпочитал Испанию родному Иллинойсу. Который вместо автогонок воспевал корриду и ловлей рыбы интересовался больше, чем президентскими выборами.

Главным американцем в советской истории был писатель Эрнест Хемингуэй. Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников.

С 1959 года, когда в Москве вышел двухтомник его произведений, Америка и Хемингуэй стали в России синонимами.

То, что 60-е вычитали из Хемингуэя, имело мало отношения к его творчеству.

Российский читатель давно был привержен к внесюжетному чтению. Фамилия автора идентифицируется с названиями его книг. Гоголь пишет не «Мертвые души», а «Гоголя». Опытному читателю чужда проблема занимательности, он выше фабулы. Для него писатель — автор определенного образа жизни, а не определенного литературного произведения.

Внесюжетное толкование литературы позволяет писателя расширять, углублять, растягивать. Собственно, только то, что остается за пределами книги, и придает писателю мистическую прозорливость. Если бы в России книги просто читались, по ним нельзя было бы жить.

История нашей словесности невозможна без учета того, что читатели вычеркивают из книг и что добавляют. Но если это учитывать, то получится не история словесности, а история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой.

Хемингуэй, который и без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг и как решительно они пренебрегут надводной частью.

60-е оставили себе от Хемингуэя антураж, географию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, а их форма, не суть конфликтов, а авторское отношение к ним.

Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать. В них можно было влить свой контекст.

60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя. Они перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. При этом писателем распоряжались с тем бесцеремонным произволом, который может оправдать только всепоглощающая любовь.

С идеалом русского Хемингуэя вынуждены были считаться все, кто жил в 60-е. Универсальность его сказывалась в том, что, подчиняясь, сопротивляясь или игнорируя, нельзя было не учитывать его влияиия.

Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами. И их протест объяснялся не только наивным идиотизмом, как казалось журналу «Крокодил».

Общественному движению нужна эмблема, чтобы стать общественным движением. Флаг, значок, галстук с обезьянами. Эмблема всегда утрирует социальные идеи, которые он отражает. Но благодаря этому сгущению эмблема способна обобщить самые характерные черты эпохи. В этом смысле пресловутый обезьяний галстук оказался синонимом XX съезда. Башмаки на рифленой микропорке реализовали принципы раскрепощения личности. Оттепельная атмосфера пропагандировалась карикатурными стилягами. Монумент, изображавший юношу с пышным коком, в брюках-дудочках и канареечных носках, мог бы вместе с зеком в ватнике представлять эпоху реабилитации. Но, к сожалению, все, что осталось от первых нонконформистов — их феерические клички, запечатленные фельетонистами «Огонька»: Бифштекс, Будь-здоровчик, Гном, Гришка-лошадь... [52]

Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров — грубый свитер, борода, полувоенный-полуспортивный покрой. Все это желательно, но не обязательно. Гораздо важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключала торжественное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке.

Когда Ив Монтан приехал в Москву, он выступал в черном джемпере — о пустяках не поют в смокинге. И даже Хрущев официальному костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху.

Мода копировала не столько известный портрет Хемингуэя, сколько внутреннее содержание его идеала. Она подражала не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шестидесятников. Для них этот невинный лоскут — символ капитуляции.

Хемингуэевский стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру.

Советский человек очень долго жил в среде, густо насыщенной идеализмом. Идеи, а не вещи строили жизнь.

Скажем, в знаменитом романе Дудинцева «Не хлебом единым» вещами были трубы. Естественно, трубы интересовали автора не сами по себе, а, как у Платона, в качестве материальных сгустков идей. В данном случае речь шла о концепции всеобщего новаторства, торжествующего над всеобщей косностью. Предметы всегда были этикетками идей, их названиями, часто аллегориями («Рычаги» Яшина).

Стиляги, увидевшие в вещах самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому в милиции их и спрашивали: «Что ты хочешь этим сказать?» Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом. Хемингуэевский мир наполнен именно такими вещами. Его проза изобилует предметами, за которыми не

стоят идеи. Вещи существуют здесь в смысловом вакууме, где они ничего, кроме себя, не изображают. «Мы пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль» [53]. Точность хемингуэевской топографии соответствует бессмысленной определенности карты. Об этом он с наслаждением сам говорит: «Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу» [54].

Русская литература и сама полна такими ни к чему не имеющими отношения деталями. Но ведь не без уроков Хемингуэя мы научились по-настоящему ценить Чехова.

По сравнению с теологической атмосферой сталинской эпохи, хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, охотятся. Телесные функции организма здесь важнее умственных.

В советской кулинарной книге (1953) сказано: «Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека» [55]. У Хемингуэя едят, потому что вкусно.

С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х.

Грубость, имевшая много оттенков, стала одним из первых ее проявлений. Грубость — это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии: есть то, что есть, и не больше. Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определенность, размытую долгим засилием аллегорий. Поэтому он так и настаивал, что в «Старике и море» изображены *настоящий* старик и *настоящее* море.

Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма, закономерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Ученое рассуждение, книжное знание подозрительны. Эрудиция несовместима с грубой природой. «Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то — не помню чего. Мне собор показался красивым...» [56]

Эрудиция, принесенная в жертву новому стилю, была немалой ценой. Пиетет к образованию — национальная болезнь, вроде алкоголизма. В России любые знания завораживают. Не обязательно их применять — достаточно ими владеть, как титулом или гаремом. Эрудиция — отличительное свойство интеллигентного сословия. Как голубая кровь, она отделяет избранных от плебса.

Но в 60-е стало модно не знать. Появился культ романтического невежества.

Поскольку Хемингуэй перенес акцент с идеального на материальное, ценилось лишь свежее, чувственное восприятие. Вычитанное знание ощущалось банальностью. Стиль требовал носить не очки, а бороду [57].

Однако с антиинтеллектуализмом надо было обращаться умело. Герой 60-х мог выглядеть дураком, но только до тех пор, пока окружающие понимали, что он валяет дурака. Айсберг был поистине тотален. Чем больше немудреной простоты виднелось на поверхности, тем утонченней казался невидимый багаж знаний. Нельзя рассуждать о Шпенглере, но можно мимоходом на него сослаться. Небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям — вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники.

В конечном счете смысл этого этикета сводился к общению. Правильное отношение к жизни служило паролем, по которому в толпе чужих можно узнать своих.

Когда Брет Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно: «Но он свой. Совсем свой. Это сразу видно» [58]. Наверное, для Хемингуэя «своим» было потерянное поколение. Наверное, у этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя — как следствие потери общности, созданной хемингуэевскими книгами.

Кто же были «свои» в России?

Смена эпох выражается сменой знаков. Новое начинается тогда, когда старое заменяется на противоположное.

Советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. Оно, как басня, имело мораль. 60-е искали альтернативы этой идеологической модели. Они просто заменили знаки. И общество 60-х стало НЕсерьезным.

Продуманное, ответственное, целеустремленное отношение к жизни привело к катастрофе, о которой народу подробно рассказали в 1956 и 1961 годах. Естественно, что выход из тупика следовало искать в противоположных мировоззренческих установках.

Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь — от государственной до частной — стала главным врагом 60-х. «Правда — бог свободного человека» [59]. Этот горьковский тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному — чтобы сказать о правде, надо о ней молчать. Или хотя бы говорить грубо.

Подтекст нужен был еще и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане. Как ни очевидны были достижения 60-х в области конкурирования общественных целей, ясностью и определенностью эти цели не отличались.

Впрочем, хемингуэевская правда тоже была расплывчатой. Его стиль предлагал такой способ жизни, при котором ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Правда, как и многое другое, оставалась в подтексте — произнесенная, она превращалась в ложь.

Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла огромную свободу маневра. Благодаря ей сообщество «своих» объединяло самых разных. Именно поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу.

Бытовой ипостасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в под-

тексте, как золотой запас. А в качестве разменной монеты в обращение ввели предельную честность и надрывную откровенность. Эпоха требовала «назвать кошку кошкой».

Узкая грань между правдой и ложью становилась еще уже, когда сталкивались представители этих абсолютных категорий — искренность и фальшь. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэевского диалога. Герой «Фиесты» признается: «Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю» [60]. Грубость заменяет ему нежность, хамство — лесть. Эпоха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь и дружбу. Но она загнала их в подтекст. Главные ценности жизни нельзя доставать наружу — иначе они засветятся, как фотобумага. Цинизм 60-х был маской, защищавшей чувства от инфляции.

Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемингуэя, составляли братство «своих». Те, кто воспринимал жизнь напрямую и не стеснялся об этом говорить, попадал в армию непроходимых дураков.

У «своих» было хорошо. В их компаниях всегда царила особая напряженность, особая приподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам. А значит, пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслием «своих» адептов. И самым ярким, самым значительным событием в хемингуэевском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов.

Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике «своего» или «чужого». «Чужие» говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. «Свои» меланхолически замечали: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина» [61].

Круг почитателей хемингуэевского стиля не имел своей программы. Объединяло их только мировоззрение, в котором сконцентрировались самые экстремальные черты философии Хемингуэя: примат интуитивного подхода над аналитическим, яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса, а главное — абсолютное преимущество подразумеваемого над происходящим, подтекста перед текстом.

Люди обремененные или облагодетельствованные таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. Стиль мог реализоваться только в момент пересечения. «Человек один не может ни черта» [62] — в том числе и вести диалог.

В 60-е общение «своих» распространилось на все структуры общества. Акцент сместился с труда на досуг. Вернее, досуг включил в себя труд. Будь то бригада строителей, геологическая партия или научно-исследовательский институт — атмосфера дружеского взаимопонимания оказалась куда важней непосредственных производственных задач.

Формы досуга тоже изменились. Излишними стали традиционные культпоходы. Театры, музеи, стадионы — все это было маловажным дополнением к главному: общению. Единомышленники собирались, чтобы сообща воссоздавать стиль. Дружба стала и сутью, и формой досуга. Даже шире — жизни.

Перед 60-ми стояла грандиозная задача: предстояло пересмотреть традиционные взгляды на личность и общество. Мир, в котором поменяли знаки, как бы рождался заново. И людей, которые стояли у его колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей.

Развенчивание могущественных прежде идей пришло сверху. Но политические перемены не отменяли красивые слова — они просто хотели заменить одни слова другими. Хемингуэевский стиль отменял красивости вовсе. В отрицании он был тотальнее Хрущева.

Негативный пафос шестидесятников необычайно соответствовал эпохе. Сами 60-е несомненно являлись грандиозным карнавалом. В эти годы история развивалась в соответствии с его старинным ритуалом. Профанация короля — вплоть до выноса из мавзолея его трупа, торжество низа над верхом, амбивалентный разгул плоти, замена торжественного стиля грубым просторечием. Лучше всего ситуацию описывает формула самого теоретика карнавала М. Бахтина (его реабилитированная книга о поэтике Достоевского вышла в 1963 году): «Это мироощущение, освобождающее от страха, максимально приближающее мир к человеку и человека к человеку (все вовлекается в зону вольного фамильярного контакта), с его радостью смен и веселой относительностью, противостоит только односторонней и хмурой официальной серьезности, порожденной страхом, догматической, враждебной становлению и смене, стремящейся абсолютизировать данное состояние бытия и общественного строя. Именно от такой серьезности и освобождало карнавальное мироощущение» [63].

Вот источник той «атмосферы нарастающего праздника», о которой так любит вспоминать жившее тогда поколение. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг как самую любимую выбрали «Фиесту».

Жизнь разворачивалась по законам карнавальной логики — «казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты» [64]. Предчувствие похмелья портит пьянку.

60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Вот почему эфемерные радости дружеского общения ценились несравненно выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось, да и было, важнее любых официальных благ.

В карнавализованном обществе 60-х так заметно рушились незыблемые устои, что самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН даже с точки зрения житейской был существенней малоувлекательной комсомольской службы. Хотя в эти удивительные годы и секретари райкомов не избежали влияния хемингуэевского стиля.

Дружба — эмоция, оккупировавшая 60-е,— стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее. Остракизм «сво-

их» был более грозной силой, чем служебные неприятности. Этикет требовал честности и искренности. Пока (в начале 60-х) эти качества не противоречили общегосударственной политике, можно было совмещать служение родине с дружеским общением. Но когда пришло время выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема выбора, которой раньше практически не знали, появилась только благодаря мощному влиянию альтернативного общественного мнения. А оно в свою очередь родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надежных гражданских добродетелей.

Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров.

Допотопной глупостью стали казаться торжественные собрания, кумачевые скатерти, речи по бумажке. Все по-настоящему важное могло происходить только в сфере фамильярного контакта. Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты конкурировали с газетами. Самодеятельность (тот же КВН) давала сто очков форы профессионалам. Музыку исполняли не симфонические оркестры, а одинокие люди с гитарой. И даже первый секретарь Центрального Комитета КПСС не чурался импровизации.

В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех жанров — жанру дружеской попойки.

Естественно, что вместе с древними карнавальными формами 60-е оживляли и старинную традицию философского пира. Как и во времена Сократа, пьянство служило средством утверждения принципиально неофициального общения. Алкоголь окончательно упразднял пережитки догматичного, ответственного, гражданского мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность. Сам характер алкогольного действа предусматривал отсутствие иерархии пьющих. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру: все было в равной степени важно и не важно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать сферы жизни, подвести ее до того состояния, когда закрытие винного отдела становится важнее продвижения по службе. Только атмосфера тотальной дружбы позволила родиться такому оригинальному жанру. Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала 60-х. Пожалуй, можно сказать, что в ней эпоха выразила себя с наибольшей свободой и фантазией.

Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя.

Дело не в том, что у Хемингуэя пьют — в России всегда пили. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство — не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь — средство для обострения карнавального ощущения. С каждой рюмкой выпивающий снимает с себя очередную обязанность перед обществом — обязанность гражданина, служащего, мужа, отца. Застолье подразумевает в собутыльнике человека, просто — человека, лишенного любой социальной роли.

Хемингуэй пытался избавить мир от заумной сложности, свести восприятие к интуитивному постижению, дать подлинную картину настоящего. Алкоголь служил ему в этом непростом деле не только разоблачителем фальши, но и катализатором будничной реальности.

Возмущенно спрашивая, «почему вы никогда не напиваетесь?», герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос: почему вы не хотите быть самим собой, почему вы не откажетесь от принятой роли, почему вы не настоящий?

В 60-е больная печень была несовместима с дружбой. И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья — в мистическом, полубожественном творческом горении, которое осеняло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал.

Но, в отличие от сократовских симпосионов, здесь рождалась не истина, а взаимопонимание. Искусство пьяного диалога заключалось не в философской полемике, а в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удаться только тогда, когда ее участники обнаруживали общий подтекст. Тогда сообща они сооружали из ничего не значащих реплик общее интуитивное родство, тогда им удавалось дойти до настоящего, в чем бы оно ни заключалось.

Иногда настоящее проявлялось в драке, иногда в готовности пропить собрание сочинений Рабиндраната Тагора, иногда в автографе, взятом на спор у постового милиционера. Карикатурный, абсурдный поступок был внешней формой глубинного карнавального осознания несерьезности мира.

И пьянка превращалась в акт служения этому идеалу. Она становилась мистерией, в которой посвященные отправляют эзотерический культ. Пьянка, как и религия, давала не результат, а давала состояние. И оставляла она после себя не похмелье, а братскую приобщенность к высшему знанию. Она культивировала способ жизни и взгляд на вещи. Она строила модель перевернутой вселенной, в которой важно только неважное и истинно только несказанное.

Чтобы удержаться на такой метафизической высоте, пьянке был необходим подспудный трагизм. Настоящий карнавал не существует без трагической темы. Боль, смерть, кровь, разочарование могут им профанироваться, но без них и карнавал и пьянка превращаются в фарс.

У Хемингуэя трагедия оставалась в подтексте. Война, бой быков, несчастная любовь — все оттеняет фиесту, дает ей глубину, объем, масштаб.

В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками. Но Советский Союз не вел тогда войн, не разрешал корриду, и тюрьма еще не казалась неотвратимой альтернативой. Поэтому трагичность продуцировал сам этикет.

Так, например, стиль требовал обостренной мужественности — готовности к физическому отпору, поиска рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации бицепсов. «Свои» всегда состояли из мужчин, даже если среди них были женщины. Любовь считалась всего лишь филиалом дружбы. И настоящий шестидесятник никогда бы не променял «водку на бабу». И полюбить он мог только женщину, которая бы одобрила этот выбор.

Собственно, настоящая, а не сыгранная трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и адепты пьянства осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастлив ни был их культ, он не оставлял результатов. Когда карнавал затянулся, его участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями и часто настоящими пьяницами. Они, как Рахметов, уже прошли школу воспитания подлинного характера. Но все откладывалась пора созидания — книг, государства, семьи.

После веселых разрушений карнавала должна была наступить бодрая эпоха реализации завоеванных преимуществ. Но поклонники хемингуэевского стиля напрасно искали рецептов у своего кумира. Хемингуэевский образец создал сильного, красивого, правильного человека. Но он не сказал, что ему делать. В России опять появились «лишние люди».

Надуманная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Разрушительная деятельность ранних 60-х закоснела в уже устоявшихся формах протеста против серьезного мироощущения. Бесцельность ритуала, которая так соответствовала буйствам фиесты, начала тяготить именно своей безрезультатностью.

Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми. Если раньше они разделяли достоинства Хемингуэя, то теперь — его недостатки. Подтекст мстил за свою неопределенность. Жажда искренности превратилась в истеричность. Грубость, скрывавшая нежность, стала просто хамством. Исключительное доверие к свежести своих ощущений выродилось в угрублений интерес к половой потенции. Дотошное внимание к пустякам привело к потере ориентации. К тому же, лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов: если нечего делать — все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее достижение хемингуэевской школы — пьянство: оно неотвратимо катилось к алкоголизму.

Перерождение идеала происходило из-за слишком увлеченного следования ему. Стиль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваем.

И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блатным. Внешне герой 60-х остался таким же — с бородой, гитарой и стаканом. Но, приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатненной культуры захлестнула страну. И оказалось, что она очень похожа на ту, перед которой преклонялись раньше.

Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины (только в зоне можно найти исключительно мужское общество). Они тоже презирали книжное знание, их тоже интересовало только материальное начало. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они, несомненно, относились к лишним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Хемингуэя.

Трансформация одного идеала в другой привела к странному феномену. Романтический феномен сменился натуралистическим. Бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом. Напускной цинизм превратился в настоящий.

Блатной — новый герой эпохи — незаконнорожденный сын русского Хемингуэя. Но при всей яркости, обостренности, экстремальности облика он крайне далек от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое суждение советского критика: «Влияние Хемингуэя было отрицательным (в целом) — оглупляющим — созданием образа декоративного мужчины, в котором «честность» заменяет мозги» [66].

Хемингуэевская эпидемия прокатилась по России, оставив после себя оскомину. Но, как ни горько было разочарование, упреки по адресу писателя несправедливы. «Он мог научить, как жить, но не давал ответа — зачем» [67],— сетуют теперь его бывшие поклонники. Ответ Хемингуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого вопроса. Он учил воспринимать жизнь как данность, оставив в подтексте все метафизические проблемы, ей сопутствующие. Люди 60-х, восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним делать. И смешно судить бородатого мэтра, если драгоценным инструментом распорядились неверно.

И все же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил всему поколению презрение к позе. Он подарил счастье мгновенного, внерассудочного взаимопонимания. Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей.

Конечно, хемингуэевский идеал негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы куда опаснее мужественного и застенчивого умолчания. И люди, которые не знают, зачем жить, все же приемлемее тех, кто знает это наверняка.

Когда в моду вошли герои, преисполненные ответственности за судьбы мира, когда в стихах все слова стали писать с большой буквы, когда опять заговорили красивыми словами о гордых материях — только редкие, как зубры, адепты хемингуэевской веры продолжают небрежно цедить: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».

Примечания

1 И. Эренбург. Оттепель. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1962—1967, т. 6, с. 59, 11.

2 И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Собр. соч. в 9-ти тт., т. 8, с. 112.

3 Там же, с. 478.
4 И. Эренбург. Долг памяти (выступление по московскому радио в связи с 70-летием 26 января 1961). Цит. по: «Мосты», 1966, № 12.
5 Люди, годы, жизнь, с. 174.
6 Там же, с. 528.
7 Там же, с. 89.
8 Там же, с. 351.
9 Оттепель, с. 52.
10 Люди, годы, жизнь, с. 228.
11 В. Ермилов. Необходимость спора. «Литературная газета», 1963, № 3.
12 «Литературная газета», 1963, № 5.
13 А. Нуйкин. Ты, я и счастье. «Сибирские огни», 1963, № 1, с. 112.
14 USSR. Fodor's modern guides, Inc. New York, 1984, p. 56.
15 В 1959 году Кастро объединял в отрицании обе сверхдержавы: «...в течение ближайших лет жизненный уровень кубинцев превысит уровень жизни в США и России, потому что эти страны значительную часть своих экономических ресурсов вкладывают в производство вооружения».— Фидель Кастро. Речи и выступления. М., 1960, с. 111—112.
16 «А что можно сказать о тех, кто в провокационных целях приклеивает нам ярлык коммунистов?» — Там же, с. 146.
17 Цит. по: В. Рабинович. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану. М., 1967, с. 31.
18 Ф. Кастро, с. 113 (речь от 17 февраля 1959 г.).
19 М. Шатров. Большевики. В кн.: М. Шатров. 18-й год. Пьесы. М., 1974, с. 164, 162, 165.
20 Эммануил Райс. Максимилиан Волошин и его время. В кн.: Максимилиан Волошин. Стихотворения и поэмы в 2-х тт. Париж, 1982, т. I, с. LXXXIV. Вступительная статья Э. Райса датирована 1965 годом.
21 Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1968, с. 315—316.
22 «...Бейзас взялся как-то читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитав до конца, он удивился.
— Боже мой,— сказал он,— сколько разговоров всего только из-за одной старухи».— Виктор Кин. По ту сторону. Чита, 1957, с. 15.
23 В этом смысле характерно бесстрастное высказывание девочки у Платонова, лишенное ненависти и гнева: «Плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало».— А. Платонов. Котлован. Анн Арбор (США), 1973, с. 64.
24 См. Алехо Карпентьер. Мы искали и нашли себя. Художественная публицистика. М., 1984.
25 Выражение Андре Бретона. Там же, с. 16.
26 Цит. по: В. Рабинович, с. 37.
27 Тимур Гайдар. Из Гаваны по телефону. М., 1967, с. 82.
28 «У нас привыкли преподносить абстрактную географию. (Теперь) удалось написать географию, которая не отделена от крестьянина, не отделена от человека... Нам рассказывали о вершинах гор, существующих в природе, но не о болотах, образовавшихся в обществе».— Ф. Кастро, с. 244 (Речь на юбилее Спелеологического общества).
29 Эусебио Мухаль — профсоюзный лидер при Батисте. «Нужно уничтожить в рядах рабочего класса малейшие следы мухализма. Мухализм нужно уничтожить в корне».— Ф. Кастро, с. 231.
30 Евг. Евтушенко. Гавана, мне не спится, а тебе? В кн.: Евг. Евтушенко. Нежность. М., 1962, с. 127.
31 Хемингуэевский герой. Там же, с. 141.
32 Дж. Рид, с. 349.
33 Партизан Железняк. Слова М. Голодного, музыка М. Блантера. В кн.: Песенник, М., 1951, с. 87.
34 Максимилиан Волошин. Россия. В кн.: М. Волошин, с. 350—351.
35 Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть первая. М., 1955, с. 508.
36 А. Карпентьер, с. 153.
37 Специфическое и выразительное словечко Рубена Дарио, характеризующее массу, противостоящую художнику. Цит. по: А. Карпентьер, с. 27.
38 Примечательно признание Волошина в «Автобиографии»: «...я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше соответствовали моему отвращению к зарплате и купле-продаже».— М. Волошин, с. CXI.
39 «Каждое из сколько-нибудь значительных гностических и иных учений, обладающих целостным мировоззрением, имеет свою физиономию, свою особую, ему одному свойственную атмосферу, благодаря которой даже посторонние часто узнают его приверженцев или помещения, в которых проходят их собрания. Так, например, многие из нас узнают по одному лишь внешнему виду квакеров, буддистов, масонов или психоаналитиков — потому что долгое общение с каким-либо учением и на самом деле накладывает на человека свойственный ему отпечаток — в наружности, жестах, словах, поведении. До последней войны (второй мировой), когда коммунизм еще был идеалом, имевшим искренних, даже фанатических сторонников, а не был лишь путем к устройству легкой карьеры, как теперь,— и коммунистов часто можно было распознать по внешнему виду».— Э. Райс. В кн.: Волошин, с. LXXIII.
40 Герберт Уэллс. Россия во мгле. М., 1958, с. 74.
41 Дж. Рид, с. 499.
42 Ф. Кастро, с. 477.
43 В первые годы Кубинской революции военная помощь исходила не напрямую от СССР, а от Чехословакии. Чешский инструктор был привычной деталью жизни Кубы в 1959—1961 гг. «Парень, просияв, ткнул меня пальцем в галстук: — Чеко!.. В те дни меня не раз принимали за чеха. За чеха меня принимали отчасти потому, что для кубинцев «Правда» легко превращалась в Прагу, а главное — советских людей в апреле 1961 года на Кубе было еще немного».— Т. Гайдар, с. 24, 26.
Чехи, оказывающие «братскую помощь Кубе: трудно не усмотреть в этом мрачную иронию исторических извивов — теперь, когда известно о «братской помощи» чехам в 1968 году.
44 «Все парадное и сановное, / революция, побори! ...Напыщенность или скука — / Тоже контрреволюционеры!» — Революция и пачанга. Евг. Евтушенко, с. 133.
45 «...Кабинет Фиделя завален абстрактными картинами, и это нисколько не мешает ему быть коммунистом».— К. Померанцев. Во что верит советская молодежь? «Новый журнал», 1965, № 78.
В письме из СССР, напечатанном в Америке,— одна из расхожих легенд о прогрессивном коммунизме кубинцев: чем же еще может быть завален кабинет премьера страны.
46 «Барбудос читают Маркса. / Он свой. Он тоже барбудо!» — Деды Морозы в Гаване. Евг. Евтушенко, с. 163.
47 М. Горький. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 5, с. 488.
48 М. Шатров. Именем революции. В кн.: Шатров, с. 257.
49 Е. Евтушенко. Три минуты правды. «Комсомольская правда», 21 ноября 1962 г.
50 В начале 60-х наиболее прогрессивная часть советской молодежи осваивала Америку, не пересекая государственную границу. Так называемые «штатники» — люди, отдавшие всю свою любовь чужой стране,— представляли в России утрированных американцев. Не имея возможности поменять континенты, они строили себе Америку прямо в Москве. Вот отрывок из воспоминаний бывшего «штатника», который, сняв некогда заветную американскую рубаху «батендаун», не перестал относиться к ней с нежностью: «В те времена, о которых идет речь, две пуговки на концах воротника и, желательно, еще одна сзади, на шее, значили очень много. Эти пуговички, обязательно перламутровые, обязательно с вдавленной серединой и обязательно с четырьмя дырочками для пришивания, были символом нонконформизма и зыбкой в своей неопределенности мечты о прекрасной стране моста Голден-Гейт в Сан-Франциско и Эмпайр стейт билдинга, Дэйва Брубека и Майлса Дэвиса, Фрэнка Синатры и Эллы Фицжеральд, автомобиля «студебекер» и жевательной резинки «Риглиз», Скотта Фицджеральда».— Б. Хургин. Ностальгическая сага. «Новое русское слово», 10 ноября 1985 г.
51 Лицом к лицу с Америкой. М., 1959, с. 25.
52 См. «Огонек», № 21, 1961.
53 Э. Хемингуэй. Фиеста (И восходит солнце). Собр. соч. в 4-х тт., т. 1. М., 1968, с. 500. Любопытно, что из двух названий этого прославленного романа русские читатели решительно выбрали жизнерадостную «Фиесту», оставив американцам более туманный библейский вариант.
54 Там же, с. 574.
55 Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1953, с. 7.
56 Фиеста, с. 569.
57 Вот как выглядит этот странный этикет в изображении очень чуткого к хемингуэевскому стилю советского писателя Валерия Попова: «Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры. Полно народу, и все босиком. Огромная квартира, много дверей, и

все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, говорят: «А мы тут дураки,— ничего не знаем!» — В. Попов. Две поездки в Москву. Л., 1985, с. 203.
58 Фиеста, с. 522.
59 М. Горький. На дне. В кн.: М. Горький. Избранное. М., 1970, с. 77.
60 Фиеста, с. 528.
61 Там же, с. 107.
62 Э. Хемингуэй. Иметь и не иметь. Собр. соч. в 4-х тт., т. 2, с. 632.
63 М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 274.
64 Фиеста, с. 23.
65 Там же, с. 613.
66 Отзыв видного советского литературоведа П. Палиевского. Цит. по кн.: Р. Орлова. Хемингуэй в России. Анн Арбор (США), 1985, с. 65.
67 Там же, с. 67. Отзыв писательницы И. Варламовой.

Л. АННИНСКИЙ

ПАЛЬМЫ НА АЙСБЕРГЕ

Миражи шестидесятников и реалии шестидесятых

Шестидесятники многое знали о себе. Знали, что они — поколение. Знали, кто их противники. Знали, что если и не одолеют противников реально (организационно, политически), то уж стиль свой создадут наверняка и этим все-таки решат главную задачу. Шестидесятники знали даже то, что они — «шестидесятники». Это самоназвание, не слишком благозвучное и не очень глубокомысленное, но полное лестных исторических аналогий, они (с легкой руки Ст. Рассадина) взяли себе с первых же месяцев начавшегося славного десятилетия. У них было завидное сознание собственной миссии.

Шестидесятники не знали другого. Они не знали, что за гранью скорого поражения (реального, организационного, политического), к которому они себя все-таки готовили, наступит такой головокружительный триумф их дела, какой не виделся им даже в миражах. И еще не знали они, как их будут понимать и судить после такого триумфа. И кто будет понимать и судить.

Их судят сейчас не противники — противники молчат или перестроились. Их судят преемники. И так жестко судят, как ни один противник бы не додумался. Даже и не «слева», куда шестидесятники из всех сил толкали (и не могли дотолкать) общество. А с каких-то совершенно немыслимых для них позиций. Так что не вдруг и сообразишь, что отвечать. Ибо ответить, отбиться можно от упреков в наивности, в слабости, в бессилии; в этом плане можно отшутиться от самых язвительных обвинений и характеристик (см. полемику того же Ст. Рассадина с его молодыми оппонентами в журнале «Искусство кино»). Но как отвечать на констатации подчеркнуто объективные и даже полные сострадания (в том же «Искусстве кино») о том, что благородные идеалисты из поколения шестидесятников всю жизнь боролись с теми самыми призраками «мещанства», с идеалами «хозяина», с принципами «рынка», с инстинктами «интереса» и «потребительства», опираясь на которые те же шестидесятники теперь должны перестраивать социализм? Именно теперь, четверть века спустя после их бурной и сокрушенной молодости, история призывает шестидесятников к практическому ответу и дает им шанс переделать мир в соответствии с их принципами.

Первую стадию перестройки они уже с блеском преодолели: словесную. Они реализовали гласность. Они произнесли и напечатали миллионы слов, раскрыли все секреты, огласили все тайны. Далее обнаружился некоторый тупик. То ли слова забуксовали в реальности, то ли реальность изошла в словах, но идеалисты шестидесятых, ставшие апостолами и активистами восьмидесятых, ощутили фантастическую неподатливость, чтобы не сказать — невменяемость жизни. Поколение мечтателей, все застойные годы ностальгически оплакивавшее свою молодость, оказалось в весьма неожиданной для себя роли практиков.

Тут-то и встает вопрос о существе идеалов и о реальности программ. Мысль общества возвращается к шестидесятым годам — не для реваншистских славословий, а для жестких вопросов.

Как всегда, первые ответы приходят к нам с Запада. Вернее, через Запад: Петр Вайль и Александр Гениc, эмигранты, издавшие два года назад в США объемистый труд под названием «60-е. Мир советского человека»,— настоящие и неподдельные родимые наши шестидесятники, здесь сформировавшиеся и душой оставшиеся. Достаточно послушать их нынешние радиорепортажи или прочесть статьи Гениса в «Огоньке», чтобы убедиться: душой они по-прежнему здесь и понимают нашу реальность глубоко и точно. Запад лишь помог им технически довести до печати то, чего мы как читатели ждем здесь. Книга Вайля и Гениса — факт нашей реальности, а главные адресаты этой книги — мы с вами. Теперь мы имеем возможность прочесть одну из глав (из восьми глав) книги и убедиться в осведомленности и проницательности авторов. Хотя, конечно, «Интервенция» (глава, весьма подходящая по «профилю» журналу «Иностранная литература») объема и содержания книги далеко не исчерпывает.

Чтобы читатель лучше представил себе целое по части — несколько слов о том, как построена вся книга. При всем разбросе ее границ (от Кубы до Соединенных Штатов и от Сибири до Израиля) и уровней интереса (от таких вершин, как Солженицын и Сахаров, до анекдота... впрочем, анекдот — выдающееся жанровое достижение советского быта... до бы-

т а, до элементарного быта: «что носят, что пьют») — при всей горизонтальной и вертикальной «распяленности» своего исследования Вайль и Генис выстраивают его весьма продуманно и даже красиво.

Две части — вернее, две «книги» в книге. Первая — с о с т о я н и е жизни в 60-е годы. Вторая — д и н а м и к а. Или так: первая — в х о д в драму: идеалы, мечты, концентрация энергии — восхождение. Вторая — в ы х од: бессилие, крах, распад, разрушение. Или так: первая книга — миражи, горизонты, вертикали — драма ш е с т и д е с я т н и к о в. Вторая: реальность, провалы, противостояния, капитуляция — драма ш е с т и д е с я т ы х, в которые не одни же мечтатели жили, но и оппоненты. Картина эпохи, поглотившей своих идеалистов.

Каждая «книга» состоит из четырех глав, каждая глава — из трех очерков. Восемь глав — двадцать четыре очерка.

Начало: «Фундамент утопии». Коммунизм как программа, цель и предзаданный путь. Космос как воплощение пьянящей логики — мания восхождения. Поэтическое словоговорение как метод ориентации в пьянящем пространстве (от Хрущева — «поэта в политике» до Евтушенко — политика в поэзии).

Далее — «Интервенция»: раздвиг по горизонтали. Стрелы влюбленной экспансии: Европа, Куба, Соединенные Штаты. Опьянение мировой культурой, опьянение мировой революцией (весьма кстати воскресшей на «Острове Свободы»), опьянение соперничеством с главной державой Запада.

Далее — раздвиг в собственное пространство. Культ Сибири. Переосмысление Великой Отечественной войны (от фанфар — к опыту страдания). Культ науки («залог будущего»).

Наконец, раздвиг «внутрь», в толщу, в быт, в празднично-наркотическую повседневность, никогда уже после 60-х годов не повторившуюся. Оптимизм школы. Молодая романтика — лейтмотив времени. Юмор, насквозь пронизывающий жизнь. Что-то легкое, летящее, воздушное — оптимизм без оснований, романтика без почвы, смех без причины. Веселье одержимого духа.

Теперь — стадии разрушения.

«Гражданская война» журналов: «Новый мир» против «Октября». Война, продолженная профессионалами политики — «диссидентами». Продолжение профессионалами аполитичности: жрецами богемы, абсурда, авангарда.

Дремлющая ярость масс. Спорт ради «гармонии», без цели победить, вырождается в «большой спорт», в гонку чемпионов. Маяки, герои, вожди. Хрущев — символ эпохи: напор, эклектика, иррациональное сочетание романтического бреда и народной сметки. Сотрясение почвы: иллюзион «наднациональной» общности начинает ползти под ударами первых этнических разломов.

Этапы распада. Пророчество Солженицына. Крах атеизма, подкошенного возвращением русской религиозной философии. Крах «империи», обнаружившей, что она в с я состоит из «окраин», из «провинций», из «сырьевых придатков», из безнадежных «дыр».

Эпилоги. Исход в Израиль («евреи» как тема некогда запретная, а теперь вышедшая из-под запрета в гласность, то есть в неразрешимость, ибо именно еврейство оказывается особенно спаяно с революцией, с «советскостью»). Исход в Прагу («пражская весна» — последнее прибежище подлинного социализма, раздавленное танками). Исход в Перестройку... Что в остатке? Грандиозный п о т о к с л о в — все, что остается от «советского человека» как такового.

Мозаичность моего конспекта, до некоторой степени передающая мозаичность стиля книги (а этот стиль под стать самим 60-м годам) не должна обманывать читателя: книга Вайля и Гениса построена вокруг четкого глубинного стержня, хотя парадоксальность монтажных сопоставлений «верха» и «низа» в ней, находчивость авторов в конкретных описаниях (иногда просто виртуозная) может читателя от этого стержня отвлечь. Но чувствуется стержень все время. Причем, как и положено по художественной логике, интонационно. Обертона перекликаются с разных концов этой пестрой, несколько карнавализованной картины. Адепты «Октября» и «Нового мира» ведут между собой непримиримую войну; и те и другие не без оснований уверены, чтс они осуществляют волю партии и спасают социализм. Повальная вакханалия юмора, бессмысленной веселости, «животного хохота» охватывает людей 60-х годов, выдавая в них внезапно освободившихся узников. Круг безумия роднит безнадежно упрямых диссидентов — прирожденных политиков, и бессмысленно упрямых авангардистов — прирожденных художников. А еще — фантастическое отношение к Европе: пальмы скрещиваются с березами, презрение к «мещанству» сливается с завистью к той культуре, которая «мещанством» выстроена. А еще — обезьянье подражание ненавистной Америке, напяливание на себя хемингуэевского свитера, когда подразумеваемая многозначительность («подводная часть айсберга») прикрывает полнейшую пустоту. Нетрудно уловить лейтмотив в этой музыке: наивность, иллюзии, самогипноз, жизнь под псевдонимами, опьянение игрой, вживание в роли, лунатическое воодушевление за мгновенье до того, как обнаруживаешь себя на краю... Нетрудно понять и источник подобной психологии. Вайль и Генис пишут п о р т р е т ш е с т и д е с я т н и к о в, хотя материал и тема книги шире: ш е с т и д е с я т ы е г о д ы, а они включают в себя огромное богатство реалий, далеких от опыта шестидесятников. Однако восприняты эти реалии — именно и х глазами, и точкой отсчета является и х психология: опыт зачарованных, загипнотизированных, не чующих под собой страны мечтателей.

Либо материал воспринят от их имени, либо не воспринят вовсе, то есть трактован как внешний, чуждый, враждебный, неожиданный, гибельный — не свой. Творчество Людмилы Зыкиной, конечно, существовало в 60-е годы, признают Вайль и Генис, но — «на периферии» культуры: и тематика не та, и темп не тот. Солоухин и Шукшин, Белов и Распутин возникают в книге неизвестно откуда, от каких-то не-

понятных начал, они выскакивают из-за кулис как роковые могильщики 60-х. Солженицына за кулисы не удалишь, его не обойдешь, не объедешь — так он трактован как автор лагерной темы (то есть как шестидесятник); в свете этого «Матренин двор», явно нарушающий картину, приходится дезавуировать; Вайль и Генис делают это добросовестно, не гнушаясь поисками стилевых огрехов в тексте рассказа, хотя духовную силу его оспаривать не рискуют.

Так ведь сила-то эта от огрехов не исчезает! Зыкина, конечно, «на периферии» — если отсчитывать «от Бродского», но если отсчитывать «от Зыкиной»,— на периферии оказывается сам Бродский. Вайль и Генис, собственно, это и чувствуют, с поразительной проницательностью открывая в поэзии Бродского овидиеву драму: изгнанничество, отпадение за край, за пределы, в невесомость. «С точки зрения империи» — это бегство из нее, из ее «провинции». Но куда бежать, если «империя» — вся — стала беспросветной провинцией? Отсчет во всем этом рассуждении идет от «центра»: от «имперского» (универсального, мирового) начала. Конечно, и Солоухин с Беловым окажутся при таком отсчете «за пределами» (правда, с другого, чем Бродский, боку). А если их, Солоухина и Белова, начало: «провинциальное» (то есть земное, почвенное) принять за такое же начало,— чьими тогда окажутся 60-е годы? «Привычное дело» Белова прогремело в 1966 году. О Шукшине-писателе заговорили с 1963-го. Солоухин вошел в силу еще раньше. Так кто же первым застолбил «этот участок», это славное десятилетие? И кто имел право дать ему имя?

Вообще замысел Вайля и Гениса: портрет шестидесятых через портрет шестидесятников — поддается реализации лишь при изрядной виртуозности (что они и демонстрируют). Реальная-то драма началась раньше. Не 1961 год пробудил шестидесятников — их пробудил 1956-й. Был переходный период от смерти Сталина до Двадцатого съезда партии, а потом — взрыв, взлет, раскрытие драмы. Оттуда — и Эренбург с «Оттепелью», и Солоухин с «Владимирскими проселками». Оттуда — а не из 1961 года!

Финал драмы тоже не так сценичен, как написано у Вайля и Гениса. «Очнувшись, культура эта (культура шестидесятников.— **Л. А.**) резко свернула в сторону (в сторону Белова и Распутина.— **Л. А.**). Как только она осмотрелась, тут же выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни, про заветы предков...»

«Осмотрелись... выяснилось... забыли...» Оно, конечно, и осматривались, и вспоминали, и «брали поправки», да ведь не от этих спохватываний, не от исправления огрехов зависел большой ход событий! Шло мучительное проникновение новой для нас либеральной психологии в толщу народа («советского народа»), и по мере проникновения прояснялась истина; увы, она, эта истина, была страшна: ни к либерализму, ни к легкой веселости, ни к бодрой соревновательности народ был и не готов, и вообще не склонен. И эта истина существовала, лежала в глубинных слоях, таилась в подводной части айсберга до того, как ее поняли и смирились с нею шестидесятники, созерцавшие сверху миражи из пальм вперемежку с березами. Шла всеобщая драма трезвения, предсказанная русскими философами, предсказанная Степуном, предсказанная авторами «Вех». Драма огромная, глубинная, народная. На фоне которой частный случай духовного опьянения, испытанного шестидесятниками,— всего лишь частный случай. Хотя описан он как законченная драма по всем законам: с экспозицией, завязкой, кульминацией и развязкой.

Эпоха Двадцатого съезда для Вайля и Гениса — не более чем экспозиция (для меня — завязка). Завязку же ищут они — в начале десятилетия. Но что было в 1961 году? Полет Гагарина? Но до него был в 1957-м полет спутника. Оформление новомировской критики? Но статья Померанцева была в «Новом мире» лет за семь до этого. Поэтический рейд Евтушенко в Бабий Яр? Но роль «анфан-террибля» Евтушенко играл с середины 60-х.

Вайль и Генис избирают для завязки другое, более важное, с их точки зрения, событие 1961 года. Какое же? Опубликование Программы КПСС. С нее, как они убеждены, все и началось.

Господи... да кто ж ее, Программу 1961 года, читал из шестидесятников всерьез! Не говоря уже о старых скептиках вроде И. Эренбурга, ведь даже молодые люди моего поколения успели понять, что все это вилами по воде писано! Уже ведь произошел, уже состоялся погром «Доктора Живаго» в 1958 году. А за год до того — погром «Литературной Москвы». И погром Дудинцева. Какие там иллюзии! Да я отлично помню, с каким ленивым любопытством прислушивался к чтению Программы (по радио часами читали) я, типичный идеалист-шестидесятник. Занимали всякие частности вроде бесплатного транспорта, да и то с ощущением налета прожектерства, но, впрочем, и не без сочувствия (а вдруг получится?), а общее содержание наглухо было отделено казенным занавесом! Они говорят, они обещают, они надеются.

А мы?

А мы чувствовали только одно: идеальный строй, живший в нашем сознании, не находит опор, «не чует» под собою «страны». Мы боялись, что все это разрушится, мы судорожно искали почвы — и не находили. Народ был не таким, каким представлялся в статьях новомировской критики (про «Октябрь» и не говорю, хотя и там были люди, искренне искавшие выхода, например, Дмитрий Стариков). Ожидание развязки и было нашей драмой. Я подчеркиваю: не ожидание триумфа Утопии, до которой следовало, «осмотревшись», дотянуть реальность, а ожидание краха Утопии при неотвратимом столкновении с реальностью. Только вот пути и судьбы, формы и сроки, мизансцены и варианты драмы таились в тумане. Это и мучило.

Вайль и Генис по-своему логичны, заключая драму шестидесятников в раму 60-х: это связано с тем, как они понимали существо, содержание драмы. Начинается

у них — с Программы («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме») и кончается — гибелью последнего живого ростка этого самого коммунизма («социализма с человеческим лицом») в Праге под танками 1968 года. Стало быть, имя драмы — Коммунизм.

Так я отвечу Вайлю и Генису, что это не драма. Это только название, или даже псевдоним, драмы. Причем такой всеохватный и мало что говорящий псевдоним, который лучше всего оставлять вообще за скобками. Искренне верившие в коммунизм сталинцы уничтожали в 1937 году искренне веривших в коммунизм ленинцев, а те за полтора десятилетия до того, так же искренне веря, уничтожали эсеров, меньшевиков и анархистов. Впрочем, у этих последних в ходу чаще был другой псевдоним: мировая революция. Но так-таки вы можете себе представить реально жизнь мира при непрерывной (перманентной) революции? А коммунизм где-нибудь кто-нибудь видел хоть на мгновение реально осуществившимся? Разве что в масштабе кибуца? А может быть, в воображенной «отсюда» первобытной общине? Или в «идеальной семье», где царит душевное понимание? Это ж метафора, «вечная мечта человечества» — так в качестве м е ч т ы, в роли и д е а л а она и интересна. А уж какие реальные очертания принимают: алюминиевых дворцов, фанерных бараков или шлакоблочных коттеджей,— это уж от стройбазы. В чем и суть. Мы о чем, о реальности говорим? Так даже тот «реальный социализм», который мы на «одной шестой части суши» вроде бы построили, да так реально, что никак из него не выберемся,— и он никак с теорией не ладит. И спорим: что же это мы такое построили, и не лучше ли за «реальным социализмом» сходить к шведам? Тогда о чем говорить! Зачем вообще сотрясать воздух, если даже по Вайлю и Генису реально осуществился этот самый социализм весной 1968 года в Праге н а о д н о м г н о в е н и е, чтобы тотчас погибнуть под советскими танками? Интересно, а сколько бы продлилось «мгновенье», если бы не танки? А опыт 1989 года в той же Праге (и с тем же Дубчеком) не наводит на размышления? А может быть, прав Оруэлл... нет, я не про антиутопию «1984», уже несколько изжеванную и поднавязшую в зубах,— я про замечательный очерк об англичанах, где Оруэлл замечает, что его народ, тысячу лет решающий свои жизненные проблемы, умудряется делать это, в о о б щ е н е п р и б е г а я всерьез к терминам «капитализм» и «коммунизм»?

Да, мы к этим терминам прибегали всерьез. Мы к ним были привязаны, ими опьянены, очарованы. Но теперь-то можно уже отойти от магии псевдонимов?

Спору нет, пятясь от Сталина к Ленину, мы старались удержать и «коммунизм», намертво прикованный в нашем сознании к «семнадцатому году». Вернее, наоборот, «семнадцатый год» был прикован к «коммунизму»: истоки же последнего были глубже «Октября», они тянулись из мировой истории, были связаны с фундаментальными ценностями духа, с опытом тысячелетий, с Афинами, с Иерусалимом...

Ах, да, чуть не забыл про Рим. Про «Третий Рим». Но ведь и эта сторона русской жизни, и этот опыт, и эта генная память коренились в реальности, а вовсе не были «занесены» к нам в 1917 году. Сталин, конечно, мало походил на христианского миссионера (при всем его религиозном образовании). Но он весьма походил на Ивана Грозного (тоже религиозно образованного), на Ивана III (тоже «Грозного»), на всех великих государей, крепко сидевших на покатой восточноевропейской равнине. Это тоже пришло к нам «из вечности». В том числе и принципы вроде «один за всех, все за одного». Вайль и Генис предпочитают цитировать эти принципы из «Третьей Программы КПСС», но ведь в Программу КПСС они попали из векового русского опыта, из общинной цепкости славян, из кровного побратимства скифов, и это было з д е с ь, рождалось и жило на э т о й земле, в пору, когда не только призрак коммунизма не начинал еще бродить по Европе, но и призрак Российской империи даже отдаленно не брезжил в варяжских головах.

И все это оказалось, как теперь выражаются, имплицировано в души шестидесятников не Программой КПСС, а вековым опытом народа и тихо таилось за вывеской коммунизма. Пришел час — всплыло. И потому н а п л е ч а х шестидесятников смогло выстроиться дальнейшее.

Я вовсе не говорю, что дальнейшее оказалось нам п о п л е ч у. Нет, драма только обнажилась, и она еще не исчерпана. Суть этой драмы в том, о чем я уже сказал в самом начале: весь опыт, весь духовный состав, весь генофонд шестидесятников, построенный на примате идеи над материей, на коллективистских, «соборных» ценностях, фатально расходится с той задачей, перед которой ходом вещей оказалась теперь страна: перед необходимостью рыночного дробления и собственнической индивидуальной ответственности. Вот почему я думаю, что не нам достанется осуществить этот поворот. Но мы все-таки сделали то, что досталось нам: преодолевая инстинктивный страх и внутреннее отвращение, мы на него решились. Будущее покажет, останутся ли в памяти истории люди 60-х годов XX века и к а к и м и останутся. То ли как слабый розовый отсвет отошедшего багрового зарева. То ли как мимолетная блестка на изломе истории от «трагического, разобщенного облика современного европейца» к «духовной гармонии Азии».

Последние формулы — из книги Вайля и Гениса.

Все факты и формулировки, на которые я опираюсь в споре с ними, я могу взять у них же, из их честной книги.

Маленький поворот «хрусталика» — и огромный материал, ими собранный, осмысленный и изложенный,— становится живым и нужным вкладом в наше теперешнее самосознание.

Авторы этого номера

ДЖЕЙ МАКИНЕРНИ (JAY McINERNEY) — молодой американский журналист и писатель; родился в Хартфорде, штат Коннектикут; жил в Лондоне, Ванкувере, Токио, Нью-Йорке. Окончил Уильямс-колледж. Его работы публиковались во многих американских изданиях. Автор романов **«Рэнсом»** («Ransom», 1985), **«История моей жизни»** («Story of my Life», 1988).

«Яркие огни, большой город» — его первый роман — опубликован в США в 1984 году («Bright Lights, Big City». New York, Random House, 1984).

ФРАНСУАЗА САГАН (FRANÇOISE SAGAN; род. в 1935 г.) — французская писательница, драматург. Окончила католический лицей в Париже. Автор многих романов; на русский язык переведены «Здравствуй, грусть», «Смутная улыбка», «Любите ли вы Брамса?», «Потерянный профиль», **«Немного солнца в холодной воде»** («ИЛ», 1972, № 3). Ее перу принадлежат также романы «Через месяц, через год» («Dans un mois, dans un an», 1957), «Чудесные облака» («Les merveilleux nuages», 1961), **«Отбой»** («La chamade», 1965), «Уставший от войны» («De guerre lasse», 1985), «На поводке» («La laisse», 1989), пьесы «Замок в Швеции» («Château en Suède», 1960), **«Скрипки порой...»** («Les violons parfois», 1962), «Фиолетовое платье Валентины» («La robe mauve de Valentine», 1963), сборник новелл «Бархатные глаза» («Des yeux de soie», 1975).

Роман **«Рыбья кровь»** вышел во Франции в 1987 г. («Un sang d'quarelle», Paris, Gallimard). Печатается с сокращениями.

КНУТ ГАМСУН (KNUT HAMSUN; 1859—1952) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии (1920). Многие его романы переводились на русский язык с конца прошлого века, в двадцатые и тридцатые годы нынешнего: **«Голод»**, «Мистерии», **«Пан»**, **«Виктория»**, «Соки земли», «Женщины у колодца», «Последняя глава», «Бродяги», «Август», «А жизнь идет»; перу К. Гамсуна принадлежит драматическая трилогия «У врат царства» (пьеса много лет шла на сцене МХАТ), «Игра жизни», «Вечерняя заря». Избранные произведения писателя (т. 1—2) изданы в 1970 г.

В настоящее время в издательстве «Художественная литература» ведется подготовка 6-томного издания. Публикуемые рассказы взяты из сборников К. Гамсуна «Новеллы» (Noveller. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1959) и «Осколки жизни» («Livsfragmenter». Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1988).

Книга «На заросших тропинках» была опубликована издательством Gyldendal Norsk Forlag в 1949 г.

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ (JOHN BOYNTON PRIESTLEY; 1894—1984) — английский писатель — романист, драматург, эссеист, публицист. Произведения Д. Б. Пристли многократно издавались в нашей стране. В разные годы выходили романы «Затмение в Гретли», «Дневной свет в субботу», «Улица Ангела», «Они бродят по городу» и др. На советской сцене с успехом исполнялись его пьесы «Опасный поворот», «Время и семья Конвей», «Сокровище», «Инспектор пришел», «Золотое руно». В «Иностранной литературе» напечатаны пьесы «Теперь пусть уходит» (1958, № 2), повесть «31 июня» (1962, № 9), роман «Сэр Майкл и сэр Джордж» (1965, № 8—9), рассказы и эссе. Пьеса «Роза и корона» («The Rose and Crown») взята из сборника Дж. Пристли «Одноактные пьесы» («One-Act Plays». London, George G. Harrap and Co., 1953).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный, солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985), «Дворец на острие иглы» (1989) и многих статей в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

ПЕТР ВАЙЛЬ (род. в 1949 г.), **АЛЕКСАНДР ГЕНИС** (род. в 1953 г.) — литературные критики, журналисты. Эмигрировали из Советского Союза и с 1977 года живут в США. Авторы книг: «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «Родная речь» (1990). Книга «60-е. Мир советского человека», откуда взята глава «Интервенция», вышла в США (Ann Arbor, Ardis, 1988).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ВОЛЕВИЧ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА — советский переводчик с французского. В ее переводах публиковались романы Пьера Сала́ «Тристан», Жана Жубера «Красное сабо», Веркора «Сильва», Рашида Буджедры «Идеальное место для убийства» («ИЛ», 1984, № 10), «Обладатель кубка» и «Упрямая улитка», новеллы писателей эпохи Возрождения, пьесы Жана Жироду, Мишеля де Гельдероде, трактаты Жан-Жака Руссо, Пьера Брантома, Дени Дидро и др.

ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1931 г.) — советский журналист, переводчик с английского. В его переводах вышли книга Дж. Гелбрайта «Жизнь в наше время», романы Ст. Кинга «Запретная зона» («ИЛ», 1984, № 1—3, совместно с Э. Таском), «Воспламеняющая взглядом», М. Пьюзо «Сицилиец» и др.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

МИЛОРАД ПАВИЧ — Хазарский словарь (роман-лексикон в 100 тысяч слов)

Произведение необычной художественной формы — одновременно и любовный роман, и детектив, и ученый трактат, и собрание сказок, шутливых историй, вампирского фольклора. Принесшее современному сербскому писателю поистине мировую известность, оно переведено более чем на двадцать языков и в течение нескольких лет занимало прочное место в списках бестселлеров во Франции, ФРГ, США.

СЬЮ ТАУНСЕНД — Ковентри возрождается

Героиня сатирического остросюжетного романа английской писательницы случайно убивает своего соседа и бежит в Лондон, где ее ожидает масса неожиданностей и приключений.

ГАЙ ГУЛЬОТТА, ДЖЕФФ ЛИН — Кокаиновые короли

Документальный роман, посвященный истории крупнейшей преступной организации мира — Медельинского кокаинового картеля. Произведение вошло в изданный в США сборник лучшей документальной прозы 1989 года.

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ — В поисках подлинного Христа

В своей статье известный религиозный писатель, наш современник, размышляет о месте и значении евангельской тематики в мировой литературе XX века.

Если вы деловой человек — Ваш журнал

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»!

Независимое многокрасочное иллюстрированное издание на русском и английском языках для предпринимателей, кооператоров, арендаторов, акционеров, руководителей и специалистов — всех, кого интересует бизнес.

**Делается в Москве, печатается в Париже,
распространяется во всем мире.**

* Известные советские и зарубежные аналитики — о проблемах экономики, развития рыночных отношений, совместного предпринимательства, делового сотрудничества.
* Коммерческие обзоры. Финансовая и правовая информация.
* Расследования острых ситуаций.
* Экспертные оценки, восполняющие «белые пятна» официальной статистики.
* Посредничество в деловых связях.
* Опыт мирового рынка.
* Шоу-бизнес, кинорынок, аукционы искусства, коммерческие аспекты благотворительности, культуры, медицины и спорта.
* Мнения. Портреты. Образ жизни.

**«Пресс-контакт»
(совместное советско-французское предприятие)
информирует:**

журнал «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» распространяется по подписке и в розницу. 120 тыс. экземпляров на русском языке адресованы людям, принимающим ответственные экономические решения в СССР. 40 тыс. экземпляров на английском языке распространяются среди бизнесменов в более чем 46 экономически развитых странах мира.

**Если Вы хотите знать, что происходит в советской экономике,
читайте журнал «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»!**

В его редколлегию входят авторитетнейшие советские экономисты и социологи, такие как академик Станислав Шаталин, Геннадий Лисичкин, Евгений Амбарцумов, эксперт ООН по конверсии Алексей Изюмов.

В год выходит 11 номеров.
Цена номера 5 рублей.
Индекс подписки в СССР — 92325

Бизнесмены и иностранные граждане, проживающие в СССР, смогут получать журнал «Деловые люди» на английском языке, если переведут 85 долларов США на счет № 57384012/001 во Внешэкономбанке СССР, уведомив об этом редакцию почтой или по факсу и указав почтовый адрес, по которому высылать издание.

Адрес редакции:
123098, Москва, ул. Маршала Новикова, д. 10/1, кв. 11.
Телефон: 193-42-81
Факс: 943-00-05
Телекс: 414741 PREMO SU
Реклама только за свободноконвертируемую валюту.
Телефон рекламного отдела: 193-39-03

Цена 2 руб. 95 коп. ИНДЕКС 70394

Collected and Recollected

Collected Stories

by R. V. Cassill

Cassill writes about parenthood, love, divorce, the army, and the search for a meaningful life in the academic world. Gathered here are stories that first appeared in the *Atlantic*, *Esquire*, *Epoch*, and other magazines and journals and that represent the lifetime achievement of one of our foremost writers, editors, and teachers of fiction.

"Just about every story in this collection is a textbook example of what a piece of short fiction ought to be: immediately engaging, swiftly paced, economical. . . . The premise and development of the stories are almost invariably excellent."

–New York Times Book Review

"R. V. Cassill is a writer very much in the American vein; in this collection he captures the spirit of life at the heart of this country over several decades. He is a master at compelling the reader's attention from the very first line of a story, pulling us into vivid and memorable American lives."

–Kit Reed

$29.95 cloth, $14.95 paper

Available at fine bookstores or direct from

ARKANSAS

The University of Arkansas Press
Fayetteville, AR 72701 1–800–525–1823